

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1973

Н О В Ы Й
М И Р



1973

Н[О]ВЫЙ И МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIX

№ 11

Ноябрь, 1973 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПУБЛИЦИСТИКА	
АНАТОЛИЙ ПОКРОВСКИЙ — Осада атома	3
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — Долги, стихи	16
* ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН — Что за стенами? Повесть	18
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ — Из новой книги, стихи	66
* ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Сандро из Чегема, роман. Окончание	71
ЕВДОКИЯ МУХИНА — Восемь сантиметров. Из воспоминаний радистки-разведчицы Продолжение	126
* АЛЕКСАНДР ШТЕЙН — Человеку нужно, чтобы у него звонил телефон	168
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. И. МИКОЯН — На Северном Кавказе. Продолжение	218
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Л. ТИМОФЕЕВ — Советская литература и художественный прогресс	254
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	264
Олег Смирнов Верность жанру.— Г. Койранская. Молодой писатель, молодой герой.— Л. Левницкий. Поэт как критик.	

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	274
В. А. Кондратьев. Летопись героических дней.— В. Кузнецов. Партийные публицисты.— В. Ружина. Он русский в душе...	
КОРОТКО О КНИГАХ — Лев Разгон. — З. Фазин. Последний рубеж. Повесть ♦ Т. Смоленская. — Виктор Пулькин. Кижские рассказы. ♦ С. Шервинский. Фаблю. Старофранцузские новеллы	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ПУБЛИЦИСТИКА

АНАТОЛИЙ ПОКРОВСКИЙ

★

ОСАДА АТОМА

Все начинается с простого. Биография атома тоже ведет отсчет от простой догадки Демокрита о существовании «атомосов» — неделимых изначальных кирпичиков мироздания. С тех пор вот уже два тысячелетия человечество упорно допрашивает природу об их характере и возможностях. За это время атом из нехитрого кирпича превратился в исполинское переплетение проблем, решением которых заняты ученые мира. От него тянутся нити к созданию космогонических теорий и промышленных предприятий. Он, наконец, дал свое имя нашему сложному и динамичному веку. Нигде характерные особенности века не проявляются так ярко, как в процессе приручения атома человечеством.

Мы говорим — человечеством, и в этом нет преувеличения. Маленький атом требует приложения огромных научных, технических и материальных усилий. Использование таящихся в нем возможностей сулит колоссальный прогресс всем народам планеты, однако и требует объединения научно-технического потенциала многих стран.

Но — будем говорить прямо — атомные «грибы» Хиросимы и Нагасаки, долгие годы «холодной войны» зловещей тенью маячили над рабочими столами ученых. Советское правительство, верное принципам мирного сосуществования, предприняло шаги по консолидации возможностей разных стран в мирном использовании атомной энергии. Еще в 1956 году советская правительственная делегация впервые в мире приподняла завесу секретности, доложив с международной трибуны о заметных результатах работ по управляемому термоядерному синтезу в СССР.

Исторический сдвиг в расширении научного сотрудничества произошел в наши дни. Программа мира, принятая XXIV съездом КПСС и последовательно осуществляемая Коммунистической партией и Советским правительством, оказала огромное воздействие на все аспекты международной жизни. Подписанное во время визита Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в Соединенные Штаты бессрочное соглашение между СССР и США о предотвращении ядерной войны создало наиболее благоприятные условия для объединения научных сил в мирном использовании атомной энергии, в том числе ведущих в этом отношении государств — СССР и США. Заключенное между ними соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии предусматривает, что основные усилия будут сосредоточены в следующих трех областях: а) управляемый термоядерный синтез; б) реакторы-размножители на быстрых нейтронах; в) исследование фундаментальных свойств материи.

Первенец и его потомство

Начнем с того, что теперь уже стало сравнительно простым — с первой в мире атомной электростанции. При входе на Обнинскую АЭС мне предложили элегантный белый халат, докторскую шапочку и обычные курносые галоши. Я тихонько покосился на обувь сопровождавших — привилегия ходить по зданию в галошах предоставлена только гостям.

— Это просто для вашего удобства, — пояснили мне. — Мы все переобуваемся, уходя с работы. Обычная мера предосторожности, чтобы не вынести со станции даже случайную мельчайшую «грязь». А вы ведь не собираетесь оставлять у нас свои ботинки?

Что ж, атомный реактор есть атомный реактор, и меры безопасности, конечно же, предусматривают все до мелочей. Случайностей быть не должно, и, кстати сказать, их здесь не было за два десятка лет работы.

Железобетонными лабиринтами, почти касаясь плечами стен, идем к реактору. В тот день сердце АЭС остановили. С него сняли толстые бетонные плиты, и теперь можно было заглянуть в атомную грудную клетку, где расположились «твэлы» — тепловыделяющие элементы. Именно в этих стержнях, заряженных ураном, энергия атома превращает воду в пар, который вращает электротурбину.

Когда строили первую в мире атомную электростанцию, ее проектировщики не стремились создать крупный источник электроэнергии — мощность АЭС всего пять тысяч киловатт. Важно было на практике доказать, что атом может быть надежной рабочей лошадью в энергетической упряжке. И эта задача решена блестяще. Мало того. Атомный первенец выполняет роль доброго наставника для своего многочисленного потомства. Здесь продолжают эксперименты, которые позволяют подхлестнуть атомные лошадиные силы.

В частности, речь идет о модернизации тепловыделяющих элементов. А значит, о повышении мощности новых АЭС и снижении стоимости электроэнергии. Атомный реактор в Обнинске стал еще и реактором технических идей.

Чтобы увидеть это воочию, надо пройти в другое помещение, где «твэлы» разрезают на части, запаковывают в специальные контейнеры и отправляют на исследование в так называемую «горячую» лабораторию.

Пусть вас не смущает название. «Горячая» она потому, что здесь изучаются сильно облученные материалы, и это не одна лаборатория, а несколько: радиохимическая, радиометрическая, технологическая, материаловедческая. Сюда на специальной тележке доставляют контейнеры с обрезками «твэлов». Сильный магнит вытаскивает из контейнеров пробки, и образцы начинают свой путь по длинному ряду «горячих» камер.

Сквозь их свинцовые стекла видно, как движутся, подхваченные манипуляторами, образцы материалов, раскрывая людям свои необычные свойства. Многочисленные приборы записывают показания опытов, на основании которых определяются пути совершенствования атомной энергетики.

Обнинская АЭС может гордиться своим потомством. Дети и внуки ее реактора прописываются под Воронежем и в Заполярье, в Сибири и на атомоходе «Ленин». Электрический ток, рожденный атомом, все более весомой струей вливается в энергетическую систему нашей страны. И доля эта с каждым годом растет. XXIV съезд партии поставил задачу предусмотреть в девятой пятилетке значительное развитие атомной энергетики путем строительства крупных

электростанций с установкой реакторов единичной мощностью миллион киловатт и выше, ввести в действие мощности на атомных электростанциях в размере 6—8 миллионов киловатт.

Чтобы получить возможность носить в кармане пламя, сконцентрированное в головке спички, человек прошел тысячелетний путь от пещерного огнепоклонника до создателя крупных химических заводов. На превращение электричества из загадочной силы в незаменимого помощника потребовалось несколько веков. А от осуществления в СССР цепной реакции деления урана до того времени, когда первая в мире советская атомная станция дала ток, прошло восемь лет.

Время сгустилось. Оно стало вмещать гораздо больше событий и достижений. Чему же удивляться, если вслед за овладением энергией расщепленного атома физики, не откладывая дела в долгий ящик, взялись за приручение энергии, выделяемой при синтезе ядер. Овладение этим процессом позволит человечеству раз и навсегда решить энергетическую проблему.

Создание термоядерного реактора, грубо говоря, сводится к тому, чтобы растянуть во времени процесс, происходящий при взрыве водородной бомбы. Энергия будет выделяться не в виде огненного смерча, а контролируемые порциями, удобными для практического использования. Этого возможно добиться только при температуре, превосходящей температуру солнечных недр. Лишь тогда одноименно заряженные ядра смогут преодолеть взаимное электростатическое отталкивание и начнется реакция синтеза.

Но как удержать достаточно много горячих частиц то время, которое им необходимо для сближения? Где материал, способный противостоять этому сгустку солнца? Да если бы металлургия жаропрочных сплавов и сумела найти его, то, прикасаясь к стенкам сосуда, солнце сразу бы померкло от остывания.

Выход подсказала сама природа плазмы — того четвертого состояния, в которое переходит каждое вещество при очень высокой температуре. Плазма в отличие от обычного газа содержит в себе не нейтральные атомы, а электрически заряженные частицы. Это и навело ученых на мысль о возможности ее магнитной термоизоляции.

Когда в 1958 году начала действовать одна из крупных магнитных установок, «Огра-1», казалось, что главные трудности уже позади. На самом деле они только начинались. В установке бушевали не предусмотренные предварительными расчетами вихри, которые упрямо гасили рукотворное солнце. У плазмы оказался капризный характер.

Психология открытия, если можно так сказать, всегда очень сложна. Даже в известном случае с упавшим яблоком не все так просто, как кажется на первый взгляд. Причину его падения мог вскрыть только человек, глубоко погруженный в решение проблемы земного тяготения.

Когда открытие уже сделано, мы можем спокойно обозреть весь путь к нему, точно измерить прорывы и отступления. А если люди только идут к открытию? Где критерий правильности их маршрута, да и есть ли он?

Разумеется, есть. Это точно выбранная цель и упорство в ее достижении. В таком случае и отрицательный результат эксперимента заносится в актив, ибо означает, что из тысячи дорог, ведущих к открытию, осталось лишь девятьсот девяносто девять.

Нет необходимости излагать перипетии борьбы со своенравием ионизированного газа. Коротко можно сказать, что все сошлись на

одном: пока еще недостаточно полно изучены свойства плазмы, поэтому не удастся заставить ее безотказно служить людям. Вывод физики сделали самый простой: надо заняться изучением плазмы. Упорная и планомерная осада атома продолжалась. В нашей стране ее вели ученые в разных городах и лабораториях. Появился ряд новых термоядерных установок, в том числе и «Огра-II» — ловушка с усовершенствованной структурой магнитного поля, созданная в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова.

Работы на установке начинаются рано утром. Но медленно оживает сложное металлическое тело «Огры-II». Только во второй половине дня достигается нужный уровень вакуума, закипает магний, пролетая в парах которого протоны теряют заряд и нейтральными впрыскиваются в ловушку. Там и будет протекать процесс образования плазмы. К этому времени специальные магнитные поля сожмут ее в своих невидимых объятиях. И вот на светящемся табло под словом «поле» вспыхивает надпись «Импульс».

И пока все. Все, что может увидеть человек, не посвященный в таинства физики плазмы. Посвященный, впрочем, тоже смог бы увидеть немногим больше. Потому что в тот момент, когда вы прочитали это самое «и», в недрах камеры «Огры-II» вспыхнуло и погасло искусственное солнце со «световым днем» в десятые доли секунды — срок, за который самым опытным глазом ничего разглядеть не успеешь. Зато специальные приборы зафиксировали множество различных сведений о поведении горячего звездного вещества. Эти данные станут предметом продолжительного изучения, обработки и сопоставлений.

Чтобы сад плодоносил, надо взрыхлять почву. Надо бережно удалять сухие отростки и укреплять ветви с обильными плодами. Именно так и поступают физики с древом познания термоядерной энергии, добывая и сопоставляя все новые факты.

Ну, а яблоко? Что ж яблоко — оно упадет, когда созреет.

Несколько лет назад мне посчастливилось беседовать с академиком Л. А. Арцимовичем. В его компактном, как корабельная каюта, кабинете прижался к стене книжный шкаф. За стеклом белела записочка: «Просим всех, кто берет журналы у Льва Андреевича, класть вместо журнала записку о том, кто его взял». Рядом из пустых гнезд торчали вихры наспех оторванных бумажек.

Это характерный штрих жизни руководимого тогда Арцимовичем отдела плазменных исследований Института атомной энергии имени Курчатова. Хотя плазма стара, как Вселенная — ведь Солнце, звезды и газы межпланетного пространства не что иное, как вещество в четвертом состоянии, — ее изучением занялись сравнительно недавно. И она продолжает ставить новые вопросы перед учеными, и на каждый надо найти ответ. Вот почему в ОПИ свежие физические журналы кочуют из рук в руки: а вдруг очередное сообщение поможет разрешить еще одну загадку?

Для изучения плазмы в отделе создан целый набор термоядерных установок. Здесь есть получившая мировую известность ПР-5 и ее усовершенствованный потомок — ПР-6. Здесь действуют установки АС, «Огренок» и несколько «Токамаков». Набор этот не случаен. Каждая установка хороша для изучения определенных свойств плазмы. Отдельно на каждой из них удавалось получать плазму или необходимой температуры, или требуемой плотности или удерживать ее достаточно долго. Задача, которую ученые решают сейчас, состоит в том, чтобы совместить условия, необходимые для поддержания управляемой термоядерной реакции одновременно на одной установке. Данные, полученные в ходе опытов, заставляют их скло-

няться к мысли, что работа на установках с магнитными замкнутыми системами, к которым, в частности, относятся «Токамаки», может быстрее привести к цели.

...«Токамаки» стоят рядышком в огромном, похожем на ангар для дирижаблей зале. Но размеры самих установок сравнительно невелики, а устройство их довольно просто. По сути дела, это трансформаторы, вторичной обмоткой которых служит плазменный виток. А главный принцип опытов — электрическим током, текущим по плазменному шнуру, разогреть его, подобно спирали электроплитки, но только до температуры в миллионы градусов.

Теория предсказывает большое количество неустойчивостей, которые ведут к охлаждению плазмы, и пути их устранения. Задача экспериментаторов — практически вести борьбу с неустойчивостью. Какие процессы происходят в это время в плазме? Для ответа надо заглянуть внутрь ловушки. А как это сделать, если температура там в миллионы градусов?

Профессор Франк-Каменецкий как-то заметил, что люди, работающие с плазмой, подобны ветеринарам. И те и другие не могут получить членораздельного ответа от своих подопечных. И все-таки сотрудники ОПИ сумели заставить плазму разговориться. Им помогли способы сверхскоростной фотографии, радиолокационные методы, луч лазера. Словом, лишний раз подтвердился афоризм Эйнштейна: «Самой непонятной вещью в мире является то, что он постижим».

Один из парадоксов современной физики состоит в том, что она требует от ученых не только строгого, математически точного мышления, но и хорошо развитого воображения. Они должны уметь подчас «мыслить образами», чтобы уловить и передать сущность сложного физического процесса. Наверное, поэтому они любят прибегать к сравнениям и неожиданным параллелям. Именно с такой неожиданностью пришлось встретиться во время беседы с академиком Л. А. Арцимовичем.

— Представьте себе,— сказал Лев Андреевич,— что группа ученых восемнадцатого века неожиданно увидела однокольный велосипед. Нетрудно вообразить себе, что один из них предположил: эта машина предназначена для езды. Другой, видимо, немедленно заявил, что может математически доказать — ездить на нем нельзя. Ну, а третий скорее всего попробовал бы проверить это экспериментально. Он сел бы на велосипед и, конечно, сразу бы упал. Однако мы-то сейчас знаем, что есть люди, которые на одноколесном велосипеде не только ездят, но и выполняют разные трюки. Так вот, когда меня спрашивают о ходе работ по управляемому термоядерному синтезу, я отвечаю: можно считать, что мы едем с завязанными глазами на одноколесном велосипеде по канату. Такова примерно мера трудности работы с плазмой.

Эту же мысль академик Л. А. Арцимович развивал в своей предсмертной статье, опубликованной в шестом выпуске ежегодника «Будущее науки»:

«Еще рано копать фундаменты под будущие термоядерные электростанции. Хорошо, если в начале будущего века первые мощные электростанции этого нового типа уже появятся и будут играть какую-то, хотя бы и скромную, роль в общем энергетическом балансе... В свое время в Александрии один из царей спрашивал Эвклида, не существует ли простого способа познакомиться с геометрией. На это Эвклид сказал: царского пути в геометрии нет. Нет царского пути и в термоядерной проблеме. Мы не знаем, какой путь победы будет ли это стационарный процесс типа «Токамак» или совсем новые пути — нагревание плазмы импульсами лазерного излучения

или мощным, хорошо сфокусированным пучком электронов. Такова ситуация на сегодняшний день.

Часто спрашивают, когда эта задача будет решена. Тем более что многим она в известной мере надоела. Довольно назойливо каждые два-три года говорится об успехах, которые есть в этом направлении, хотя дело продвигается не слишком быстро.

Что я могу сказать? С точки зрения научного работника, наиболее существенным является постепенное изменение параметров плазмы в наших исследованиях. Если бы эти параметры находились на одном и том же уровне, было бы плохо. Но они растут, и это означает, что мы постепенно продвигаемся к решению этой задачи. Она обязательно будет решена, когда термоядерная энергия будет совершенно необходима человечеству, потому что принципиальных затруднений на этом пути, по-видимому, нет».

Чтобы приблизить час решения проблемы, ученые многих стран объединяют свои усилия. К той же цели направлено и советско-американское соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Сейчас трудно предсказывать его результаты. Но позвольте привести мнение еще одного специалиста, который внимательно взвешивал оценки ученых о сроках овладения термоядерной энергией. «...в науке бывает и так: мучительно долго накапливаются необходимые данные, и вдруг, как бы совершенно неожиданно барьер оказывается преодоленным...— пишет председатель Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР А. М. Петросьянц.— Преодоление трудного научного барьера в физике будет не неожиданным фактом, а результатом накопления многих данных, пусть даже иногда не очень правильных, может быть и ошибочных, но они-то и могут привести к желаемой победе. Поэтому может случиться так, что решение этой крупнейшей проблемы современной физики произойдет в ближайшие годы».

Так на сегодня обстоят дела с использованием энергетических возможностей атома. Но атом многолик. И с совершенно неожиданной его ипостасью пришлось столкнуться в Ленинграде, во Всесоюзном научно-исследовательском институте метрологии. Хотя почему с неожиданной? Мы уже говорили о том, какие трудности испытывают термоядерщики при измерении плазмы. И встречи в Ленинграде явились как бы продолжением встреч в Институте имени Курчатова, потому что оказалось — как раз атом и дает людям в руки орудия для изучения его самого и всей Вселенной.

А вернее будет сказать — наука и здесь сумела поставить его себе на службу. Ибо, как заметил однажды видный советский физик Д. И. Блохинцев: «Наши чувственные восприятия безусловно ограничены, но наука позволяет далеко расширить сферу восприятия мира путем создания различных приборов. Поэтому слепая от рождения Иоланта, будь она физиком, несомненно нашла бы способ отличить белую розу от красной».

Сколько длится секунда?

Этот вопрос кажется вполне естественным в храме точности. И когда мне его задали в Институте метрологии, я стал добросовестно перечислять все, что знал о сутках, их делении на часы, минуты, секунды. Меня вежливо выслушали, а потом сказали:

— Ну что ж, почти верно. Но не современно. Сейчас научное определение секунды звучит так: это интервал времени, в течение которого совершается $9\,192\,631\,770$ колебаний излучения, соответст-

вующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями атома цезия-133...

Я шел в Институт метрологии действительно как в святилище, где хранят богов под названием «эталон», чье высокое совершенство служит поистине божественным образцом для всех изделий рук человеческих. Да и для большинства из нас стало уже привычным представление об эталоне как о чем-то неприкасаемом, торжественно похороненном в непроницаемых сейфах.

Есть такие сейфы и в Институте метрологии. Меня привели в комнату, фундамент которой уходил вглубь на девятнадцать метров — здесь не должно быть ни малейшей вибрации. Сложная система, называемая эталонными весами, передавала сюда точное значение единицы массы — килограмма. Весы настолько чувствительны, что могут уловить разницу между точкой и запятой — оказывается, хвостик запятой тоже сколько-то весит. Но саму гирьку увидеть не удалось. Она спокойно дремлет в соседней комнате-сейфе на подставке из горного хрусталя, по соседству со своим платино-иридиевым собратом — эталоном метра. Входят в эту комнату только в исключительных случаях, и обязательно три хранителя одновременно, каждый с особым ключом — эталон действительно неприкасаем.

Но жизнь, а точнее развитие науки, подбирает свои ключи к этим сейфам. Хорошие старые эталоны свергаются с пьедестала самими их хранителями.

Метр все еще торжественно возлежит на своей хрустальной подставке, но это, как и старая секунда, уже поверженный кумир. И если раньше считали, что единицей длины является одна десяти-миллионная часть четверти парижского меридиана, то теперь метр — это длина, равная $1650763,73$ световой волны оранжевой линии атома криптона-86.

Что же произошло? Неужели эталоны потеряли свою точность? Нет, они остались прежними. Изменилось наше отношение к качеству измерений. Еще первый управляющий Главной палатой мер и весов Д. И. Менделеев говорил: «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры».

Люди начинали измерять буквально пятерней (вспомните русские пядь и локоть, английский фут). Потом они убедились, что это инструмент не очень-то надежный, и стали искать более точные эталоны. Рассказывают, что в ходе этих поисков один из членов российской комиссии весов и мер нашел в старых вещах Петра I линейку длиной в пол-аршина. Ее-то и приняли за меру длины.

По сравнению с пятерней это была, конечно, более твердая единица. Но попробуйте с помощью такого орудия измерения соблюсти хотя бы наказ Владимира Святославовича, высказанный еще в X веке: «Всякие меры и весы блюсти без пакости».

Вот почему почти сразу всеобщую поддержку получила идея французских ученых создать «естественную» единицу длины — метр. Измеряя дугу парижского меридиана от Дюнкерка до Барселоны, они мечтали, что это будет «истинный и окончательный эталон». Увы, «естественный» эталон метра, отлитый из самого надежного сплава — иридия и платины, вскоре пришлось перекрестить в архивный. Ибо выяснилось, что узнать размеры меридиана без погрешностей (пусть небольших, но неизбежных) невозможно.

Сегодня научные эксперименты требуют абсолютно точного и постоянного значения метра. Человек покоряет Вселенную, и, как всякое изучение, это начинается с точных измерений. Но за примерами далеко в космос ходить необязательно. Директор Института метрологии доктор технических наук В. О. Арутюнов рассказывает,

что инженеры-станкостроители уже сейчас требуют передать им значение метра с такой степенью точности, что даже риска, обозначающая на платино-иридиевом бруске границы единицы длины, мешает метрологам выполнить этот заказ. Ведь самый тонкий штрих тоже имеет свою ширину...

Среди многих точных приборов Института метрологии есть один, которым могут пользоваться все ленинградцы, проходящие по Московскому проспекту, — большие башенные часы, установленные еще при Д. И. Менделееве. Это очень надежный прибор — во время блокады он продолжал действовать, хотя все остальные уличные часы Ленинграда тогда вышли из строя. И это очень точный прибор. Рядом с ним — также по указанию Менделеева — выстроена специальная башня для астрономических наблюдений. По природным солнечным и звездным часам сверяется работа механизма, сделанного человеком.

Но именно астрономические наблюдения показали: точности этих часов не всегда приходится доверять. Дело в том, что из-за эллиптичности земной орбиты и некоторых других причин продолжительность истинных солнечных суток меняется от 24 часов 3 минут 36 секунд в середине сентября до 24 часов 4 минут 27 секунд в конце декабря. Не помогает и контроль за звездами: оказалось, что из-за трения, вызываемого морскими приливами, период вращения Земли относительно звезд каждые сто двадцать лет удлиняется на 0,001 секунды, к тому же происходит еще ряд малых неправильных колебаний. Итак, первые эталоны, взятые из природы — метр и секунда, — не выдержали проверки развитием науки и техники. Перед учеными было два выхода: или отныне строить всю метрическую систему на искусственных, «архивных» единицах, или искать в природе более надежные эталоны.

Искусственные эталоны ученых не устраивают, потому что они не бывают полностью идентичными, как бы хорошо и тщательно ни были сделаны. Не приходится уже и говорить о таких чрезвычайных случаях, когда искусственные эталоны могут быть повреждены или утрачены, что приведет просто к катастрофе в нашей научной жизни. Основные требования к каждому эталону: возможность воспроизведения, неизменность во времени, относительное постоянство при изменении внешних условий (температура, давление и т. д.). Но природа, создавая атомные ядра, как будто специально позаботилась об удовлетворении всех этих требований.

Член-корреспондент Академии наук СССР Б. С. Джелепов пишет: «...изучение атомных ядер раскрывает нам удивительные тайны природы, приносит неожиданные плоды и создает поистине фантастические перспективы для метрологии... Атомные ядра являются эталонами, созданными самой природой, и притом не какой-нибудь одной физической величины, а сразу многих — каждое атомное ядро является собранием эталонов».

Ныне принятая в метрологии международная система СИ исходит из шести основных единиц — метра, килограмма, секунды, ампера, градуса Кельвина, свечи. Вслед за «атомными» секундой, метром и ампером появляется созданный в институте так называемый ядерный квадрупольный термометр, действующий с точностью до 0,003 градуса Кельвина. В принципе и для килограмма существует замена — масса изотопа углерода-12. Но здесь пока переход к шкале ядерных масс не совсем целесообразен, ибо привел бы к снижению точности измерений обычных масс. Однако необходимость единства в измерении макро- и микро масс усиленно подталкивает метрологов к решению этой задачи.

...Прощаясь, я не удержался от вопроса, который возник после всех встреч и бесед в институте:

— А есть ли уверенность, что новые эталоны навсегда обеспечат человечество точностью, необходимой для всякого рода измерений?

— Вечной гарантии дать не можем,— ответили мне.— Но гарантируем, что в случае необходимости метрология найдет и предоставит в распоряжение людей новые эталоны с той степенью точности, которая потребуется. Мы только начали использовать молекулярные и атомные явления. А ведь есть еще атомное ядро, нейтрон, другие частицы. Исследования макро- и микрокосмоса, несомненно, дадут в руки ученых новый материал для создания инструментов изучения Вселенной.

Хотелось бы обратить внимание на одну особенность этого ответа. Метрологи уже ждут результатов исследования фундаментальных свойств материи, чтобы немедленно использовать их в своих практических делах. Да, таково уж свойство метрологии: какими бы далекими и отвлеченными ни казались нам проводимые специалистами изыскания, результаты их быстро входят в нашу повседневную жизнь. Мы, например, уже привыкли к сигналам точного времени по радио. А сейчас в институте думают над тем, как передавать и значение метра, поскольку оно необходимо многим отраслям промышленности. Да и вообще, роль эталонов совсем не в том, чтобы свято храниться в сейфах. Они должны служить камертонами, по которым настраиваются все остальные образцы.

Для этого существует еще один раздел метрологии — служба стандартных справочных данных и стандартных образцов. А о роли стандартов в жизни современного человека много говорить не приходится. Директивы XXIV съезда партии требуют: «Повышать научно-технический уровень стандартов и их роль в улучшении качества продукции. Провести обновление действующих стандартов и технических условий, обеспечив замену устаревших показателей и своевременное отражение требований народного хозяйства, гарантирующих высокий технический уровень и качество продукции».

Итак, просматривается совершенно четкая цепочка вклада ученых в пятилетку: фундаментальные исследования — эталоны — стандарты — предприятие. Но разве это относится только к метрологии? Разве мы не можем проследить такие цепочки, идущие из других отраслей знания? Разве в начале нашего века не сомневались, например, в быстрых практических выводах из знаменитого эйнштейновского соотношения массы и энергии? А теперь эта формула служит надежной теоретической базой для практического использования атомной энергии. И когда мы говорим, что наука все больше становится производительной силой нашего общества, мы не должны забывать об этих цепочках, многочисленными связями идущих от лабораторий к производственным цехам.

Впрочем, к атомной энергетике слово «цепочка» теперь уже мало подходит. Скорее следует сказать — магистральный путь развития. И начинается он с небольшого здания на территории Института имени Курчатова. Сейчас там прикреплена гранитная доска с надписью: «25 декабря 1946 года в этом здании впервые на континенте Европы и Азии И. В. Курчатов с сотрудниками осуществили цепную реакцию деления урана». Едва ли тогда кто-нибудь взялся бы предсказать, что это колыбель новой отрасли энергетике.

Однако уже в 1954 году в систему Мосэнерго был дан ток Обнинской станции — первой в мире АЭС мощностью всего в пять тысяч киловатт. В 1958 году начинает действовать Сибирская АЭС мощностью уже 100 тысяч киловатт. В настоящее время ее мощность пре-

вышает 600 тысяч киловатт. В 1964 году в свердловскую энергосистему вливается ток Белоярской АЭС. Мощность ее первого блока — 100, а второго — 200 тысяч киловатт. В том же году начал действовать первый блок Ново-Воронежской АЭС, проектная мощность которого — 210 тысяч киловатт. За ним последовали второй — 365 тысяч киловатт и третий — 440 тысяч киловатт.

И вот сейчас в директивах на пятилетку 1971—1975 годов ставится задача довести мощность атомных электростанций до 6—8 миллионов киловатт. Директивы требуют: ввести в действие мощности на Ленинградской и Кольской атомных электростанциях, развернуть строительство Смоленской и двух атомных станций на Украине. На Чукотке сооружается самая северная в мире Билибинская АЭС, кроме того, строится Курская мощностью 2 миллиона киловатт и Армянская АЭС мощностью 880 тысяч киловатт. Словом, теперь строительство и эксплуатация АЭС стали в ряд с важнейшими задачами пятилетки.

В общем, говоря словами А. М. Петросьянца, «можно смело утверждать, что в наш атомный век атомная энергетика ведет к ускорению электрификации. Более того, ядром атомного века, его ведущим началом является атомная энергетика. Главное звено научно-технической революции — вовлечение в энергетический баланс концентрированных в очень малых объемах и практически неисчерпаемых ресурсов энергии».

Давайте теперь вернемся ненадолго в Обнинск. Там рядом с первой атомной электростанцией есть здание, где установлен реактор БР-5. Зачем же рядом с действующим потребовался еще экспериментальный реактор?

История его такова. Все реакторы, уже запряженные в энергетическую упряжку на Обнинской и других АЭС нашей страны, работают на медленных или тепловых нейтронах. Они имеют ряд достоинств, но «сжигают» атомное топливо, да к тому же используют только уран-235, запасы которого составляют лишь 0,7 процента от общих запасов урана.

После длительных теоретических расчетов советский ученый А. И. Лейпунский пришел к выводу, что можно использовать практически весь природный уран. Но для этого необходим реактор на быстрых нейтронах. Так появился в Обнинске БР-5. Не вдаваясь в технические тонкости, можно сказать, что там активную зону, куда помещается уран-235 или плутоний, окружает не графитовый замедлитель нейтронов, а природный уран. Быстрые, не замедленные нейтроны, попадая в него, поглощаются ядрами урана, и он постепенно переходит в плутоний, другое ядерное горючее. Таким образом, реактор дает не только энергию, но еще и воспроизводит горючего больше, чем потребляет. Это настоящая котельная, где, по выражению И. В. Курчатова, вместо золы выгребают уголь.

Но теоретическая разработка реактора и ее практическое осуществление было настолько сложным, что многие ученые сомневались в возможности создания такого устройства. Например, в США ему долгое время не уделяли серьезного внимания. А в нашей стране в решающем году пятилетки в городе Шевченко начала работать АЭС с крупнейшим в мире реактором на быстрых нейтронах — БН-350. Он будет давать электроэнергию и опреснять морскую воду. Так наступил новый этап в развитии ядерной энергетике. Это еще одно свидетельство справедливости положения, приведенного в директивах XXIV съезда партии на девятую пятилетку: «Достижения в области фундаментальных наук позволили успешно решить многие научно-технические задачи в промышленности, сельском хозяйстве и в других отраслях».

Но само собой разумеется, что для дальнейшего успешного использования фундаментальные исследования должны значительно опережать прямые запросы производства.

Про то, какие сложные и трудные задачи здесь стоят, напомнило сообщение из Серпухова о важнейшем открытии, сделанном учеными Объединенного института ядерных исследований и Института физики высоких энергий.

Тритий из Зазеркалья

Английский математик Чарлз Доджсон по вечерам превращался в детского писателя Льюиса Кэрролла. В эти свободные часы он отправлял в путешествие по странам чудес маленькую девочку Алису. Математический склад ума и подсказал ему, что можно найти самые необычайные приключения, если заглянуть по ту сторону зеркала. В стране Зазеркалье, где все наоборот, должны происходить сказочные превращения с вещами и нашими представлениями о них. Книга Кэрролла прочно обосновалась на полке сказок, хотя некоторые комментаторы и усматривают в ней отдельные намеки на современные научные представления о пространстве и времени.

Английский физик Поль Дирак сказок рассказывать не собирался. В 1928 году он просто вывел уравнение, описывающее поведение электрона при скорости, близкой к световой. И... заглянул по ту сторону зеркала. Оказалось, что уравнение имеет два равноправных ответа, но с разными знаками. Избавиться от «зеркального двойника» не удавалось никакими математическими ухищрениями. Отсюда следовал строгий физический вывод: электрон должен иметь напарника «наоборот» — антиэлектрон. А раз так, то, возможно, где-то существуют целые антимирры, построенные из антивещества.

В научном мире это вызвало не меньшую сенсацию, чем если бы кто-нибудь доказал, что путешествие Алисы состоялось на самом деле. Известный физик-теоретик нобелевский лауреат В. Паули всесторонне рассмотрел ход доказательств Дирака. Погрешностей не нашел и тем сердитее на него обрушился. Только научная корректность не позволила ему заявить, что коллега рассказывает математические сказки. Как могут существовать античастицы, кипятился Паули, если это немедленно привело бы к аннигиляции, то есть взаимоничтожению частицы и античастицы! Практика rassудила их обоих. В 1932 году в космических лучах «поймали» антиэлектрон. Он существовал в полном соответствии с вычислениями Дирака и аннигилировал с электроном, превращаясь в электромагнитное излучение, как то предсказывал Паули.

Началась настоящая охота за античастицами. И чем больше их регистрировали приборы, тем тверже становилась на ноги теория о симметричности Вселенной. А рядом с термином «аннигиляция» появились такие, казалось бы, обыденные выражения, как «рождение пар» и «зарядовая четность». Но за ними крылись сложные физические явления. С них и начал свой рассказ о новом открытии, сделанном на серпуховском ускорителе, директор Института физики высоких энергий академик А. А. Логунов.

Собственно, из уравнения Дирака следует только существование антиэлектрона (его окрестили позитроном) и свойство симметрии между электроном и позитроном, которое описывается законом сохранения зарядовой четности. Можно сказать, что уравнение Дирака задало физикам загадку: распространяются ли выводы из него и на более сложные случаи, существуют ли антиподы для протона, нейтрона и других частиц, имеет ли смысл зарядовая четность для ядерных

сил? После открытия антипротона и антинейтрона на очередь встала новая задача: найти в природе антиядра, доказать, что наряду с известной нам таблицей Менделеева для элементов существует и таблица для антиэлементов, то есть, по существу, доказать существование антивещества.

Многие астрофизики предположили, что во Вселенной присутствует антивещество, которое играет значительную роль в эволюции мира. Недостатка в самых остроумных гипотезах не было. К антимирам относили и квазары и некоторые кометы. Однако современные астрономические методы не дают возможности точно их зарегистрировать, потому что электромагнитное излучение вещества и антивещества одинаково, а методы нейтринной астрономии, которые позволяют их различать, пока недостаточно чувствительны.

Оставался единственный способ экспериментальной проверки теории — получить антивещество в земных условиях. Такой путь дает возможность не только доказать, что антиядра существуют, но и изучить закономерности их рождения и взаимодействия. Эти задачи позволяет решать возросшая мощь ускорителей. После введения в строй серпуховского ускорителя советские физики в 1969 году детально изучили процессы образования и взаимодействия антидейтронов, а затем открыли и ядра следующего элемента — антигелия-3.

Вслед за этим группа физиков под руководством кандидатов физико-математических наук В. И. Петрухина и В. И. Рыкалина провела поиск новых антиядер. В работе также принимали участие ученые ГДР и Польши. Молодые физики сумели в полной мере использовать возможности ускорителя. Судите сами: по ходу работы они десятками тысяч получали те самые антидейтроны, которые в год открытия считались поштучно. Но они вели исследования за более высоким энергетическим порогом, и это в тысячи раз усложняло задачу. А задача была такая: выделить на фоне сотен миллиардов известных частиц случаи образования нового антиядра — антитрития. Единственно что отличало в условиях эксперимента ядра антитрития — были незначительные различия в скорости: они «пробегают» сто метров лишь на одну миллиардную долю секунды медленнее, чем другие частицы. Это и определило постановку опытов.

В институте я узнал о некоторых подробностях эксперимента. Протоны, разогнанные ускорителем до максимальной энергии, ударяли в алюминиевую мишень, рождая ливень различных частиц и античастиц, ядер и антиядер. Часть этого потока, которая интересовала исследователей, отводилась в специальный магнитооптический канал, состоящий из многотонных магнитов и линз. И там на протяжении ста метров десятки приборов за полторы секунды прощупывали, изучали, измеряли каждую из четырех-пяти миллионов частиц. Необходимым звеном сложного эксперимента было применение мощных современных ЭВМ. Это позволило детально анализировать каждое регистрируемое событие по 50 независимым параметрам.

Всего перед глазами исследователей прошли визитные карточки $4 \cdot 10^{11}$ частиц. И четыре из них неопровержимо свидетельствуют, что в недрах ускорителя были рождены ядра антитрития. Или, пока астрономы не определили место антимиров во Вселенной, можно сказать — трития из Зазеркалья.

Итак, выводы из уравнения Дирака о симметрии мира и антимира получили новое подтверждение. И теперь самое время задать вопрос: до каких пор ученые будут продолжать поиски антиядер, антивещества, антимиров? Ответ прост: до тех пор, пока экспериментально не будут проверены все положения теории, ибо только практика может полностью утвердить ее.

Существование вещества и антивещества, их аннигиляция — не просто физические явления. В них таится глубокий философский смысл. Они свидетельствуют, что не существует неделимых частиц — «последних кирпичей мироздания». Любая форма материи может превращаться в другие формы. И тем необходимее основательно заглянуть за зеркало.

Загадка уравнения П. Дирака до конца еще не решена. И размышляя об этом, член-корреспондент Академии наук СССР К. Щелкин писал: «Рассматривая лишь одно вещество в отрыве от антивещества, мы грубо нарушаем симметрию мира. Это все равно что наблюдать лишь за одной его половиной, отбрасывая другую равноценную его часть». К этому пока мало что можно добавить. Разве слова Нильса Бора, записанные им в книге почетных посетителей Дубны: «Противоположности не противоречивы, а дополнительные».

Разумеется, поисками антивещества не ограничивается круг исследований основных свойств материи. Как говорится в советско-американском соглашении, сотрудничество в этой области будет включать совместные исследования по взаимно согласованным темам, и в частности в области физики высоких, средних и низких энергий, путем использования ускорителей, оборудования для обработки экспериментальных данных и других установок обеих стран.

Известный опыт такого сотрудничества с американскими коллегами у серпуховчан уже накоплен. Здесь группа американских физиков под руководством профессора Дрикки проводила эксперименты по исследованию рассеяния пи-мезонов на электронах. В свою очередь, на американский ускоритель в Батавии были приглашены советские ученые во главе с доктором физико-математических наук В. А. Никитиным. Они вместе с американцами продолжали начатые в Дубне и Серпухове опыты, имеющие целью получать данные о размерах одной из фундаментальных ядерных частиц — протона. Методика этих опытов, разработанная советскими учеными, была совершенно не похожа на прежние. Для проведения экспериментов в Америку пришлось везти около трех тонн различной аппаратуры.

Первый этап исследований позади. Теперь идет обработка данных, полученных в ходе совместных экспериментов. Через некоторое время их результаты будут опубликованы. Но первый результат уже ясен — совместные исследования приносят взаимную пользу обеим странам.

Пусть у читателя не останется ощущения, что рассказ об осаде атома оборван на полуслове. Да, конечно, это только попытка дать представление о многогранности атомных исследований, о практическом использовании атомной энергии в народном хозяйстве на основе решений XXIV съезда КПСС. Но никакое самое объемистое издание не в силах довести повествование об этих исследованиях до завершающей точки. Ибо как в природе не существует «последних» частиц мироздания, так и в изучении атома не может быть поставлена точка.

Вот уже более шестидесяти лет путеводной нитью для физиков, изучающих микромир, служат ленинские слова: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна...» И значит, никогда не застыть ищущей человеческой мысли в надменном сознании, буди о все уже познано и ее творческая сила более не нужна для разгадки тайн природы. Но уже на данном этапе атом поставлен на службу пятилетке.



РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

★

ДОЛГИ

Она пришла — пора платить долги.
А я-то думал,
что еще успею...

Не скажешь,
что подстроили враги.
Не спрячешься за юношеской спесью...
И вот я мельтешу то здесь, то там,
размахиваю

разными словами:

«Я расплачусь с долгами!

Я отдам!

Поверьте мне...»

Кивают головами

леса и гравы.

Снегопад и зной.

Село Косиха,

Сахалин

и Волга.

Живет во мне.

смеется надо мной

немыслимая необъятность долга...

Расплаты ждет секунда.

Ждут года.

Озера.

полные целебной влаги.

Мелькнувшие, как вспышка, города.

Победные

и граурные флаги.

Медовый цвет клокочущей ухи.

Моей Москвы всеильные зарницы.

И те стихи.

те — главные — стихи,

которые лишь начинают сниться...

И снова полночь душу холодит.

И карандаш с бессонницею спорит.

И женщина в глаза мои глядит

(я столько должен ей,

что страшно вспомнить)...

Плати долги!

Плати долги, чудак!

Давай начистоту судьбу продолжим...

Плачу.

Но каждый раз выходит так:

чем больше отдаешь,

тем больше должен.

ЛЫЖНИК

Когда —
 нумерованный, как трамвай —
 он катит по синим рельсам лыжни,
 его встречают:

«Давай, давай!..»

Его провожают:

«Нажми, нажми!..»

И только тренер,
 содрав с головы
 шапку,
 голосом ветра в степи
 с выдохом,
 с высвистом,
 с выкриком,
 с вы... —
 твердит одинокое слово:

«Терпи!..»

Ленивое понуканье толпы.
 Поземка,
 встающая на дыбы.
 Молчащие глыбы круглы и тупы.
 Терпи!..

Усталости до краев накопи.
 Не сдайся,
 не рухни.
 зубами скрипи.
 Пороги возможного переступи.
 Терпи!..

Остри и печалься,
 казись и люби,
 за долгим застольем с друзьями не спи,
 над каждой строкой
 оглушенно корпи —
 терпи!..

Терпи!
 Бравада не тот товар.
 У века в долгу,
 в суете,
 в пылу

стерпи
 и ругань и похвалу...

...А вы говорите: «Давай, давай»...



ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН

★

ЧТО ЗА СТЕНАМИ?

Повесть

1

Много лет не бывал он на этой улице... Москвич-то ты москвич, но живешь ведь не на одном всю жизнь месте. И тот мир, дома и улицы те, что некогда были твоими, ныне вот так же далеки, как иной далекий город. А всего-то до этого покинутого места три-четыре остановки на троллейбусе. Но чужим оно стало, отдаленным, забывшимся.

И вдруг забрел в былое. И сразу столько всего вспомнилось, что оторопь взяла. Ты жил здесь, ведь ты жил здесь!

День выдался осенний, грозящий дождем, и такой еще он был, будто что-то напминал, что-то сокрытое в сереньком туманце. Что-то далекое, давнишнее?

Хорошо, что он забрел сюда не думая, не гадая. Он немалое значение придавал случайным встречам, веря в их назначенность. В старину бы, пожалуй, он мог сказать о себе, что верит в судьбу. Ныне, в усмешливый наш век, в судьбу кто же верит? Все учтено ныне, запрограммировано, всему найдено объяснение. Самая малость тайн лишь осталась людям. Тайна смерти, скажем, или тайна подвига, тайна любви и гайна туманного этого слова — счастье. Впрочем, довольно шутить — события начались, они уже начались, едва он случайно ступил на улицу былых своих дней.

Тогда, в давнюю ту пору, он жил в домике, который не выходил окнами на улицу, а прятался в глубине двора, за широкой спиной барского особняка. Домик тот когда-то был выстроен для служебных нужд. Возможно, в нем прислуга жила, а может быть, и вовсе была конюшня. Но потом дом много раз менял свой облик: окна в нем одни замуровывались, а другие пробивались, высокая крыша просела, и ее заменили другой, почти плоской, — и стал он тем самым дворовым флигелем в четыре оконца, робко притулившимся к брандмауэру, с палисадничком, со скамеечкой у крыльца, с навесом и неожиданно нарядной дверью от барской поры, в которую и постучал он однажды, узнав от знакомых, что здесь, кажется, сдается комната.

Ему отворила женщина лет тридцати пяти, в бедном домашнем платье, в котором тесно жилось ее располневшему телу. На ногах у женщины были разбитые мужские полуботинки. А чулки были грубые, как у школьницы. Но синие неотцветшие глаза были хороши, не угнетены этими ботинками и чулками, они добро светились, не были насторожены без нужды. Они откровенно и просто поглядели на него: «Пришел человек... Здравствуй, человек. Что скажешь?..»

— У вас, кажется, сдается комната? — спросил он, всерьез испугавшись, что она ответит отказом. — Я тихий, — сказал он, твердо решив, что этой женщине важнее всего, чтобы жилец был тихим. — Не курю. И вообще...

Синие глаза смотрели на него просто, с доверием, но в них уже засветился огонечек то ли насмешки над ним, то ли сочувствия. Он окончательно сбился под этим взглядом.

— Впрочем, если я не подхожу...

— Заходите, — сказала она и потеснилась, давая ему пройти. — Комнату я действительно надумала сдавать. Деньги нужны. Гляньте, подойдет ли. Это хорошо, когда человек тихий. Только вы не тихий. Это хорошо, что вы не курите. Но ведь пьете, правда же? Комнату я сдаю маленькую. У меня вся квартира маленькая. Муж городил, городил. Три комнаты — и все ненастоящие. Вот, глядите.

Узким темным коридором она подвела его к двери и распахнула перед ним эту дверь, за которой отныне предстояло ему жить. Хороша ли комната, нет ли — все равно жить, потому что он твердо решил снять эту комнату, как бы мала она ни была, сколько бы ни запросили с него денег, хотя денег у него и у самого было в обрез. Он это решил, когда шел за хозяйкой по коридору. И еще раньше, когда только она поглядела на него своими бесхитростными глазами. А может, еще раньше, когда лишь увидел этот флигелек с палисадничком в самом центре громадного города. Нет, конечно, он не был сам по себе тихим, он еще слишком молод был, чтобы стать тихим. Но он очень устал, он жаждал тишины, а домик этот, а женщина эта были как раз сродни тишине. Так ему показалось, по крайней мере. А что покажется, то и наше, тем и живем, пока наново что-то не покажется, чтобы этим пожить. И так всю жизнь.

Комната действительно оказалась маленькой, да еще с двустворчатой дверью в соседнюю комнату. И мебелью была заставлена сверх всякой меры и надобности. Даже пианино тут было.

— Я не играю, — сказал он.

— И я не играю, — улыбнулась она. — Муж для дочки купил. Но это пианино надо целую вечность ремонтировать, чтобы оно ожило. Где уж теперь...

Все же в комнате помещалась тахта и крошечный круглый стол — это то, что было необходимо. А кресло-качалка, конечно, было не нужно, как и пианино, как и двустворчатая дверь, как и круглый вращающийся стул и какая-то на могучей чугунной ноге подставка, неведомо для каких нужд выдуманная лет с сотню назад. Может, для корзин с цветами?

— Эту мебель мне некуда убрать и некому продать, не купят, — сказала она. — А выбросить мужества не хватает. Уживетесь со всем этим?

— Уживусь, — сказал он.

Комнату надо было снять во что бы то ни стало. Да и неверно это, что кресло-качалка не нужно для жизни. Сиди в нем да раскачивайся — разве плохо? И подставка сгодится: навалит на нее книги, журналы. А пианино, случись лишние деньги, можно будет отремонтировать. Мало ли у него приятелей, которые с детства обучены брэнчать на рояле.

— Теперь о цене, — сказала она. — Я дешево сдать не могу. Сдают, когда деньги нужны. Только для этого и сдают. Но и обдирать вас мне не хочется. Как же мы поступим? Какую положим цену?

— А я уже эту цену знаю, — сказал он. — Я в третий раз из комнаты в комнату перебираюсь, хоть и москвич, коренной, урожденный. Так случилось. Война... Землетрясение... Но об этом я вам потом рас-

скажу. Четырехсот рублей вам довольно будет? Столько я плачу одному профессору. Его за что-то там уволили, и он стал сдавать комнату. А теперь его опять приняли на работу, ну и нужда во мне отпала. Забавно, сейчас я живу на седьмом этаже, теперь буду жить на первом. Жил у Зубовской, теперь буду у Никитских. А все же когда нет собственного жилья, в этом есть что-то и хорошее. Хоть город свой родной узнаешь по-настоящему.

— Четыреста? Это очень много для такой комнатки,— сказала она и задумалась.— Нет, это очень много. Мне неловко будет с вас эти деньги брать. Знаете, давайте уговоримся на трехстах. Согласны?

— Ну что ж...— сказал он.

Так он и поселился в этом домике за спиной бывшего барского особняка, вот на этой нарядной и тихо-торжественной улице, по которой сейчас шел.

...Здесь много было перемен, но перемен к лучшему. Улица и раньше была из добротных, да только очень запущена. А теперь все тут старенькие дома исчезли с лица земли и на их место встали дома-великаны из белого кирпича, с широкими лоджиями, за стеклами которых диковинные зеленели деревца. Красивые были дома, нарядные, величественные. Да и все особняки здесь стали как новенькие, их отремонтировали, и явно не скупясь, поскольку каждый из них представлял ныне какую-нибудь страну, стал посольством или торгпредством, а во имя государства престижа денег жалеть не приходится.

Вот и особняк оказался, за которым прячется заветный тот домик былых его дней. Особняк тоже стал будто новеньким. И медная доска на дверях. Посольство, стало быть, теперь здесь. Раньше в этом особняке коммунальные были квартиры, был он хмур и запущен. Теперь — сверкает. Но раньше в нем жизнь бурлила, а теперь вроде спит все внутри. Спит да позевывает.

Через ворота соседнего дома он вошел во двор, обширный и заставленный всяческими домишками об один, полтора, ну два этажа. А вот эти домишки так, кажется, и не ремонтировались с той давней поры, когда он здесь жил. Дряхлые старички, чего их ремонтировать. На иных окнах и занавесок не видно, никто там уже не живет, за иными из окон. Кто помер из тамошних жильцов, кто съехал, получив новую квартиру,— нынче вся страна переезжает, обзаводится новыми стенами.

Он вдруг испугался за свой домик — там, в углу, у кирпичного брандмауэра. Стоит ли? Не опустел ли? Он еще не виден ему был. Вот обогнет сейчас этот, о двух этажах, тогда и увидит свой дом. Он заспешил, даже споткнулся на ровном асфальте — так заторопился. С чего бы это? Годы и годы не заглядывал сюда и вот чуть не бегом припустил... Пойми тебя, человек!

Кончилась стена двухэтажного, он шагнул торопливо за угол. Да, спешить было надо. Дом, его дом, сносили. Как-то буднично при этом, медленно, но деловито. Стены оказались метровые, кирпич сплавился, не нынешний то был кирпич, его просто так, с наскока порушить не удалось. Да тут никто и не спешил. И технику сюда никакую не пригнали. Дом-то был крошечный. И его убивали вручную, по старинке, долбя ломами, бия кувалдами. Двое пожилых рабочих и две девицы были отряжены для этого дела. Наверное, разрядили им всю эту операцию на целую смену, а то и на две, учитывая старорежимность кирпича.

Да, не зря свернул ты нынче на эту улицу без всякой надобности, свернул — и все тут. Предчувствие? Голос неведомый поманил? Некие волны, еще не открытые физиками, которые посылают людям сигнал, отчетливый порой настолько, что замирает сердце? Какой смысл раз-

бираться, что да почему привело его сюда. Важно, что пришел, что поспел, что глядит на этот дом с рухнувшей уже одной стеной, глядит, заглядывает в обитель ту, где некогда жил — молодо, голодно, непросто, где крепко ему досталось, где задумывался, задумывался о многом. где многое решилось.

И все же опоздал ты, опоздал. Твоих друзей, что жили тут, их нет, как нет и людей, которые могли бы тебе рассказать о Клавдии Павловне, ее дочке и их друге Сергее Сергеевиче, — рассказать о чем-то таком, чего ты не знал, что было после тебя, — людей этих ищи нынче где-нибудь в Медведкове или Текстильщиках. Опоздал.

Он подошел к своему дому, прислонился к оплывшим кирпичам брандмауэра, которому тоже оставалось жить не долее дня или двух, так как расчищалась площадка для явно большого строительства, и стал смотреть.

Странное, совсем необычное это было зрелище, хотя много раз ему доводилось смотреть, как сносят дома. Но то чьи-то там были дома, а не тот, где некогда жил. И душа рванулась изо всех сил в былое. Спотыкаясь, путаясь, рванулась душа в этот домик, за эти стены. Ожило забытое, голоса зазвучали.

А дом стоял, как на сцене, со снятой передней стенкой. Смотри! В нем ничего не переделывали с той поры. Он забыл, какие прежде были обои. В таких домах обои не бывают приметными: клеят первые, какие попадают, не очень броские и уж наверняка не дорогие. Кажется, серенькие были, с блеклыми розовыми цветочками? Он помнил иное: он помнил, вспомнил, как писал под отошедшим куском обоев у изголовья тахты, записывая пришедшую ночью мысль. Он тогда пытался повесть писать, мучился над сюжетом. Никаким он не был писателем, он вообще был никем тогда. Он был молодым человеком, потерпевшим кораблекрушение, нет, землетрясение. Но он вот пытался писать. Что ж, никому это не заказано. Бейся головой об стенку или пиши повесть — все едино, никому это не заказано.

Ночью приходили удивительно удачные решения. Они почти во сне нарождались. Он вскакивал и записывал. Утром, прочитав записанное, он отвергал эти решения, они не годились. Утро вечера если не всегда мудренее, то всегда трезвее. Ночью он бывал слишком дерзок, он забывался, он терял нить повествования, стремительно уносил куда-то. Так несется мысль во сне, но не наяву. Утром же наступала явь.

И все-таки он дорожил этими ночными каракулями, хотя они были, как камушки морские: высохнут — и исчез рисунок. Но был, был рисунок. И волнение было. И все удачно так выходило, талантливо, необычно. Но утро — оно подсушивало ночные узоры и исчезал рисунок.

Самое время было войти в дом и поискать, а не целы ли те старые обои, на которых он записывал свои полусны.

Он подошел к дому, ступил на его порожек, еще не вывернутый ломом.

— Я тут жил когда-то, — сказал он оглянувшимся на него пожилым рабочим.

А две девушки уже давно смотрели на него. Едва он только появился, они бросили работу и стали смотреть на него, тихонько переговариваясь, и уже давно прыскали со смеху, найдя в нем что-то смешное.

— Я тут жил когда-то, — сказал он и девушкам. Они стояли у него на пути. — Можно, я только гляну под эти обои?

— У вас клад тут спрятан? — спросила одна. — Чур я в доле!

Он вошел в свою комнату. Он вошел не через дверь, а прямо шаг-

нул через закрай уже разобранный стены. К счастью, та стена, у которой стояла тахта, еще была цела. Он наклонился, сразу вспомнив нужное место, но обои не отошли от стены, как отходили прежде.

— Дайте мне скребок или просто железину,— попросил он.

Девушка, пожелавшая войти к нему в долю, с готовностью протянула какой-то скребок. И замерла, ожидая, что будет. Она и впрямь поверила, что этот человек явился сюда за кладом. А что, разве редки случаи, когда строители находят в сносимых домах клады? Особенно в таких совсем будто никудашных домишках. Может, тут раньше по жил или купец.

Теперь уже все рабочие, вся четверка, заинтересовались тем, что он делал. А он отдирали слой за слоем обои — много их тут накопилось, этих слоев,— искал, искал свои ночные каракули. И не находил. Выцвели, должно быть, или размыл их клейстер. Вдруг проглянуло какое-то слово. Буквы растеклись и стали непомерно велики, зыбки. Он все же разобрал это слово. «Если...» — вот что это было за слово. Только и всего: «если...» Только это «если...» и отыскалось. Что он тогда записывал, какие были слова до и после — разве вспомнишь? Он осторожно вырезал скребком лоскут обоев с этим словом единственным, зачем-то оно ему понадобилось. Как зачем? На память. Об этом доме на память. Завтра этого дома уже не станет.

Огорченный, с клочком обоев, зажатым в пальцах, он уселся на колченогий табурет. Этот табурет, кажется, стоял прежде в кухне. И вся мебель от той поры. Но глаза видели ее всю и на своих местах. Пианино у двери, качалку всегда на проходе, столик об одну ногу. Он понуро сидел на табурете, не замечая, что его разглядывают, и смотрел, приглядываясь, видя вовсе не то, что должны бы были увидеть глаза, а лишь то, что они могли вспомнить, и слыша, все отчетливее слыша в самом себе голоса из былого.

— Что, не нашелся ваш клад? — спросила девушка голосом, который еще не решил, сочувствием ли зазвучать или насмешкой. Победила насмешка: — Вы что же, так и будете сидеть? Нам работать надо.

Он подхватился и встал. И заспешил из этого дома. Но теперь он пошел привычной дорогой, как раньше ходил. Он вошел в коридор, потоптался в нем, заглянул в соседнюю комнату, благо дверь была распахнута, заглянул и на кухню, куда тоже дверь была распахнута, висела на одной петле, и вышел, ступив на порог, чтобы коснуться живого дерева, как делал это всегда и прежде.

Он молчал, но про себя все время повторял: «Прощайте... прощайте... прощайте...» Но это могло быть и «здравствуйте... здравствуйте... здравствуйте...».

Он уходил от дома, не позволяя себе оглянуться. И не позволял себе смотреть по сторонам. Так было легче вспоминать, явственнее делались далекие голоса, оживали в памяти лица людей, некогда таких близких, а ныне забывшихся. Как все же длинна жизнь. Но нет, не все можно забыть и должно забыть...

2

Он тогда переехал к Клавдии Павловне в тот же день. Он спешил, ему осточертел его профессор, который, оказавшись без работы, переключился на чтение сорокапятиминутных лекций не выходя из дома, хотя слушатель у него был теперь один-единственный: его жилец. Профессор этот попал в космополиты, но по недоразумению. И это-то он и вколачивал в сознание своего жильца, по привычке всякий разговор растягивая на сорок пять минут, на разлюбезный его сердцу академический час. Ну, а когда профессора вернули к полезной дея-

тельности, он и тогда не прекратил своих домашних лекций. Но если уволенный он осуждал, то принятый вновь стал восхвалять. От профессора просто тошнило.

Лишь переехав, уже после того, как разложил свои нехитрые пожитки, он пошел представляться хозяйке. Надо было назвать себя, рассказать о себе, уведомить, что он хоть и снимает комнату, то тут, то там, но имеет постоянную московскую прописку, как и подobaет настоящему москвичу. Прописан он был у своего дяди, но жить у дяди, как когда-то жил, в пору студенчества, теперь не мог. Но об этом потом.

Итак, он постучал в белую, из двух створок дверь — слишком высокую, слишком парадную для этой квартирки — и вошел на половину хозяйки, дабы представиться ей по всем правилам. Они были знакомы какие-то всего часы, а ему, когда он вошел, показалось, что они знакомы давным-давно. Комната Клавдии Павловны, вся эта бедная сборная обстановка, и сама она, занятая каким-то шитьем, вот эта швейная машина на столе — ну все, до мелочей самых, было знакомо ему, он и сам возрос в доме с такой же, какая придется, мебелью, с неизменной машиной на обеденном столе, с неизменным шитьем в руках матери, с вечными проблемами, будто навсегда вставшими по углам, — где взять, как прожить, как дотянуть до новых денег?

С Клавдией Павловной невозможно было хитрить, корчить из себя кого-то там, кем ты на самом-то деле не был. С ней уж если затевать разговор, то говорить надо было просто и откровенно. Вот такая она была женщина, сразу показалась такой, и это первое впечатление не обмануло. Всего лет на шесть, на семь старше него, она показалась ему намного старше, нет, не обликом своим — лицо у нее было молодое, — а тем старшинством, какое ощущается порой в женщине, старшинством не прожитого ею, а пережитого.

Но и он тоже не порхал по жизни. Ему почему-то очень важно было, чтобы она узнала, как солоно ему досталось. Сразу же, с первых же слов, он начал выкладывать ей о себе. Про то, как воевал, что нет, героем не был, но и ему досталось. И про то, как после войны был направлен в Ашхабад на киностудию, в сценарный отдел, так как по профессии он сценарист, кончил ВГИК. И про то, как рухнул недавно этот Ашхабад, да, да, рухнул весь, без остатка, это уж точно, это уж святая правда — он сам там был, сам все видел. И про то, как он ушел из кино после этого сокрушительного ашхабадского землетрясения, которое на многое, на очень, очень многое открыло ему глаза. Но об этом потом. Он так и сказал:

— Об этом потом.

И верно, разве за один разговор все расскажешь?

Она слушала, продолжая шить, кивала его словам, участливая, внимательная, и все понимала, ничему особенно не изумлялась. Даже ашхабадскому землетрясению она не очень изумилась, хотя почти ничего о нем не слышала, тогда о нем не писали. У нее муж недавно умер. От инфаркта. И ее мать умерла, и вскоре затем очень тяжело заболела девочка. Да и сейчас все еще никак не оправится. И деньги добывать страшно трудно. Она многие годы прожила за мужниной спиной, ничего как следует не научилась делать, разве что хорошей была хозяйкой, хорошей матерью. Но этого мало, чтобы жить теперь одной, чтобы воспитывать дочь, чтобы дать ей, как мечтал муж, настоящее образование. Она не жаловалась, эта женщина не жаловалась, она рассказывала о своих бедах спокойно. Но и чужим бедам не особенно изумлялась, потому-то и не охала и не ахала, когда слушала о землетрясении. У нее оно собственное было, это землетрясение.

И только уж под самый конец их первого разговора вспомнил он, что пришел к своей квартирной хозяйке представиться, пришел паспорт ей отдать, и, спохватившись, назвал себя:

— Леонид Викторович, ну, просто Леонид, Леня.

А она назвала себя:

— Клавдия Павловна.

Они уже многое знали друг о друге, о многом догадались друг про друга, а только теперь назвали свои имена.

Спустя какое-то время вернулась дочь из школы. Это была худенькая, болезненная девочка с глазами, как у мамы, синими и громадными. Но мамины глаза многое уже знали, часто темнела в них синева, а то и тускнела, а у Машеньки глаза лучились и лучились, побеждая болезненную бледность ее личика, делая его красивым.

Спустя еще какое-то время, уже вечером, постучал в дверь их друг Сергей Сергеевич. Этот человек был примечательной внешности уже хотя бы потому, что он совершенно о своей внешности не заботился. Неведомо во что он был одет, старорежимное какое-то пальтецо, будто раздобытое из реквизита. Крылатка не крылатка, бекеша не бекеша. Словом, верхняя одежда. Он скинул эту верхнюю одежду и оказался в кургузом пиджачишке довоенных времен и той же поры широченных брюках. А на ногах бутсы. Смешон? На первый взгляд, конечно, он был смешон. Но первый взгляд короток. Он заговорил, протянул Леониду широкую, крепчайшую ладонь, приветливо улыбнулся ему, пожимая руку, прямо, не отводя глаз посмотрел на Леонида, и как-то вдруг весь его забавный облик поистаял, а вместо смешно одетого чудака увиделся прочный, и умный, и бывалый человек, просто-напросто нынче оказавшийся без средств, чтобы обзавестись более привлекательной одеждой. А может, этому человеку и безразлично было, во что он одет? Ходок. Была бы прочная обувь на ногах. А наверное, и действительно немало поколесил он по миру. Лицо у него было обветрено, как у путешественника или альпиниста. И все морщины на лице его, а их было множество, хотя был он не так уж и стар, под пятьдесят ему было, все морщины уложились как раз так именно, как у путника, часто шедшего против ветра, часто шутившего от бьющего в лицо солнца.

Про себя он ничего рассказывать не стал. И выспрашивать Леонида ни о чем не стал. Он помалкивал. Он был занят тем, что то на мать поглядит, улыбнувшись морщинками, то на дочь поглядит, морщинками же улыбнувшись. Клавдии Павловне одна улыбка, Машеньке — другая. Женщине он улыбался робко и верноподданно, девочке — дружески, ласково.

Из карманов своего пиджачка и широчайших брюк, очень неловко орудуя большими руками, красноватыми, будто навсегда замерзшими, Сергей Сергеевич начал извлекать и выкладывать на стол какие-то сверточки, кулечки. Он был смущен, движения его были скованны, кулечки свои он складывал на самом краешке стола. В них оказывались, когда он разворачивал бумагу, то бутерброд с семгой, то бутерброд с сыром, то еще с чем-то. Этих бутербродов набралось порядочно.

Клавдия Павловна морщась и даже как-то осуждающе следила за суетливыми движеньями своего друга, а Машенька чистосердечно радовалась бутербродам. Зная, что найдет в ней союзницу, Сергей Сергеевич ей и пододвинул свое угощение.

— Эх, чайку бы сейчас, — сказал он. — Намерзся. Ветер сегодня на ипподроме ну просто шквальный.

— Выиграли? — сухо спросила Клавдия Павловна.

— Самую малость. — Сергей Сергеевич от смущения уронил один

из своих сверточков на пол, наклонился и покачнул стол.— На фаворитов ставил — какой уж там выигрыш.

— Уж лучше бы вы проигрались,— сказала Клавдия Павловна, и глаза у нее потемнели, а губы жестко распрямились.— Совсем бы проигрались. До последней до копеечки.

— Я так не могу,— кротко улыбнулся Сергей Сергеевич.— Я лошадок слишком хорошо знаю. Какая-нибудь да выручит.

— Но там же у вас все обман, обман, обман! — Клавдия Павловна не возвысила голос, а показалось, что она кричит.

— Верно, много махинаций, это верно. Но я на махинации не иду, Клавдия Павловна, я от лошадок имею. Это — спорт. Сперва спорт и уж потом тотализатор.

— Боже мой, и это называется спортом!

— Кому что, Клавдия Павловна. Шахматисты тоже получают свои призы. Вот и я решаю шахматные задачи. Тут и лошадь, ее родословная, и сама она, какая она нынче, и даже сию минуту какая. Тут и наездник с его психологией, а уж в этой психологии чего только нет. Вот и решаешь, прикидываешь.

Сергей Сергеевич отвечал Клавдии Павловне, не споря с ней, а просто так, для застольной беседы, уж коль она коснулась его лошадок. Какой уж тут спор! Он, этот спор, давно перестал быть спором для них. Она при своем оставалась мнению, а он — при своем. Возможно, что он отвечал ей нынче так обстоятельно еще и потому, что за столом присутствовал посторонний человек. Для него и весь разговор, возможно, затеялся. Его вводили, так сказать, в курс жизни этой осиротевшей семьи, которую вот подкармливал бутербродиками с выигрыша на бегах странного обличья Сергей Сергеевич. Так вот почему у него такое обветренное лицо. Нет, он не путешественник, не альпинист и не любитель загородных прогулок. Он — тототник, игрок на бегах, из тех, что ставят на фаворитов, чтобы хоть малость какую-нибудь да выиграть, из тех, что живут с этого. Выиграл десяточку — и в буфет. Пятерку проел, а пятерку опять в игру. И так день за днем. Дождь ли, ветер ли, а они там — у барьера, у круга, по которому мчатся, выкладываясь, надрываясь, честные лошади, управляемые часто нечестными людьми. Леонид бывал на бегах, видел тамошних завсегдатаев, дивился их сосредоточенным лицам, затаенной страстности в их глазах, причудливым прыжкам их удач и поражений. Выходит, этот Сергей Сергеевич из племени прикованных к лошадям? Занятное знакомство.

А на столе уже появился чайник, за которым сбегал на кухню Сергей Сергеевич, и Клавдия Павловна принялась разливать чай. И Леониду вместе с чашкой чая был пододвинут один из принесенных тототником бутербродов.

— Отведайте, не побрезгуйте,— сказал ему Сергей Сергеевич, и все морщинки на его обветренном лице путешественника улыбнулись Леониду.

Покинув двор, где погибал домик Клавдии Павловны, на память о котором уносил он всего лишь клочок обоев, Леонид Викторович по своим нынешним делам никуда спешить не стал. Он преданно оставался в той поре, в тех делах, которые добывала ему сейчас память. И вспоминалось многое так отчетливо, что и тех дней настроение вспомнилось, и какие-то очень молодые решения, молодые поступки тоже вспоминались, заставив нынешнего Леонида Викторовича изумляться себе самому, себе тогдашнему.

Улица, завернув, вытекала на бульвар, а там увиделось летнее кафе, еще открытое, хотя уже и настала осень. Леонид Викторович зашел в это кафе. Он не собирался сегодня пить, он вообще пил теперь редко, а уж один и подавно не пил. Но он попросил себе сто граммов коньяку, чашку кофе. Ему и есть не хотелось, но он взял несколько сохлых бутербродов. Со всем этим он уселся в углу кафе, пребывая вовсе не в нынешнем дне — какое там! — а в днях минувших, на два с лишним десятилетия поманивших назад. Там эти бутерброды были не часты, и как же часто хотелось есть. Он сидел в углу, не притрагиваясь к коньяку, не притрагиваясь к еде, сидел, прислушивался. Не к нынешним звукам, а к тем, тогдашним. И за стекла он так пристально смотрел, следя за падающими листьями, потому что и листья эти казались тогдашними.

Он тогда писал повесть, да, он ушел из кино и решил стать писателем. Прекрасное решение. Тем более что в кино и делать было нечего в те времена. Даже прославленные мастера годами пребывали в простое. Он решил стать писателем. Впрочем, выбора не было. Если не жалкое ничегонеделание на какой-либо студии, право пребывать на которой давал ему диплом, а он от этого права отказался, то выбор иных возможностей был очень невелик. Работать в газете? В штат его не брали. Там были свои парни с дипломами, ждавшие очереди на штатное место. Уехать? Но он только вернулся. Перед глазами все еще лежал в руинах знойный город, где рухнули не только дома, а рухнула и вся его прожитая жизнь. А надо было писать, прозу писать, давно надо было заняться делом, к которому он себя уготовливал. Может, и зря выбрал он этот путь? Может, ничего и не выйдет? Но надо было попробовать.

Денег не было. Он перебивался статейками к праздничным датам, писал, о чем закажут, печатаясь в ведомственных газетах, где отделы литературы были в пренебрежении, серьезные авторы туда не шли. Изредка приходили переводы от родителей. Они все еще жили на Урале, куда занесла их эвакуация. Стыдно было получать эти переводы, но денег своих, заработанных, всегда не хватало, а повесть писалась очень медленно. Вот так он и жил.

И тогда была осень, как и сейчас. Впрочем, тогда-то она и была, эта осень, — с дождями, со слякотью, с промокшими ботинками. Он эту осень ощущал как живое и люто враждебное ему существо. А сейчас, только вспомнив былое, он вспомнил об осени. Сейчас будь то осень или самая суровая зима, они не несли ему страдания. Он не промокал, не холодал, он почти не соприкасался с суровыми этими временами года, защищенный от них добротной одеждой, добротным жильем. Порой, если много приходилось работать, он даже не замечал, что за время года на дворе. Неприметно проскакивала мимо глаз осень, зима, не раня, не пугая, проходила и уходила и казалась короткой, а не бесконечно длинной. Но если надо было ему описывать осень, он писал ее не теперешнюю, а тогдашнюю, по воспоминаниям писал. В том-то и дело, что трудное запоминается, а легкое ускользает из памяти. Пожалуй, трудное и лепит человека.

Помнится, он скоро заскучал за столом у Клавдии Павловны. Он тогда мигом во всем там разобрался, все расставил по своим местам. Ну, любит этот чудак Клавдию Павловну, ну, а она его только терпит, не может забыть мужа. Вот и вся история. Знал он истории позанятнее, похитрее. Еще недавно сотрясли его такие события, столько всяких клубков пришлось распутывать, что эти двое, бедная их, тихая жизнь уж никак не могли удивить его чем-либо.

Попили они чаю, и он пошел к себе, в свою комнату, достал из чемодана рукопись и положил ее на круглый столик, рядом поло-

жил стопку чистой бумаги, несколько хорошо отточенных карандашей, лезвие от безопасной бритвы, чтобы эти карандаши точить. И все, можно было садиться и начинать работу. Но не в первый же вечер усаживать себя за стол. Он присел на тахту, огляделся. В маленькой комнате было два окна и две большие двери, одна из которых была двустворчатой. Да, многовато тут было выходов в мир. И всякий звук из соседней комнаты доносился к нему. И двор был слышен. Там сейчас шел дождь и было слышно, как в палисаднике ударялись капли о лужу под окном и всплескивали, отскакивая и дробясь. И вдруг так тоскливо стало, неприятно, одиноко...

Леонид Викторович зябко ужал голову, как тогда, как в той комнате. Все вспомнилось, даже тогдашняя неприятность.

А за стеной, за двустворчатой дверью звучали голоса. Говорившие всячески старались сделать их неслышными, но и шепот был слышен Леониду. Слушай не слушай, а что-то да услышишь. И даже не в словах было дело, а в самом звуке этих слов, в натянутой в них ноте. Сергей Сергеевич любил, голос у него был такой, ответы Клавдии Павловны старались только не обидеть. И это тянулось, тянулось. Под эти голоса Леонид и уснул. И сразу же настиг его неотступный сон — Ашхабад снился.

События те были такими недавними, что еще были жизнью его и, как все, что есть жизнь, повседневность, худо осознавались. Ну, землетрясение, ну, тысячи людей погибли, ну, собственная твоя жизнь потекла по другому руслу, ну и что тут такого, в конце концов? Бывали времена и похуже, с еще большим запасом рока, война была. Так думалось, так рассуждалось наяву, в реальной суете жизни. Но ночью, но во сне, а еще верней в полудреме, когда и спишь и не спишь, когда будто сам на себя поглядываешь со стороны — бодрствующий на сонного, сонный на бодрствующего, — вот тогда Ашхабад, его многоликое лицо вставало перед глазами. И устрашающе падало сердце, и вдруг понималось все: вся утрата, вся невозвратность. Полудрему сменяли сны. Их было немного. В счастливые ночи снились всякие там кошмары, погони — словом, чепуха, от которой легко можно было отделаться, проснувшись на один всего миг. Проснулся, отмахнулся и валяй спи дальше, в новый забредая сон. Но от ашхабадских снов пробуждение не избавляло. И лучше было не просыпаться, не проваливаться в безысходность осмысления только что увиденного. Виделось же немногое и почти одно и то же. Руины, руины, кладбищенские новенькие надгробья, бесконечные ряды этих надгробий — все чаще гипсовые старухи с рогом изобилия в руках. И виделась тишина, оглохшая тишина, над которой клубилась пыль. Закричать бы, спугнуть бы эти крылья, нависшие над тобой. Не вскрикивалось. И невмоготу становилось удушье. Вот и весь сон, что один, что другой. Ашхабад не отпускал. И хоть бы разочек приснился старый город, тот, что был до землетрясения. Счастье не снится, по-видимому. А если и снится, то только в такую пору, когда ты не понимаешь, что снится тебе счастье...

Надо было все же выпить заказанный коньяк. И пожевать какой-нибудь из этих бутербродов. Хотя бы из уважения к прошлому выпить и пожевать. Леонид Викторович выпил и пожевал. Коньяк был прототивный, но от него стало теплей. Нет, осень за стеклом была не тогдашняя, а нынешняя. Она не пугала бесконечностью дождливых дней, предвестием зимнего холода. Другие теперь у него были проблемы, другие заботы, не такие простые и насущные, как раньше, когда, кажется, больше всего заботили худые ботинки, которые начинали хлюпать, едва он ступал на мокрый асфальт. Новые купить было не на что. Последние три сотни он отдал Клавдии

Павловне, заложив их в странички паспорта. Нельзя же было поселяться, ничего не заплатив. Похоже, ей эти три сотни были не менее нужны, чем ему.

Он проснулся тогда с мыслями о дожде, не прошел ли. Дождь все всплескивал. Он оделся и пошел умываться, раздумывая, где бы перехватить денег. Легче всего было бы попросить их займы у дяди. Но как раз это и труднее всего было. Дядя деньги бы дал. Только он бы дал их с разговорами. Он осуждал племянника, что тот бросил работу и — смотрите, какой герой! — вообще распрощался с кино. А диплом? Зачем же тогда было учиться во ВГИКе? Ах, он собирается стать писателем? Но, друг мой, это же несерьезно. Повесть... Писательство... Это, кажется, не так просто, а?.. Нет, за деньгами к дяде идти было невысказано.

В узкой, как коридор, ванной он столкнулся с Сергеем Сергеевичем. Без пиджачка тот был куда представительней. У него были широкие, угловатые плечи, прочные, не обмякшие.

— Как на новом месте спалось? Надеюсь, недурно? — Сергей Сергеевич по-вчерашнему был приветлив, щедро улыбался морщинками. — Чайник у меня уже кипит. Милое дело — крепкий чай утречком. Со-гласны?

— Да у меня ни заварки, ни сахара. Надо еще обзаводиться.

— У вас нет, у меня есть. А там, глядишь, наши роли поменяются. Свои люди, сочтемся.

Чай они пили вместе. Девочка ушла в школу, а Клавдия Павловна отлучилась по каким-то делам. Чай пили на кухне, тоже узкой, как коридор. Здесь все было узким, выгороженным. А потолки высокие.

«Мне там жилось узко и высоко», — подумал Леонид Викторович, профессионально тут же отметив, что подумалось как написано. Он давно привык к своим размышлениям фразами, которые он тут же и редактировал, если эти фразы-мысли не удавались. Тренаж, тренаж, у каждой профессии свой тренаж. Он замечал, к примеру, что учителя и дома у себя разговаривают учительскими голосами даже со своими собаками и кошками, а актеры и в жизни спорятся, не забывая о дикции, о задних рядах галерки. Тренаж, тренаж. Наверное, демагог и в постели с женой демагог. «Как ты можешь говорить, что я тебя не люблю?! Как смеешь так говорить, когда я столько для тебя сделал!»

Все же хорошее это зелье — коньяк, усмешливое. Но только в меру, знай меру! Будет жаль, если память вдруг подернется туманом. Нынче день для ясной памяти. Такие дни редки. И все реже они будут случаться в жизни. А в старости и не нужны будут. Впрочем, как знать. Старость — это еще предстоящее.

Да, так попили они чаю... А потом очутился он вместе с Сергеем Сергеевичем на бегах. Сам напросился. День был скверный, к работе не тянуло, а с Сергеем Сергеевичем было просто и не одиноко.

Он потому бывал раньше на бегах, что его институт в довоенную еще пору находился на Ленинградском шоссе, совсем рядом с ипподромом, и студенты нет-нет да и сворачивали в ворота, над которыми вздыбливались гипсовые грудастые кони. А однажды чуть ли не весь институт организованно явился на бега. Режиссер Барнет снимал там свой фильм «Старый наездник», ну, а вгиковцы в полном составе участвовали в массовке, изображая азартных завсегдатаев бегах. За участие в массовке платили двадцать пять рублей, за участие в эпизоде — семьдесят пять.

Ему очень хотелось попасть в эпизод, слово какое-нибудь вымолвить, но в эпизоды брали только ребят с актерского факультета.

Зато теперь он попал в эпизод...

Сергей Сергеевич ввел Леонида на территорию ипподрома не через главный вход, а через узенькую в заборе дверцу, возле которой ошивались странноватые людишки, поистертые, поизмятые, повыцветшие. Но народ это все был веселый, говорливый, бойкоглазый. За калиткой целая толпа стеклась из подобного люда. То были знатоки, тототшники со стажем. Высшим шиком у них считалось обсуждать заезд, не заглядывая в программку, которая нужна им была вовсе не для того, чтобы узнать что-либо о лошадях, про которых они все знали, а лишь затем, чтобы какие-то в программке тайные значки сделать, на кого и как нынче ставить. Они и переговаривались между собою тоже чуть ли не значками, гримасничая, подмигивая, поводя плечом, выбрасывая пальцы, будто сделались глухонемыми.

Сергей Сергеевич в этой толпе пользовался заметным уважением. К нему подбегали поздороваться, возле него задерживались в надежде, а не обронит ли он нужного словечка, не скажет ли, на кого нынче собирается ставить. Но он помалкивал. Как раз начался показ лошадей перед заездом, и Сергей Сергеевич, опершись на барьер и коротко взглядывая на лошадей, что-то стал быстро отмечать в своей программке. У Леонида программки не было: купили одну на двоих. Да и зачем она ему была нужна, когда он ровным счетом ничегошеньки не смыслил во всех этих лошадях и их наездниках в ярких разноцветных камзолах.

И все же он неотрывно смотрел на лошадей, на нервные и прекрасные их тела, на чуть горбоносые, аристократически маленькие их головы, стараясь понять, догадаться, какая же тут самая лучшая, какой суждено быть в заезде первой. Гневно светились громадные глаза, яростью пенились измятые мундштуком губы — лошади рвались вперед. Но наездники их сдерживали, изо всех сил натягивая вожжи. Леонид так и не решил, какой из лошадей отдать предпочтение. Все было хороши. Вот начнется заезд, тогда и выяснится, какая чего стоит. А выяснять-то надо было до заезда, в том-то и дело, чтобы успеть сделать ставку. Весь интерес тут был сосредоточен на том, чтобы угадать выигрыш, а вовсе не на том, чтобы следить, как какая лошадь пойдет, как придет. Здесь не борьба царствовала, здесь царствовала угадка. Хитрая такая, многосложная, где всяких и во множестве было заплетено узлов. Лошадь — что лошадь? А как еще себя поведет наездник? А нет ли нынче сговора? А если есть, то не струсит ли в последний миг кто-либо из сговорившихся или, может, совесть в нем проснется?

Сергей Сергеевич взял Леонида под руку, повел к кассам.

— Деньги какие-нибудь у вас есть? Ставить будете?

— Есть.— Он извлек из кармана последнюю свою десятку.

Отчетливо припомнилась Леониду Викторовичу эта сложенная вчетверо сизоватая бумажка, которую он тогда выложил на ладонь. И отчетливо вспомнилось, как Сергей Сергеевич, таясь стороннего глаза, показал ему пальцем в своей программке, каких лошадей следует называть.

— Запомнили? — спросил он, не называя вслух имен лошадей, поскольку вокруг в избытке толклось охотников узнать, на кого же будет ставить Сергей Сергеевич.— Эти много не привезут, но почти наверняка привезут. Важен почин.

И отчетливо вспомнилось Леониду Викторовичу, как он тотчас решил не следовать совету Сергея Сергеевича, самонадеянно положившись на свою удачливость, зная — наслышан был, — что новички, действуя по наитию, часто огребают здесь большие деньги. Когда подошла его очередь, он поближе наклонился к кассирше и, будто тайной владея, шепнул ей, как, впрочем, почти все здесь поступали, первые же

две цифры, пришедшие в голову. Он запомнил по сей день эти две цифры. А вот имена лошадей не запомнил, да он их и не разглядел хорошенько, тех лошадей, на которых сделал ставку. Он тогда и заезды по-настоящему не увидел. Мчались, мчались тела, обтекая друг друга, орали трибуны одним будто разинутым ртом, близко над ухом матерился молитвенно какой-то оборванец, тряслись на барьере чьи-то руки, сцепив намертво музыкальные, тонкие пальцы. Крутилась, мелькала лошадиная и камвольная круговерть — в одном заезде, в другом, — выкликались имена лошадей, имена наездников, а потом вдруг на миг все стихло. И в этой тишине он услышал тихий же голос Сергея Сергеевича:

— Выходит, обманул я вас, Леня, темные пришли.

— А какие? — спросил он, потому что сам ничего не мог понять. Ему только показалось, почудилось, что какая-то из его лошадей пришла первой. Одна? Надо было, чтобы и во втором заезде его лошадь пришла первой. А он упустил концовку второго заезда. От волнения глаза стали слезиться — не разглядел. И ничего не расслышал в начавшемся крике. Пришла темная лошадь, и трибуны взревели от негодования. Хитрили, темнили, а теперь вознегодовали. Неудачникам свойственно громко взывать к справедливости.

— Тройка и четверка пришли, — сказал Сергей Сергеевич. — Самые плевые в заездах лошади. А у фаворитов сплошные сбои и проскачки.

— Обман! Явный обман! — подбавляя к этим словам замысловатую матерщину, орал рядом проигравшийся оборванец. — Убивать их всех надо!

Леонид медленно разжал кулак, в котором у него был жетон тотализатора, маленькая картонка, подобная железнодорожному билету. Он разжал кулак и медленно поднес ладонь с жетоном к глазам. Они слезились — от ветра, что ли? — он никак не мог рассмотреть карандашом нанесенные кассиршей номера лошадей.

— Поглядите, что у меня? — попросил он Сергея Сергеевича.

Тот глянул, вдруг дернулся и быстро накрыл своей тяжелой ладонью ладонь Леонида.

— Пойдем! — отрывисто сказал он.

Они выбрались из толпы, но пошли не к кассам, а как раз в противоположную сторону. И Леонид пал духом, хотя на миг ему показалось, что он разглядел сквозь туман на жетоне небрежно выведенную, будто запрокинувшуюся тройку и еще более небрежную, распадающуюся четверку — эту карандашную скоропись кассирши. Ошибся, значит? А еще раз поглядеть он не мог: Сергей Сергеевич так и не выпустил из своей руки его руку.

Шли они, долго шли, но вот остановились в каком-то темном закуте под трибунами. Тут ни единой не было души. И только тут Сергей Сергеевич выпустил руку Леонида, и тот жадно глянул на свою ладонь. Не ошибся, он не ошибся, когда ему померещились на жетоне тройка и четверка! Вот они — тройка и четверка, кое-как — худо учились в школе! — выведенные небрежным карандашом кассирши!

— Выиграл?!

— Выходит... — Сергей Сергеевич был мрачен и подавлен. И эта его мрачность мешала Леониду возликовать.

— Может, что-нибудь не так? — спросил он упавшим голосом.

— Все так — знаток ошибся, новичок угадал... Бывает... О выигрыше своем помалкивайте, к кассе пойдем во время заезда. Да, история...

— Но почему же вы не рады? — недоумевал Леонид. — Мы для гого и ставили, чтобы выиграть.

— Хуже нет, когда сразу так повезет. Хуже нет.

— Не пойму что-то вас...

Впрочем, его уже перестала тревожить мрачность Сергея Сергеевича. Может, позавидовал человек? Или, что точнее, огорчился, что он, знаток, не угадал, а новичок как раз и угадал. Угадал! И такая в нем взорвалась радость, что и по сей день, спустя два десятилетия, помнил эту свою радость Леонид Викторович. Его будто подбросило тогда. Громче все звуки сделались, ярче, подробнее все увиделось. Это было ощущение чисто физическое, как удачный взлет с грампластины или прыжок в глубокую воду. Надо же, вымолвил всего два словечка, две всего только цифры — и вот вам, выиграл.

— А сколько? — спросил он.— Сколько я выиграл?

— Сейчас узнаем. Много, надо полагать. На таких лошадок могли поставить либо по сговору, либо по глупости.

Ничего, плевать, что угадал по глупости. Повезло — это главное. Ему давно уже не везло, он даже позабыл, что это за штука — везение. Ничего, пусть по глупости. Он согласен пребывать в таких глупцах всю свою жизнь.

Они вернулись на трибуны, подошли к барьеру.

— Вы только вслух-то не радуйтесь,— сказал ему Сергей Сергеевич.— Тут у нас к большой удаче относятся с подозрением. Да и прилипал хватает. Ну, что там на щите?

Леонид посмотрел туда же, куда и Сергей Сергеевич. Но только опять ничего не понял. Щит демонстрационный увидел, а во множестве цифр, какие на нем были навешаны, не сумел разобраться. И спросить было неловко. Уж совсем новичком-то он теперь и сам себе не казался. Он победителем себя ощущал, а вовсе не новичком. Да и почему — новичок? Разве не бывал он здесь раньше? Играть он тогда, правда, не играл, но смотрел же, присматривался. «Везенье, везенье, а где же уменье?» — так, кажется, говаривал Суворов, когда всякую его победу завистники объявляли всего лишь счастливым случаем. Зазнайство, подобно насморку, поселяется в человеке мгновенно. Лишь миг назад человек не хлюпал носом, а вот уж и захлюпал. Зазнался Леонид, возгордился, захлюпал носом.

— Да, порядочный кусок,— сказал Сергей Сергеевич.— Но я-то думал, что еще больше будет. Нет, кто-то и другой поставил. И не наивный, нет, тут сговором попахивает. Эх, грязнят людишки лошадей. Ладно, пошли.

Как раз начался новый заезд.

— Что же мы на этот-то ничего не поставили? — спросил Леонид.

Сергей Сергеевич как-то странно глянул на него.

— Пошли, пошли.

У касс, у окошка, где надлежало им получить выигрыш, никого не было. Но неподалеку кое-кто да прохаживался. Нет чтобы смотреть, как лошадки бегут, понадобилось им торчать возле касс.

— Так я и думал,— вполголоса сказал Сергей Сергеевич.— Высматривают, кто станет получать. Ну, господи благослови! Давайте ваш билет, Леня.

Леонид отдал билет, и Сергей Сергеевич, небрежничая, перебрал его в руки кассирши. Он ничего ни от кого не скрывал, он боком встал к кассе, безразличный к тому, что делает кассирша. Он и Леонид да к окошку не подпустил.

— Спокойнее, спокойнее,— шепнул он ему.

Любопытствующие, что толкались неподалеку, придвинулись было к кассе, но особенного интереса к происходящему не проявили. Должно быть, обманул их Сергей Сергеевич своей небрежностью. Да

и кассирша ему подыграла наилучшим образом. Опытная, видно, была женщина. Никакого удивления на лице, никакой суеты в руках. Глянула на билетик и скучные отвела глаза.

— А я-то думала! — сказала громко. — Вот уж не думала, что вы на этих темнячек будете ставить, — сказала тихо.

— Да не я, не я, молодой человек, — небрежно покрутил рукой Сергей Сергеевич. — Спасибо вам, — добавил он тихо. — Темный заезд, унести бы ноги.

Кассирша внимательно глянула на Леонида припоминая, не знаком ли он ей, и удивилась, изломав дужки бровей, что не знаком.

— Надо же... — Едва шевеля пальцами где-то у себя на коленях, она отсчитывала деньги. — Пересчитывать будете?

— Нет. — Сергей Сергеевич на миг загородил широкими плечами окошко кассы, но тотчас же и отшагнул от окошка. — Пошли, Леня, на пивко с бутербродиками наскребем!

И двинулся в сторону буфета, подхватив Леонида под руку.

— А деньги? — шепнул Леонид.

Сергей Сергеевич вместо ответа лишь прижмурил глаза.

В буфете он задерживаться не стал.

— Не здесь, в другое место пойдём. — Он шел все быстрее, будто опаздывал куда.

Миновали еще один буфет, миновали трибуну, нырнули в один проход, в другой и — вот тебе на! — оказались на площади перед ипподромом. И тут Сергей Сергеевич побежал, увлекая Леонида за собой.

— Такси! Такси! — Сергей Сергеевич чуть что не кинулся под колеса машины. Распахнул дверцу, толкнул в машину Леонида, вскочил сам. — На Ленинградский вокзал! — крикнул он шоферу. — Опаздываем! Платим тройне!

Машина рванулась.

— Гляньте-ка, Леня, — тихонько сказал Сергей Сергеевич и подтолкнул Леонида к боковому стеклу. — Вон туда, туда...

Леонид глянул, куда указывал Сергей Сергеевич, и ничего особенного не увидел. Разве что гнались за кем-то, забавно взмахивая руками, какие-то два очень неумелых бегуна, какие-то расхристанные субъекты.

— Спихнулись! — усмехнулся Сергей Сергеевич. — В погоню кинулись!

— Разве они за нами? — не поверил Леонид.

— А за кем же? Прилипали проклятые!

Верно, субъекты бежали следом за их машиной, они гнались за ними.

— Но почему? Зачем? — не умел понять Леонид.

— А не встревай не в свою игру. Или делись, если повезло по-глупому. Эх, Леня, зря я вас свел с бегами...

4

Они сидели в длинном и гулком вокзальном ресторане, а на столе перед ними чего только не было — и икра, и коньяк, и шампанское в ведерке со льдом, — но радости, ее не было, оставила Леонида радость, хотя теперь он знал, что действительно выиграл много, почти три тысячи, и деньги эти, неловко засунутые в нагрудный карман пиджака, ощутимо улеглись там, слышны были, стоило только шевельнуть плечом.

Три тысячи, по нынешнему счету триста рублей, не такие уж большие деньги для Леонида Викторовича, но то нынче, а в те поры,

когда последняя была извлечена из кармана десятка, он ощутил себя богачом. И главное, повезло, удача пришла. С нее, с этой удачи, могла ведь и полоса начаться счастливая, и она даже сверкнула перед глазами, солнечной просияв дорожкой. Сверкнула и померкла. Гасил, убивал радость Сергей Сергеевич. Мрачнее тучи был.

— Плохо, когда сразу так повезет, хуже нет.— Сергей Сергеевич все повторял и повторял эту фразу, под нее и пил, как иные пьют, приговаривая: «Пусть нам будет хорошо!» Далась ему эта фразочка!

И вдруг заговорил Сергей Сергеевич. Нет, он не речь стал держать. То был разговор с самим собой, разве что вслух. Молодой человек, что сидел напротив, не был ему в этом разговоре ни помехой, ни помощью.

За давностью лет забылись слова, какие были сказаны Сергеем Сергеевичем. Но запомнилась мука, которая жила в них, в голове жила, в этих простецких будто глазах. Мука, боль, раскаяние, что не так, зазря идет жизнь, глупо, бессмысленно, на распроклятых этих бегах.

Леонид Викторович припомнил, как пытался тогда возражать загоревавшему человеку, утешать его пытался. Как же он был самонадеян! И уж не мальчиком ведь был, уже и повидал и пережил достаточно, а все же вот легко, запросто брался утешать человека, ничего еще толком не зная о его жизни, молот какие-то слова, затертые, как и должно утешениям, настолько, что их и расслышать, наверное, было нелегким делом. Да Сергей Сергеевич, кажется, и не слушал его. Он утешения не искал.

Сергей Сергеевич пил как-то неумело, будто чай попивал. И не пьянел. Не чувствовалось, что пьянел. Глаза у него были совсем не пьяные. Они простодушные были, простецкие, с рыжими ресницами, но в них трудно было смотреть — такая в них жила безутешность.

— Кому я нужен? — тоскуя, спрашивал Сергей Сергеевич себя.— Жизнь прожил, а кому я нужен?

— А назад разве дороги нет? — спросил Леонид, готовый, помнится, одарить Сергея Сергеевича множеством добрых советов. Сам бы себе лучше посоветовал, как жить дальше. Но себе просто так не посоветуешь. Как жить — себе посоветовать не просто.

— Назад? — удивился Сергей Сергеевич.— Как это — назад? То пройдено, что было, то пройдено. Пока живешь, вперед надо толкаться. А кому я нужен?

— Себе хотя бы. Себе самому,— сказал Леонид.

Сергей Сергеевич безнадежно махнул рукой.

— Нет, себе самому человек не нужен, Леня. Не нужен. В том-то и горе, что человек должен быть кому-нибудь нужен, а не себе только самому.

Наиважнейшую мысль подарил своему молодому собеседнику Сергей Сергеевич. Тот разговор в вокзальном ресторане был из важных, из тех, что надобно помнить, из тех, что учат. Ведь верно, ведь это так: себе самому, только себе самому, человек не нужен. Надо, чтобы он и другим был нужен. Без этого нельзя, невысказанно, бессмысленно жить.

Если вспоминать, если уж начал вспоминать, день такой вышел, то постепенно на изумление много вернет тебе память. Но что-то и станет утаивать, визнавая, должно быть, каков ты ныне. хватит ли у тебя ума и, главное, мужества, чтобы вспомнить и такое, что вспоминать будет трудно, что вспомнить и надо, обязательно надо, да в должный час. Так вот подошел ли этот час? — будто визнаёт твоя память прежде чем открыгься тебе...

Они вскоре ушли из гулкого вокзального ресторана, где все располагало к унынию, если это не ты торопишься в путь и паровозные гудки за стеной — не для тебя, а для другого. Они решили перекочевать домой, к Клавдии Павловне. Теперь это был и его дом, и Леонид закупил всяческих деликатесов, чтобы там, в этом доме, где укоренилась нужда, грянул праздник. Сергей Сергеевич не мешал ему швырять деньгами. С выигрыша это и полагается. Он сам бы так поступил. Но он решительно воспротивился, когда Леонид, заскочив в универмаг, чтобы купить себе столь необходимые и вожделенные ботинки — он тут же сунул свои, прохудившиеся, в урну, — надумал и Сергея Сергеевича одарить какой-нибудь обновой.

— Ваша, ваша удача, — сказал Сергей Сергеевич и как-то по-странному пошутил, будто посочувствовал: — Вам ее и хлебать самому.

Заявились пьяные да веселые. Сергей Сергеевич повеселел, лишь к дому подойдя. Распрямился, встряхнулся, заулыбался морщинками, словно скомандовал сам себе: «Будь веселым, тебе говорят!» А Леонид в новых-то ботинках и в самом деле повеселел. Великое это дело, когда шлепаешь по лужам, а ноги сухие.

— Господи! — воскликнула Клавдия Павловна, когда узнала обо всем. — Да мой муж сколько лет на бегах играл, а никогда и близко так не выигрывал, хотя считалось, что ему везет. Вот кто везучий-то! А вдруг и мне теперь посчастливится — рядом-то с удачей? — И она даже дотронулась рукой до плеча Леонида суеверным, скользящим движением, как слепая бы это сделала. И, как у слепой, стало серьезным ее лицо. Приспущенные ресницы, губы разнялись, будто прислушивается. К чему? К чужой удаче, к своей надежде? Человеку надо верить, должно надеяться, ему необходима удача. Женщине еще более, чем мужчине. Оттого женщина так и тянется на огонек удачи. Ей детей рожать, растить их. Хочется ли рожать неудачников, растить бедолаг?

Клавдия Павловна скрылась в своей комнате и вскоре вышла оттуда в нарядном платье, причесанная, но как-то так ловко, что, пожалуй, ни один мастер бы так ее не причесал. Глаза ярко-синие, счастливые — не много же ей надо! Волосы высоко подняты, и от этого молододостроило лицо. Гребенка голубенькая в волосах — и та на месте, светится, будто дорогое украшение.

Леонид глянул на свою хозяйку и не сумел узнать в ней сдающуюся уже женщину, только что отворявшую им дверь. Великое это колдовство — умение женщин вмиг перемениться, помолодеть, похорошеть, поверить, обрадоваться, лишь бы только было чему. Самой малости хоть.

Леонид глянул на Сергея Сергеевича и тоже не узнал сперва. Вдруг морщин в его лице почти не стало, потвердело, напряглось лицо. А морщины — они все сбежались ко лбу и к ушам от восхищения, от молитвенного этого восхищения, каким жил сейчас Сергей Сергеевич.

— Ну что вы замолкли? — спросила Клавдия Павловна, прекрасно понимая, отчего они замолкли. У нее даже голос про это понимал, он пел, он переливистым стал.

— Какая ты красивая, мама! — сказала Машенька, радостно сведя ладони. — Как я тебя люблю такой. Будь всегда такой!

Вот что наделали эти кульки на столе, этот праздник негаданный, заглянувший в бедный этот дом. Да здравствуют тройка и четверка, и к чертям благоразумие!

Удача — как она подманивает. Особенно женщин. Они веруют в удачу, как в бога. Это мужчина покупает трехпроцентные облигации, выискивая какую-то систему, планируя свой выигрыш. Женщина не планирует, она верит случаю, она купит всего одну-единственную облигацию, веря свято, что как раз эта и принесет выигрыш. Женщина верит в случай, верит в приметы куда серьезнее, чем мужчина. Она живет больше сердцем, чем разумом. Впрочем, это только одно из предположений в бесчисленном ряду догадок о том, что есть женщина.

Клавдия Павловна в тот вечер только на Леонида и смотрела, только его и слушала. Он был для нее живым олицетворением победоносности, а стало быть, был красив, находчив, остроумен, добр, великодушен, загадочен. Пожалуй, прежде всего загадочен, как всякая удача, и притягателен, как всякая загадка. А он, кажется, давно так не был болтлив бесконтрольно, как в тот вечер. Машенька следом за матерью тоже очень заинтересовалась им. Как мама, смотрела на него, подперев ладонью подбородок, синие распахнув глаза. Как мама, тихонечко начинала смеяться, а потом звонче, звонче, самозабвенно. Смех женщины и девочки, сливаясь, превращался в музыку, в ту самую, без которой не живет удача.

Сергей Сергеевич как должное принимал, что за столом царил Леонид. Сергей Сергеевич помалкивал больше и все не забывал так держать на лице свои морщинки, чтобы казалось, что он улыбается. А было ему очень невесело, и иногда он кивать принимался сам себе, своим мыслям. Чему он кивал тогда? Может, подтверждал: все, мол, все по начертанному. Удача игрока — она и не таким молодым кружит голову. Тем и страшны бега. Вот он, ведь он во все свои игроцкие годы не выигрывал сразу столько, сколько этот паренек при первой же ставке. Так что же, глупость это все — эти бега? Обман один? Ну, он и всегда знал, что там много обмана, он знал про это, конечно, но уж очень глупо все нынче вышло. И потом, Клава-то, Клава — как ее взбудоражило...

Она тоже была не чужда бегам. Ее муж, покойный Митенька, бойко прожил свою жизнь. И на бегах поигрывал и в картишки. Оборотист был, предприимчив. Эту вот квартиру из ничего, из бывшей дворницкой, соорудил. И вполне даже приличная вышла квартирка. Здесь он и познакомил своего «по бегам приятеля» с женой. А приятель этот, на беду ли, на счастье ли свое, как увидел Клавдию Павловну, так и обмер, заledenел аж, поняв, что — вот она та единственная! — что он полюбит ее, полюбил уже, вмиг и до конца своих дней. Когда оно обрушилось на него — знакомство это? Да года три назад. Иной она была. Иной? Какой же? Он перемен в ней не умел подмечать, она всегда была прекрасна в его глазах. Только тогда она была такой, как сейчас, как за этим застольем, всегда, а не изредка. Смеялась вот так вот, чуть малейший дай повод, вот так вот, как сейчас, закидывая голову. Но умер муж, отшумел, отвеселился и помер, вышутив у господина смерть короткую и легкую — от инфаркта, и она увядать начала, растерялась, поникла. Муж на работу ее не пускал, ничего толком делать она не научилась, а тут вдруг одна, с маленькой девочкой на руках, а никаких сбережений, ценностей, колечек там или брошек в этом развеселом доме и искать было нечего. Жили днем. Вот и стал он помогать вдове и дочке своего «по бегам приятеля», играя еще осторожнее, чем обычно, ставя расчетливо, на фаворитов, в заезды, от которых не ждал подвоха. Проигрывать теперь он не имел права. Хоть что-нибудь, а надо было приносить в дом. Его работа киоскера давала скудный заработок. Кое-кто и на этой работе умел

обернуться с пользой для себя, чем-то там еще приторговывая помимо газет и журналов. То были пути коммерческие, словом, ловчить надо было. Он этого не умел. Уж такой уродился, не умел. А бега? А там разве честность? Что — бега? Честный человек и там может быть честен. Он любил лошадей, знал их, и это-то знание его и подкармливало. Не очень-то щедро, а все ж таки... Но Клава-то, Клава!.. Неужто этот парень вскружил ей голову? Парень или его удача? А разве поймешь, что поманило женщину? Она и сама, спроси ее, не ответит, если б и захотела. Кроток, тих был Сергей Сергеевич. Сидел, помалкивая, улыбался морщинками, смаргивая свои мысли короткими ресницами. О чем мысли-то?

В тот вечер не до Сергея Сергеевича было Леониду. Удача несла его на крыльях, он был в ударе, он говорил без умолку, и его слушали затаив дыхание. Он рассказывал про ашхабадское землетрясение. У него множество сложилось новелл про это сокрушительное событие в жизни далекого знойного города, и он уже начал специализироваться по части рассказывания таких новелл, заметив, что они всегда вызывают интерес у слушателей. Ведь про Ашхабад ничего не писали. Считалось, что упоминания об ашхабадском землетрясении отобьют охоту у людей селиться в городах Средней Азии, обживать наово Ашхабад.

И недавнее трагическое событие, как бы сгинув из истории жизни народной, уже стало превращаться в легенду, в бесчисленные эти рассказы-легенды об одиннадцати секундах, сотрясших землю. Иные из этих рассказов казались фантастичными.

Подумайте, сколько жителей погибло под развалинами. Самое страшное было то, что в этом преимущественно одноэтажном городе все окна, выходявшие на улицу, были зарешечены. Жара. Створки окон почти всегда распахнуты. Ну и решетки действительно были необходимы. Но... но в ту ночь тысячи людей погибли из-за этих решеток.

А вот вам история, как женщина спасла своего ребенка. Она наклонилась над ним, и, когда рухнула кровля, она, хрупкая женщина, на себя приняла всю эту громадную тяжесть. Она умерла, но и мертвая держала на себе всю эту тяжесть. Утром, только утром разобрали рухнувшие стены ее дома. Ребенок был жив.

Клавдия Павловна даже вскрикнула, дослушав этот рассказ про женщину и ребенка. Он поразил ее. Она себя представила вместо той женщины, и к дочери метнулись ее глаза. Должно быть, в миг тот Клавдия Павловна спросила себя: «А ты бы смогла?» Спросила, и глаза ее погасли. Не поверила, что смогла бы? А человек и не может знать, на что он способен, пока не случится нечто такое, когда надо действовать изо всех своих сил и сверх своих сил. Вот тогда и узнается, на что он способен. Только тогда. Иной ни на что не оказывается способен. Иной принимает на себя убийственную тяжесть и мертвый держит ее, чтобы спасти другого.

Что осталось в памяти у Леонида Викторовича от бесконечно далекого того вечера, что вспыхнуло раньше всего, чтобы осветить потом всю картину? Вот этот вскрик Клавдии Павловны вспыхнул, вспомнился. И еще вспомнилось, как глядел на нее Сергей Сергеевич. Он не все время глядел на нее, он отводил глаза, даже отворачивался, но казалось, что он не отрываясь смотрит на нее. Это запомнилось. Доброта, терпеливость, преданность, зоркость и... слепота его глаз. Кто же был счастлив — он со своей удачей? Нет, не он, а Сергей Сергеевич. Любить — всегда счастье. Даже если любовь твоя безответна.

Вспомнилось главное, и стала раскручиваться вся картина, будто в памяти был упрятан моток киноленты и надо было лишь потянуть за краешек, чтобы моток этот начал раскручивать витки. И уж тут поспевай только всматриваться в эту киноповесть про тебя самого. Порой и действительно чувствуешь себя как в кино, но только на каком-то удивительном фильме, где, кажется, режиссером работал сам господь бог. Вот бы где поучиться монтажу, этим стремительным перепадам событий, этой свободой в обращении с человеком, с его душой, мыслями, с его правдой и неправдой в себе. Порой же то был не фильм, пусть самый удивительный, а было это все болью, одной лишь болью, когда вспоминаешь про себя что-то такое, что тягостно, больно вспомнить. А надо. Зачем? Да, надо, надо. Вспоминать себя, выверять себя время от времени необходимо. Дабы не погрязнуть в самодовольстве. Дабы не погрязнуть в унынии. Дабы не погрязнуть вообще...

В тот вечер удача несла Леонида на крыльях и занесла в дом к одной девушке. Что сказать о ней? Она была очаровательна. Она была в той поре расцвета своей юности, когда все было солнечно в ней. Нет, она не была красива, стройна, совершенна. Напротив, лицо у нее было кустодиевской круглоты и полноты, излишне полными были ее ноги и быстрыми, даже порывистыми движения. Но она была хороша. Своей молодостью, юностью. Своей жадностью к жизни. Тем цветом, что жил в ней. Кустодиев, прости, ты бы не сумел отыскать этот цвет. Умна ли она была? А зачем ей был нужен ум? И какой ум? Она жила, просто жила, изготавливаясь к какому-то празднику, который обязательно должен был выпасть на ее долю. Это было бесспорно, праздник был уготован ей, а она — ему. И все, что она делала, было сродни инстинкту, а не рассудку. Вот какая то была девушка, жившая неподалеку, совсем рядом с той улицей, на которой нынче поселился Леонид. Это было добрым предзнаменованием, что они теперь жили почти рядом. В громадном городе громадные пространства разделяют людей. Надо ехать, ехать, ехать к человеку, будто он в другом городе или в другой даже стране. И порой не решаешься ехать. Особенно когда холодно, когда худо одет, когда дырявые башмаки.

В этот день все было сплошной удачей. Зарядивший на неделю дождь ослаб еще утром, а к вечеру и вовсе иссяк. И потеплело. И жила она рядом. И ботинки были новенькие, весело поскрипывали, как старшинский ремень. И деньги были. А без денег в ее дом нечего было и стучаться. Это был богатый дом, поставленный на широкую ногу, в нем жили обычаи из прошлого. Молодые люди являлись к Ирине с букетами, с коробками конфет, с билетами в Большой или консерваторию, и непременно чтобы билеты эти были не далее восьмого ряда партера. Это все же был странный дом. Главы семьи в нем не было. Главой была мать. Она и главной была виновницей всего здесь благополучия. А была лишь всего-навсего портнихой. Ну, не просто портнихой, а закройщицей. Какие-то все время приезжали к ней нарядные дамы, странно заискивающие перед ней. Их льстивые, покорные голоса слышались из соседней комнаты, где совершалось таинство примерок. А голос хозяйки дома звучал непрерываемо и победоносно, как, скажем, голос командира полка, когда уже ясно, что победа одержана. Не в этой ли победоносности голоса и таилась коммерческая удачливость матери Ирины? Женщины любят, когда их избавляют от необходимости решать, что им к лицу, а что нет. Они любят, когда их неуверенности кладет конец чужая непреклонная воля. За это и репечивают.

Итак, Леонид подхватился и, покинув Клавдию Павловну и Сергея Сергеевича, гонимый своей удачей, заспешил в дом к Ирине.

В благословенные те времена гастроном у Никитских ворот работал до полуночи. Нет его нынче, снесли этот приземистый, разляпистый дом, что стоял на перекрестке трех улиц и бульвара, имел чуть ли не пять входов и выходов и частенько выручал Леонида и его приятелей в поздний час их веселых бдений. Выручал, когда были деньги. Денег чаще всего не было. Зато сколько было сил душевных, какая легкость была и готовность к веселью и к этим разговорам, разговорам обо всем на свете, хотя на свете-то было пасмурно. Нынешние молодые, что же, и они такие же? И они бегут сломя голову на первый зов, складываются на бутылочку и говорят, говорят, полагая, что им-то и дано решать судьбы людские? Должно быть, и нынче все тоже так же. А если кажется тебе, что нынешнее племя молодое чуть притомилось, поскучнело, постарело, что ли, так это не они, друг, а ты притомился, поскучнел и — да, да! — постарел.

Меняются гастрономы, вселяясь в дома-башни, все теперь видно, что там делается, в этих гастрономах, как и в ресторанах, аптеках, библиотеках. Все ныне на просвет видней, из стекла стали стены. Но человек все так же не просвечивается, человек меняется трудно, он все та же загадка. Как ты, друг, попивающий свой грустный коньяк в стекляшке летнего кафе. Как вон тот прохожий с собачкой, подражающий ей в походке. Как та вон девушка, сменившая мини на макси, будто других забот у нее нет, как только длина ее юбки. А забот у нее полным-полно. Это издали видно. Препечальное у нее личико. Денег нет? Парень покинул? Начальник распек? Эй, девушка, какие у тебя нынче заботы — мини или макси?..

Выручил гастроном у Никитских — ведь к Ирине нельзя было с пустыми руками. Но и с вульгарной бутылкой тоже было нельзя. И коробка конфет — убогая выдумка. А хотелось что-то забавное подарить, находчивое. Под стать сегодняшней удаче.

Конечно, гастроном — это не антикварный магазин, и все же в нем нашлась одна забавная вещица, которую и купил Леонид. Это была фарфоровая, а может фаянсовая, фигурка пингвина. Пингвин был очень хорош, ну просто произведение искусства. И чертовски дорого стоил. Это тоже было плюсом. И бессмыслен, не нужен был этот антарктический житель в концертном фраке, как и не нужно было его содержимое, а наполнен он был ликером. Кто же из уважающих себя людей пьет ликер? Вот и отлично. Подарки Ирина любила самые непрактичные. Возможно, это был ее протест против чересчур уж практичной матери.

Ирина жила в большом, добротном доме, из тех, что некогда назывались доходными. В подъезде дома с мраморной неторопливой лестницей был автомат. Надо было позвонить Ирине, прежде чем заявиться в столь поздний час, хотя Леонид и знал, что в ее доме жизнь затихает за полночь.

Ему обрадовались. Вообще-то он был далеко не первым в списке Иришиных поклонников, но сегодня она ему обрадовалась, будто его лишь и ждала. А так оно и должно было быть — сегодня был его день.

И пингвину обрадовалась. Угадал, угодил. И как же выигрывал его неуклюжий миляга рядом с ординарнейшей коробкой конфет, которые принес Ире ее заглавный поклонник, — а он был тут, конечно же, — этот архитектор из подающих надежды, с торжественным именем Ростислав.

Вспомнилось, все вспомнилось. Тесная от вещей квартира с больно бьющей по ногам мебелью, чуть только зазевался. Углы, всюду злобно клюющие тебя углы каких-то шкафов, поставцов, несдвигаемых

кресел. И картины по стенам, с немецкими сентиментальными пейзажами, с бюргерской откормленностью и людей и животных. В очень дорогих рамках, очень дорогие или очень дешевые, как всякая подделка. Но о подделках не могло быть и речи. В этом доме все было из первых рук, как оно и должно в доме наимоднейшей в Москве портнихи.

Между прочим, и молодые люди, все эти бесчисленные Иришины ухажеры, и они тоже должны были быть из наилучших, из перспективнейших. Ростислав как раз и был таким. Но сегодня не ему, а Леониду было оказано предпочтение. Явное, даже демонстративное. Едва он вошел, как Ирина только им и занялась. А уж про Иришину младшую сестренку и говорить было нечего. Она всегда была добра с Леонидом. Кажется, она его жалела. Она-то знала, как невелики были его шансы.

Но только не сегодня, нет, только не сегодня. Это был его день. пошла, пошла полоса!

— Три-четыре! — вслух произнес Леонид, будто помолился.

— Ты о чем? — спросила Ирина, долгим взглядом поглядев на него.

О, она знала, как надо глядеть, если ей хотелось понравиться, увлечь, закружить. Сегодня ей этого хотелось. И не Ростислав занимал ее, а он, Леонид. И он, Леонид, уверовал — удачливые люди доверчивы, — что так оно и должно быть.

Он не стал рассказывать о своем удивительном выигрыше на бегах, поостерегся. Сомнительно, чтобы матери Ирины понравился молодой человек, играющий на бегах. Но он был весел, как давно не был, говорлив, красноречив, как и там, у Клавдии Павловны, и Иришина мама сразу почувствовала — уж она-то разбиралась в людях, — что в жизни Леонида случилась какая-то удача. И она стала с интересом приглядываться к нему, чего никогда не делала прежде, давно уже порешив, что этот киношник не у дел, этот ашхабадский землетрясенец совсем не партия для ее дочери.

В доме этом было заведено, чтобы дочь принимала своих кавалеров только в присутствии матери. Сидели в гостиной, пили чай, чинно беседовали. А мать то входила, то выходила, занятая своими клиентками, молчаливая, наблюдательная. Она не мешала молодым людям, как ей казалось, но и не способствовала нынешним этим нравам, когда девушкам дозволяется уединяться с их кавалерами. Ничего хорошего такие уединения не сулили. Даром что дочь была в нее не столько обликом, сколько характером, но она еще была юна, неопытна, доверчива. Она нуждалась в досмотре, в руке направляющей.

Странно, но в тот вечер будто все разладилось в доме Ольги Петровны. Дочь принимала неожиданные решения, вела себя самостоятельно. На Ростислава вот никакого внимания, а все внимание на него, на Леонида. И мать не вмешивалась, не выправляла Иришиных ошибок, хотя Ростислав и поскучнел и надулся, а он был любимцем Ольги Петровны. Нет, не вмешивалась она. И даже сама с интересом посматривала на Леонида. Его день, его полоса!

Все допытывались. отчего нынче Леонид какой-то особенный. Перемена в жизни? Нашлась интересная работа? Не уезжает ли куда-нибудь, где молочные реки и кисельные берега? Врать не хотелось, правду сказать было нельзя. Да и что, собственно, он мог рассказать? Про выигрыш на бегах? Но ведь выигрыш был только частью радости, что жила в нем. Он замечательную снял вчера комнату — и это было радостью. Он познакомился с милыми, добрыми людьми — и это тоже было радостью. Но самой большой его радостью было предчувствие чего-то доброго, что подступало к нему. Расскажи попробуй о предчувствии. И он помалкивал, таинственно улыбаясь

Он говорил, шутил, был находчив, но о себе ни слова. Оказывается, такая таинственность действует на окружающих куда сильнее, чем обнародованная истина.

Младшая сестра все посматривала на него, чему-то удивляясь. Не узнавала, должно быть? Она была умна и зорка не по возрасту. Она была некрасивой девочкой. Все, что удалось в старшей, все это, слепо повторенное в младшей, не удалось или не совсем удалось, и красота, яркость, солнечность Ирины не повторились в младшей ее сестренке. Они были похожи и разительно несхожи. И несхожесть эта уже сказывалась в характерах. Младшая уже начала осваивать свою трудную судьбу дурнушки, углубляясь в себя начала, умнеть, обретать зоркость. Потому и присматривалась так внимательно к Леониду, что поверила и не поверила в него сегодняшнего. Надолго ли он такой и отчего такой? Она знала про него больше, чем старшая сестра, чем мать. Она знала, что он совсем недавно перенес большое горе, что он болен этим горем, еще не оправился. А было ей всего лишь лет двенадцать—тринадцать, этой все понимающей девочке. Этой девочке, изголавливающейся к трудной жизни.

А старшая, о, она не утруждала себя углублением в суть, она была предназначена празднику, и все, что не сулило ей праздник, ею инстинктивно отвергалось.

Любил ли он ее? Он любил другую, ту, что осталась в Ашхабаде. Не погибшую там, уцелевшую, но погибшую для него. Ныне она была замужем, была уже и матерью. Но если он не любил Ирину, не любил ее так и с той болью, как ту, оставшуюся в Ашхабаде, то уж наверняка был влюблен в Ирину. В солнечность ее, в ее легкость и даже в самовлюбленность. С ней было, в общем-то, просто. Он не то чтобы счастлив был в тот вечер, он оттаивать начал.

На следующий день он снова был у Ирины. И на следующий день — снова. Они ходили по ресторанам, из одного в другой, из одного в другой. Вот и весь праздник, какой он мог устроить Ирине. Бедноватый, конечно, праздник, но другого от него не требовали. И в каком-то из ресторанов во время танца под грохот этот и завывания джазового оркестра Ира пообещала стать его женой.

А наутро, когда, истратив последние свои деньги, все, что осталось от выигрыша, на громадную корзину цветов, он заявился к Ирине домой, то его встретила младшая сестренка и сказала ему, что Ириши дома нет, что она уехала с мамой в загс, где сегодня, наверное, вот прямо в эту минуту Ирина должна расписаться с Ростиславом. И она еще сказала, маленькая, умная девочка, догадавшаяся, что правда сейчас лучший лекарь:

— Это она нарочно с вами закрутила, чтобы Ростислава подтолкнуть. Не жалеете, вы только ни о чем не жалеете...

Да, рано он начал оттаивать. Все оказалось сродни холоду, как холоден, льдист всякий обман.

Он побрел прочь. Ветер дул, бил в лицо косой, колкий, будто из градин дождь. Запомнился этот колкий дождь на всю жизнь. И мокрые стены по одну сторону улиц и сухие по другую — и это запомнилось. Все шли по той стороне улиц, куда ветер не задувал. Он один шел под дождем и под ветром.

Шел, шел, потом вскочил в троллейбус, потом опять куда-то шел, не ведая куда, но все же имея какую-то цель, и вот вышел к круглой тихой площадке с цветником появивших осенних цветов посредине и с квадригой могучих коней на фасаде здания, похожего мирным ликом на помещичий деревенский особняк. То были бега, в полукруге этого дома начинался ипподром.

А потом все было, как в том фильме, который мог сотворить господь бог. До него очень редко доходят наши молитвы, и ему неведомы сострадание и жалость по законам наших сюжетов, а ведом, должно быть, свой собственный сюжет для каждой души человеческой, тот самый, имя которому — вся жизнь.

У Леонида была припрятана заветная сотня, теперь уж совсем последняя из всех его трех почти тысяч. Эту сотню он и пустил в дело. «Три-четыре» — вот и вся была его стратегия. В первой паре заездов, во второй, в третьей. Он уповал на чудо, на еще недавнюю свою удачу. Он уповал на справедливость, ибо нельзя же так обходиться с человеком, чтобы жизнь била, била его и тогда даже, когда подманила удачей. Не затем же, чтобы еще сильнее ударить? Он уповал на чудо, не веруя стал верующим. Бог не внял молитвам, у него были свои планы касательно раба заблудшего Леонида и сотня сгинула. И еще три сотни сгинули, которые тут же, на бегах выручил Леонид за свои часы. Эти деньги он ставил в иных уже сочетаниях. Он пытался быть мудрым, осторожным, хитрым. Он прислушивался к шепоту знатоков, он вжимался в их ряды, он дежурил у касс, стараясь углядеть, кто как ставит. Он шел следом за самыми обтрепанными, самыми что ни на есть крохоборствующими игроками, ибо нищета обучила их счету. Он не выиграл ни разу.

И еще долго звенел в его ушах стартовый колокол, когда он брел от ипподрома домой, долго брел, без единой монетки в кармане, не смея зайцем сесть в трамвай. И для этого — чтобы зайцем проехаться на трамвае — надобно мужество. А оно покинуло его окончательно. И холодно было, как никогда за всю жизнь. И привязалась эта фраза девочки, он все проборматывал ее: «Не жалейте, вы только ни о чем не жалеете...» А о чем ему было жалеть? Собственной жизни ему было не жалко. Только вот как?.. Эх, зачем он сдал при демобилизации свой трофейный «вальтер», ну, зачем ему взбрело в голову это сделать?!

6

Клавдия Павловна сразу догадалась, что с ним что-то стряслось. Она не стала расспрашивать его ни о чем, ахать и охать вокруг него, а он весь вымок и помертвелый какой-то был. Она принесла ему большую кружку крепчайшего чая, кусок хлеба, щедро намазанный маслом, приказала:

— Ешьте! Согревайтесь!

Он присел на краешек тахты и стал, обжигаясь, прихлебывать из кружки. Синяя фаянсовая кружка напомнила ему такую же или почти такую же синюю кружку из его детства, и он вдруг заплакал, стыдясь своих слез, комкая в себе всхлипы, вздрагивая, расплескивая чай.

За двустворчатой дверью слышались приглушенные голоса. Там почти шепотом разговаривали, а все же и этот шепот был слышен. Стало быть, и его всхлипы могли быть услышаны. И он душил их в себе, захлебываясь чаем, обжигаясь. Где-то далеко-далеко снова прозвенел стартовый колокол, и снова замелькали перед глазами расплывшиеся тела лошадей, как плоские капли, разноцветные капли, перетекающие друг в друга. Потом он заснул не раздеваясь, привалившись к стене. Потом проснулся. Еще ничего не вспомнив, он лишь вспомнил, что только что пил чай, держал в руке синюю кружку, а сейчас почему-то очутился под одеялом, был раздет и кружка стояла вдалеке, на одноногом столике. А в кресле-качалке, обернувшись к нему лицом, подремывал Сергей Сергеевич. Он в кресле устроился основательно, укрыв ноги пледом.

— Проснулись? — спросил он, мигом открыв глаза. — Уж вы простите меня, что помог вам раздеться. Мне показалось сперва, что вы выпили. А потом нет, смотрю, жар у вас. Сейчас-то как вы себя чувствуете?

— Сейчас?..

Все вспомнилось, все разом вспомнилось, памятно ударило по глазам.

— Глаза болят.

— Простуда. Сильнейшая простуда. Можно я спрошу вас, Ленья?

— Спрашивайте.

— Вы были на бегах?

— Да.

— Проигрались?

— Да.

— Моя вина! Моя вина! — Сергей Сергеевич так сильно ударил кулаками по подлокотникам, что качалка даже подпрыгнула и закачалась, будто желая его успокоить, будто был он дитя малое и безутешное.

А он и был безутешен.

— Моя вина! Моя вина! — И качался, качался.

Смешно было глядеть на этого укутанного в плед младенца лет пятидесяти. И чего он так убивается? Ему-то что?

— Не привезли, не привезли ноне лошадки, — сказал Леонид, чужие чьи-то повторив слова. — Ну, не всякий раз!

— Замолчите! — прикрикнул на него мирнейший Сергей Сергеевич и, устыдившись тут же, ладонью прихлопнул рот. — Моя вина... Моя вина... — горестно промычал он из-под ладони. — Все спустили?

— Все.

— И слава богу!

— Даже на трамвай не оставил. Как водится...

— Как водится... Да знаете ли вы, как оно водится?..

— Сергей Сергеевич, не донимайте его! — явственно прозвучал голос Клавдии Павловны. — Дались вам эти бега. Других у людей и забот будто нет. Ленья, а вы не разговаривайте, вы спите, спите. От вас и через стенку жаром пышет. Утречком позовем врача, а сейчас спите, спите.

— Хорошо, Клавдия Павловна, — отозвался Леонид. — Спасибо вам.

Ему показалось, что она протянула через стенку руку, положила ему на лоб, и рука ее была прохладна, избавляюще прохладна и добра.

Что же с ним? Неужели он действительно заболел? Он стал прислушиваться к себе. Сперва он услышал свое дыхание, оно было прерывистым каким-то, со свистом. И он никак не мог хорошенько вдохнуть в себя воздух. Не получалось. И там, внутри, где были легкие, там что-то будто разрослось, разбухло, не своим стало. Туда-то и не удавалось вобрать воздуха. Глаза болели, нестерпимо болели глаза.

— Да, я заболел, — признался он сам себе вслух.

— Простудились, — кивнул-качнулся Сергей Сергеевич. — На бегах, если проигрался, обязательно простудишься. А с выигрыша — никогда. Ну, одно хорошо: может, закаетесь туда ходить. Моя вина, моя вина...

— Что же теперь будет? Куда же я теперь?

Страшно сделалось. Пугала больница. И одиночество, навалилось с потолка одиночество белым и узким прямоугольником, как крышка гроба. Во всем громадном городе, в родном городе он никому не был нужен.

— А ничего особенного не случилось,— сказала из-за стены Клавдия Павловна.— Ну, заболели, с кем не бывает. Отлежитесь, выходим. У нас тут и врач свой по соседству есть. Преотличнейший старичок. Выходим. Нет, нет, в больницу вам незачем. Там теснота, казенщина. Болейте спокойно, Леня, не тревожьтесь.

Как отчетливо услышал Леонид Викторович ее голос, каждое ее слово. Все вспомнил. И каждое слово и звук голоса. И как благодарностью сжалось горло, и ничего не сумел он ответить. И как качался, кивая, Сергей Сергеевич, добро изморщив лицо. Возможно ли, сколько лет прошло, да те ли были слова, так ли звучали? Те слова, так звучал голос. Все вспомнилось.

Так бывает, должно быть, когда уж очень устремится душа к прошлому, когда всю память всколыхнет, перевероршит, добывая для себя что-то понадобившееся ей, как воздух для жизни.

Рано утром пришел доктор, звали его Осипом Ивановичем. Сейчас такой старичок был бы на пенсии, но тогда работали до последнего дня, о пенсиях и не поминали, столь они были мизерны, и Осип Иванович, старенький, при шаркивающий, и смолоду-то малого роста, а к старости и вовсе став крохотным, пришел спозаранку, чтобы поспеть потом на работу.

Мал-то он был мал, а держался осанисто, как и должно врачу. И голос у него, тонковатый от природы, был все же оснащен и низкими нотами. Этих нот хватало, чтобы внушить больному необходимую покорность, чтобы больной, чего доброго, не вздумал бы послушаться врача.

— Ну-с, молодой человек,— потирая ручки, промолвил доктор.— Что у нас случилось-приключилось?

Все врачи, которых помнил из своего детства Леонид, так же вот приговаривали «ну-с» и так же вот потирали ладони. А затем прописывали сладковатые микстуры и, пощупав железы, зловеще поминали про рыбий жир. Благословенное время, где самым страшным был рыбий жир. Леонид мигом поверил в этого доктора, в этого из детства доброго гнома, и улыбнулся ему запекшимися губами.

— Простудился, доктор. Не воспаление ли легких?

— Случалось уже?

— Нет.

— А что случалось?

— Скарлатина.

— В отрочестве? В младости?

— Мне было семь лет. Но меня не повезли в больницу, я очень боюсь больниц, доктор. На фронте я не так раны боялся, как боялся, что попаду в госпиталь.

— Так-так-так. Представление дикаря. Ну-с, дышите... Еще... Еще... Да, голубчик мой, где же вы ухитрились так простудиться?

— Брел по улицам. Был ветер, дождь...

— А на душе, а на душе как было? — Седой бобрлик доктора мягко колот спину.

— Скверно.

— Вот это хуже ветра.— Доктор распрямылся, отложил свои трубки.— Помню, в гражданскую я две недели провел в вагоне среди сыпнотифозных и не заболел. Настроение было преотличное. Деники на гнали. И был я влюблен в Любочку, в распрелестную сестру милосердия. И, знаете ли, не без взаимности. Болезнь, молодой человек, бессильна перед сильными духом.

— Да, пожалуй.

— Ложитесь, одеяло под подбородок. Что ж, диагноз поставили! верный: у вас пневмония. Двусторонняя. Уж болеть, так болеть.

— Значит, больница?

— Будет зависеть от вас. Раскваситесь, падете духом — не минавать больницы. А пока что попытайтесь уснуть. И чтобы снились веселые, бодрые сны. Есть у вас такие в запасе?

— Поищу.

— Ну-ну, не робейте.— И доктор ласково ему улыбнулся.— Пенициллинчик бы вот где-нибудь раздобыть. Надо же, плесень, а дороже золота.

Доктор ушел, пришаркивая, но держась прямо, осанисто. Был на нем китель, брюки заправлены в сапожки. Из тех, из тех он был людей, что гнали Деникина и ничего на свете не боялись, потому что было у них преотличное настроение.

7

Подошло обеденное время, и в кафе стало людно. Даром что холодно было в этом летнем сооружении. Но уже привыкли к нему за лето, все, кто поблизости работал, привыкли к скорому обеду на уютных столиках, на которых и свой можно было разложить припас,— не строгое кафе, не настоящее, а всего-навсего летний павильон.

Пришли сюда и двое пожилых рабочих с двумя молодыми помощницами, что рушили домик Клавдии Павловны. Пришли и еще от дверей сразу приметили как знаконца Леонида Викторовича. А он просто обрадовался им, поднялся, замахал рукой, зовя за свой столик. Трудно порой одному за столиком.

Девушкам было интересно, что за человек, и они сразу подошли и уселись на пододвинутые им стулья. Степенно подошли и мужчины.

— Выпьем немного, не повредит? — предложил Леонид Викторович.

— Не строим, ломаем, можно и выпить,— соглашаясь, наклонил голову один из пожилых и протянул руку, знакомясь: — Федоров Захар Иванович.

Следом и другие представились:

— Пушкарев Николай.

— Зина.

— Нина.

Обменялись рукопожатиями, раскланялись, и Леонид Викторович пошел к стойке за вином, радуясь этому внезапному знакомству, передышке этой.

В буфете имелся коньяк, и посему, желая как можно лучше угостить сокрушителей стен, Леонид Викторович принес бутылку коньяка. А девушки взяли сарделек на всю пятерку — их теперь пятеро стало, кефира, принесли на тарелке на всю артель гору хлеба. У Федорова и Пушкарева был свой припас, еда из дома. Выложили и этот припас на стол. Водочки бы к этой еде, к куску колбасы и целой селедке, но водочки в кафе не было. Леонид Викторович пожалел об этом, его бутылка коньяка как-то не смотрелась здесь. Но что делать, пришлось разливать по стаканам коньяк. Девушкам поменьше, мужчинам побольше — вся бутылка разом и опорожнилась.

— Стало быть, жили в этом доме? — спросил Захар Иванович.

— Жил. Молодым был.

— Как мы? — спросила Нина. Ей было лет двадцать. Все смеялось, лукавилось в ней. И хоть была она в спецовке, заляпанной, заскорузлой, но и из этой спецовки выступало ее юное тело, упругое и гибкое.

— Нет, старше.

— Так какой же тогда молодой? Вот мы с Зиной еще годик-два проживем — и прощай молодость. Верно, Зинок?

— Верно,— согласилась Зина, смущенно прикрыв ладонью лицо. Ей тоже, наверное, было лет двадцать, но выглядела она много старше. Глаза у нее были старше. В неприметном, сереньком ее лице удивительно заметны были глаза. Серьезные, упористо-внимательные, разбирающиеся. Труднее жилось? Детство было труднее, чем у Нины? Расспросить бы, узнать бы про их жизнь. А то посидят минут с десять и уйдут, и все, и нет их, и больше никогда не встретятся. А жаль. С годами особенно начинаешь жалеть, что промельком идет жизнь. Ведь вот они, ведь это молодость, которой утвердятся. Не тебе владеть завтрашним днем, не Федорову Захару Ивановичу и не Пушкареву Николаю, а им — Зине и Нине.

— Вы из деревни? — спросил он Зину, ту, у которой были серьезные глаза.

— Из деревни.

— Отец с матерью живы ли? Нет, наверное?

— Померли.

— А вы москвичка, верно? — спросил он Нину.

— Угадали.

— В вечерней школе учитесь, в институт собираетесь?

— Угадали.

— Понимает человек жизнь, сразу видно,— сказал Захар Иванович.— Что ж мы, этот напиток выдыхается.

Все подняли свои стаканы, потянулись чокаться.

— А за что? — спросила Нина.— Полагается слова говорить.

— За вас,— сказал Леонид Викторович.— За вас с Зиной. За молодость. Вам жить. За ваше счастье.

Тост понравился.

— Ладненько, мы поживем,— сказала Нина.— Только вот в получку мало приходится. Бригадир, за нас пьешь, а нет чтобы на премию вытнуть. Скуповат ты, дядя Захар. Мелочишься.

— Каждому по труду,— весомо произнес Захар Иванович.

Все выпили. И до дна, как и полагается, если тост произнесен.

— И что в нем, в этом коньяке? — сказала Зина и быстро закрыла ладонью лицо, будто устыдилась, что пьет.

— Напиток,— пояснил ей Захар Иванович.— По градусам не хуже водки. Аппетит только отшибает.

— Да, вкус не тот,— заметил его напарник Пушкарев.— Вкус у него не разбери поймешь. Забава?

— А водка не забава? — спросила Зина.

— Водка — предмет серьезный. Вот, можем сравнить.— Пушкарев сунул руку в карман штанов и — нате вам! — выставил на стол четвертинку «российской».

— Гляди! — удивился Захар Иванович.— А я и в мыслях не держал.

Разлили по стаканам и четвертинку.

— Теперь за вас, мужички,— сказала Нина.— Чтобы пенсия вам вышла хорошая.

— Эта мысль правильная,— похвалил ее Пушкарев.

Выпили, начали закусывать. Под водку и верно еда показалась куда вкуснее.

Давно уже так не ел Леонид Викторович: с газетки, отламывая, крепко приправляя горчицей. И так дружно со всеми, артельно. Хороший народ. Малость запьянел Леонид Викторович. Тепло ему стало, покойно. Осень за стеклами уютнее сделалась. Ну, дождь, ну, листья падают, и очень все это даже приятно наблюдать.

— А вы что там на стене нашли? — вдруг спросила его Зина. Важное что или ничего особенного?

— Когда-то записи у меня были всякие на той стене, на обоях. Придет ночью какая-нибудь мыслишка, бумаги под рукой нет, ну, на обоях и пишешь.—Леонид Викторович добыл из кармана клочок обоев, положил на стол. «Если...» Это слово опять ему ничего не сказало, не напомнило, про что он думал, когда писал его. А написалось оно тогда с таким упором, что вот ни время, ни клейстер не сумели его извести. «Если...» Нет, память отмалчивалась.

— «Если...» И все? — Серьезные глаза старались понять. Но что тут поймешь? — А про что это?

— Не вспоминается.

— Вы думайте, думайте, вспоминайте.

— Этим только сейчас и занят.

Захар Иванович поднялся.

— Нам пора. Рады были познакомиться.

Вместе вышли из кафе, стали прощаться.

— Вы к нам придете еще? — спросила Нина и снова бойко глянула на Леонида Викторовича.— Мы там, где старье теперь сносим, потом строить будем. Долго. По кирпичику. Дом для дипломатов. Придете? Вы из газеты, правда? Мы сразу поняли, что вы из газеты. Вот и напишите про нас, какие мы хорошие. Работяг всегда хвалят.

— И вдруг да вспомните, что тогда написали на стене,— сказала Зина и смущенно потянулась рукой к лицу.— Вдруг что важное... Расскажите тогда?

— Делов у товарища других нету, как к вам бегать да рассказывать,— сказал Захар Иванович.

— А посидели хорошо,— сказал Пушкарев.— Согрелись.

И снова он на улице, где некогда жил, куда забрел нынче совсем случайно. Ну ладно, с собой-то зачем хитрить? Не так уж и случайно забредаем мы на улицы, где когда-то жили, стучимся в двери домов своей молодости, а то и тысячи километров отмахиваем, чтобы только глянуть на скамеечку какую-нибудь, посидеть над обрывом, пройти старым парком. Возрастная дань сентиментальности? Нет, иное. Важно человеку, приходит такой миг, оглянуться. В прошлом своем ему важно опору найти. Чтобы дальше двинуться. Невыносимо трудно бывает всего шаг дальше сделать, если сперва не оглянешься на пройденное. Не на весь путь, зачем же, а лишь на ту его часть, где был ты счастлив, смел или трудно тебе было без меры. Счастливое, смелое, трудное с годами объединяется, складываясь в главные вехи жизни. И не понять уже, что было лучше, что было важнее. А память хранит, память приберегает для тебя все это. И в должный час выпускает на волю. Вот и пойми, случайно ли ты забрел на свою улицу...

Не увиделись ему тогда веселые, бодрые сны, про которые толковал доктор. Да и спал ли он? Дни слились с ночами, сон с явью. Ему было так худо, что сны покинули его. Помирать, что ли, собрался? Вместо снов все время что-то мерещилось, что-то, что добывала память, неожиданные, накрепко забытые картины из детства. Совсем маленьким он себя увидел. Пожар вспомнился, когда ему было три года. Высоченная, тонкая, прогибающаяся лестница тянулась от земли к его окну, и по этой лестнице двигались вверх черные острые усы. Все ближе, ближе. Потом эти усы оказались рядом, и человек в брезентовой куртке с медными яркими пуговицами начал манить его к себе, шевеля пальцами. И шевеля усами, как сказочный кот. Он при-

двинулся к этому коту, кот схватил его и понес по гнущейся, зыбкой лестнице. А внизу была мама и ее руки, подхватившие его. И вот уже совсем иное надвинулось, зажило в глазах. И тоже, казалось, напрочь забытое. Дом, где он жил в детстве, в самом раннем детстве, выходил окнами на шумную, рыночную Большую Грузинскую. Рынок подкатывал свои волны к краю улицы, захлестывал и саму улицу. Оглушительно звоня, пробирались через толпу трамваи. Кричали извозчики, надсаживая голоса. Лошади не смели идти на людей, пятились. Сидя на подоконнике, он смотрел на эту толпу, слушал этот уличный гомон — маленький горожанин, которому все здесь казалось обычным, как деревенскому мальчику кажется обычным поле перед окном или лес за огородом. Он смотрел и ничего не запоминал: ведь обычное не запоминается. А сейчас из той толпы под окном полезли в глаза лица, лица, лица. Скверные, пугающие. Рыночная толпа разбилась для него на отдельных людей, и эти люди зло, скверно на него поглядывали, будто приценивались, будто прикидывали, а нельзя ли его продать. И тотчас вспомнилось, как он отстал от матери однажды все там же, в скверике напротив, рядом с рынком и аптекой, что стояла на углу площади. Он отстал, замешкался и потерял мать, а она его. И сразу же к нему подошла старая цыганка и, жалея (а он заплакал), укрыла его своей большой цветастой шалью. С головой укрыла. Вспомнилась духота этой шали и громадный желтый цветок, наполнивший на глаза. «Пойдем, дитяtko, пойдем со мной», — сладко сказала цыганка и потянула его куда-то. И он понял, что погибает, что цыганка решила украть его, он это понял, но ничего не мог поделать, обессилев под этой удушливой шалью. Страх, самый страшный страх из всего детства сковал тогда его. Но вдруг голос матери пронзил сердце. Она нашла, она поспела вовремя, она сдернула с его головы эту погибельную шаль. И радость, самая радостная радость из всего его детства грянула тогда для него. Все забылось. Все вспомнилось. Но это был не сон, а явь. Пожалуй, да, пожалуй, так подступает смерть, возвращая человека к его детству. Потом и еще поводит за руку по жизни и еще что-то покажет, словно заново велит пережить, а потом отпустит твою руку, и вот ты и умер. Говорят, так все вспоминается перед залпом. за миг один до залпа, когда человека выводят на расстрел. Про это знают те, кому удалось все же выжить. Знают, но не рассказывают. Об этом догадываются по их застывшим лицам. Припоминающим лицам. Ведь память им столько успела напомнить. А думаю, что они об этом залпе вспоминают. Нет, они вспоминают о том, как промелькнула перед глазами жизнь, от самого детства, и как это ярко все было. Сберечь бы, сберечь эту яркость.

По детству, только по детству путешествовал он в первые дни своей болезни, путая дни и ночи, сон и явь. Дальше детства ему дороги были заказаны. Наверное, так полагается, когда еще не окончательно ясно, что пришла пора человеку помириться. Кому ясно? А вот это не ясно. И все-таки кто-то да управляет тобой, человек, распоряжается тобой. Совесть? Пусть так, пусть Совесть.

Ночами возле него дежурил Сергей Сергеевич, днем — Клавдия Павловна. Днем было ему легче, он приходил иногда в себя, выбираясь из воспоминаний, где жил с тем же бьющимся сердцем, как и в пору, когда все это происходило.

Клавдия Павловна устраивалась в качалке и вязала. Все время перед глазами были ее руки. Они вязали, оправляли ему постель, меняли компрессы. Они были ловки, добры, избавляюще добры. Иногда она разговаривала с ним. Она ни о чем его не спрашивала. Она рассказывала. Какие-то тихие все истории рассказывала она ему. В них люди были нешумливы, отзывчивы, добросердечны. Они никуда не то-

ропились, но у них все получалось споро, ладно. Не сказки ли она ему рассказывала, какие-то особенные сказки, которые слагают для заблужденных взрослых? Он не запоминал ее историй, да их было бы трудно запомнить, они были бедны событиями, но он все время жил в звуке ее голоса, в покое этого голоса. Такие голоса бывают у надежных людей, в них не уловить ни фальшивинки, той самой, с какой разговаривают и самые замечательные актрисы. Вот, вот, она была совсем не актрисой, и все, что она делала, было естественным, правдивым. Ведь правда живет и в движениях.

Днем ему было лучше, он легче дышал. Самым изнурительным в этой болезни было то, что человек разучивался дышать. Он все делал как надо, он дышал, но воздуха в себе не слышал. И тогда надвигался страх, что придет удушье. Удушья еще не было, а страх появлялся. И начиналась паника, панические начинались движения, чтобы ухватить куда-то подевавшийся воздух. Клавдия Павловна всякий раз одним только прикосновением руки снимала эту панику, она всякий раз будто чудо свершала, даря ему воздух мановением руки. И звучал, звучал ее голос, повествующий о каких-то малостях людской жизни, о заботах и радостях совсем крошечных, удивительный голос, без фальшивинки.

Осип Иванович и утром появлялся и к вечеру, после работы. А когда не было его, а приходило время делать уколы — пенициллин, эту драгоценную заграничную плесень, раздобыли, — то уколы делала Любовь Марковна, та самая Любочка, распредельная сестра милосердия, которая еще в гражданскую ответила взаимностью Осипу Ивановичу.

Годы, конечно, многое порушили в этой Любочке, но все же не смогли одолеть ее горделивую статью, и коса у нее была, как в пору молодости, величественная, легшая короной вокруг гордо поднятой головы. Такая королева, а досталась совсем не видному, не рослому, куда там, Осипу Ивановичу. И, кажется, премного была благодарна судьбе, что именно ему досталась. Когда они бывали вместе, то сразу видно делалось, что они души друг в дружке не чают. И удивительно дополняют друг друга. Он — это ум и воля, она — это красота, обаяние и тоже, конечно, ум и воля, но только не такой высочайшей пробы, тут она ему уступала.

Любовь Марковна так и осталась сестрой милосердия, хотя нынче ее перекрестили в старшую медицинскую сестру. А жаль, что вывелось это звание — сестра милосердия. Чего стыдиться — милосердия? Вот Любовь Марковна так и осталась милосердной сестрой. Повезло ему, и еще одна женщина умела прикосновением рук дарить ему облегчение. Она была противница всех этих новаций, всех этих чудодейственных новых лекарств и особенно подозрительной этой плесени — пенициллина. Она была сторонницей старых, проверенных способов лечения и веровала, как и муж, что воля к жизни врачует прежде всяких лекарств. Но муж был еще и за прогресс, и не ей было с ним спорить, поскольку, не имея никаких медицинских чинов и званий, ее Осип Иванович был одним из лучших в Москве терапевтов — это уж точно так, это уж было многожды доказано и признано многими авторитетами. Повезло ему, его лечил один из лучших врачей в городе.

Лучший врач, лучшая сестра милосердия, лучшая сиделка с удивительными руками, с удивительным голосом, знающая тихо-мирные сказки для больных взрослых, и лучший дежурный и в ночные часы, о каком только можно было мечтать. Сергей Сергеевич сказок не рассказывал, руками чудес сотворить не мог, голос его был прокурен до хрипоты, но он свой знал секрет, как обходиться с тяжело больным человеком. Секрет этот, если вдуматься, все припомнив, был донельзя

прост. Сергей Сергеевич обходился с ним так, как если бы пришел ночью всего-навсего навестить не уснувшего еще приятеля. Ну, не спится соседу, вот и зашел поболтать. Зашел, уселся в качалку, укутал ноги пледом — долго ли простыть-то, — и потекла беседа. У русского человека и тогда беседа, когда он один говорит, и тогда, когда он только слушает. Сергей Сергеевич говорил о своих делах киоскерских, о бегах говорил, хотя об этом и скупно, перемежая свои будни с философскими отступлениями, рассуждениями о судьбах мира, всего человечества, итожил войну, недоумевал и вопрошал, чего-то не понимая в нынешнем ходе жизни, но надеясь на лучшее, упоая на лучшее. И он все время приговаривал:

— Завидую вам, Леня. Вам жить еще сколько. Дождетесь, вы дождетесь.

И не знал он, милый Сергей Сергеевич, что этот поверженный болезнью Леня, сколько бы дальше ни жил, как бы бойко, и весело, и проторно, спустя много лет снова вернется в мыслях своих в эту узкую комнату, на эту тяжкую для него койку, потому что здесь-то как раз и завидную познал он жизнь. Да и сам поверженный про это не мог бы догадаться. Был он тогда несчастен, сотрясен, отвергнут, заболел, был без гроша. Чему уж тут завидовать?

9

Вот они где жили, Осип Иванович и Любовь Марковна, в этом старом доме с прилежшим на фронтоне львом. Это тоже был дом из серии доходных, которые понастроили в Москве в начале века. Зачем понадобился хозяину лев на доме — как узнать, но, видно, без льва он не мыслил взять доход со своего дома, он, надо думать, предназначал его для квартирантов с фантазией, с притязаниями на сановитость, на всякую там геральдику.

Да, дом уцелел, и ему еще стоять тут и стоять, он крепок, осанист, и он мудро отодвинут за нынешнюю линию улицы, так что никому и в голову не придет его сносить, он никому не помеха. Одно неудобство: в этом доме, как, впрочем, в большинстве его сверстников, слишком велики квартиры. Их планировали на людей богатых, на московскую верхушку, строили с размахом, с залами и гостиными, с парадным входом и с черным. А революция взяла да и вселила в эти дома рабочий московский люд. По семье на комнату, на две. Революция вселила в эти дома хлынувших в столицу пролетариев со всей страны. Барские тихие квартиры стали шумны и многолюдны, они превратились в общежития, а иначе — в коммуналки. Это имя прижилось. И хотя кому же не ведомо, что жизнь в коммуналках не проста и не легка, иные из этих коммуналок являли примеры действительно дружного, коммуного общения людей, чужих людей, которых светло вместе обще житие. И все дело, вся удача чаще всего зависела от одного, двух человек, от той ячейки добра и человечности, вокруг которой начинали нарождаться и другие такие же ячейки добра и человечности, ибо пример добра тоже заразителен, как и пример зла.

Осип Иванович и Любовь Марковна и были такими двумя добрыми людьми в своей громадной коммунальной квартире, где мир царил, где жила дружба.

А через улицу, если взять наискосок, если войти во двор барского особняка, где ныне разместилась иностранная держава, если углубиться во двор и свернуть к брандмауэру, то этот домик, флигелек этот, столь безжалостно ныне сносимый, — ведь и он был некогда средоточием добра и человеческой теплоты, потому что жили в нем два добрых, сердечных человека — Клавдия Павловна и Сергей Сергеевич.

Дом со львом и этот флигелек были разделены улицей, а московская улица так делит людей, что они за всю свою жизнь могут не повстречаться, но эти две пары и встретились и подружились. И, кажется, вся улица заметила этих людей, оценила их дружбу, потянулась к ним. Пожалуй, не только квартиру, но и дом, но и улицу можно назвать общежитием для людей, тут живущих. И разве не встречаются скверные, злые общежития-улицы, равно как и добрые, приветливые? А все дело порой в каких-нибудь двух-трех обитателях этой улицы, все дело в людском зачине.

Улица, по которой шел сейчас Леонид Викторович, когда он жил здесь, была доброй, вот именно — доброй. А всему начало, доброте начало, теперь он был уверен в этом, положили тут Клавдия Павловна и Сергей Сергеевич, Осип Иванович и Любовь Марковна.

Живы ли еще доктор и его статная сестра милосердия? Нет, пожалуй. Уж доктора-то наверняка нет, он и тогда был стар, пришаркивал. Бодрость духа творит чудеса, но перед старостью и она пасует. А сестра милосердия? Как же захотелось, чтобы все было так, как было, чтобы он поднялся сейчас к ним на второй этаж и, изумившись их парадной двери, на которой всего один звонок и один почтовый ящик, а надпись гласила: «Всем один звонок!» — и улыбнувшись этой надписи, исполненной каллиграфом, свершив этот единственный звонок, услышав слабый, а все же бодрый всплеск звонка, он бы затем услышал неспешные шаги, а в дверях, неторопливо отомкнутых, встала бы Любовь Марковна. В строгом платье, с короной-косой вокруг головы, со взглядом взыскующим и готовым к добру. Мыслимо ли? Возможно ли? Два с лишним десятилетия позади.

Вздумалось зайти в дом, толкнулось туда сердце. И сердце же остерегло. Нет там их, милых стариков его, их нигде больше нет, их не стало. А он упустил, прозевал годы и годы, когда бы мог еще заставить их. Сколько же всего упустил он!

И все же он вошел в дом, поднялся на второй этаж. Надпись — цела ли? Ему очень важно было, чтобы она уцелела. Нет, ее не было. Да и как было ей уцелеть, когда ремонты тут сменяли один другой, и выносились из этих широких дверей гробы, и вносились в них новые шкафы и кровати, уезжали и въезжали, умирали тут и рождались. Надписи не было, но, правда, и иных каких-либо надписей не было и звонок при двери был всего один. Это обрадовало. Значит, дух былой все же не умер в этой квартире. Это посулило надежду.

Он позвонил. Звонок был новый, переливчатый, какой-то с дамского голоса, когда дамы, изображая светскость и молодость, вскрикивают по телефону: «Ал-л-л-уо!»

Затем послышались легкие, но и не воздушные шаги, и точно такая именно дама, в халатике, с лоснящимся от крема молодым — от тридцати до сорока — лицом встала на пороге.

— Вы к кому?

Он был подвергнут мгновенному осмотру. Миг-то миг, а он был рассмотрен доскональнейшим образом. И было решено про него, что он еще ничего, что он заслуживает некоторого внимания, хотя, конечно, какой-то он хмурый, настороженный, будто испуганный или не совсем здоров. А впрочем...

— Я хотел бы узнать...

— Да? — пропела, подражая звонку, дама. Пожалуй, она была ближе к сорока, чем к тридцати.

— Живут ли здесь еще Осип Иванович и Любовь Марковна? — Он даже показал, сколь небольшого роста был Осип Иванович и как предстательна была Любовь Марковна. — Знаете?..

Она внимательно следила за движениями его рук, вспоминала.

— А-а-а! Ну-ну-ну! Такая милая, пряменькая старушка?! Нет, его я не помню, не застала, а ее припоминаю. Но только я переехала, только мы с мужем переехали — это было десять лет назад, — как... вскорее... — Дама запнулась на трудном слове. — А она вам кем была?

— Доброй, очень доброй знакомой.

— Да, припоминаю, милая была старушка. Я теперь живу в ее комнате. Помнится, мы дружили. Характер, волевая была. Мы все тут ее слушались. Вы очень огорчены, да? Но, как говорится, такова жизнь. Все мы...

— Да, да. Можно мне взглянуть на ее комнату, на их комнату?

— Что ж, проходите.

— Я только взгляну, и все.

— Прощу, прошу. — Дама двинулась в глубь коридора. — Не оступитесь, тут у нас темновато.

Раньше в коридоре было светло, он помнил, было светло. А телефон стоял не на стуле, как сейчас, а на специальном столике, возле которого можно было и посидеть в стареньких, но удобных креслицах, купленных жильцами в складчину и для общего блага.

Коридор был долог и просторен. Таким он вспомнился и забылся. Теперь это была всего лишь щель для прохода, а вдоль этой щели громоздилась, наглухо прикрыв стены, умершая мебель. И только подступы к дверям в комнаты снова являли былой здесь простор.

— Сюда, сюда, — звала дама.

Он отстал, ему трудно было продвигаться, он все время обо что-то ударялся, отовсюду торчали, нацеливались углы.

Дама распахнула дверь в свою комнату, и стало посветлей.

— Извольте, смотрите. Правда, у меня еще не прибрано. Поздно ложусь, поздно встаю.

Он стоял на пороге их комнаты. Большой, с двумя окнами и балконом. Светло в ней было, хоть и пасмурный был день.

— Войдите, войдите, — сказала дама. — Снимайте пальто, присаживайтесь. Хотите кофе? Я как раз собиралась кофе пить, когда вы позвонили. Ну, за компанию? Расскажите хоть кто вы и откуда? Меня зовут Валентиной Андреевной. А вас?

Он представился. И вошел в комнату. И снял пальто, как ему было велено, повесил его на крючок у двери. А не надо было всего этого делать. Надо было поворачиваться и уходить. Да побыстрее. Пока еще все новое здесь не вытеснило напрочь того, что хранилось в памяти. Все тут было оглушительно чужим. И не плохим и не хорошим, а обычным, под стать этой даме около сорока, со всем тем набором приличных вещей при малом достатке и явно одиноком проживании, — да, все было обычным и ему не нужным. Он-то пришел не к этим вещам, его потянуло сюда прошлое. Прошлого здесь не было. И следа не осталось в этой комнате от доктора Осипа Ивановича и сестры милосердия Любови Марковны. Да и в этой квартире тоже. А на улице, где когда-то всех ее обитателей, особенно бедных и сирых, лечил безвозмездно доктор Осип Иванович? А на улице след остался. Он был этим следом. Он сам. Потому и очутился нынче здесь, что и по простештии многих лет был он связан с этой улицей узами памяти, благодарности и печали.

А в комнате этой ему оставаться было незачем. Но уже налит был кофе, уже подседа к столику радушно заулыбавшаяся Валентина Андреевна, смущенная, хоть и в меру, что ее халатик все время распахивался и просто рук не хватало, чтобы уследить за всеми его вольностями.

— Вы уж простите меня: и в комнате не прибрано, и сама я...

— Это вы меня простите за вторжение.

Она рукой указала ему на стул, и халатик тотчас этим воспользовался, дерзко приоткрыв ее колени.

— О господи! — Валентина Андреевна расхохоталась. — Не смотрите так на меня.

— Как? — тупо спросил он.

— А так, с осуждением. Что, мол, за дамочка такая? Я же понимаю... У вас все в душе грустит, а тут этот халатик, на босу ногу. И все совсем другое вокруг. Правильно?

Он подошел к окну, к правому окну, вдруг вспомнив, что из него можно было заглянуть во двор особняка, можно было увидеть флигелек Клавдии Павловны.

Вот он стоит, еще стоит, наполовину порушенный, будто и его настигло землетрясение, но все еще узнаваемый, еще с целыми на одной стене окнами. Он вспомнил, что у Клавдии Павловны с Любовью Марковной было условлено звать друг друга в гости или по делу с помощью разного цвета кусков материи, которые они вывешивали в окнах. Телефона у Клавдии Павловны не было, и они условились прибегать к этой сигнализации. Если материя вывешивалась красная, то это был призыв к деловому свиданию, а если желтая, то, значит, звали в гости. По вечерам куски материи заменялись керосиновым фонарем с красным или желтым стеклом.

— Нет, не все тут другое, — сказал он. — Не все.

Сквозь дрему, сквозь горячую пелену, застилавшую глаза, сквозь ватную какую-то неподвижность воздуха добиралась до него движенья, и звуки, и голос Клавдии Павловны, приказывавшей Сергею Сергеевичу: «Повесьте красный лоскут... Поставьте красное стекло...» Сперва он не мог уразуметь, что это, о чем она. И как-то спросил, когда было ему полегче. Спросил, не померещились ли ему эти слова про красный лоскут и красное стекло. И тогда-то Клавдия Павловна рассказала ему об этой сигнализации. И больше уже ни разу громко не отдавала этих команд. Ведь красный сигнал был сигналом тревоги. Он подавался, когда ему было особенно худо.

— Можно, я постою здесь недолго? — обернулся от окна Леонид Викторович. Он счел необходимым пояснить: — Там сносят мой дом. Жил там когда-то.

— В молодости? — спросила Валентина Андреевна.

— Да.

Она принесла ему стул и кофе его принесла, поставила на подоконник.

— Что, была там любовь? Я гоже иногда перебираю старые фотографии.

Он внимательно посмотрел на нее. И она смотрела на него, заново его рассматривая.

— Помогает? — спросил он.

— У меня мало хороших фотографий. Всегда снималась не тогда, когда надо было. Не с теми. Полно пьяных морд. Пикники всякие. Курорты. Юрики. Шурики. А кто — и не вспомнить. Но есть две-три все-таки. А одну, самую главную, я изорвала. Жалко как!

Лицо у нее под кремом, с уже подведенными наспех глазами — голько вскочила и сразу за тушь, — лицо ее сейчас простым стало и смягчившимся, и было это лицо вовсе никакой не дамы, московской этаким штучки, а было оно бабьим, деревенским лицом. Миловидным, простецким, готовым и к смеху и к слезам. Сейчас в ее измученных тушью глазах встали слезы.

— Конеч света! Разнюнилась! — сказала она и улыбнулась не нынешней своей, а той, бабьей улыбкой.

Опечаленная, растерянная женщина стояла перед ним. Вдруг глянула на себя, скосив глаза, в зеркало.

— Да господи ж, почти голая! — вскрикнула она и кинулась к шкафу, распахнула дверцу, спряталась за нее.

В качающемся зеркале шкафа увидел Леонид Викторович и себя, и комнату, стены, мебель, и край окна за спиной. Он увидел себя как бы со стороны, себя, присматривающегося ко всему вокруг и к самому себе в том числе. Эта комната, как и лицо хозяйки, жила двумя обликами. Было тут и городское гнездо хозяйки, и деревенское, хоть и потесненное в углу. Сундучок в одном углу стоял, стыдливо укрытый старыми афишами, заваленный журналами мод. Икона в окладе в углу висела, и хотя это модно нынче, чтобы висели по стенам иконы, но эта была пристроена в углу не по моде, а как положено, как бы и в избе она была пристроена. Какие-то открыточки еще цеплялись к стенам, какие-то высохшие метелочки трав. Половичок жался к двери, домотканый, знавший смолоду избу, сапоги, босую ступню, половицы. Ну, а все прочее было от города. Этот шкаф румынский или болгарский, этот столик журнальный, он же обеденный, чванливые эти креслица и стулья. У нее в комнате был свой мирок выделен, свой, интимный, — тахта, торшер, пуфик из цветастых ромбов — и там-то уж все у нее было городским, нынешним. И оттуда дурманный притекал запах, пахло ее духами. И было там, гнездились что-то еще такое, что заставляло отводить глаза, стыдное было там что-то, стыдное в этой привыкшей к ее телу тахте, в этих подушечках, затянутых в темный шелк и тоже привыкших к локтю ли, к голове ли, к ногам, может быть. Тахта была накрыта истертым туркменским ковром, текинским. Он близким другом показался — этот ковер. И жаль его стало. Куда занесло?

— А вот и я! — Валентина Андреевна вышагнула из-за шкафа. Принаряженная, даже причесанная, губы успела подвести. И снова была она городской, исконной, снова стала дамой, привлекательной, оживленной, знающей себе цену, в меру счастливой. — Вчера запелась совсем. Не отпустили. Я певица. Эстрадная.

Рассказывая о себе, она приглашала и его рассказать о себе. Не про то, что жил здесь когда-то, не об этом, а про то, кем стал, кем был об нынешний день. В ней начинал пробуждаться к нему интерес — ведь женщины веруют в случай, как в бога. И внезапное это знакомство, эта грусть в их душах и эта осень за окном — это так романтично, так все ускоряет, упрощает. А город, громадный город — он вполне безразличен к тому, кто что делает. Хлопнула дверь — вошел человек, хлопнула дверь — ушел. Но нет, нет... Милые, добрые, родные Осип Иванович и Любовь Марковна, ваши души еще не отлетели от этих стен, еще витают над этой улицей, вы еще тут досматриваете, чтобы все было по совести, по-людски. Спасибо вам!

— Мне пора, — сказал Леонид Викторович и пошел к двери, ступил на деревенский половичок. — Спасибо и вам, Валентина Андреевна.

— Просто Валя, — сказала она. — Уходите? Что так быстро? — Она не стала дожидаться его ответа, все поняв. — Верно, правильно, — покивала она ему, распахивая дверь. — Пробежитесь по коридору? С замком управитесь?

— Попроюсь. Управлюсь.

Какой-то угол больно ткнул его в бедро, какая-то корзина дряхло проскрипела о чем-то в спину.

— Счастливо! — крикнула ему от своей двери дама Валя. — Не грустите! Чао!

— Да, да...

Замок был старый, все тот же, он узнал его и легко с ним управлялся.

10

Снова улица приняла его, повела от дома к дому. В далеком ее просвете открылось беспокойное Садовое кольцо, подернутое рябью машин. А тут было тихо. Тут было безлюдно. Но только не для него. Голоса, голоса звучали в ушах. И память, не отпуская, вела с ним свой разговор. Будто канат в нем натянулся и придерживал его здесь. Нельзя было уйти с этой улицы, не закончив разговора с прошлым. Он был ему необходим, этот разговор.

А где были друзья тогда, куда они подевались — все его друзья, которых было так много в ту киношную пору его жизни? Он был болен, он и помереть мог, а ни единого друга не оказалось рядом. Что друзья? Видно, они были тоже для праздников, а не для будней. Вот поправится, вот тогда...

Но чтобы поправиться, надо ему было сражаться за жизнь. И не в одиночку. В одиночку бы он не отбил. И ему помогли, его вытащили, отбили. Вот это и были друзья — те, кто боролся с ним вместе за его жизнь. Друзья, и верно, познаются в беде.

Сколько он проболел? Месяц? Дольше? Считать надо было те дни, когда он выпрастывался из-под смерти. А у этих дней была своя длина. Считать надо было часы в тех днях. И иные минуты в тех часах.

Он присел на скамью в крошечном и недавнем здесь скверике перед новым домом-великаном, за зеркальными окнами которого диковинные зеленели деревья, чуть что не финиковые пальмы. Хороший был дом, просто замечательный. Уж в нем-то никаких коммуналок, конечно, не было.

Осип Иванович не таил от него, что болен он грозно, что надобно все силы напрячь, чтобы не покориться, не сникнуть. Он так и сказал напрямик:

— Все силы в кулак, все силы. А иначе не поручусь.

Он собрал все силы, он напрягся. Он всю свою жизнь обшаривал, стараясь припомнить, когда бывал смел, тверд, настоящим был другом. Память впустила его в детство, а дальше ни на шаг. Как он ни старался, память держала его там, в мальчишеской поре, не пуская ни на ступеньку дальше. Память как бы говорила ему: «Сперва разберись здесь».

Уральский городок Ключевой возник перед глазами. Он жил там до войны, когда отца перевели туда на работу, на строящийся комбинат. С тех пор сколько лет миновало, институт был, война была, землетрясение было. А память пустила его лишь в Ключевой, из детства городок. Разбирайся. Торопись. А еще раньше память держала его совсем уж в детской поре, водила его там от страшного к страшному. Зачем?

Они тогда убежали из Ключевого, он и два его друга, Борис Ермаков и Левка Аванесов. Взяли лодку и поплыли по Каме. Их путь был на Каспий. Они убежали, потому что Бориса ударил ремнем его отчим, потому что повесился их друг дядя Саша. Вот и еще один у него был настоящий друг. Дядя Саша. Он тогда пришел к нему, взбежал по лестнице, распахнул дверь и увидел ноги, которые не касались пола, чуть, самую малость не дотягивались до пола. Он поднял глаза, он не знал, что не надо этого делать. Перед ним висел дядя Саша. Вот куда завела его память, в эту комнату, где человек сам убил себя. А почему? Зачем? Ничего нельзя было понять, родители не сумели

им толком ничего объяснить. Дядю Сашу все считали пьяницей, опустившимся человеком, бродягой, а он был удивительно добр, честен, он был мудр и терпелив. Для них, для ребят, он был высшим авторитетом. Но его обижали, его чурались, и он повесился. Ах так?! Они взяли лодку, дяди Саши лодку, и убежали из дома. На Каспий, где привольное житье, куда так стремился дядя Саша. Это был их протест. Против несправедливости. Они правильно поступили. Они были тверды в своей дружбе, верны. Потом их поймали. И даже продержали несколько дней в пермской «предварилке», откуда не приехал за ними отец Левки. И в этой «предварилке» такого они нагляделись, так натерпелись, что пали духом. Там в камере были скверные люди, подлые и лукавые. Там был человек с перебитым горлом, его звали Хрипуном. Этот человек бил тех, кто послабее, он был беспощаден, но был и угодлив. И все же они и от Хрипуна отбились, потому что были вместе, крепка была их дружба. Потом их отвезли домой. Но это уже потом. А сперва был побег, была Кама, была «предварилка», был Хрипун, и через все это они прошли и остались друзьями.

Где Борис Ермаков, неразговорчивый, даже хмурый и до дерзости смелый,— где он, верный товарищ? Он убит на войне. А Левка где, большеглазый их Левка, который и шагу, казалось, не мог сделать, не спросясь у мамочки, и так боялся холода и не умел плавать, а все же поплыл с ними в уютной лодчонке по Каме, реке нешуточной, суровой, с высокой волной, с крутыми, нависшими берегами? Где он? Убит на войне.

Их не стало, его верных товарищей, его первых друзей, их не стало...

Но память снова вернула их ему. Они встали рядом. Убитые, но живее самых живых, живущих где-то совсем недалеко и бесконечно далеких. Они встали рядом, и их юные лица были добры и открыты. «Ты что, парень? — спрашивали друзья.— Ты что это болеть вздумал? Нам некогда болеть, нам нельзя болеть, у нас дел вон сколько...»

Ему было худо, дышать было нечем, но в изголовье стояли друзья.

В один из тех дней, когда жизнь начала отмерять ему свой паек не часами, а уже минутами, пришла к нему ясность, легко стало дышать, и он сумел приподнять голову. И позвал:

— Боря! Левка!

Еще миг назад они плыли по Каме, а громадный диск солнца катился по реке перед ними и совсем близко от них. Казалось, стоит только налечь на весла — и можно будет догнать этот красный, маревом подернутый диск. Догнать и обогнать, заглянуть за его край.

— А что там — за краем солнца? — спросил он громко.

Была ночь, но в качалке сидела Клавдия Павловна.

— За краем солнца? — переспросила она.

— Да. Рано утром... когда плывешь по реке... и вдруг солнце... — Он хотел все объяснить Клавдии Павловне, рассказать ей про Каму, про его друзей, но он очень устал и понял, что не сможет всего рассказать, и умолк.

— А за краем, — сказала Клавдия Павловна, — новый день, Леня. — Она тихонько окликнула: — Сергей Сергеевич, фонарь! Нет, лучше сбегайте к автомату, позвоните.

— Бегу, бегу! — с готовностью отозвался из-за стены Сергей Сергеевич.

Он побежал, было слышно, как захлопали двери, как ступил он в лужу своей большущей ногой, значит, дождь шел, и стал сразу слышен этот дождь, как вдруг начинает тикать ночью будильник, который до этого не был слышен.

А Клавдия Павловна заговорила, заговорила весело, принялась рассказывать какую-то свою сказочку. И все время мелькало в ее рассказе его имя: «Знаете, Леня... Вы меня слышите, Леня?.. Леня... Леня... Леня...»

Вскоре появился в комнате Осип Иванович. От него пахло дождем. Его руки были строже, чем обычно, торопливее.

— Ну, с чего это вам не спится, Леня? Не вздумали ли на ножки встать, Леня?

— Леня, он у нас такой,— сказала Клавдия Павловна.

Леня... Леня... Леня... Они ухватились за его имя, они без его имени просто не могли обойтись.

Пришла Любовь Марковна с металлической посудиною, в которой варила-кипятила свой шприц.

— Ну-с, Леня, лицом к стенке! — скомандовала она.

Поворачиваясь, он увидел остановившийся на нем взгляд Клавдии Павловны. Глаза ее те остались в его глазах. Вот и сейчас они встали в его глазах, пожили там недолго и отодвинулись, отплыли и стали смотреть на него, то приближаясь, то отдаляясь, как огоньки в ночи, — два светящихся огня на всю его потом жизнь.

Клавдия Павловна посмотрела на него своими широко распахнутыми глазами и ушла, и Осип Иванович и сестра милосердия в четыре руки занялись им. У Любви Марковны тоже были на этот раз какие-то потвердевшие и очень торопящиеся руки...

Он очнулся на своей скамье в скверике перед домом-великаном. Очнулся потому, что на него изо всей мочи лаяла кудлатая желтоглазая собачонка. Она была на поводке и прямо рвалась с поводка, задохнуться была готова, лишь бы только ухватить его, укусить.

— Тебе чего? — спросил Леонид Викторович, дивясь такой злобе.

Он любил собак, у него у самого вот уже сколько лет была собака, и он умел с ними разговаривать. Собаки — как дети, они не терпятнисходительного тона, они и угодничества не выносят. Их, конечно, можно запугать, но не стоит этого делать. Лучше всего заговорить с ними дружески, попытаться выяснить отношения, не начиная войны.

— Может, это твоя скамья? — спросил он.

Собаку на поводке держала девочка лет тринадцати, красивая, уже вытанувшаяся, с независимым, даже, жаль, заносчивым личиком. Была она одета во всякие заграничные занятные вещицы, вся замшевая была, если не считать русой косицы, которую она перекинула на грудь.

— Да, это наша скамейка,— сказала девочка.

— Вся? И присесть нельзя никому?

Она внимательно глянула на него, решая, как ответить. А собачка надрылась в лапу и задыхалась, натягивая поводок.

— Я подумала, что вы пьяный,— сказала она.— Или спите. Мы с Джоем не любим пьяных.

— Нет, я не пьяный и я не спал. Я задумался.

Он сообразил, что девочке этой столько же лет, сколько было Борису, Левке и ему, когда они поплыли по Каме. Он сообразил это и встрепенулся:

— Слушай-ка, как ты живешь?

— Я? — изумилась девочка его горячности. И сразу замкнулась, стала величественной и неприступной. Как ее мама, наверное, когда какой-нибудь прохожий надумает с ней заговорить. В эти годы девочки всегда подражают своим мамам. А мамы у них, у таких вот девочек, еще молоды, еще многое их ждет впереди.

— А вам-то что за забота? — сказала девочка, обдав его холодом.

— Верно. Прости. Слушай-ка, отчего у тебя собака такая злая? Как это вышло, что она такая злая?

— Порода. Она у нас норная. Она должна быть злощей-презлющей. Иначе разве возьмешь лису или там барсука.

— Твой папа охотник, он промышляет лис?

— Да что вы! — Девочка высокомерно вздернула плечи. — Джай, уймись, он не пьяный, он просто странный.

Пес, потому ли, что послушался хозяйки, потому ли, что наскучило ему, перестал лаять и уселся, по-фоксячьи вытянув вперед задние лапы, как будто в кресло сел.

— А раз на охоту тебя не берут, так и незачем тебе быть таким злым, — сказал ему Леонид Викторович и безбоязненно протянул псу руку. Ладонью вперед, конечно же.

Пес оскалится, удивился и не укусил.

— Смотрите-ка, — сказала девочка. — Нашли с ним общий язык.

Леонид Викторович поднялся.

— Знаешь что, хотя, конечно, время упущено, но ты все-таки постарайся, сделай пса подобрее. — Он кивнул девочке и пошел от скамьи, снова вступая в русло своей улицы.

— А как?! — вдруг очень заинтересованно окликнула его девочка. — Как дрессируют на добро?!

— Никак! — отозвался Леонид Викторович, обернувшись. — В том-то и дело, что никак не дрессируют.

Улица, та и не та, его и не его, снова легла ему под ноги.

Смешной человек, он все искал в ее лице черты былые, сохранившиеся от его молодой здесь поры. Но шли, но ведь шли годы. А все-таки... И хотя новые стены встали по обе стороны этой улицы, и хотя почти неузнаваемо подновлены были старые стены, а все-таки улица эта не могла не быть его улицей и в чем-то главным узнавалась им, как узнаем мы друга школьной поры в солидном и маститом муже, узнаем в нем курносого паренька, обнаружив просвет все той же бесшабашной улыбочки, приметив жест какой-нибудь — ну, плечом там повел, подбородок вздернул, — и вот он уже весь перед нами, узнан, хоть годы минули, хоть ныне и осанист и степенен, просто иной совсем человек и улыбается по-иному. Выдал, выдал себя! Проговорилась в нем юность! «Здравствуй, друг!.. Как ты?..»

Навстречу шел парень лет двадцати, вольно шел, никуда не торопясь. Он явно был здесь у себя, его это была улица. И он прогуливался по ней в свободный от работы или занятий час, должно быть, в поисках приятелей, тех, что жили тут же, по соседству. Он и одет был совсем по-домашнему, в вещи, которые донашиваются, ему тут незачем было красоваться. Но и старые совсем брюки, и старая куртка, и ботинки былой, востроносой моды — все это так сжилось с ним, приладилось к нему, не мешало и не теснило, что казалось — парень одет преотличнейшим образом.

Глянув друг на друга, они угадали друг про друга, что вот этот парень здесь у себя, но и этот прохожий тоже здесь у себя. Угадали и примедлили шаг, чтобы, может быть, побеседовать мимоходом, как это водится между соседями.

— Что-то знакомо мне ваше лицо, — сказал парень, останавливаясь. — Здесь живете? Недавно переехали?

Леонид Викторович тоже остановился.

— Нет, сейчас не здесь. Но когда-то жил.

— Вот я и говорю! — обрадовался парень. — У меня память на знакомые лица.

— Вы меня знать не можете. Я здесь жил, когда вы, пожалуй, еще и не родились.

— Древние времена! — усмехнулся парень. Усмехнулся и посмотрел на Леонида Викторовича, как смотрит юность на всех, кто шагнул уже в старость, посмотрел жалеючи. — И что же, к родственникам сюда пожаловали? Может, я кого из родственников ваших знаю? Лицо, смотрю, знакомое. — Ну никак не хотел этот парень усомниться в своей зрительной памяти.

— Родственников у меня тут нет, — сказал Леонид Викторович и виновато развел руки. — А вот друзья были. Давно, правда. Их тоже тут уже нет.

— Кто да кто? — деловито осведомился парень. — Может, знаю? Я тут родился. Представляете?

— Осип Иванович, — на всякий случай сказал Леонид Викторович, скорее из вежливости, для беседы. Где было знать этому юноше Осипа Ивановича!

— О, доктор наш?! Еще бы не знать! Он, когда я маленький был, лечил меня. Так он был вашим другом? — И парень с новым интересом, собственно, именно теперь-то и с интересом, поглядел на Леонида Викторовича. — Великий был старик. А вы что же, как и он, из врачей?

— Нет. А Сергея Сергеевича, а Клавдию Павловну — их вы не знали? Кажется, они еще совсем недавно жили здесь...

Парень не успел ответить, кивнуть даже, а Леонид Викторович понял, по его вспыхнувшим глазам понял, что да, он их знал.

— Удача какая! Где они? Что с ними? — заторопился Леонид Викторович с вопросами.

— Живы, живы! — поспешил успокоить его парень. — Недавно только и съехали.

— А адрес?! — вырвалось у Леонида Викторовича. Вот как бывает, годы не сворачивал на эту улицу, а сейчас просто обожгло нетерпением, так понадобилось ему узнать, где его друзья да что с ними.

— Живы, живы, — повторил парень и дружески взял Леонида Викторовича под руку. Он был теперь естествен, этот дружеский жест, хоть они и не знали друг друга.

Они пошли рядом как старые знакомые, как соседи, встретившиеся на своей улице в пору, когда выдался свободный час.

— Да недавно только и съехали, — сказал парень, заглядывая в лицо Леонида Викторовича с симпатией. Он спохватился, высвободил руку и протянул ее, знакомясь: — Николай.

— Леонид Викторович. А куда съехали?

— Да куда, в Москву же и съехали. Адреса я не знаю, но адрес — штука нехитрая. Послушайте, может, я вас на фотографии у них видел? Ну, знакомое лицо!

— На фотографии? — задумался Леонид Викторович. — Не припомню что-то, чтобы я дарил им свою фотографию. И давно все было, переменялся.

— Нет, а я вот видел и видел! — настаивал Николай. — У меня память на лица — это точно, это все признают.

— И что же они, как? Здоровы? Счастливы? — спросил Леонид Викторович и даже подтолкнул парня под локоть, чтобы тот побыстрее ответил.

— Как это? — несколько опешил от его вопросов Николай. — Здоровы, спрашиваете? Так старенькие уже они. Счастливы? Так ведь старенькие же. Еще старее вас.

— Да, да... — Леонид Викторович постарался улыбнуться.

— Но все равно народ они замечательный, — утешил его Николай. — На выручку — тут как тут. Помню...

— Да, да, и я помню...

— Может, пивка по кружечке?

- Нет, мне пора. Спасибо, Николай, спасибо на добром слове.
— Ну, глядите, Леонид Викторович, а то бы по кружечке. Да и до смены мне еще далеко. Как-никак соседями могли быть.
— Это верно, могли.
— Если что, я при деньгах,— сказал Николай.— Приглашаю.
— Спасибо, спасибо. Как-нибудь в другой раз.
— Ну, ну...— И Николай отпустил Леонида Викторовича, вдруг зорко, не по-молодому поняв его: — С собой беседуете?

Они разошлись, пошагали по своей улице — один в одну сторону, другой в другую.

11

«Кризис...» Это слово кто-то шепотом произнес за стеной, и он услышал его. Он знал, что это означает — кризис. Это про него было сказано. Это с ним сейчас вершился кризис, в нем засел. Если не победить его, этого врага в нем, то враг этот сам прикончит его, отнимет у него жизнь.

Он совсем маленький был, еще только собирался в школу, как свалила его тяжелая болезнь, сразу будто обдавшая кипятком. Это была скарлатина. Как он тогда болел, он не помнил, он долго болел, и дни слились в серую и забытую дорогу. Но один день он вспомнил: все тогда засуетились вокруг него, люди в белых халатах, чьи лица он уже забыл. И тогда тоже было произнесено слово «кризис». И тогда тоже, хоть и был он мал, он догадался, что от этого слова зависит его жизнь. Но знал ли он тогда, что такое жизнь? Наверное, что-то все же знал, понимал. Он страха тогда не испытывал, но ему было жаль себя, он помнит, ему было очень жаль себя, но даже плакать он не мог, так был слаб. И все время клонило ко сну. Это он помнит. Но он не спал. Его только клонило ко сну, а заснуть он не мог. Все слышал, что делалось вокруг, слышал шепотом произносимые слова, шаги, звон посуды, гудки фабричные, посвист ребят, гонявших во дворе голубей, нянину слышал молитву, ее слезный шепот у изголовья, слышал прерывистое дыхание матери.

Вот и теперь он тоже все слышал, хотя его оберегали от звуков. Он и это слышал, как его оберегали от звуков. Он лежал с закрытыми глазами, и было ему все слышно. И то, что вершилось вокруг, и то, что вершилось в нем самом. А там, в нем, был кризис, и он завоевывал его, там, изнутри, захватывая владение за владением, руша преграду за преградой. Было страшно. Но не все время. Вдруг никнуть он начинал, смиряться, сдаваться, сам в себе отступать. И тогда-то окликала его Клавдия Павловна: «Леня... Леня...» Она знала, она всегда угадывала, когда надо его позвать.

А зачем? Ему казалось, что и ладно и хорошо, что все так складывается. Он устал, если бы она знала, как он устал. И сколько обид набралось, как несправедлива была к нему жизнь. Он старался припомнить эти обиды, рылся в памяти, чтобы все собрать. Странная его память отказывалась служить. Она своевольничала. Она удерживала его в детстве, не пуская ни на шаг дальше. И в изголовье у него стояли Борис и Левка. Как же так?! Куда же все подевались?! Где обиды?! Где предательства?! Где это все, что сотрясло его, заставило извернуться, ожесточиться, очерстветь, замерзнуть душой?! Он бился, чтобы добыть все это, припомнить, собрать вместе, навалить на себя, как падающие стены в землетрясение. И тогда — все. И ничего не жаль...

«Леня... Леня...» — звала его Клавдия Павловна.

Она развеивала все его усилия. Она мешала ему собраться с памятью. Она всех прогоняла от него. Всех и вся. Только Борису и Левке позволила она остаться в комнате, остаться в памяти. А зачем? Зачем

это ей было нужно? Ну, продерется он через этот кризис, ну, выздоровеет, — а зачем?

Она ответила, она угадала его вопрос:

— Что вы, Леня, что вы, милый, да у вас еще столько всего в жизни будет! И любовь будет! И вы повесть свою напишете. И ее напечатают в самом лучшем нашем журнале. А Сергей Сергеевич принесет мне этот журнал, и я прочту повесть. Всплакну, может быть, читая. Все будет. Что вы, Леня!..

Это верно, хорошо бы дописать повесть, хорошо бы напечатать ее в журнале, хорошо бы побыть в том дне, когда появится этот номер журнала в киоске Сергея Сергеевича, хорошо бы встать в очередь в этот киоск и посмотреть, а покупает ли кто журнал с его повестью. И чтобы весна была, лучше всего май, и на Арбатской площади, где стоит киоск Сергея Сергеевича, уже подсох бы асфальт, пригревало бы солнце, встав своим красным диском за спиной у сутулого Гоголя. Распрячься, печальный человек! Весна на дворе!

А что — если?.. Если взять да и побороться с этим кризисом?.. Если напрячься, повеселеть, взбодриться, приказать себе быть таким, — что тогда?..

Клавдия Павловна ответила, она угадала его мысли:

— А тогда вы поправитесь, Леня. Вы — поправитесь. Вам бы уснуть. Ну, постарайтесь, усните. Вы постарайтесь...

«Ты чего это, ты спи, раз болен, собирайся с силами», — тоже советовали ему в изголовье Борис и Левка. И принялись кивать ему: мол, спи, спи.

Он заснул. Как все просто оказалось. То никак не мог уснуть, всякий шорох достигал слуха, а то взял вдруг и провалился в сон.

А когда проснулся, то узнал, что проспал почти двое суток и что кризис миновал.

12

— Вот вам и плесень! — ликуя говорил Осип Иванович. — Вот, Любочка, вот, маловер, тебе и доказательство!

Старик был счастлив, будто это первый был в его жизни больной. И все были счастливы, все вокруг были счастливы. А он не очень-то понимал, отчего такое всеобщее ликование. Он так ослабел, так сник, что все время был в полудреме. И если уж он чему и радовался, так это обретенной вновь памяти: ему снова было дано вспоминать, и не только детство, а обо всем, о чем бы ни пожелал. Он попробовал припомнить войну. Пожалуйста, вспомнилась. Попробовал в Ашхабад заглянуть. Никаких помех, заглянул. Робея, подобрался памятью к совсем недавнему, к дому Ирины. И туда впустила его память. Но вот странность: все, о чем бы ни вспомнил он, не ранило его, не печалило, как он того ждал. Издали все как-то разглядывалось, и широко. Будто это не с ним все случилось, а если и с ним, то с ним не теперешним. Он, теперешний, был наделен еще незнакомым ему спокойствием, он даже и улыбнуться мог иному из того, что некогда приводило в отчаяние. Мог улыбнуться, мог понять, мог простить. Совсем другим будто стал человеком. Не поумнел ли? За несколько дней болезни — возможно ли? Ну, не поумнел, так постарел. За несколько дней? Или, может быть, подобрел?

Он лежал, подремывая, и медленно думал о странных в себе переменах, гадал, как теперь дальше пойдет жизнь.

А вокруг все люди, его окружавшие, были добры с ним, были рады всякому его слову, и их радость передавалась ему, он старался

тоже обрадоваться, но пока это плохо ему удавалось, он был очень слаб, трудно было даже улыбнуться.

Кресло-качалка не пустовало. То Клавдия Павловна в нем вязала, то Сергей Сергеевич усаживался, то взбиралась Машенька. Часто заходили Осип Иванович и Любовь Марковна. Наверное, они все сговорились, потому что одинаковые вели с ним беседы. Про разное, разумеется, но одинаково. Бодро, весело, жизнеутверждающе. Конечно, они сговорились, иначе откуда бы такое всеобщее в мире ликование.

Его продолжали врачевать, в него вводили бодро́сть.

Клавдия Павловна перестала рассказывать свои сказки для взрослых, он больше не нуждался в таких сказках. Она теперь рассказывала ему немудрящие истории, которые происходили где-то совсем рядом, во дворе у них, в доме по соседству, в магазине. Она будто брала его за руку и выводила на улицу и учила ходить.

— Снег выпал,— рассказывала она.— А тепло. Скользко, гололед,— предупредила она.— Побежала в булочную и чуть было не грохнулась,— делалась она.— Вот бы нахватала синяков. А то и ногу могла сломать. И, глядишь, Леня, мы поменялись бы местами. Стали бы сидеть рядышком в кресле-качалке?

— Стал бы.

Она поглядывала на него, взмахивала ресницами и вязала. Чуть подавшись вперед, едва покачиваясь в кресле, она вязала, надолго умолкая, хотя губы у нее шевелились: она подсчитывала петли. А ему казалось, что разговор их длится. Он и длился. Всякий раз, когда в нем нарождался к ней вопрос, она угадывала его и отвечала. Всякий раз, когда ему важно было, чтобы прозвучал ее голос, он начинал звучать. Они разговаривали молча и вслух, и, пожалуй, их молчаливый разговор был куда значительнее, чем те слова, которые прорывались наружу.

Красива ли она была? В своей старенькой кофточке, в старенькой юбке, в плотных чулках, как у школьницы, в домашних туфлях, отороченных истершимся мехом, она как бы все делала для того, чтобы спрятать себя, приглушить, пристарить. Но из всего этого уютного домашнего старья ей вопреки, ей наперекор проглядывала, открывалась мягкая и сильная ее красота. Спокойная и надежная ее красота. А если, случалось, трогала ее губы улыбка, то уж тут и гадать было нечего, тут уж просто вспыхивало ее лицо красотой. И долго потом не угасала эта вспышка, хотя и улыбки уже давно не было. Потому-то она и улыбалась не часто, стыдясь будто этих вспышек молодости и счастья в себе. С чего бы? С какой радости? Но сейчас, но ради него она все же почаще давала волю улыбке, припрятывала, гнала свои заботы. Ей было велено быть такой. Осип Иванович велел. Велел быть красавицей? Для дела выздоровления молодого человека? Вон что, вон какие чудеса творились в этой узкой и высокой комнате: перед ним сидела красавица.

— Да, мне хорошо с вами рядом,— сказала она, доверяясь ему.— Моложе я делаюсь. А ведь я еще не старая, нет?

— Что вы! Да вы!..

— Тише, тише!..— Она наклонялась к нему, приближала руку.— Вам нельзя так вскрикивать.

Откачнувшись, откинувшись сильным телом на спинку качалки, она с удовольствием принималась качаться, и лицо ее становилось удивленным, счастливым, медленно разгоралась ее улыбка.

— Что со мной? Не влюбилась ли я в вас, Леня?

Она была доверчива, бесхитростна. Да и как можно было хитрить с ним, с этим поверженным человеком? Кокетничать, лукавить — все это было оскорбительно неуместным сейчас.

— Правда?! Это правда?! — вскинулся он.
 — Тише, тише! — Она наклонялась к нему, приближала руку, почти дотрагивалась ладонью до его губ.

13

Настал день, когда ему разрешено было подняться на ноги. В этот день он наново учился ходить. Но учиться было нетрудно. Вся квартира была поделена столькими перегородками, что всегда можно было достать рукой до стены, а то сразу и в две стены упереться, как в костыли.

Клавдия Павловна куда-то ушла, Машенька была в школе, и только Сергей Сергеевич был с ним. Хорошая у Сергея Сергеевича была работа. Он быстро распродал по утрам свои газеты и журналы и потом бывал свободен до обеда. И выходных у него было целых два. Хорошо было и то, что его киоск находился недалеко от дома. Он теперь почти все время жил здесь, у Клавдии Павловны, ночуя в совсем уж похожей на пенал комнатенке. Считалось, что он временно здесь поселился, у него своя была где-то комната, а здесь он оставался ночевать, или потому, что засиживался с Машенькой, помогая ей делать уроки, или потому, что надо было печи протопить, а Клавдия Павловна, занятая вязаньем — она становилась заправской вязальщицей, уже и заказчицы у нее появились, правда неприхотливые, — сама не успевала этого сделать. И все ночи, пока Леонид болел, Сергей Сергеевич тоже был здесь, добровольно взвалив на себя обязанности санитаря. Не было бы Сергея Сергеевича, не избежать бы Леониду больницы.

Сейчас Сергей Сергеевич снова был ему необходим, помогал учиться ходить, оберегал от малейшего сквозняка, кутал как маленького.

Они сидели в узкой кухне и пили чай.

— Вот и все позади, Леня, — радуясь за него, говорил Сергей Сергеевич и смотрел на него добрыми глазами.

Он пил чай с блюдца, держа блюдце на широкой ладони. Он казался неповоротливым и неуклюжим, хотя был ловок в работе и руки у него умели все. Силой веяло от этого простого, простодушного даже человека с загадкой. Кто он? Откуда? Какие это были пути в его жизни, которые в конце концов подвели к газетному киоску на Арбатской площади, где он и остался? И какой судьбой занесло его на бега, где он и остался? И как забрел он в этот домик, в этот флигелек, где так хотелось ему навсегда остаться? Как случилось, что полюбил он Клавдию Павловну?

Они пили чай и думали друг о друге. У Сергея Сергеевича тоже не могло не быть к нему вопросов. Какой судьбой занесло этого молодого парня в дом Клавдии Павловны? И как случилось, что Клава, его Клава, полюбила этого парня? А он, не дай бог, а парень-то этот, не влюбился ли и он в нее?

Трудно было Сергею Сергеевичу. Страшно ему было. Но он только добро помаргивал ресничками да смешно подувал, собирая губы трубочкой, на блюдце.

— Чему быть, того не миновать, — сказал он вслух.

— Вы о чем?

— Смотри-ка, сколько снега навалило, — сказал Сергей Сергеевич. — Надо будет Машеньке лыжи наладить.

Да, снега за окном было много. Когда в первом этаже живешь, а дом твой и для одноэтажного невысок, то ближе ко всему становишься — и к дождю, и к снегу, и, наверное, к людям.

— Сергей Сергеевич, вы были на войне?

— Да, был.— Он поставил блюдце на стол, широкими ладонями сжал щеки.— С первого дня. Я, Леня, кадровый. Начал капитаном.

— Вон что!

— Не похож?

— Да как вам сказать...

— Знаю, не похож. Я больше на солдата всегда смахивал. Знаете, из крестьян, что от сохи прямо. Офицерская форма ну никак ко мне не приживалась. Неуклюж. Топором рублен. Знаю. В военном училище эта выправка меня просто замучила. И потом было трудно. Только война и выручила. Воевать — не каблуками щелкать. Верно?

— Верно.

— И все шло хорошо у меня, Леня, да, все шло хорошо...

Сергей Сергеевич мял лицо ладонями, покачивался на табурете из стороны в сторону, далеко он где-то был в своих мыслях.

— А потом обвалом жизнь пошла. Был ранен, раненым, без памяти, попал в плен, чудом выжил...

— А дальше, что было дальше?

— А дальше... Бежал из плена... Потом проверяли... Я ведь, Леня, из дворян, из столбовых. Что, не похож? — Сергей Сергеевич развел руки, усмехнулся.— Знаю, не похож. Если по кинофильмам судить, то никак не похож. Но в русском дворянине мужик, крестьянин, частенько проглядывал. Вот и во мне тоже. Ну, проверили, поверили, но в армию назад не взяли. Семья рухнула, жена не пожелала ждать, профессии у меня для мирных времен не оказалось, да и побит был сильно.

— Досталось вам...

— Я не жалуюсь. Живу... Вот чай мы с вами попиваем. Вот Клавдия Павловна сейчас придет. Разве плохо? Придет, разберит меня, что вас на кухне держу, а тут окно худо замазано. Она, когда сердится, еще краше делается. Примечали? Да нет, она на вас не сердится, у нее для вас улыбка. Счастливый вы. Редко она улыбается, наша Клавдия Павловна, редко. Зато уж когда улыбнется... Примечали?

— Вы ее любите?

— Да, Леня, я ее люблю.— Сергей Сергеевич поднял голову. Его простоватое, в рыжеватой щетине лицо истовым стало, словно перед древней иконой остановился и замер глубоко и свято верующий человек.— Она!

По тропинке в снегу, минуя заснеженный палисадник, шла в подшитых валенках, по-деревенски повязав голову теплой шалью, в бедном своем демисезонном пальто, перешитом, наверное, из мужниного, шла и улыбалась, завидев их в окне, Клавдия Павловна. Солнце катилось следом за ней по крышам домов, старых московских здесь домов. Сверкал снег, небо было прозрачным и глубоким. Шла к ним красавица. И бедная одежда ее лишь щемящей делала эту красоту.

Сергей Сергеевич увидел свою икону и теперь не сводил с нее глаз. И вовсе не простоватым было его лицо. Добрым оно было, самоотверженным, готовность в нем жила на все пойти ради нее. Открытым, простосердечным было его лицо, а не простоватым. Вдруг подумалось, дошло до сознания: а ведь Сергей Сергеевич впервые стал рассказывать ему о своем прошлом. И его слова опять услышались: «Да, Леня, я ее люблю». Вон что, вон зачем он заговорил с ним так откровенно. Этот кроткий человек, этот будто притихший после всех своих бед человек, он сейчас на крайнюю меру отважился, он громко заявил о своей любви. А уж там, а уж дальше пусть будет как будет. «Чему быть, того не миновать»,— сказал он. Покораясь?

Отступаясь? Нет, он просто не мог воевать свою любовь. Он мог только служить ей, молиться на нее, как истинно верующий перед святой иконой. Он к милосердию, к совести взывал, он был не соперником.

Клавдия Павловна только вошла и, верно, сразу напустилась на Сергея Сергеевича, что усадил больного пить чай на кухне, где вон какая холодина.

— Сейчас же, Леня, сейчас же в комнату! — сказала она и сама повела его по узкому коридору, где вдвоем было не повернуться и где он ли к ней, она ли к нему, но они прижались друг к другу, и он услышал, как колотится ее сердце — своего сердца он не ощутил, да и не остановилось ли оно? — и услышал, как мимолетно коснулись его лба ее губы, жаркие и еще прихваченные морозцем.

Следом за ними шел Сергей Сергеевич, покорно улыбаясь, покорно уронив руки, цепляясь плечами за стенки этого узкого коридора, где было не повернуться.

14

Леонид Викторович не прогуливался по своей улице. Его будто ветром несло, толкая то на одну сторону, то на другую. Он шел торопясь. А куда? Это память гнала его. Она была его поводырем, словно он ослеп или, наоборот, прозрел, но иным совсем зрением, нежели то, каким жил обычно. Двойным было его зрение. Нынешнее и тогдашнее слилось в нем. Но уже совсем немного оставалось от тогдашнего, последние договаривали слова его друзья, в последний, в самый последний раз так явственно видел он их, так явственно, будто были они вот здесь сейчас, рядом, и слышным было ему их дыхание.

Прощаясь, теперь уже совсем, навсегда, он заскочил во двор особняка, спеша к своему домику, страшась, что рухнула и последняя стена Нет, она все еще стояла, держалась.

Он поспешно подошел, радуясь, что стена стоит.

— Это вы опять?! — окликнула его Нина, разбитная московская девчонка. — Ну, вспомнили?!

— Вспомнил... А вы про что?

— Да про это слово на обоях. Дальше-то какие были слова? Что-нибудь важное?

— Важное...

И они отчетливо вспомнились, эти слова. Память подвела его к ним, он подошел к ним, и они вспомнились. И вспомнился миг тот, когда он написал на обоях эту яростную фразу, начинавшуюся с «если...». Миг тот, ночь та...

Он был тогда уже здоров, снова начал писать свою повесть, надеясь на нее как на спасение, и тянулись, тянулись его дни в этом доме, где жить становилось все труднее, невыносимее, потому что надо было на что-то решиться. Решиться, минуя Сергея Сергеевича? Нет, тот не был соперником, куда там. В том-то и дело, что он не был соперником. Его любовь была выше соперничества, в том-то и дело.

Была ночь. Сергей Сергеевич ночевал у себя, в своей где-то комнате, он часто теперь ночевал не здесь, спеша управиться с Машинными уроками и с печами пораньше, чтобы не вымалывать этих слов Клавдии Павловны: «Сергей Сергеевич, да вы оставайтесь...»

Была ночь, и Клавдия Павловна не спала за стеной, он слышал, что она не спит. И надо было только тихонько окликнуть ее, позвать, имя только произнести. Она бы пришла, он знал — она бы пришла. Вскинулась бы бесшумно, чтобы не разбудить дочь, шорохом метнулась бы по коридору, кинулась бы к нему. Он знал, это бы случилось, свершилось.

Он не окликнул. Он схватил карандаш, чтобы, терзая обои, душу терзая, написать для самого себя это заклятие, этот запрет. Всего три слова. Как просто они вспомнились. Всего три слова: «Е сли ты че л о в е к!»

Наутро, когда никого не было дома, он сгрел в чемодан вещи и ушел. А днем позже уехал на Урал к родителям, кое-как раздобыв у дяди денег на дорогу и на то, чтобы перевести Клавдии Павловне свой долг за комнату и за очень дорогой в те годы пенициллин. И уже оттуда, с Урала, написал он Клавдии Павловне письмо. Попрощался с ней, за все, за все, за все поблагодарив. Какими словами? Стоит ли вспоминать? Слова те были бедны, слова всегда бедны в таких письмах.

Вот и вся история про то, как жил он на этой улице. История, которая помогла ему и сегодня. Она поможет ему и завтра. Надо быть человеком.

— Так про что же слова? — допытывалась бойкая Нина.

— Если ты человек... — сказал он.

— И все?

— И все.

Он повернулся и пошел отсюда. Он не хотел ждать, когда рухнет стена. Но шел и оглядывался, шел и прощался.



ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

* * *

Что-то есть сильнее, чем привычка,
в тяге к снегу, к шелесту травы.
Вот и вновь ночная электричка
мчит меня подальше от Москвы.

Мчит сквозь тьму, запахнутую глухо.
Разместив в вагоне узелки,
не спеша степенные старухи
оправляют плотные платки.

Что им, вещим, дома не сидится?
Закругляя острые углы,
катит море матушки столицы
грузные бетонные валы.

И огни, огни перед глазами
гаснут-загораются вдали,
словно молний резкие зигзаги
нависают с неба до земли.

Всюду быт, поэзия, наука
рвутся тройкой. брошенной в намет...
Ну, а все ж готовить к старту внука
потрудней, чем нянчить звездолет.

Вон дедок соседу бает байки.
А напротив дремлет в забытьи
не старушка робкая, не бабка —
грозная владычица семьи.

Вон малец справляется с печеньем...
Нас не час, а вечность напролет,
словно стрежень мощного течения,
электричка поздняя несет.

ФЛАГ

От имени, по порученью
и под советы работяг
на шпиль заводоуправленья
мы поднимали новый флаг.

Мы двигались полушагами.
И там, на маковке земли,
гремела жечь под сапогами,
по лицам волосы секли.

Наш новый флаг
был флаг что надо:
и чист, и плотен, и багров.
Но к старому тянулись взгляды
котельщиков и маляров.

Но старый с маху бил по пальцам,
хоть в каждодневной суете
пообетшал, пообтрепался
и полинял на высоте.

Нужна особая отвага,
чтоб, смазывая тишь да гладь, .
увидеть мир глазами флага,
который так непросто снять.

Ну, что внизу? Пестрели крыши
подобием учебных карт.
Войной на вольницу домишек
шел государственный стандарт.

И мы в приливе откровений
предощущали наперед
преемственность и поколений,
и стен, и флагов, и высот.

Бессмертны суть и яркость цвета.
Но лично ветеран труда,
как ни крути, уходит в Лету,
в седую вечность, в никуда...

И, не смутив пристрастным словом
бесстрастное течение лет,
мы старый флаг сменили новым,
чтобы не мерк все тот же цвет.

..*

Опять мне не спится ночами,
опять в переулке потоп.
К асфальту витыми ручьями
крест-накрест притянут сугроб.

Гуськом облака волочатся,
чтоб выси очистить к утру.

Ах, дело не в том, что в санчасти
я знаю одну медсестру.

И знаю, и вижу, и слышу.
Но, главное, зимний уклад
разрушен: сосульки под крышей,
как гвозди, наружу торчат.

Поверив в слепящую небыль
заплаканных щек мостовой,
капель в отраженное небо
бросается вниз головой.

В минуты такие не даром
ты весь на виду у судьбы:
вон лужа блестит окуляром
огромной подзорной трубы.

Стрела атлетического крана,
пересоздавая пейзаж,
снует по страницам тумана
как шариковый карандаш.

И ветры в безумии тщатся
затеять со мною игру.
Нет, дело не в том, что в санчасти
я знаю одну медсестру.

И, выдохшиеся однажды,
опять ощущаются всласть
не сухость в гортани, а жажда,
не просто волнение, а — страсть...

ВЕСЕННЕЕ

Весна начинается где-то на крыше:
как будто преследуя скрытую цель,
то громче и громче, то тише и тише
стучит и стучит за окошком капель.

Становится лужа бездонной пучиной,
туннелем к подножию туч и громов.
Сосульки неровной прозрачной щетиной
густеют на скулах мостов и домов.

Не лихость в работе цена, но опаску,
оглядку, прикидку, степенный ответ,
саперы на свет извлекают фугаску,
в песке пролежавшую несколько лет.

Саперы, сомненья свои пересилив,
знай трудятся, времени не торопя.
В смертельно опасном служеньи России
мы все постепенно находим себя.

В январской ли стыни, в весеннем огне ли
России дано обрести забытье?
Вздыхать о ней просто, служить ей — труднее,
но самое верное — верить в нее.

Но самое главное — это дохода
за веру не выгадала бы душа.
И я от оплавленного электрода
цигарку раскуриваю не спеша.

Под бел-облаками, под стынь-ветерками,
под остро распахнутой синь-синевою
с речными буксирами и со станками
я честно делюсь невеликой судьбой.

Я предполагаю, предчувствую, слышу,
как зыбкой морзянкой, зовущей апрель,
то громче и громче, то тише и тише
стучит и стучит за окошком капель.

Плутая зигзагами или кругами,
ручьи обнаженно сверкают вдали.
И толща снегов у весны под ногами,
темнея, протаивает до земли.

ЧЕРТЕЖ

Что перед ним порыв, размах, сноровка!
На нем, как примиренные враги,
совмещены пунктиры и штриховка,
сопряжены квадраты и круги.

И чудится: из этой чертовщины
до капельки отцежена душа.
Но линии, как мудрые морщины,
преображают облик чертежа.

Они рассудок сдабривают чувством,
покуда лист — от ветра в стороне —
раскладывают с шорохом и хрустом
на чьей-нибудь подставленной спине

И не длинней хребта, спины не шире,
плеснув за рамки, словно за порог,
чертеж упруго зависает в мире
изгибами речонок и дорог.

Он переходит в трассы и орбиты,
в мелькающие прыгалки детей,
в удачи, в равнодушие, в обиды,
в пылающие строки новостей.

И с чувством не сомнения, а веры
все ждет, чтобы неистов, как прораб,
стал удесятерять его размеры
великий маг по имени масштаб.

Уже и бригадир поскреб в затылке,
и жести заготовлено сполна...
А может, юность, будто джин в бутылке,
в притворной зрелости заключена!

Мне скромности хватает и гордыни.
Но если мы толкуем по душам —
я, может, соответствую и ныне
своим первоначальным чертежам.

Я, может, сохранил еще смекалку
и, выцветшей реальности назло,
готов часами всматриваться в кальку,
как будто в запотевшее стекло...



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА*

Роман

Тали — чудо Чегема

В этот незабываемый летний день шло соревнование между лучшими низальщицами табака двух табаководческих бригад села Чегема. Соперницы (одна из них — пятнадцатилетняя дочь дяди Сандро Тали, или Талико, или Таликошка, другая — девятнадцатилетняя внучка охотника Тендела Цица) разыгрывали между собой первый чегемский патефон с целым набором пластинок.

Кто не видел Тали, тот многое потерял в жизни, а кто видел ее и сумел разглядеть, тот потерял все, потому что в его душе навсегда застряла влажная тень ее образа, и, бывало, через множество лет человек, вспоминая ее, вдруг вздыхал с какой-то горькой благодарностью судьбе.

В пятнадцать лет она была длинноруким и длинноногим подростком с детской шеей, с темно-золотистыми глазами, с каштановым пушком, с густой челкой на аккуратной головке, то и дело шлепавшей ее по лбу, когда она бежала.

И только необыкновенная по своей законченности линия подбородка, лунная линия, намекала на небесный замысел ее облика и в то же время вызывала немедленное и вполне земное желание прикоснуться к этому подбородку, попробовать его на ощупь: такой ли он гладкий и законченный, как это кажется со стороны?

Но мало ли миловидных и даже просто красивых девушек было в Чегеме! Чем же она выделялась среди них?

Лицо ее дышало — вот чем она отличалась от всех! Дышали глаза, вспыхивая, как вспыхивает дно родничка, выталкивая струйки золотистых песчинок, томно дышали подглазья, дышала шея так, что частоту биения пульсирующей жилки можно было подсчитать за пять шагов от нее. Дышал ее большой, свежий рот, вернее, дышали углы губ, не то чтобы скрывавшие тайну ее чудной улыбки, но как бы неустанно подготавливающие эту улыбку задолго до того, как губы ее распахнутся. Казалось, углы губ ее пробуют и пробуют окружающий воздух, вытягивая из него какое-то солнечное вещество, чтобы благодарным сиянием улыбки ответить на сияние дня, шум жизни.

* * *

Чуть ли не с самого рождения девочка была отмечена знаком, а точнее даже знаками небесной благодати.

Однажды, когда ей было четыре или пять месяцев, мать, держа ее

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 8, 9, 10 с. г.

одной рукой. другой стягивала белье с веревки, протянутой вдоль веранды. Неожиданно девочка вскинула ручки в сторону яблоневых ветвей, нависавших над верандой, и стала кричать: «Луна! Луна!»

И тут, взглядевшись в направлении ее вздетых розовых ручонок, мать ойкнула и чуть не выронила дочку: сквозь ветви яблони в тихом предзакатном небе серебрился бледный диск луны.

Узнав об этом необыкновенном явлении, чегемцы несколько дней приходили посмотреть на чудо, и ребенок, стоило кивнуть на небо, с необыкновенной радостью вздымал ручки и бодро говорил: «Луна!»

Некоторые чегемцы предлагали устроить дежурство, с тем чтобы не пропустить мгновенье, когда ребенок произнесет свое второе слово, чтобы, сопоставив оба слова, узнать, что он этим хотел сказать, нажав свой словарь с такого высокого предмета, как луна.

Кстати, местный учитель, с улыбкой (которая сразу же не понравилась чегемцам) выслушав сообщение об этом чуде, с улыбкой же опроверг его.

Он сказал, что наука совсем по-другому смотрит на этот вопрос. Он сказал, что скорее всего кто-то, держа в руке большое красное яблоко, сравнил его с луной, а ребенок это услышал и ему это так и запало в голову. И вот он, однажды увидев на дереве плоды, похожие на то яблоко, ошибочно назвал их знакомым звуком, а диск луны, если он даже и виднелся сквозь ветви яблони, не имеет к этому никакого отношения. Так объяснил чудо учитель неполной средней школы, открытой в Чегеме в начале двадцатых годов.

Чегемцы из присущего им гостеприимства (наука в Чегеме — гость, это они чувствовали) не стали спорить с наукой, а предложили учителю прийти самому и убедиться, что ребенок именно луну называет луной, а не яблоко.

На следующий день поближе к вечеру учитель пришел в дом дяди Сандро и при немалом скоплении народа произвел опыт. Проверка чуда проходила в условиях, исключающих всякую случайность. Мать вынесла ребенка во двор и остановилась в таком месте, где диск луны сиял в небе в полном одиночестве, а не как-нибудь там сквозь яблоневые ветки. Учитель стал рядом с матерью и, к удивлению чегемцев, вытащив из кармана румяное яблоко, ткнул в него другой рукой и с коварной наивностью в голосе спросил:

— Луна?

Ребенок немедленно запрокинул голову, нашел глазами луну, выткнул в ее сторону ручки и, улыбаясь беззубым ртом, мягко поправил учителя:

— Луна! Луна!

Учитель не сдавался. Он еще несколько раз выразительно показывал на свое яблоко и с терпеливой наигранной тупостью (чегемцы считали, что ему и не надо было ее наигрывать) спрашивал:

— Луна?!

Каждый раз девочка отстранялась от яблока и, почти выпрыгивая из рук матери, показывала на небо и с удовольствием произносила любимшееся ей название небесного тела.

В конце концов, она, видимо, догадалась, что учитель хочет ее запутать, и внезапно, вытянувшись из материнских рук, довольно увесисто шлепнула его по щеке ладонью. Учитель от неожиданности уронил яблоко, и оно откатилось от него по косовету двора. Чегемцы весело заулюлюкали, учитель стал растерянно озираться, что ребенок было неправильно понято как попытка найти свое яблоко, и он, видимо сжалившись над учителем, свесившись с материнских рук, стал показывать ему, куда яблоко закатилось, и на этот раз не делая ни малейшей попытки назвать его луной.

Сконфуженный учитель ушел со двора, торопливо бросив чегемцам на ходу, что до луны триста тысяч километров. В другое время эта новость, может быть, и произвела бы на чегемцев сильное впечатление, но не сейчас.

— Теперь и не такое скажешь, — смеялись чегемцы и кивали вслед уходящему учителю: мол, отыграться хочет.

Не успело полнолуние смениться тоненьким серпом, как произошло второе чудо, и опять на этой же веранде. Тетя Катя оставила здесь спящего в люльке ребенка, а сама ушла на огород, где провозилась около двух часов.

Набрав полный подол стручков зеленой фасоли, которую она собиралась приготовить на обед, тетя Катя вернулась с огорода, взошла на веранду и вдруг увидела, что люлька всюю раскачивается, а ребенок напевает, правда без слов, застольную песню «Многие лета».

Уронив руки и рассыпав фасоль, мать, остолбенев, смотрела на свою единственную дочку. Заметив маму, девочка перестала петь и тоже уставилась на нее. Качнувшись несколько раз, люлька остановилась...

Было похоже, впоследствии рассказывала тетя Катя, что тот, Невидимый, который раскачивал люльку, застыдившись или испугавшись прихода матери, тихо отошел в сторонку, с тем чтобы посмотреть, что будет дальше. Очнувшись, тетя Катя бросилась к люльке, выпростала девочку и, то целуя, то шлепая ее (испытание на противоположных раздражителях), убедилась, что она цела.

Такой случай нельзя было оставить без внимания. Надо было срочно выяснить, кто посетил ребенка — посланец аллаха или шайтана. В тот же день к вечеру Хабуг привез из соседней деревни мулла.

Мулла прочел над изголовьем ребенка спасительную молитву, причем читал он ее достаточно долго, чтобы произвести впечатление реального труда. Закрыв Коран, он приготовил амулет, куда тетя Катя дополнительно вложила квитанцию оплаченного налога и бумажку облигации («Небось не помешает»), после чего, прикрепив к треугольнику амулета шелковую нитку, повесила его ребенку на шею. Мулла сделал вид, что не заметил посторонних бумажек, вложенных тетей Катей в амулет: ничего не поделаешь, приходилось смириться с пред-рассудками общественной жизни.

Тетя Катя спросила у муллы, не надо ли перестроить веранду, раз уж на ней случилось такое.

— Да чего уж там веранду, давай дом перенесем, — поправил ее дядя Сандро с некоторой желчной усмешкой.

Мулла, не обращая внимания на желчную усмешку дяди Сандро отметил, что пока веранду или тем более дом не надо перестраивать, потому что, судя по всем признакам, ребенка посетил посланец аллаха. Очевидно, в тот миг, когда девочка впервые произнесла: «Луна!» — он слетел с луны и сегодня после десятидневного полета появился у ее изголовья. Какие признаки, что это был ангел, а не шайтанское отродье?

Во-первых, девочка, показывая на луну, как вы сами говорите, все время радовалась, улыбалась, смеялась, а это как раз характерно для посещения небожителя. Во-вторых, когда Невидимый стал качать ее люльку, она запела «Многие лета», что само за себя говорит. А в-третьих (тут мулла лукаво улыбнулся и показал на ласточкины гнезда под карнизом веранды), ласточки обязательно почуяли бы посланца шайтана и с криками преследовали бы его, как они преследуют ястреба, ворону, или, скажем, сойку.

Так говорил мулла, единственный в Кенгурийском районе владе-лец и читатель святой книги — Курана.

Тут один из чегемцев вспомнил слова учителя относительно расстояния между землей и луной и тут же высчитал среднюю скорость полета ангела, которая, по его словам, должна была равняться тридцати тысячам километров в сутки.

— Если он за это время нигде не присел,— уточняли некоторые.

— А где присядешь? — добавляли другие, намекая на отсутствие в небесах какой-либо точки опоры.

— И то сказать,— соглашались остальные чегемцы, больше всего пораженные не скоростью передвижения ангела в небесных просторах, а его необыкновенной выносливостью, позволившей ему пройти десятидневный путь, нигде не присев.

Несмотря на ясную как божий день разгадку этого доброго чуда, мулла, чтобы исключить любую случайность, велел поджарить кукурузную муку, смешать ее с мелко натолченной солью и посыпать ее вокруг люльки, когда она, разумеется, с ребенком будет стоять на веранде.

Если ангел снова вздумает подойти к ребенку, то на рассыпанной муке никаких следов не будет, потому что наш мусульманский ангел скорее испепелится, чем наступит на хлеб-соль — символ нашего мусульманского гостеприимства.

А если это был шайтан (что маловероятно) и если он, сумев одолеть отталкивающую силу талисмана (что еще более маловероятно), вздумает снова подойти к люльке, то на рассыпанной муке обязательно останутся следы его свинячьих копытец. Потому что шайтанскому отродью нет большего удовольствия, чем топтать наш хлеб-соль, символ нашего древнего гостеприимства.

Кстати, мулла строго-настрого приказал, рассыпав муку, смешанную с солью, не подглядывать, потому что, объяснил он, увидеть все равно ничего не увидите, а разозлить можете, особенно шайтана.

Эти дополнительные инструкции мулла давал, уже сидя за столом и макая в благоухающее алычовое сациви хрустящие куски жареного на вертеле цыпленка. Кстати, тут же, не отходя от стола, он попросил у тети Кати рецепт ее алычовой подливы, которая ему очень понравилась.

Покраснев от удовольствия, тетя Катя сказала, что ее алычовая подлива ничего особенного из себя не представляет, разве что в ней два-три сорта малоизвестных трав, которые она разводит у себя в огороде. Тут же она побежала в кладовку и вынесла оттуда мешочек с тремя сортами семян, отделенных друг от друга узелками.

Мулла положил в карман мешочек с семенами ароматических трав, сел на своего коня и, таща на веревке заработанного козла, выехал со двора. Уже с дороги он крикнул, чтобы за ним послали, если появятся следы шайтанского отродья. Голос его, понукавший упиравшегося козла и громко высказывавший подозрение, что шайтанское отродье вселилось именно в него, еще некоторое время раздавался над домом дяди Сандро, а потом затих. Тетя Катя стояла у ворот и с блаженной улыбкой слушала его голос.

— Да падут твои болезни на мою голову,— сказала тетя Катя и, как бы осененная благодатью, возвратилась домой.

На следующее утро она перемолола соль, поджарила муку и насыпала эту миролюбивую смесь вокруг люльки своей дочери, предварительно вытащив ее на веранду. После этого она, как обычно, пошла к себе на огород кое-что прополоть, как она говорила. Примерно через час со двора раздались взвизги встревоженных ласточек. Сперва тетя Катя думала как-нибудь перетерпеть, но не выдержало материнское сердце, да и взвизги эти до того стали пронзительны и остры («Ну просто голову секут»), что она побежала к дому.

Только она спрыгнула с перелазы во двор, как увидела своими глазами визжащие молнии ласточек, промелькнувшие над кукурузником, явно кого-то преследуя. Позже она клялась, что видела, как тряслись гребешки кукурузы впереди пролетающих ласточек. Было ясно, что посланец дьявола, не успев набрать высоту, летел (хотя и невидимый), задевая своими погаными крыльями кукурузные гребешки.

— Чернушка! Чернушка! Ату его, ату! — кричала тетя Катя, зовя и проклиная собаку, которая куда-то запропала.

Вбежав на веранду, она увидела, что люлька опять раскачивается, а ребенок, выпростав руки, изо всей силы сжимает кулачками амулет. Тетя Катя выхватила девочку из люльки, ощупала ее и, убедившись, что она цела и здорова, снова вложила ее в люльку и только сейчас заметила, что тонкий слой муки, насыпанный вокруг люльки, исчез.

Тут, по ее словам, она испытала легкое помутнение разума: с одной стороны, ласточки явно гнались за посланцем шайтана, с другой стороны, люлька мог раскачивать только посланец аллаха. С одной стороны, нет следов богохула, топчущего символ хлебосольства, с другой стороны, сам символ куда-то исчез. Уж не действуют ли обе силы разом, не разыгралась ли у люльки ее единственной дочери битва потусторонних сил?

Четыре дня подряд повторялось одно и то же, и неизвестно было, что появляется у люльки младенца. И только одно было ясно, что существо это за долгий путь к Земле успело здорово наголодаться — жареная мука с мелко натолченной солью каждый раз исчезала.

Все-таки на пятый день тетя Катя не выдержала — то ли надоело ей жарить муку каждое утро, то ли неизвестность надоела. Она сказала дяде Сандро, что если он не приведет муллу, она сама пойдет за ним.

— Хорошо, — сказал дядя Сандро, — ты подкорми их последний раз, а я пойду.

Но дядя Сандро за муллою не пошел. Ему жалко было терять еще одного козла. Никому ничего не сказав, он вышел из дому, а потом потихоньку через заднее крыльцо вошел в дом, зарядил охотничье ружье и притаился у окна, откуда хорошо была видна и люлька, и мука, насыпанная вокруг нее, и ласточки, стремительно влегавшие и вылетавшие из-под карниза.

И вдруг разом все переменялось: люлька заходила ходуном, ласточки бешено закружились, и дядя Сандро услышал приближающееся со стороны кухни осторожное цоканье когтей о пол веранды. «Оказывается, у него не копыта, а когти», — успел подумать дядя Сандро об ошибке муллы и с колотящимся сердцем приподнял ружье, решив разом пальнуть из обоих стволов, а там будь что будет!

Еще бы мгновенье — и он на потеху чегемцев убил бы свою собаку. Да, это была Чернушка. Под радостные вопли младенца и тарактенье раскачивающейся люльки, сопровождаемая взвизгами пикирующих ласточек, собака подошла к люльке, тщательно вылизала вокруг нее всю муку, мимоходом лизнула протянутую в ее сторону руку девочки и, блудливо озираясь, покинула веранду.

Уже внизу, на лужайке двора, ласточки с еще большей смелостью, имея пространство для маневрирования, налетали, почти чиркая ее, на бреющем полете, и она, изо всех сил сдерживаясь, чтобы сохранить достоинство и не псбежать, затрусила в сторону кукурузника.

У самого плетня, видно, нервы у Чернушки все-таки не выдержали, она, обернувшись, лягнула зубами на задевшую ее ухо ласточку, так что вся стая грянула взрывом чирикающего негодования.

— И она еще огрызается?!

Со взрывом чирикающего негодования слился вопль тети Кати из

огорода, и тут собака, тяжело перемахнув через плетень, бросилась наутек по кукурузнику, сопровождаемая взволнованным шумом ласточек.

В тот же вечер в кругу ближайших родственников, сидя у горящего очага, дядя Сандро, посмеиваясь и то и дело кивая на жену, сидевшую тут же на отдельной скамейке, рассказал о том, что он видел днем.

(Кстати, кивки его в сторону жены имели двойной смысл: с одной стороны, он как бы призывал посмеяться над ее предрассудками, а с другой стороны, обращал внимание слушателей на то, что она то и дело клевала носом.)

Это была довольно обычная картина. Умаявшись за день, тетя Катя после ужина вот так вот усаживалась с клоком шерсти и веретеном, и начиналась великая борьба с бдением, и неизвестно, кто побеждал, потому что бдение ее было заполнено воспоминаниями об увиденных снах, а дрема не останавливала работы.

Крутанув веретено и вытягивая из облака шерсти нить, она засыпала на то время, пока веретено не дойдет до пола. За эти несколько секунд она успевала не только заснуть, но и увидеть что-нибудь во сне. Главное, что картины ее снов в этот промежуток по насыщенности действиями никак не соответствовали ни ее короткому сну, ни ее кроткому нраву.

— Если бы наяву ты была такая шустрая,— говаривал дядя Сандро, когда она, проснувшись, тут же выкладывала свой сон.

— А ну посмотри, что дальше будет,— иногда просил ее кто-нибудь из соседей или родных, если сон им казался интересным и незавершенным.

И она, крутанув веретено, послушно засыпала. И хотя не сразу, обычно с пятой-шестой попытки она все-таки попадала в колею желанного сна и досматривала его до конца.

Было забавно видеть, как она готовится вступить в эту колею. Вот она сидит, повыше подняв руку и прищурившись, словно всматривается в очертания сумеречной страны снов и, стараясь угадать местность, где проходил ее сон, как бы мысленно примериваясь, чтобы не проскочить его, она крутит веретено. Иногда она довольно быстро попадала в колею нужного сна, но иногда очень долго, а то и совсем не получалось. И уже, бывало, люди заняты другими разговорами, собственно, даже подзабыли, в чем был соблазн продолжения ее сна, как она его снова выуживала из хаоса потусторонних теней.

— Опять там была,— объявляла она, проснувшись и наматывая на веретено выработанный во время сна кусок нитки.

— Ишь ты, ишь ты! — насмешливо кивал в ее сторону дядя Сандро, а сам слушал.

— Ну, как там дальше,— бывало, спрашивал кто-нибудь из соседей,— наших никого не видела?

И тетя Катя рассказывала сон свежий, как только что разрытая могила. Дело в том, что сны ее обычно представляли из себя полулегальные встречи с близкими и дальними родственниками и односельчанами, покинувшими этот мир. Во всяком случае, местность, в которой проходили ее сны, была одинаково доступна для жителей этого и того мира. И те, что уже там, при встрече с теми, что еще здесь, вечно выражали им свое недовольство, предъявляли свой грустный. иногда очень запутанный счет и, главное, сами же заранее зная, что этот счет никто не оплатит, старались изложить его как можно точнее, что должно было лечь дополнительным укором на совести тех, кто с ними встречался. Они вели себя примерно так, как крестьянин, надолго, может быть навсегда, застрявший в больнице, при встрече с близкими да-

ет им хозяйственные указания по дому, чувствуя, что они все сделают не так, как надо, и все-таки не в силах отказаться от горькой сладости укоряющего совета.

(Тут ваш скромный историограф хочет взять слово и поделиться своими наблюдениями над природой сна, что ни в коем случае не является попыткой умалить ценность открытий в этой области, сделанных тетей Катей или даже дядей Фрейдом.

Как ни разгадывай сон, который произвел на нас сильное впечатление, истинный смысл его уже в том, что он хотя бы на миг раздвинул перед нами пелену повседневности и дал почувствовать трагическую даль жизни. В этом его могучее освежающее предназначение. Как бы ни был нелеп или запутан сюжет сна, подспудный смысл его никогда не мелочен: неосознанная или чаще неразделенная любовь, коварство, страх, стыд, милосердие, жалость, предательство.

Сюжет сна можно сравнить с обезьяной, которая с кинокамерой на шее пробежала по джунглям нашего подсознания, а может, и может, среди сотен бессмысленных кадров мы находим несколько, приоткрывающих истинный смысл увиденного, или в прибрежном хламе какой-то никчемный лоскуток тупой болью отяжелил наш сон и мы, проснувшись или еще во сне, догадываемся, что он напомнил нам платье давно когда-то любимой женщины, а мы-то думали, что все позабыто...

И тут мы начинаем понимать, что нужны были сотни нелепых кадров, чтобы сделать убедительными те два-три, которые приоткрыли нам смысл. Ведь если бы все кадры более или менее логически приводили нас к смыслу, мы могли бы заподозрить, что кто-то подsunул нам нравоучительную басню. Убедительность находки тем жгучей, чем подлинней мусор, из которого мы ее извлекли...)

Разумеется, тетя Катя, разбираясь в своих снах, не всегда доходила до смысла, чаще так и застревала в мусорных тенях своих видений или, так и не сумев за весь вечер снова попасть в колею интересующего сна, откладывала веретено и, схватив головешку, загребала золу и покрывала ею жар, словно семя, которое зарывают в землю, чтобы завтра очаг снова расцвел дружными всходами плодоносного огня.

— Сегодня что-то ничего не получается... Пора спать,— говорила она при этом, сладко зевая.

— Можно подумать, что она весь вечер чем-то другим занималась,— неизменно отвечал на ее слова дядя Сандро, за привычной насмешкой скрывая досаду на то, что не удалось узнать, чем кончился ее очередной сон.

Однако в тот вечер, когда дядя Сандро, посмеиваясь, рассказывал о том, что он видел днем, до этого было еще далеко. Девочка тут же лежала в люльке и в знак всеобщей радости и собственной необыкновенной живости сама себя раскачивала. И вдруг, глядя на отца, который в это время как раз показывал, как он чуть было не пристрелил свою собаку, девочка улыбнулась и сказала:

— Папа!

И тут родственники и соседи, сопоставив ход предыдущих чудес пришли к неотвратимому выводу, что все это время, начиная с неожиданно узнанной и названной луны, пеня (хотя и без слов) застойной песни, самораскачивания в люльке, ребенок двигался к тому, чтобы вымолвить «папа», тем самым пророчески намекнув на его великое и вечное призвание тамады.

Луна означала время его деятельности, раскачивание в люльке и пеня застойной песни — результат его деятельности. (Мысль, что ребенок мог запомнить эту мелодию потому что ее довольно часто

исполняли во время ночных пиршеств в доме дяди Сандро, почему-то никому не пришла в голову.)

— Видишь, даже ребенок тебя осуждает,— не очень впопад, но зато целенаправленно, стараясь использовать каждый случай, чтобы отвратить дядю Сандро от его застольных стремлений, сказала тетя Катя и, крутанув веретено, клюнула носом.

— Наоборот,— отвечал дядя Сандро, смеясь ее неудачному замечанию,— она меня первым назвала, значит, она меня одобряет.

* * *

Девочка росла необыкновенно резвой и, еще не умея ходить, пыгалась танцевать под всякий звук, из которого можно было извлечь если не мелодию, то, по крайней мере, ритм. Так, она вырывалась из рук и раскачивалась в люльке, услышав звон коровьих колоколец, стук града о крышу, хлопанье ладоней по ситу и даже кудахтанье кур.

В восемь лет она научилась играть на гитаре и вечно волочила ее по дороге между Большим домом и соседями.

В двенадцать лет она играла все мелодии, которые когда-либо воспроизводились в Чегеме. Играть она могла в любом положении — сидя, стоя, лежа, бегом и даже верхом на дедушкином муле, который, по наблюдениям чегемцев, слегка подплясывал, услышав над собой бречанье струн.

Но больше всего она любила играть, сидя на макушке дедушкиной яблони. Бывало, в летний день, гремя орехами, всыпанными в нутро гитары, взберется на яблоню, и там, у самой вершины, на развилке веток и в сплетенье виноградных лоз у нее было уютное местечко, где можно было сидеть, часами наблюдать за Чегемом и его окрестностями.

Иногда на голову путника, проходившего по верхнечегемской дороге, вдруг сверху, с небес, обрушивалась бойкая мелодия, и он, оставившись, долго зыркал глазами, стараясь понять, откуда эта мелодия, но и определив, что она льется с яблони, он, продолжая свой путь, пытался обнаружить того, кто там притаился, и нередко спотыкался, а то и шлепался на каменистой верхнечегемской дороге. И тут мелодия обрывалась смехом.

Некоторые путники при этом очень сердились и клялись костями всех своих покойников, что, видно, на дом этот снизошла порча, моровая чума и сибирская язва, если девки его с гитарами шастают по деревьям, как ведьмы.

— Чем ворошить кости своих покойников, лучше бы присоединился к ним! — кричала девочка вслед сердитому путнику и нарочно изо всех сил ударяла по струнам.

А как она встречала гостей!

— Дедушка, к нам! — бывало, радостно закричит она сверху и, гремя гитарой, скатывается с дерева.

— Может, не к нам? — с надеждой переспрашивала тетя Катя, которой изрядно надоедали гости.

— К нам! К нам! — на лету кричала Тали и, спрыгнув на землю, бежала к воротам.

А тетя Катя, ворча на людей, которые для собственного разорения поселились у большой дороги, заходила в дом, чтобы через минуту выйти оттуда в новом качестве, а именно в качестве добродушной хозяйки, приветливо улыбающейся гостям.

А Тали уже мчит за ворота, опережая собаку, и бросается обнимать и тащить в дом родственников, знакомых, а то и просто случайных людей, которых вечер застал на верхнечегемской дороге.

Иной раз, бывало, до утра простоит над столом, подливая гостям

вино, подставляя закуски и с жадным, благодарным любопытством выслушивая все, что они говорят. А потом еще и уложит всех гостей, поможет раздеться, с какой-то обезоруживающей смелостью и чистотой подправит подвыпившим одеяло, пожелает всем спокойной ночи и унесет лампу, светясь своим прозрачным лицом,— то ли лампа озаряет лицо, то ли лицо лампу... «Черт-те что»,— подумает гость сквозь сладкую дрему и уснет, так и не поняв ничего, чтобы потом, через годы и годы, вспоминать этот вечер, с горчащей сладостью смакуя каждую его подробность.

Зимой, когда выпадал глубокий чегемский снег, девочка верхом на дедушкином муле впереди всех ребятишек округи торила дорогу до сельсоветской школы. Голосок ее, особенно звонкий на снегу в эти времена, бывало, раздавался на пол-Чегема, и, каждый, слушая, как она покрикивает на мула, подбадривает маленьких, вечно спорит со своими двоюродными сестрами, называя их дважды протухшим молоком или трижды прокисшими сливками, невольно улыбался ее горячему голосу на снегу, ее неукротимой энергии.

И каждый, кто встречал ее в это время на верхнечегемской дороге и видел, как она на крутом подъеме, покрасневшись, покрикивает то на своих спутников, то на мула, пошлепывая его ногой, обтянутой в толстый домотканый шерстяной чулок и обутой в чувяк из сыромятной кожи с торчащим оттуда пучком особой травы, которую суют туда для мягкости и тепла, к тому же, видимо, очень вкусной, потому что, выбрав мгновенье, мул то и дело пытался отщипнуть оттуда хоть влок, хоть несколько травинок, каждый, кто видел, как она, ни на секунду не замолкая, оборачивается на самой крутизне, и предлагает кому-нибудь ухватиться за хвост своего мула, и отгоняет тех, которые пытаются ухватиться за этот хвост, хотя, по ее мнению, и не заслужили этой чести, а те уже ухватившись, доказывают, что они ее заслужили или, по крайней мере, заслужат в самом скором времени, и наконец всей гурьбой вваливаются на гребень холма, чтобы тут же выкатиться на ту сторону,— каждый, кто видел эту картину, потом, многие годы спустя, вспоминал о ней как о видении пронзительной свежести, юности, счастья.

На обратном пути из школы, проходя сквозь буковые и каштановые рощи, ребята выбирали самые крутые косогоры и, сев на портфели и сумки, скатывались с них. Если удавалось цельным пластом сгresti снег, то на обнаженной, почти сухой земле, покрытой мерзлым пламенем палых листьев, вдруг открывался не тронутый дикими кабанами и белками клад каштановых или буковых орешков. Если их оказывалось достаточно много, то и мулу перепало полакомиться. Кстати, мул старого Хабуга по многим признакам, которые смело можно приравнять к прямому признанию, считал ее школьные годы самыми очаровательными в своей жизни. Оказывается, он, как и все другие животные, окружавшие ее, любил ее и понимал чуть ли не с полуслова.

Так или иначе, девочка с детства была наделена даром, если можно так сказать, приятия мира, даром милосердия и доброжелательности. К тому же необыкновенная любовь дедушки к ней давала ей ощущение всеисилия, и она в свои детские годы нередко действовала с рассеянной расточительностью маленькой принцессы.

Однажды она подарила лошадь дяди Сандро геологам, которые подымаясь к себе в лагерь из города, сделали привал возле Большого дома. Тали принесла им напиток, и один из них, самый молодой, напившись, кивнул на лошадь, которая паслась во дворе:

— Нельзя ли нанять?

— Зачем нанимать,— отвечала Тали,— берите так...

— А вы? — слегка опешил этот парень, как позже оказалось, студент-практикант.

— А у нас есть еще мул,— сказала Тали и, сама вытащив из дому седло и поймав лошадь, помогла оседлать ее.

Когда вечером дядя Сандро пришел домой и узнал о ее проделке, он молча, ничего не говоря, впервые в жизни нарвал букет крапивы, но при этом не учел резвости ее ног. Да и крапиву рвал чересчур аккуратно. Она сбежала от него в кукурузу, а оттуда пробралась к тете Маше, и та уложила ее спать между своими семьей дочерьми.

Дочери тети Маши из экономии постельного белья спали в своей комнате прямо на полу на козьих шкурах. Они уступили ей место у стены, так что, захоти дядя Сандро добраться до нее, ему пришлось бы преодолеть огнедышащий заслон, образованный телами юных великанш.

То ли оттого, что они, эти девушки, по бедности с детства мало чем прикрывались, то ли это следствие их могучего здоровья, скорее всего и то и другое, но, видимо, их телам был свойствен какой-то особый теплообмен, какая-то повышенная отдача тепла. Если присмотреться к любой из них, то можно было заметить легкое марево, струящееся над ними и особенно заметное в тени. В этой связи чегемцами было замечено, что собака их, зимой спавшая под домом, выбирала место для сна прямо под комнатой, где спали девушки. По мнению чегемцев, они настолько прогревали пол, что собака под домом чувствовала тепло, излучаемое могучим кровообращением девиц.

Неизвестно, рискнул бы дядя Сандро раскидать этот тлеющий тайным жаром костер, чтобы добраться до своей дочери, потому что ночью вернулся этот парень верхом на его лошади. Начальник геологической партии оказался достаточно умным человеком, чтобы не принимать подарка от девочки.

Дядя Сандро, который сильно подозревал, что эндурские конокрады под видом геологов выманили лошадь у его дурочки, теперь очень обрадовался и устроил парню небольшой кутеж, пригласив двух-трех соседей.

— Где тут моя? — раздался ночью голос тети Кати в комнате дочерей тети Маши.— Вставай, лошадь привели, будешь виночерпием!

Студент этот оказался юным кутилой и никак не хотел угомониться до самого утра, хотя ему и намекали, что дядя Сандро не слишком ему подходит для застольных состязаний.

— Не может быть.— под смех окружающих хорохорился парень,— чтобы этот сухопарый абхаз мог меня перепить!

Сам он был могучего сложения, но, по мнению большинства застольцев, несколько сыроват, что должно было его, в конце концов, подвести. Другие возражали, что он сыроват по нашим, по чегемским, понятиям, а по русским понятиям он может быть, и не сыроват. На это первые возражали, что пьет-то он все-таки наше вино, а не русскую водку, поэтому можно считать, что он все-таки сыроват.

— Тоже верно.— соглашались те, что находили этого юного кутилу не таким уж сыроватым,— посмотрим, там видно будет.

Увидев Тали, парень этот вовсе расхорохорился, потому что она ему очень понравилась и, главное, показалась гораздо старше. И чем больше он пил, тем старше она ему казалась.

Напрасно старый Хабуг пытался по-русски ему объяснить, что «сухой земля пьет много вада» (кивок в сторону дяди Сандро), «мокрый земля пьет мала вада» (кивок в его сторону), студент вошел в раж.

— Не может быть,— кричал он под смех окружающих и принимая этот смех за следствие своего остроумия,— чтобы этот сухопарый абхаз мог меня перепить!

Вместе с первыми утренними лучами перед студентом поставили тарелку с восемью стаканами вина, похожую на фантастический цветок с кровавыми алкогольными лепестками. Дядя Сандро только что вылакал нектар из такого же цветка и теперь с некоторым блудливым любопытством, облизываясь, смотрел на студента. Студент встал и легко один за другим выпил два стакана.

— Вот вам и сыроватый,— сказал один из гостей, когда студент с такой же легкостью приподнял и пригубил третий стакан.

И тут случилось неожиданное. Третий стакан рухнул на оставшиеся пять стаканов, а студент как ошпаренный выскочил из дому.

— Невтерпеж,— первым догадался дядя Сандро и отечески улыбнулся вслед бегущему студенту,— только б успел расстегнуться...

Разумеется, студент этот больше к столу не вернулся, хотя за ним был послан человек. Этого следовало ожидать — слишком понравился ему виночерпий.

Впоследствии у дяди Сандро спрашивали: мол, откуда он знал, что студенту нестерпимо именно в этом смысле, а, например, не в том, что вино у него пошло обратно горлом?

— Очень просто,— отвечал дядя Сандро,— когда не выдерживает желудок, человек заранее бледнеет и потеет, а когда не выдерживает пузырь, ничего не заметно.

— Чего только не подметит этот Сандро,— говорили чегемцы и прицокивали языками в том смысле, что век живи — век учишь.

* * *

Другой гораздо более печальный случай раскрывает ее некоторые душевные особенности, которые позже, когда она стала взрослой женщиной, расцвели с такой могучей силой.

Чтобы рассказать о нем, надо вернуться на несколько лет назад. Один из сыновей Хабуга, а именно Бадра, был страстным охотником. Он часто охотился с Тенделом и, по-видимому, во время одного из многодневных зимних походов сильно простудился, скорее всего схватил плеврит, который в конце концов привел его к туберкулезу.

— В ту зиму,— вспоминал позже Тендел,— бывало, закашляется где-нибудь в пути и выплюнет на снег красный пятачок. Закашляется и выплюнет красный пятачок. Скажешь ему: «Что это ты кровью харкаешь, старина?» — «Да так, говорит, видно, где-то простыл...» Думал, простыл, а оказалось вон что...

Так рассказывал Тендел, обычно сидя у горящего очага, и вместе с последними словами сам отхаркивался в костер, может быть для того, чтобы лишний раз убедить окружающих, что сам-то он откашливается здоровой харкотинной старого курильщика.

Бедный Бадра года два прокашлял, а потом умер. От него заразилась его жена и тоже умерла через два года. От жены заразилась ухаживавшая за ней старшая дочь Катуша и умерла. И когда этой весной открылась болезнь у сына Бадры, огнеглазого Адгура, цветущего двадцатилетнего парня, родственники, жившие в ближайшем окружении, тихо между собой решили не пускать детей в этот выморочный дом. В доме оставались всего два человека: Адгур и его младшая сестра Зарифа, восемнадцатилетняя девушка, как бы окаменевшая от ужаса ожидания своей очереди.

С тех пор как заболел несчастный Бадра и до этих дней все родственники, и в особенности старый Хабуг, всеми силами помогали его семье. И сейчас Адгур после больницы месяц провел в санатории, и, конечно, деньги на это дал дед.

Тем не менее решение не пускать детей в дом Бадры было принято. Люди патриархальные сначала вообще не верят в то, что болезнь,

как блоха, может с одного человека перепрыгнуть на другого, но потом, убедившись, что болезнью можно заразиться, впадают в обратную крайность и делают чересчур подозрительными.

И вот Адгур приехал к себе домой и вдруг почувствовал, что все его надежды на выздоровление споткнулись о тихо сплотившееся отчуждение родственников. С неделю Тали смотрела, как он одиноко и неприкаянно гуляет по деревне, и сердце ее сжималось от жалости к нему. Впервые в жизни она почувствовала, что в мире, который ей сиял ожиданием бесконечного счастья и которому она отвечала благодарной улыбкой за счастье ожидания счастья, она почувствовала, что в этом мире бывает ничем не объяснимая жестокость и подлость. За что ее брат, в котором она с восхищением угадывала красоту и мощь цветущего парня, должен был умереть от этой страшной болезни? И как можно покидать его в такие дни? Ведь выживают же некоторые, ведь сами взрослые об этом говорят. А как же он выживет, если видит, что все его покинули, потому что не верят в то, что он может спастись?

Такие мысли мелькали в ее голове, но больше, чем мыслями, собственным стыдом понимая, как поступить правильно, она нарушила запрет и пришла в дом к своему брату.

Она пришла в полдень, когда сестра его уже возвратилась с колхозного поля и готовила на кухне мамалыгу. Он сидел у очажного огня, зябко ссутулившись и вытянув к огню мерзнущие руки.

— Тали, — спросил он, увидев ее, — тебя за чем-нибудь прислали?

Глаза его ожили. Казалось, ветерок дунул на гаснущие угольки костра.

— Нет, — сказала она, — я просто так...

Она вошла и с каким-то вдохновением стыда («Только бы не подумал, что боюсь») шлепнулась рядом с ним на скамью. Своим сиплым голосом он стал рассказывать, что видел медвежьи следы в котловине Сабида, что надо бы устроить там засаду, да вот ему сейчас трудно одному, а напарника не найдешь... Он унаследовал от отца страсть к охоте.

Сестра его, месившая в котле мамалыгу, когда он стал рассказывать про медведя, вдруг взглянула на него с каким-то ужаснувшимся девичьим удивлением, словно хотела сказать: «Господи, он еще разговаривает, как живой?!»

Адгур не заметил этого взгляда, а может быть, привыкнув к нему, не обратил внимания. Тали заметила, что котел, висевший над огнем на цепи, сильно оттянут на другую сторону костра, где стояла Зарифа. Она чувствовала, что сестра Адгура старается как можно меньше соприкоснуться с братом и даже не скрывает этого.

Пока он рассказывал про медвежьи следы, она вспоминала один яркий зимний день, когда возле дома ее брата раздался выстрел, потом еще и еще. А потом через некоторое время из котловины Сабида слышался голос Адгура, он кричал, что убил коосулю, чтобы ему помогали ее принести.

Поблизости никого из мужчин не было, поэтому только дети и женщины пошли навстречу ему, и Тали была среди них. Он подымался по крутой тропе разгоряченный, распахнутый, со сверкающими глазами, с косулей, лежащей за плечами и свесившей чудную головку ему на грудь. Придерживая ее за одеревеневшие ноги, он подымался, такой высокий и гибкий, не в силах скрыть восторга и торжества, выкрикивая какие-то подробности, прикрикивая на бегущих возле него, тонущих в снегу и выпрыгивающих из снега собак. Собак, лижущих капающую кровь, вертящихся возле него и, иногда взвизгивая от восторга, пытающихся дотянуться то до его лица, то до его добычи.

— Пошли вон! Да что вы, на самом деле! — прикрикивал он на

них, пытаюсь вызвать в голосе гневное удивление, но гневного удивления не получалось, а получался восторг, упоение, которое он испытывал всем своим существом и которое чувствовали собаки и потому, не слушая его окриков, продолжали бесноваться, выпрыгивая из снежных заносов, визжа и клубясь возле него.

Таким его видела Тали в толпе женщин и детей, стоя у края котловины Сабида, откуда он, бороздя глубокий снег, подымался к ним весь распахнутый, растерзанный, мокрый от снега, со струйками пота, стекающими по лицу, с глазами, полыхающими горячим голубым огнем, с рукой, то и дело хватающей снег и одним движением захпихивающей, даже скорее жадно вмазывающей его в рот.

А потом здесь, в этой же кухне, у сильно разожженного огня освежевая тушу, подвешенную на веревке к балке, он рассказывал, как случайно заметил ее со двора и, не веря самому себе от счастья — все-таки так близко к дому они никогда раньше не подходили, — одним выстрелом уложил ее.

А потом побежал вниз, в котловину, и когда подошел и схватил ее за ногу, она вдруг рванулась с такой силой, что он отлетел на несколько метров, а кося, несмотря на тяжелую рану, вскочила на ноги и побежала, а он все-таки успел приложиться и выстрелить (он как бы настаивал на том, что успел приложиться, то есть не случайно, и второй раз попал в нее), и она снова упала, и он снова подбежал к ней, уже уверенный, что она убита, но когда он снова схватил ее за ногу, она дернулась с невероятной силой, но он и второй рукой успел уцепиться за ту же ногу, и все-таки она, несмотря на две полученные пули, проволокла его по глубокому снегу метров десять, но тут выбилась из сил и рухнула. Но и после этого они еще несколько минут барахтались в снегу, пока он не изловчился и не всадил в ее горло нож, и тут она наконец притихла.

Гудел огромный костер, над которым уже был подвешен большой котел для варки мяса, а он рассказывал, освежевая тушу, то стягивая с хрустом отделяющуюся от туши шкуру, то осторожно, чтобы не испортить ее, надрезая все тем же ножом цепкую пленку, как бы склеивающую шкуру с тушей, иногда оттягивая одной рукой сырую эластичную шкуру, а кулаком другой руки время от времени протискиваясь под шкуру, чтобы облегчить ее отделение.

Гудел костер, похрустывала шкура, и вся его мокрая одежда дымилась, и под ней легко угадывалась гибкая мощь юного здорового тела. А потом за длинным низким столиком дети ели вареное мясо с мамалыгой, да еще разносили по своим домам соседские паи и рассказ о том, как их брат убил дикую козу. Так неужели это он сидит сейчас, сгорбившись своим опустевшим телом, и тянет среди лета к огню свои зябнущие руки?

Через несколько минут сестра молча поставила перед Адгуром низкий столик, наложила ему из котла порцию мамалыги и, кивнув на другую сторону костра, где она поставила столик для себя, спросила у Тали:

— Пообедаешь со мной?

— Я здесь, — сказала Тали.

Та, ничего ей не отвечая и нисколько не удивляясь ее словам, вытащила из котла еще одну порцию мамалыги и выложила ее рядом с порцией брата — не слишком далеко, не слишком близко.

Так же молча она поставила между ними тарелочку с нарезанным сыром, две тарелки с фасолью и прямо выложила на стол несколько ломтей мокрой соленой капусты. После этого она поставила уже в угол рядом с братом банку с каким-то лекарственным жиром.

Молча проделывая все это, она как бы говорила Тали: «Ты можешь играть в благородство, это твое личное дело. Но я знаю, что это такое, и сделаю все, чтобы не умереть».

Адгур стал вытаскивать из банки куски жира. Он это делал неприятно позвякивающей металлической ложкой, которая воспринималась Тали как какой-то больничный инструмент. Чегемцы пользовались только деревянными и костяными ложками.

Подав все сразу — Тали поняла, что она это сделала, чтобы лишней раз не подходить к столу, — Зарифа молча вышла из кухни, прикрикнула на собаку, стоящую в открытых дверях, и, усевшись на перильце кухонной веранды, молча и равнодушно оттуда смотрела на них.

Она сидела на перилах веранды, озаренная солнцем, пышноволосяя, сильная девушка, и ни капли не скрывала своего намеренья во что бы то ни стало выжить.

Иногда клубы дыма от костра относило к дверному проему, и тогда на мгновение исчезала девушка, сидевшая на перилах. Но потом она снова появлялась там в той же позе, и эта неизменность ее неподвижной позы, казалось, тоже подчеркивает решительность ее намеренья выжить.

Тали не осуждала ее за желание выжить, но она чувствовала, что грубая откровенность этого желания означает уверенность, что брат ее должен умереть. И вот с этой уверенностью она никак не могла примириться...

Он сделал своей ужасной металлической ложкой углубление в мамалыге, вложил туда куски этого жира из банки, и жир теперь, растаяв, растекался по мамалыге. Он ел фасоль, макал мамалыгу в это тающее масло и с хрустом разрезал зубами скрипящую и капающую соком капусту.

Энергия, с которой он ел — Тали это чувствовала, — говорила не столько о его аппетите, сколько о его яростном нежелании сдаваться. Он словно посылал подкрепление своим слабеющим силам. И каждый раз, когда глоток проходил по его страшно похудевшему горлу, она чувствовала всей кожей усилия его воли, с которыми он проталкивал каждый глоток, как бы повторял: «И ты помоги мне... И ты помоги мне...»

Девочка есть не хотела, но все-таки старалась есть, как обычно, ничем не выдавая своего состояния. Неожиданно он закашлялся и долго не мог остановиться, и, продолжая кашлять, он стал что-то показывать рукой, а Тали сначала никак не могла понять, что он хочет этим сказать, и вдруг поняла, и он тотчас понял, что она поняла, потому что она ему в знак согласия кивнула головой, и он сквозь кашель просиял, обрадовался ее пониманию. Тали догадалась, что знаки, которые он делал руками, означали, что он закашлялся не из-за своей болезни, а оттого, что очень уж дымит костер.

Он продолжал кашлять, в горле у него что-то мучительно хлюпало и хлюпало, и она вдруг ощутила капельку слюны, вырызнувшей из его клочущего горла и вколовшейся ей в лицо чуть повыше верхней губы. Девочка, похолодев от ужаса, подумала, что теперь конец, что теперь она, конечно, умрет, и в то же время чувство стыда и даже позора за свое малодушие, если она даст ему заметить свой страх, было настолько сильным, что она удержала себя в руках и только мгновение спустя утерла рукавом место, почему-то мучительно чesавшееся, куда вколослась капелька его слюны.

Сестра его продолжала сидеть на перилах и за все время кашля не изменила ни своей неподвижной позы, ни выражения окаменевшего равнодушия на лице.

Они доели и встали из-за столика. Тали набрала воду в кубышку черпака и поливала ему, когда они вышли на веранду. Он вымыл руки и особенно тщательно споласкивал рот и пальцем промывал крепкие скрипучие зубы. Казалось, зубы свои он особенно любит за то, что это единственная часть его организма, нисколько не пострадавшая за время его болезни. Как только они вышли мыть руки, сестра его, обвязав рот и нос черным шарфом, наверное, выделенным только для этой цели (он висел на веранде как знак траура), — и вот она, надев его на лицо, вынесла столик, за которым они обедали. Приподняв его за один конец, она стряхнула с него остатки еды, которые тут же, рывкнув на кур, подхватила собака и съела. Потом она облила его кипятком из кувшина, который все это время стоял у огня, потом той же водой из кувшина вымыла тарелки, убрала столик, сняла шарф и, повесив его на гвоздик, сама тщательно вымыла руки и вошла в кухню.

Тали сидела с ним на кухонной веранде, и он рассказывал ей о каком-то чудодейственном средстве, которое готовит одна женщина, живущая в Донбассе.

Внимание, с которым Тали слушала его рассказ, делало слова о чудодейственном средстве более убедительными, словно кто-то со стороны подтверждал, что все это правда. Возбужденный надеждами на выздоровление, отчасти подтвержденными вниманием, с которым юная сестричка его слушала, отчасти самим ее приходом сюда, он в самом деле взбодрился и повеселел.

Когда она уходила, он смотрел на ее стройную босоногую фигуру, на ее еще угловатые, но уже смягченные намеком на женственность движения и думал с умилением: «Какая девочка у нас растет!» За время болезни, кажется, впервые он подумал о том и восхитился тем, что не имело прямого отношения к его здоровью.

Вечером, когда девочка у себя в кухне, сидя перед огнем, мыла в тазике ноги, на нее напал кашель.

— Не бегай босиком по росе! — затараторила тетя Катя, ничего не зная о ее посещении дома чахоточного брата.

А Тали почувствовала, что у нее внутри все помертвело: значит, она уже заразилась...

Уже в постели на нее еще несколько раз находил кашель, и она окончательно уверилась, что теперь ее ничего не спасет. С какой-то страшной жалостью она видела себя умирающей и даже мертвой и страшно жалела дедушку, и все-таки, вспоминая этот день и посещение брата, она чувствовала, что и сейчас нисколько не раскаивается в этом. Она не могла бы сказать почему, она только знала, что нельзя человека с таким горем оставлять одного, и это было сильнее всех остальных доводов, и тут она сама ничего не могла объяснить. Она смутно чувствовала, что то доверие к миру и к людям, та счастливая способность извлекать постоянную легкость и радость из самого воздуха жизни как-то связаны с тем, что у нее за душой не было ни одного движения запахивающего, прячущего свою выгоду, свою добычу. И так как в этой распахнутости, открытости, доброжелательности ко всему окружающему был залог ее окрыленного счастливого состояния, она заранее бессознательно знала, что ей никак нельзя запахиваться, даже если распахнутость ее когда-нибудь станет смертельно опасной.

...Утром, проснувшись, она прислушалась к себе и с радостным удивлением почувствовала, что здорова и что с ней никогда ничего не может случиться.

Солнце уже встало и било искоса в окно сквозь ветви яблони. Тень ласточки, трепетавшей у гнезда на веранде, сейчас трепетала на занавеске окна, под которым спала Тали. Тали шутя стала раскачивать за-

навеску, удивляясь, что трепещущая тень ласточки никак не сходит с нее.

«Глупая я,— подумала Тали, окончательно просыпаясь,— ласточка же не видит, что я раскачиваю ее тень, как же она может испугаться? А раз ласточка не боится, значит, и тень ее так и будет трепетать на занавеске». Рассмеявшись над своей наивностью, она вскочила с постели и стала одеваться, чувствуя в себе ту сладостную неутоленность золотистым, еще ненадушенным летним днем, тот аппетит к жизни перед началом жизни, который и есть настоящее счастье.

* * *

Тали было двенадцать лет, когда сын мельника, весь в кудрявых завитушках, чем, видно, и покорила ее, одним словом, парень ненамного старше нее, хотя и намного глупей, уговорил ее сбежать с ним из дому.

Пользуясь тем, что дедушка уехал в город продавать свиней, она согласилась и, прихватив гитару, пришла к моельному дереву, где они условились встретиться.

К счастью, с самого начала их преследовали неудачи. Первая неудача заключалась в том, что сын мельника достал, и то с большим трудом, только одну лошадь, которую одолжил ему сосед.

Так как Тали не согласилась садиться с ним в одно седло, ему пришлось посадить ее в седло, а самому усесть сзади на спину лошади, что лошади с самого начала не понравилось. Кроме того, ей не понравился вид странного предмета, который девочка держала в одной руке, то вытягивая его поперек лошадиного крупа, то вздымая его над собой.

Не успели они почувствовать себя влюбленными беглецами, как лошадь свернула с намеченного пути и раздраженно зарысила в сторону своего дома. Тали никак не могла удержать поводьями сильную голову животного, и лошадь все быстрее и быстрее мчалась в сторону своего дома, что никак не входило в расчеты беглецов: ведь умыкатель сразу никогда не привозит свою пленницу домой.

Тем временем лошадь, окончательно раздраженная гитарой, которую Тали теперь приподняла, боясь разбить ее о круп лошади, помчалась во весь опор.

— Бросай гитару! — кричал сын мельника и, одной рукой держась за заднюю луку седла, другой пытался дотянуться до гитары.

— Ни за что! — отвечала Тали, оттягивая руку с гитарой, что заставляло лошадь выкатывать бешеный глаз на этот гулкий предмет и мчаться с еще большей быстротой.

Так они пролетели километра три, пока сын мельника во время одной из попыток дотянуться до гитары не упал с лошади. Как только он упал, лошадь остановилась, словно решив примириться с одним из неудобств при условии, что ее избавят от второго.

Убедившись, что сын мельника цел, Тали стала доказывать ему, что гитара тут ни при чем, что вот она сидит на лошади с гитарой, а лошадь стоит себе на месте.

Потирая ушибленное бедро, сын мельника подошел к лошади и схватил ее под уздцы. В ответ на ее слова он стал ее ругать, говоря, что если мул ее деда разрешает ковыряться гитарой у себя в ушах, то это не значит, что хорошая лошадь будет терпеть такое.

Тут Тали, не слишком стесняясь в словах, стала излагать свое мнение о напскальских лошадях и их кучерявых наездниках. В это время на тропе, где они стояли и спорили, появился Хабуг. Он подымался по тропе, ведя за поводья навьюченного городскими покупателями мула.

Если б они вдвоем сидели на лошади, или будь Тали без гитары,

или, по крайней мере, не ругайся они, старик, может быть, о чем-нибудь и догадался бы. Но тут он только удивился.

— Ты куда это на ночь глядя волочишь гитару? — спросил он, останавливая мула рядом с лошадью и на мгновение одним взглядом (не достаивающим видового различия) окидывая парня, держащего лошадь, и самую лошадь.

— На мельницу, — сказала Тали, уже разочарованная в своем женихе и, может быть, окончательно убитая этим взглядом.

— На мельнице и без тебя шуму хватает, — сказал дедушка и, не обращая внимания на сына мельника, который, набычившись, стоял, держа под уздцы лошадь, бросил поводья мула и протянул руки своей внучке.

Он подхватил привычно потянувшуюся к нему Тали, и та, обняв его за шею и хлопнув гитарой по спине, повисла на нем, как сотни раз повисала, когда, вымыв на кухне ноги и сидя с ногами на скамье, она цеплялась за его шею и он нес ее из кухни через длинную веранду в горницу.

— Какой ты все-таки, дедушка, — только и сказала она, опустившись между мешком и корзиной, оправляя юбку и укладывая на коленях гитару.

— Дай-ка мне свою дрыну, — сказал Хабуг и, взяв у нее гитару и перебросив ее через плечо, как топорик, подхватил поводья и пошел.

Тали оглянулась на своего неудачливого жениха. Тот все еще держал лошадь под уздцы и, еще больше набычившись, теперь смотрел в сторону Тали, взглядом упрекая ее в великом предательстве. Тали пожалала плечами в том смысле, что она вроде и не виновата в случившемся, но тот, еще больше набычившись, дал знать, что именно ее считает виновной во всем.

— А зачем ты сверзился? — обидевшись на это, ответила ему Тали и, последний раз пожав плечами, повернулась к нему спиной.

Оказывается, их переглядывания, а может быть последние слова Тали, вызвали у старого Хабуга смутные подозрения. Чем больше он об этом думал, шагая впереди своего мула, тем неподвижней становился его затылок и походка приобретала свирепую быстроту.

Мул едва поспевал за своим хозяином, когда они подошли к дому.

— Какого черта?! — крикнул наконец старый Хабуг, открывая ворота и оборачиваясь на внучку. Видно, к этому времени подозрения его окончательно созрели.

— Ты чего?!

Мул въехал во двор, и теперь Тали обернулась на деда.

— Какого черта?! Там, на лошади?! — сказал старик, теряя дар речи от возмущения, и, притянув ворота, изо всех сил хлопнул ими.

— Ну что ты, дедушка, — сказала Тали и, распахнувшись в улыбку, протянула к нему руки.

И точно так же, как она, когда он протянул руки к лошади, по привычке обняла его за шею, так и он сейчас хоть и был сердит на внучку, но, увидев протянутые руки ее, подхватил ее и ссадил с мула.

Все же слухи о том, что Тали пыталась бежать с сыном мельника и только благодаря тому, что мул старого Хабуга догнал беглецов или, по другой версии, сам мул, на котором они якобы бежали, выбрал удобное место, сбросил умыкателя, так что тот до самой мельницы катился по крутому склону, стали распространяться среди чегемцев.

Мать Тали неустанно отрицала эти слухи, так же как и жена мельника.

По этому поводу обе матери обменялись заочными любезностями. Тетя Катя сказала, что Тали не какая-нибудь там бедная сиротка, что-

бы выходить замуж за сына мельника, у которого от глухоты паутина в ушах проросла.

Это было, конечно, не совсем верно, потому что сын мельника хотя и не отличался большим умом, но слышал вполне сносно. Правда, отец его от долгой работы на мельнице был и в самом деле глуховат, но сын мельника слышал хорошо, хотя по глупости иногда кое-что и переспрашивал. Вот тетя Катя и решила, что у них наследственная глухота.

Учитывая, что сама она хоть и добрая женщина, но, по словам дяди Сандро, тоже недостаточно отличалась выдающимся умом, так что легко могла перепутать одно с другим, при этом если иметь в виду, что она была оскорблена всеми этими слухами, да к тому же с глупыми, как и с глухими, разговаривают громче обычного, что ж тут удивляться, если она решила, что у этого парня с самого рождения уши заложены мучной пылью.

Жена мельника, в свою очередь, говорила, что сын ее никогда не собирался жениться на Тали. Чем жениться на Тали, говорила она, уж лучше сразу жениться на ее гитаре, по крайней мере будет за что ущипнуть. При этом она разъясняла, что если ее сын и любезничал с Тали, то он просто подбирался к ее двоюродной сестре, Фирузе, старшей дочери многодетной тети Маши.

В самом деле, вскоре сын мельника женился на могучей Фирузе. Чегемцы по этому поводу говорили, что жена мельника решила во что бы то ни стало доказать, что сын ее вполне достоин чегемской девушки.

(Подобно московской милиции, которая считает, что человечество разделяется на две части — на ту, которая уже прописалась в Москве, и ту, которая еще мечтает это сделать,— чегемцы были уверены, что вся Абхазия мечтает с ними породниться. Не говоря об эндурцах, которые мечтают не столько породниться с чегемцами, сколько покорить их и даже не покорить, а просто извести, превратить в пустошь цветущее село, а потом и самим убраться восвояси, чтобы повсюду говорить что, собственно говоря, никакого Чегема никогда не было, что это выдумка, виденье в усталых глазах пастухов, пробиравшихся на альпийские луга и делавших в этих местах привал.

Несколько эндурских семей, издавна живших в Чегеме, находились под постоянным тайным наблюдением чегемцев. Во время тревожных слухов или стихийных бедствий они неизменно обращали взоры на своих эндурцев, с тем чтобы выяснить их позицию по этому поводу.

— Интересно, что эти говорят? — спрашивали они друг у друга в таких случаях, и любой ответ воспринимался как коварная, но вместе с тем и глупая попытка скрыть их истинное, чаще всего злорадное якобы отношение ко всему, что тревожило чегемцев.

Все это не мешало им в обычных условиях вполне дружески относиться к своим эндурским чужеродцам, но в трудную минуту чегемцы начинали подозревать эндурцев в тайных кознях.

Скажем, лето, засуха. Мимо кукурузного поля, где мотыжит чегемец, проходит какой-нибудь из местных эндурцев.

— Скажи-ка, земляк,— обращается тот, что мотыжит кукурузу,— дождь будет?

— А кто его знает,— отвечает эндурец, мельком взглянув на небо, и идет дальше своей дорогой.

Чегемец снова берется за мотыгу и некоторое время молча работает. И вдруг, усмехнувшись, он говорит сам себе, из чего следует, что все это время он напряженно обдумывал ответ эндурца...

— А кто его знает,— повторяет он с какой-то смиренной иронией

слова эндурца, — дай бог нам столько хорошего, сколько вы всякого скрываете от нас...)

Однако так или иначе, а сын мельника и в самом деле женился на дочери тети Маши. Тали подарила своей двоюродной сестре материал на платье, привезенный дедушкой как раз в день ее неудачного побега. В день отъезда невесты она принимала такое деятельное, такое праздничное участие, что просто никому не могло прийти в голову, что она сама еще полгода назад собиралась бежать с ним из дому.

— Он хороший, — говорила она с удовольствием, причесывая перед зеркалом свою двоюродную сестру, — а то, что он с лошади сверзился, так это ничего, правда, тетя Маша?

— Умница, — соглашалась тетя Маша, размашисто, как и все, что она делала, дошивая нехитрое платье для дочки. — Главное, с сыном мельника никогда голодной не будешь... А ну подойди-ка сюда, дылда, примерим, — добавляла она, перекусывая нить и оглядывая свою работу.

* * *

Где бы ни появлялась Тали, повсюду она вносила тот избыток жизненных сил, которыми ее наградила природа. Даже на похоронах какой-нибудь троюродной бабушки, которую она и при жизни-то ни разу не видела, она вдруг заливалась такими рыданиями, что ее начинали успокаивать более близкие родственники, говоря, что ничего не поделаешь, старуха свое отжила.

— Все равно жалко, — обливаясь слезами, говорила она сквозь рыдания.

Через полчаса она же, полая своим дышащим личиком, рассказывала что-то сверстницам, и вокруг нее начинали искриться глаза, раздаваться смешки, как бы особенно веселые от сдавленности.

— Тали! Ты все-таки не на свадьбу приехала! — раздавался голос кого-нибудь из близких.

Больше всего в людях в те годы Тали не любила медлительность, угрюмость, неулыбчивость. Бывало, влетит в табачный сарай, где усталые, приунывшие женщины молча нижут табак, и закричит:

— Поднимите ваши дважды протухшие, трижды прокисшие лица!

Хлопнется возле матери или возле одной из своих двоюродных сестер, вырвет у нее иглу и защелкает табачными листьями. Женщины оживают, встряхиваются, их освеженный мозг вспоминает совершенно неожиданного человека, чьи косточки они, оказывается, забыли перемыть.

В четырнадцать лет она имела свою трудовую книжку и считалась одной из лучших низальщиц Чегема, а через год (наконец мы добрались до того дня, с которого начали рассказ) она стала единственной соперницей другой лучшей низальщицы табака — взрослой девушки Цицы.

Узнав, что одной из двух лучших низальщиц оказалась дочь дяди Сандро, председатель колхоза был неприятно удивлен.

— Неужели это та вертихвостка, что зимой на муле приезжает в школу? — спросил он у Миши, просматривая сводки.

— Она самая, — с удовольствием кивнул Миха, — молния, а не девочка.

— Ладно, — угрюмо согласился председатель и, отложив сводку, задумался.

...Итак, было объявлено, что патефон будет разыгран между двумя девушками — Цицей и Тали, больше всех нанизавших к этому времени табака.

Сам патефон вместе с пластинками находился у тети Маши, пото-

му что она считалась первой активисткой села Чегема. Дом ее и раньше напоминал молодежный клуб отчасти благодаря обилию дочерей (семь девушек и ни одного мальчика), отчасти благодаря ее собственному общительному характеру. Теперь, после появления патефона, сюда стали захаживать и пожилые и старые чегемцы послушать, как патефон говорит своим глуховатым (на языке чегемцев — гниловатым) голосом.

Чегемцы знали, что в городе продают разные пластинки с записями русских, грузинских и даже абхазских песен и всякой музыки, но до Чегема они еще не дошли, потому что до сих пор не было ни у кого патефона. Все ждали, чтобы кто-нибудь другой, особенно из местных эндурцев, его купил, чтобы посмотреть, не приводит ли голос говорящего человека, отделенный от самого человека, к порче скота или осыпанию винограда.

Одним словом, на зеленом дворике тети Маши в эти дни собиралось особенно много односельчан.

Сама тетя Маша, слегка дородная (редкое и потому ценное для горянки сложение), сидя в тени лавровишни на большой турье шкуре, мерно покручивала ручку патефона. Обычно при этом у нее изо рта торчал надкушенный персик, который она таким образом придерживала, пока накручивала пружину патефона и ставила пластинку на крутящийся диск.

Окружающие тоже строгаи и ели персики, которые время от времени приносила в подоле какая-нибудь из дочерей тети Маши и ссыпала тут же на траву в тени лавровишни. Этими персиковыми деревьями был обсажен весь двор тети Маши, но можно было поклясться, что ни один человек никогда их не пробовал в спелом виде — все подчистую объедали многочисленные посетители ее дома еще до того как персики созреют.

Муж тети Маши, которого она отчасти презирала за то, что от него никак не мог родиться мальчик, дома бывал редко, потому что работал на колхозной ферме пастухом. Почти все лето он проводил на альпийских лугах, куда угонял скот, а в остальное время тоже редко бывал дома, потому что и ферма была расположена в нескольких километрах от дома, да и сам он за многие годы пастушества до того отвык от людей, что у него, по его собственному признанию, начинала кружиться голова, когда он видел вместе пять-шесть человек, особенно если они проявляли во время разговора склонность к излишней жестикуляции. Вот он и предпочитал оставаться на ферме со своими козами.

Возвращаясь домой на несколько дней, он выполнял кое-какие мужские работы, ну там плетень приподнять и обновить, настругать подпорки для фасоли, свалить дерево на дрова и тому подобное. Приезжал он обычно страшно обросший, но тетя Маша в тот же день нагревала котел воды, мыла и брила его собственноручно. После бритья лицо его как бы выражало мучительное раздражение своей постыдной оголенностью, и несколько дней оно не сходило с его лица, пока он занимался хозяйством, покрикивая на дочерей и то и дело путаясь в их именах.

— Эй, Фируза, или как там тебя! — кричал он откуда-нибудь с крыши сарая.

— Папа, я не Фируза, а Тата, — отвечала дочка, — Фируза в прошлом году замуж вышла...

— Знаю без тебя! — огрызался он и добавлял, постукивая топориком, что-нибудь вроде этого. — Там у меня за домом возле точильного камня должен лежать большой гвоздь... Так вот принеси-ка мне его сюда, если дружки твоей мамы еще не пустили его в расход...

Через несколько дней, переделав домашние мужские дела (по его разумению, как язвительно уточняла тетя Маша), он с видимым облегчением, в сущности даже с тайным ликованием, отправлялся к своим козам. По наблюдениям чегемцев, каждый раз он после длительной отлучки возвращался домой, накопив угрюмую яростную мечту зачать мальчика, и снова уходил к своим козам, уже издали с недоверчивым угрюмством, с дурным предчувствием как бы прислушиваясь к процессу беременности своей жены.

Жена в очередной раз с неслыханной легкостью рожала ему девочку, и все начиналось сначала. Каждая девочка рождалась здоровее предыдущей, и уже начиная с третьей они напоминали добродушных великанш, а самая младшая еще совсем малюткой, когда ее забывали в люльке, а это случалось частенько при общественной направленности интересов тети Маши,— так вот когда ребенка клали в люльку и забывали в тени под лавровишней, а тень отходила, то ребенок вставал из люльки и, крихтя, сам перетаскивал ее в тень, после чего снова ложился в люльку, если ему была охота лежать.

По мнению чегемцев, возрастающее могущество сложения дочерей Михи было следствием все тех же его стараний добиться мальчика, но так как в жене его действовала только одна чадотворящая форма, а именно форма женщины, то старания Михи, хоть и отражались в виде возрастающего могущества мужской силы в его дочерях, все-таки ви-доизменить единственную данную ей богом форму никак не могли.

Чегемцы считали, что женщине даются от рождения чадотворящие формы. Большинству обе формы даются, и мужская и женская, а некоторым дается только одна, и тут сколько ни старайся, ничего не получится. Это все равно что вливать вино в графин и требовать, чтобы вино принимало форму бутылки.

То ли оттого, что у тети Маши муж был нелюдим, то ли это было свойством ее собственной природы, но тетя Маша любила бывать на людях. А ничто, особенно абхазской женщине, не дает такой естественной возможности быть на людях, как колхоз. Поэтому тетя Маша была одной из лучших колхозниц и со стороны руководства она всегда ставилась в пример.

Она была в те времена чуть ли не единственной женщиной, которая посещала колхозные собрания, и притом вполне добровольно.

Бывало, принарядится, выйдет на верхнечегемскую дорогу, поджидая идущих сзади или, наоборот, громко окликающая идущих впереди, чтобы ее подождали, а другие чегемские женщины смотрят на нее со своих дворов и бормочут что-нибудь вроде того что: «Иди, иди... Там тебе сделают мальчика...»

Так жила тетя Маша со своими богатырскими дочерьми — бедно, вольно, неряшливо. Дети и сама она питались чем попало, но могучая природа брала свое и все они выглядели румяными, сильными, довольными.

И каждый день, особенно в плохую погоду, когда работать в колхозе было невозможно, в доме было полно чужих людей. А в хорошую погоду в затянувшийся полуденный перерыв во дворе играл патефон, доедали последние персики и начинали есть первую вареную кукурузу.

Пастушеский волкодав, оставленный хозяином дома в качестве мужской защиты, после появления патефона сбитый с толку обилием приходящих и уходящих людей, вообще перестал лаять и почти целыми днями сидел под домом и тоскливо следил оттуда за происходящим во дворе.

Со временем собака по привычке к голосу патефона и, если он ее заставлял во дворе, тихо вставала и уходила под дом.

Смешная тонкость ее поведения (разумеется, не оставшаяся незамеченной чегемцами) заключалась в том, что она уходила не тогда, когда патефон выносили из дому и устраивались с ним в тени лавровишни, и даже не тогда, когда ставили пластинку, а тогда, когда, поставив пластинку, начинали крутить ручку. Тут она лениво вставала, брела под дом и там, брякнувшись в прохладную пыль, с сонной скорбью следила за тем, что происходит под лавровишней.

В то лето в доме у тети Маши стал появляться молодой парень из соседней деревни. Звали его Баграт. Был он по происхождению наполовину лаз, наполовину абхаз. Многими чегемцами было замечено, что парень этот своими глубоко запавшими глазами и большими часами кировского завода на широком запястье, носимыми поверх рукава рубахи, сильно смущает девушек округи.

Часов тогда в Чегеме ни у кого не было ни стенных (солнце заменяло настенные часы), ни ручных. Ручные часы были только у председателей колхоза и сельсовета, и, бывало, во время затянувшегося собрания они вдруг начинали сверять часы, подгоняя вперед или, наоборот, отгоняя назад стрелки на циферблате, с каким-то кабалистическим оттенком, убеждавшим чегемцев, что эти люди как раз и держат в своих руках время.

— Эх, время, в котором стоим,— любят говорить чегемцы по всякому поводу, и выражение это в зависимости от того, как его произносить, имеет множество оттенков. При всех оттенках само время неизменно рассматривается, вернее сказать ощущается, как стихия текучая, но неподвластная нам, и не в нашей воле войти в него или выйти, мы можем в нем, как в потоке, стоять и ждать: то ли поток усилится и покроет нас с головой, то ли вдруг исчезнет под подошвами ног.

Но мы, кажется, слишком отвлеклись от парня, что своими запавшими глазами и часами кировского завода на руках вызывал смутные и приятные мечтания у чегемских девушек. На самом деле он и без часов был хорош. Среднего роста, широкоплечий, стройного сложения, он, к уважительному удивлению чегемцев, обладал необычайной физической силой.

Впервые этой весной он появился у тети Маши и предложил за два пуда кукурузы вспахать ее приусадебный участок. Тетя Маша с радостью согласилась. Она послала к Хабугу одну из своих дочерей, чтобы тот одолжил им своих быков. Быки были пригнаны, и парень этот в два дня, работая с восхода до заката, вспахал участок.

Получив свой мешок кукурузы, он надел на руку часы, перекинул мешок через плечо и молча удалился в свою деревню, сопровождаемый ласковыми благодарностями тети Маши.

— Чертов сын,— сказал старый Хабуг, осмотрев его работу и отгоняя своих быков домой,— моих быков замордовал...

С неделю после ухода молодого пахаря в доме тети Маши стоял могучий запах мужского пота, в который с удовольствием внюхивалась она сама и все ее дочери.

— Ах, молодчина,— вздыхая, вспоминала тетя Маша,— мне бы такого...

Было решительно непонятно, что она имеет в виду: мужа, сына или зятя. Дело в том, что родственники и соседи, гадая, чего это он вздумал за такую смехотворную плату вспахать ее участок, пришли к выводу, что ему приглянулась одна из миловидных великанш, а именно Лена. Ей он отдавал часы во время работы, а во время отдыха научил узнавать время, не подглядывая за солнцем. Она и в самом деле научилась узнавать время по часам, но потом опять забыла и снова перешла на солнце. Тете Маше такое предположение было приятно, хотя

Лена казалась ей чересчур рослой для этого парня. Она была на голову выше него и, судя по всему, не собиралась останавливаться в росте — ведь ей было всего восемнадцать лет.

И вот он стал появляться у тети Маши. То сам зайдет, то снизу окликнут его, когда, бывало, проходя по верхнечегемской дороге и срезая расстояние, он прямо по осыпям косогора загремит вниз.

Во всех играх, которые затевали чегемские ребята — будь то толкание камня, игра в мяч (абхазское регби) или борьба, — он всегда выходил первым. Всеми как-то сразу было принято, что с ним состязаться невозможно, и только Чунка, двоюродный брат Тали, юный гигант, бешено ревновавший к успехам этого чужеродца, не мог с этим примириться.

Иногда ему кое в чем удавалось сравняться с Багратам. Так, однажды ему удалось остановить Баграта, когда тот, расшвыривая людей, мчался с мячом к воротам противника. Чунка в прыжке схватил его за пояс и, бороздя носками сильных волочащихся ног зеленый двор тети Маши, сумел остановить его.

Кстати, Баграт ввел в Чегем новую игру «разрывание веревки». Суть этой странной игры заключалась в том, что брался кусок веревки длиной с метр, связывались его концы, после чего в образовавшуюся петлю просовывались запястья рук и с силой раздергивались.

Игра эта некоторое время вяло цвела благодаря присутствию Баграта, а потом быстро забылась, во-первых, потому, что рвать веревку очень трудно, а во-вторых, потому, что — и это важнее, чем во-первых, — просто жалко веревку.

Однажды, когда Баграт так и разбрасывал во дворе у тети Маши порванные веревки, Колчерукий, проезжавший верхом по верхнечегемской дороге, не останавливая лошадь, крикнул вниз:

— Боюсь, как бы не полетели шнурки на трусах чегемских девчат, как только у этого парня кончатся веревки!

Услышав такое, чегемские девушки дружно захохотали, показывая своим смехом, что такая угроза не кажется им самой страшной.

Хотя тетя Маша и решила, что Баграт прицеливается к Лене, и всячески намекала на это окружающим, все же прямо спросить у него об этом было бы, по чегемским обычаям, величайшей бестактностью.

— Послушай, — шутили чегемцы с Багратам, кивая на юную великаншу, — как ты будешь ее целовать?

— А я в прыжке, — отшучивался Баграт.

Следует сказать, что, по чегемским обычаям, всякие там разговоры считаются верхом бесстыдства, если их вести всерьез. Например, парень, заявивший родителям девушки или другим ее родственникам, что она ему нравится, независимо от их отношения к нему с этого мгновения лишается всякого права не только бывать в ее доме или в доме ее родственников, но и в любом доме, находящемся в доступной для общения близости.

Другое дело шутка. В шуточной форме можно сказать все. В шуточной форме чегемцы умели обходить все табу языческого домостроя. Я даже думаю, что бог (или другое не менее ответственное лицо), вводя в жизнь чегемцев суровые языческие обычаи, в сущности, применял педагогическую хитрость для развития у своих любимцев (чегемцы в этом не сомневаются) чувства юмора.

Таким образом, чегемцы якобы в шутку пытались узнать у Баграта, чего он добивается у тети Маши, но так как Баграт отшучивался, якобы соглашаясь с ними, все по-прежнему оставалось непонятным. И только один человек со сладостной трезвой догадывался, зачем он здесь, — это была Тали.

* * *

Впервые они встретились в прошлом году. Тали с выводком двоюродных братьев и сестер (детишки так и тянулись за ней, хотя она их иногда и поколачивала) стояла на дороге недалеко от дома. Она сбивала палкой еще зеленые грецкие орехи, и возмущенный колокольчик ее голоса то и дело звенел на детей, потому что они бежали собирать сбитые орехи еще до того, как ее палка успевала упасть на землю.

Еще не видя ее, он уже улыбнулся ее голосу, а потом, когда за поворотом дороги сразу же открылась сень огромного орехового дерева и под ним полдюжины маленьких детей с жадно запрокинутыми наверх головами, со ртами, до ушей измазанными соком зеленой кожуры орехов, а рядом с ними длинноногая девочка-подросток в свободном ситцевом платье салатного цвета, с короткими рукавами, тоже с запрокинутым наверх лицом и всей тонкой и, видимо, крепкой фигурой, оттянутой назад в замахе, с палкой в еще дальше оттянутой руке, тем особым девичьим жестом, который ни с чем не спутать, естественным в своей противоестественности, то есть жестом, как бы пытающимся внести плавность в бросок, то есть внести плавность в то, что от природы должно быть резким, он вдруг почувствовал какую-то трогательность всей этой картины и остановился против девочки на тропе. Дети и она сама, поглощенные предстоящим броском, так и не заметили его. Это показалось ему забавным, тем более что девочка, молча и напряженно целясь, продолжала оттягиваться и все дальше заводила за спину руку, пока конец слегка трепещущей палки не уперся в его живот.

— Смотри, меня не убей! — сказал он.

Тали бросила палку и быстро обернулась. Дети тоже разом повернули головки назад. Увидев в двух шагах от себя незнакомого парня с запавшими глазами, с широкой грудью, с пустым мешком, перекинутым через плечо, она вдруг застыдилась своих измазанных рук и быстро спрятала их за спину.

— А рот куда спрячешь? — спросил он.

Девочка попыталась утереть рот тыльной стороной руки, вспомнила, что сильный сок грецкого ореха так не ототрешь, устыдилась своего стыда и вспыхнула:

— Иди куда идешь!

Сердитый ее голос на этот раз оказался неожиданно низким. Баграт усмехнулся, сбросил с плеча свой мешок, поднял палку, уроненную девочкой, тряхнул ее, чтобы убедиться, что она не сломается на легу, взглядом отогнал от дерева детей, поймал глазами высокую ветку, густо обсыпанную орехами, и с такой силой швырнул в нее палкой, что на землю посыпался зеленый ливень орехов.

— Ау!!! — радостно завывали дети и бросились собирать зеленые, подскакивающие на камнях кругляки.

Некоторые из них, наиболее зрелые, от сильного удара вылуцивались из кожуры и, сверкнув золотистой скорлупкой, исчезали в траве. За ними дети бросались с особой радостью.

Баграт заметил большой камень, на котором они разбивали орехи вместе с кожурой. Камень был весь мокрый от яростной свежести сока расплющенных и вылуценных орехов. Баграт вдруг почувствовал детский аппетит к этому незрелому ореху и, набрав пару горстей, сунул их в карман, подобрал мешок и пошел дальше своей дорогой.

Тали, глядя ему вслед, видела, как он, нащупав на бедре нож, вытащил его и, доставая из кармана по одному ореху, разрезал их надвое и, вылуцив мякоть, бросал на дорогу опустевшие полушария.

Позже Баграт говорил, что именно тогда у него мелькнула и тут же забылась мысль, что хорошо бы эту девчонку забрать домой, вымыть

ее как следует, дать попасться, не выпуская со двора, чтобы она немного вошла в тело, а потом жениться на ней. Мысль эта мелькнула и пропала, когда он, доев последний орех, вложил нож в болтавшиеся на бедре ножны.

Через полчаса, разогнав детей, Тали шла к бабушке, чувствуя радость и смутно понимая, что радость эта связана с тем, что она понравилась этому незнакомому взрослому парню. Она быстрошла по тропе, с непонятым умилением находя глазами (вон еще, а вот еще одно!) точно разрезанные и чисто выскобленные полукружия грецких орехов. Вдруг ей показалось, что эти свежескобленные полушария чем-то напоминают самого незнакомца. Она очень удивилась этому непонятному сходству. Чем же скорлупа выеденного ореха, да еще в толстой зеленой кожуре, может быть похожа на человека? Но она была похожа, и все! То ли его запавшие глаза напоминали углубления этих выскобленных полушарий, то ли толстая зеленая кожура чем-то напоминала его коренатость. Она почему-то вдруг подняла одну из этих половинок, понюхала ее, с удовольствием втягивая горько-нежный аромат незрелого ореха, словно первый раз его почувствовала, хоть сама была вся пропитана этим запахом, и, вдруг застыдившись, что ее кто-то может застать за этим занятием, отбросила зеленую половинку, подпрыгнула и рассмеялась: ей стало как-то смешно, приятно и стыдно...

Тут она вспомнила, что еще утром на огороде видела кукурузный початок, который уже можно сорвать. Узнавалось это так. Найдя глазами более или менее налитой початок, надо было раздвинуть ногтями прикрывающую его одежду стеблей, причем верхняя одежда была всегда толстой и грубой, а нижняя тонкой и нежной. Так вот, надо было раздвинуть ее до самого початка и, добравшись до него, раздавить набухшее зерно: если из него идет бесцветный сок, значит, оно еще должно дозреть, но если брызнуло молоко, значит, можно жарить.

Вообще-то бабушка не любила, чтобы так пробовали на спелость кукурузу. Дело в том, что, хотя опробованные початки и продолжали наливаться и поспевать, птицы, особенно сойки, легко просовывали клюв сквозь эту однажды уже раздвинутую одежду (как ни скрывай, а это уже не скроешь) и постепенно выклевывали весь початок.

Но разве можно было что-нибудь запретить его любимице? Да Тали почти безошибочно узнавала спелые початки, потому что это были те же самые, которые раньше других выпускали свои льняные розовые и золотые косички, и она их заплетала задолго до того, как они высыхали...

Минут через десять, влетев на порог бабушкиной кухни, Тали внезапно замерла — незнакомец был здесь.

Оказывается, он пришел покупать поросят. К этому времени Хабуг научился разводить свиней особой длиннорылой и жизнестойкой породы. Свиньи эти, скрещиваясь с дикими кабанями, давали неприхотливое потомство, благодаря необыкновенной скорости передвижения легко уходившее от любого хищника и по той же причине, в состоянии раздражения иногда от бегства переходя к погоне, заставлявшее в панике бросаться наутек не только шакалов, но и матерых волков.

Баграт уже выбрал в сарае трех рябых поросят, и они с хозяином, вернувшись на кухню, уже торговывались, то и дело шлепая друг друга по ладони и стараясь внушить друг другу, что каждый из них в проигрыше, но так уж и быть. Старик давил на парня всем своим могучим авторитетом, но и парень оказался на редкость крепким и подымался в цене почти так же туго, как опускался старик.

И тут вдруг Тали влетела в кухню и замерла на пороге, никак не ожидая снова увидеть здесь этого парня. И он снова увидел ее, взволнованную, с трепещущей шеей, с детским дышащим лицом, с недетским любопытством в глазах и как бы выражением горячей преданности в будущем, с губами, все так же измазанными соком грецкого ореха. В руках она держала большой кукурузный початок, туго заперенный зеленой одеждой, сдвинутой сверху дерзким движением, откуда сквозь редкие, светящиеся, нежные, влажные волоски выглядывали набухшие молоком зерна кукурузы.

— Ну чего ты? — сказал старый Хабуг, нахмурившись.

Тали прервала ту атмосферу нагнетения психического превосходства, которую он создавал в течение их торга, чтобы сломать этого упрямяца, и вот теперь, ему казалось, все придется начинать сначала.

— Уже поспела, дедушка! — воскликнула Тали и одним прыжком с порога оказалась возле него. Она воткнула ноготь большого пальца в брызнувшее молоком зерно. — Видишь?

— Тали, на что ты похожа! — воскликнула бабка, входя в кухню из кладовки и стараясь смягчить перед чужим человеком ужасное впечатление от ее рук и лица. — Это все проклятые орехи!

— Да знает он! — со смехом крикнула Тали и выбежала на веранду, где висела умывалка, привезенная дядей Сандро из города.

— Она думает, что все еще ребенок! — хмуро сказал Хабуг и уже снова начал было мрачнеть, чтобы показать, что он в этой сделке проигрывает, и тем самым создать атмосферу психического превосходства, но тут парень почему-то сразу сдался.

— Хорошо, пусть будет по-твоему! — сказал он и ударил его по руке.

— Принеси-ка нам по рюмке, — обратился Хабуг к жене.

— Ну и затылок, — сказала старушка, взглянув на спину Баграта, и прошла в кладовку, где хранились сухая закуска и чача.

Багат сидел рядом с Хабугом у горящего очага и, почти не слыша, что тот ему говорит, невольно прислушивался к тому, что происходит на веранде, где по звуку стерженька умывалки он определил, что она умывается, потом по голосу, отгонявшему собаку, он понял, что у нее упало мыло и собака подбежала, увидев, что у девочки что-то свалилось.

Потом он услышал, как она со скрежетом срывает листья с кукурузного початка, и звук этот своей какой-то скрипучей свежестью напомнил о давней неистребимой детской радости смены плодов — земляника, вишня, черника, алыча, сливы, лесной орех, кукуруза, грецкий орех, виноград, яблоки, груши, айва и, наконец, каштаны...

Странно, подумал он, почему этот свежий скрежет листьев, которые она сдирает с кукурузы, напомнил ему так сладостно этот круговорот плодов, эту детскую радость?

В это время жена Хабуга внесла в кухню графин розовой чачи, нарезала сыру, наломала чурчхелин и, придвинув к очагу низенький столик, разложила все это на нем. Старый Хабуг разлил чачу.

В открытую дверь кухни он увидел, как, потряхивая гривкой, к веранде через двор идет, так же, как и он, услышав сочный звук листьев, сдираемых с початка, мул Хабуга.

Через мгновение мул захрустел листьями кукурузы.

— Ишь чего захотел! — услышал он ее голос и совершенно ясно представил, что мул потянулся к очищенному початку.

— ...Чтобы бог не отбавлял нам! — услышал он конец тоста старого Хабуга.

Тали влетела в кухню с очищенным початком.

... Они выпили, и он почувствовал струйку огня, прокатившуюся по горлу и дальше, почти до самого пояса.

— Ух,— сказал он на этот раз искренне то, что приличествует горючить по законам гостеприимства,— голову сечет!

— Да, вроде ничего,— согласился старый Хабуг и выплеснул остаток из своей рюмки в огонь, мгновенно полыхнувший синим пламенем.

Тали уселась на низенькой скамейке у самого огня, раздвинув голешки, выгребла жар и поставила поближе к нему свой початок, прислонив его к полену.

Скамейка была такая низенькая, что она сидела на ней, опираясь подбородком о колено и с каким-то смущающим Баграта любопытством поглядывая на него, то вскинув голову с колена, поворачивалась к огню, чтобы слегка отвернуть от огня подрумянившуюся сторону початка. Когда она поворачивалась к огню, лицо ее нежно просвечивало, и он невольно задерживал взгляд на ней.

Через некоторое время нестерпимый запах жареной кукурузы защекотал ноздри сидящих в кухне. Тали выхватила початок, но не удержала, он был слишком горяч, початок шлепнулся возле очага. Она снова подхватила его, ударила о скамейку, на которой сидела, и, вышибив из него струйку золы и то и дело перехватывая, чтоб не обжечься, забыв о том, что здесь, в кухне, чужой человек, и подчиняясь давней привычке, быстро обернула его краем платя, оголив ногу выше колена, и одновременно с возгласом бабки: «Тали, как тебе не стыдно!» — одновременно с этим возгласом она успела (тук, тук!) сломать початок на четыре части и, взяв одну, правда самую толстую, себе, молниеносным и как бы презрительным движением (подумаешь!) оправить платье, стала есть его, отщипывая по нескольку зерен и шумно, чтобы охладить их во рту, втягивая воздух и одновременно перекидывая с ладони на ладонь початок и самим этим шумным втягиванием воздуха как бы отвечая бабке: «Ты видишь, мне и так горячо, какой уж тут стыд!»

— На вид-то она верзилестая, но голова сквозная,— сказал Хабуг и взял в свою задубелую ладонь обломок пахучей золотистой кукурузы.

— Чудная девочка! — сказал Баграт, стараясь сказать это равнодушным голосом и сам удивляясь своему старанию. Он тоже взял обломок початка.— Мащ-аллах! — сказал он и, отщипнув горсть зерен, отправил их в рот.

— Мащ-аллах,— повторил за них Хабуг, радуясь, что этот полуабхаз помнит наш древний возглас, благословляющий цветение, поспевание, изобилие.

Они выпили еще по рюмке.

— Гляжу я на тебя — ты как чистокровный абхазец,— сказал Хабуг своему гостю, довольный и удачной продажей поросят, и приятным видом этого уважительного парня.

— Значит, могу быть абхазским зятем? — спросил Баграт, подшучивая над Хабугом, но тот этого не заметил.

— Даже не сомневайся,— твердо отвечал ему Хабуг, разливая розовую чачу.

Тали сидела у огня, и лицо ее, то ли озаренное жаром огня, то ли собственным жаром, светилось. Теперь она спокойно грызла кукурузу, и глаза ее со странным, смущающим Баграта любопытством то и дело останавливались на нем.

* * *

Все-таки в тот день, уходя к себе домой с поросятами, повизгивавшими в мешке, Баграт не знал, как дорого заплатил за них. Он не знал,

что девочка, которой он сбивал зеленые грецкие орехи, заставит его снова и снова возвращаться к этому дому и делать возле него сужающиеся круги, пока он не выберет двор тети Маши как взлетное поле для своего замысла.

Но это случилось через год, а тогда он никак не мог поверить, что влюбился в эту девочку, стебелек шеи которой, черт возьми, можно обхватить ладонью одной руки.

Да, все это получилось как-то странно и неожиданно. И это с ним, двадцатипятилетним парнем, на которого девушки поглядывали уже давно, при этом они свои быстрые взгляды старались сделать маленькой частью долгого взгляда, и он это чувствовал и знал еще до того, как приобрел кировские часы. А уж после того как он купил эти часы, у него стали спрашивать время и те девушки, которым, в сущности, время было так же безразлично, как, скажем, возраст земли. А те девушки, которые раньше поглядывали на него, выдавая свои быстрые взгляды за маленькую часть долгого взгляда, теперь осмеливались бросать на него долгие взгляды, правда выдавая их за короткие взгляды, продленные по рассеянности.

И вдруг он стал по ночам вспоминать об этой девочке? Правда, улыбка — как солнечная щелочка в облачном небе. Но до чего же худая, господи!

И все-таки как он ни злился на себя в засушливые часы бессонницы, ему было приятно вспоминать ее голос, такой звонкий, вызвавший его улыбку еще до того, как он ее увидел, и потом вдруг такой низкий, грудной, когда она разозлилась и сказала: «Иди куда идешь!» Вспоминать то упрямое и быстрое движение, с которым она спрятала руки за спину, вспоминать, как она влетела в кухню с кукурузным початком и внезапно замерла на пороге, когда он там торговался с ее дедом! И как это ни странно, все, что он о ней вспоминал, казалось ему или забавным, или смешным, но никак не достойным восхищения. Тем не менее это забавное и смешное томило и не давало спать.

Однажды, придя на мельницу, он увидел мула ее деда, привязанного там. Он почувствовал такой испуг, что хотел тут же повернуть назад, но потом, устыдившись своей робости, решил войти в мельницу. Мул, обернувшись на его шаги, посмотрел на него так, словно что-то знал о его тайне.

На мельнице, кроме мельника Гераго, сушившего над огнем костра табачные листья, никого не оказалось.

— Чей это мул? — спросил он, чтобы узнать, кто из них пришел с кукурузой.

— Хабуг оставил, — сказал Гераго, кивнув на дощатые нары возле мельничного жернова, где стояли, дожидаясь своей очереди, мешки с кукурузой.

Хабуг всегда свой приход на мельницу связывал с какими-нибудь делами, которые ему предстояло сделать в селе Напскал, ближайшем от мельницы.

Баграт посмотрел на нары и сразу же с какой-то звериной безошибочностью узнал мешки Хабуга из козьей шкуры, хотя там были и другие такие же мешки. Эти почему-то напомнили ее («Пушистостью, что ли?» — мелькнуло у него в голове), и, словно проверяя свою догадку, он кивнул на них:

— Эти?

— Да, — кивнул Гераго, медленно поворачивая у самого огня ладонь с распластанным на ней табачным листом. Не сказав больше ни слова, Баграт вышел из мельницы.

С расчетливой хитростью безумца он стал, проходя по верхнечегемской дороге, следить за Большим домом. Увидев ее, он как бы разо-

чаровывался ее внешностью и на некоторое время успокаивался. Внешность ее уступала тому образу, который создавало любовное воображение, и он каждый раз был рад уличить свою страсть в смехотворных преувеличениях, и она, страсть, как бы устыдившись явности недостатков ее внешности, на несколько часов замолкала, а потом все начиналось сначала. Он сам удивлялся той жадности, с которой он искал и находил в ней недостатки. Одно время она ходила прямо-таки с рябыми ногами: так бывает, если слишком близко и слишком часто с голыми ногами стоять у огня. Поиски недостатков немного успокаивали самолюбие, они как бы убеждали его, что он не сидел сложа руки, пока страсть не охватила его, а деятельно сопротивлялся ей. Он даже не подозревал, что это не он говорит своей страсти: «Пойдем посмотрим на нее, увидишь, чего она стоит...» — а сама страсть внушала ему идти и искать в ней недостатки, чтобы, воспользовавшись этим его безопасным занятием, ей, страсти, глазеть на нее, испуганно любоваться и радоваться, что она жива!

Однажды он вошел в табачный сарай, где работали женщины их бригады. Он пришел туда со смутной надеждой встретить ее здесь.

В самом деле она сидела рядом с матерью и тоже низала табак. Увидев его, она с молниеносной быстротой опустила глаза и, пока он там стоял, так и не подняла их ни разу. Про себя он смутился и не знал как быть, но тут тетя Маша попросила его помочь вкатить в сарай табачные рамы, потому что начиналась гроза. Это дало возможность ему овладеть собой и достойно уйти.

Но он был сильно смущен. Ему казалось, что она, догадываясь о его чувстве, злится на него. Как быстро она опустила глаза! Не знал он, что только восходящая звездочка еще неосознанной любви способна на эту молниеносную быстроту, ласточкину чуткость!

* * *

Иногда, когда старый Хабуг брал Харлампо на какие-нибудь хозяйственные работы, она пасла дедушкиных коз. Над домом Хабуга возвышался холм, покрытый густой травой, зарослями лесного ореха, кизила, ежевики. Там-то она и пасла дедушкиных коз. Чуть повыше начинались сплошные папоротниковые пампы, где он прятался и откуда следил за ней.

Она беспрерывно что-нибудь пела, или перекрикивалась со своими сестрами, дочерьми тети Маши, или играла с козами — то с одной, то с другой, за какие-то малопонятные заслуги надевая на шею цветочный венок и за еще более непонятные провинности отнимая его, если они сами не успевали сбросить его, что они пытались сделать, как только она их отпускала.

Иногда она приставала к огромному вожаку с пожелтевшей от времени длинной бородой, с огромными рогами, вершины которых сходились, как бы образуя триумфальную арку, вход в глупость. И этот старый дурак с важным спокойствием дожидался, пока она заплетет его почтенную бороду в малопочтенную косичку, а она еще покрикивала на него, чтобы он перестал жевать жвачку, пока она занята его бородой.

Однажды (видно, ей захотелось пить, а спускаться к роднику было лень) она поймала козу, улеглась возле нее и стала бесстыдно, прямо из вымени нацеживать себе в раскрытый рот струйки молока.

Баграта почему-то особенно поразила коза, которая во время этой непристойной, как ему казалось, дойки замерла с головой, повернутой в ее сторону, с выражением тайного юмора на морде или, во всяком случае, благосклонного недоумения.

Он почувствовал, что ему здесь нечего делать, и тихо покинул

свою засаду. В ту ночь он почувствовал такой приступ яростной тоски — возможно, его доконала эта сцена с козой, — что он решил во что бы то ни стало дожидаться случая и встретиться с ней один на один.

Через неделю он узнал, что дед ее и Харлампо ушли на несколько дней в котловину Сабида расщеплять дрань, и понял, что она опять будет с козами. Он решил выманить ее в папоротники, а там предоставить все воле случая.

В тот день он чуть свет встал с постели, достал у себя в кладовке несколько кусков лизунца (низкосортной соли, которую держат для скота), тщательно растолок его и, насыпав в карманы, пустился в путь. Еще до восхода солнца он был на холме возле дома Хабуга и, выбрав место, где козы паслись чаще всего, стал, рассыпая соль, двигаться в сторону папоротниковых зарослей и углубился в них настолько, насколько хватило соли. Таким образом, посолив зеленый салат для коз Хабуга, он притаился в папоротниках и стал ждать.

Его безумная хитрость, учитывая, что он полагался на коз, то есть на существа достаточно безумные, полностью оправдалась. Часов в десять утра часть коз напала на следы его соли и упрямо двинулась в папоротники, несмотря на окрики Гали.

Он навсегда запомнил тот миг, когда она полезла в папоротники и он понял, что теперь она никуда не уйдет, и вдруг сердце в груди его забилось медленными толчками и каждый опалял тело тревожным, сладко сгущающимся пламенем...

Как только она вошла в папоротники, он перестал ее видеть, но зато слышал ее теперь с удвоенной чуткостью. Он слышал хруст и шорох ее босых ног по высохшим прошлогодним стеблям папоротников и мягкий шелест живых, раздвигаемых руками папоротниковых веток. Звуки эти, все сильнее и сильнее волновавшие его, то замолкали, то уходили в сторону и все-таки неизменно поворачивали к нему, словно подчиняясь невидимой силе притяжения его страсти.

Вокруг него то здесь, то там раздавался хруст, иногда фырканье, иногда бляенье и всплеск колоколец бредущих в папоротниках коз, но сквозь все эти звуки он четко различал ее шаги и изредка слышал ее голос, поругивавший коз: «Чтоб вас волки...» — и снова шорох шагов и шелест раздвигаемых веток.

Когда она останавливалась, чтобы сообразить, как идти дальше, он вдруг слышал высоко в небе пенье жаворонков, наводившее на него какую-то странную, неуместную грусть.

Вдруг шаги ее замолкли, и тишина на этот раз длилась гораздо дольше, чем это надо для того, чтобы оглядеться и посмотреть, как двигаться дальше, чтобы опередить коз и повернуть их назад. Он никак не мог понять, что случилось, и сам пошел навстречу, почему-то стараясь ступать как можно тише.

Он прошел шагов пятнадцать и там, где примерно ожидал, раздвинув высокие стебли папоротника, увидел ее.

Она сидела на траве и, изо всех сил изогнувшись и придерживая обеими руками ступню правой ногой, оскалившись и даже слегка урча, грызла большой палец ноги. «Маленькая ведьма», — мелькнуло у него в голове, прежде чем он сообразил, что это она старается извлечь занозу из ноги.

Вдруг она подняла голову и исподлобья посмотрела на него. Ничуть не испугавшись его и даже не удивившись (до того она была раздражена этой занозой), она медленно опустила ногу, что-то сплюнула или сняла с кончика языка в щепотку и, снова подняв голову, просто сказала:

— Это ты? А я думала, коза...

— Я, — сказал он с глухой усмешкой и стал к ней подходить.

Она быстро встала. Он остановился.

— А что ты здесь искал? — спросила она, одновременно озираясь на невидимых коз и прислушиваясь, с интуитивной пронизательностью помогая ему найти какую-то простую причину своего появления в папоротниках.

— Тебя, — сказал он и, сделав еще один шаг, остановился.

Теперь она была в трех шагах от него, и если б у него хватило смелости, он смог бы схватить ее, прежде, чем она успела бы крикнуть или отпрыгнуть от него.

— Ну да, — протянула она, и глаза ее полыхнули такой непосредственной радостью, что он почувствовал легкость, ясность, как бы полное понимание, что иначе и не могло быть.

— Да, — сказал он, чувствуя, что владеет собой, — хочу жениться на тебе.

— Сейчас?! — спросила она, и ему показалось, что глаза ее в какую-то долю мгновения оглядели местность в поисках гнездовья, и вдруг добавила: — А как же козы?

Он рассмеялся, потому что это в самом деле прозвучало смешно и непонятно — то ли она имеет в виду, что нам сейчас, на виду у коз, жениться будет стыдно, то ли означало: «Как же я брошу коз, если мы сейчас женимся?»

Увидев, что он смеется, и поняв из этого, что ничего неприятного ему, во всяком случае, она не сказала, она тоже сначала улыбнулась, словно осторожно расправила крылья, а потом рассмеялась.

Смех ее звучал с такой детской непосредственностью, что вдруг ему подумалось: а знает ли она вообще, что такое выйти замуж, и не думает ли она, что муж — это человек, который всю жизнь торчит возле нее, чтобы сбивать для нее грецкие орехи?

А она стояла перед ним, глядя на него своими золотистыми глазами, иногда скашивая их в сторону шорохов в папоротнике, и углы губ ее слегка вздрагивали, и лицо как всегда дышало, и пульсировало стебелек шеи, а правая ступня осторожно ерзала по земле, и он понял, что это она потирает о землю большой палец ноги, проверяет, остался кончик занозы или нет.

Солнце уже довольно сильно припекало, и от папоротниковых зарослей поднимался тот особый запах разогретого папоротника, грустный дух сотворенья земли, дух неуверенности и легкого раскаянья.

(В этот еще свежий зной, в этот тихий однообразный шелест папоротников словно так и видишь Творца, который, сотворив эту Землю с ее упрощенной растительностью и таким же упрощенным и потому, в конце концов, ошибочным представлением о конечной судьбе ее будущих обитателей, — так и видишь Творца, который пробирается по таким же папоротникам вон к тому зеленому холму, с которого он, надо полагать, надеется спланировать в мировое пространство.

Но есть что-то странное в походке Творца, да и к холму этому он почему-то не прямо срезает, а как-то так по касательной двигается: то ли к холму, то ли мимо проходит...

А-а, доходит до нас, это он пытается обмануть назревающую за его спиной догадку о его бегстве, боится, что вот-вот за его спиной прорвется вопль оставленного мира, недоработанного замысла: «Как?! И это всё?!» «Да нет, я еще пока не ухожу, — как бы говорит на этот случай его походка, — я еще внесу немало усовершенствований...»

И вот он идет, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, и крылья его вяло волочатся за его спиной. Кстати, рассеянная улыбка неудачника призвана именно рассеять у окружающих впечатление о его неудачах. Она, эта улыбка, говорит: «А стоит ли так пристально присматриваться к моим неудачам? Давайте рассеем их на протяжении

всей моей жизни, если хотите, даже внесем их на карту моей жизни в виде цепочки островов в строгом соответствии с общепринятыми масштабами».

И вот на эту рассеянную улыбку неудачника, как бы говорящую: «А стоит ли?..» — мы, то есть сослуживцы, друзья, соседи, прямо ему отвечаем: да, стоит. Не такие мы дураки, чтобы дать неудачнику при помощи рассеянной улыбки смазать свою неудачу, свести ее на нет, растворить ее, как говорится, в море коллегиальности. Потому что неудача близкого или далекого (лучше все-таки близкого) — это неисчерпаемый источник нашего оптимизма, и мы, как говорится, никогда не отрицали материальную заинтересованность в неудачниках.

Даже в самом крайнем случае, если ты полнейший рохля, слюняк, разиня и никак не можешь использовать неудачу близкого, и то ты можешь подойти к нему и, покачивая головой, сказать: «А я тебе что говорил?»

..Но все это детали далекого будущего, а пока что Творец наш идет себе, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, крылья его вяло волочатся за спиной, словно поглаживая кучерявые вершины папоротниковых кустов, которые, сбросив с себя эти вяло проволочившиеся крылья, каждый раз сердито распрямляются. И теперь в его замедленной уклончивости мы замечаем не только желание скрыть свое дезертирство (первое в мире), но отчасти в его походке сквозит и трогательная человеческая надежда: а вдруг еще что-нибудь успеет, придумает, покамест добредет до своего холма.

Но ничего не придумывается, да и не может придуматься, потому что дело сделано: Земля заверчена и каждый миг ее существования бесконечно осложнил бы его расчеты, потому что каждый миг порождает новое соотношение вещей и каждая конечная картина никак не будет конечной картиной, потому что даже мгновение, которое уйдет на ее осознание, будет достаточно, чтобы последние сведения стали предпоследними... Ведь не скажешь жизни, истории или еще чему-то там, что мчится, омывая нас и смывая с нас все — надежды, мысли, а потом и самую плоть до самого скелета... Ведь не скажешь всему этому: «Стой! Куда прешь?! Земля закрыта на переучет».

Вот почему он уходит к своему холму такой неуверенной, такой интеллигентной походкой, и во всей его фигуре печать самых худших предчувствий, стыдливо сбалансированная русской надеждой: авось как-нибудь обойдется...)

...Солнце и в самом деле довольно сильно припекало, и от зарослей поднимался тот особый запах разогретого папоротника, грустный дух сотворенья земли.

Крепкие стебли, красноватые у подножья, поднимались над землей, устланной сухими останками прошлогоднего поколения папоротников, сквозь которые просачивалась изумрудная зелень травы и совсем юные толстые розовые безлиственные стебельки с туго закрученными вершинами.

Один из них, нечаянно сломанный ее ногой, торчал возле нее, и из мясистого стебля сочилась густая жидкость, не то кровь, не то сок, словно из тех далеких времен, когда еще не определилась разница между кровью теплокровных и соком растений, между жаждой души и жаждой тела.

Он снова почувствовал сковывающую сознание страсть и сделал шаг, а она не только не отодвинулась, не испугалась, а сама протянула руку и вдруг погладила, вернее тронула, его глаз шершавой ладонью. В ее прикосновении было больше трезвого любопытства ребенка, чем робкой нежности девушки. Он обнял одной рукой ее твердую ребячью спину, горячую от солнца.

— И чего ты во мне нашел, я худая,— не то предупредила она, не то сама удивилась той силе очарования, которая была заложена в ней и которая пробивалась, несмотря на худобу и юность.

«Если б я знал»,— подумал он, и потянул ее к себе, и сразу почувствовал дымно-молочный запах ее тела, ее руки, легшие ему на плечи и обжигающие их сквозь рубашку, ее близкое лицо, дышащее свежим зноем, и нестерпимое любопытство ее глаз. И уже готовый на все, он все еще не решался ее поцеловать, словно свет сознания еще слишком озарял детскость и чистоту ее лица, тогда как тело его все теснее и теснее прижималось к ней, словно поток страсти прикрыл их до горла и уже было не стыдно за то, что делается внутри этого потока, как бы мчащегося мимо сознания.

— Тсс! — вдруг просвистела она, и руки ее быстро сползли с его плеч и кулаками уперлись ему в грудь.

— Что? — спросил он, ничего не понимая и глядя на ее внезапно удалившееся лицо.

— Кто-то идет,— шепнула она и кивнула через плечо.

Он оглянулся. Сквозь ветки папоротника на расстоянии тридцати шагов от них виднелась каменистая вершина холма, через который проходила тропинка. Он оглядел пустынную вершину холма, покрытую редкими кустами ежевики и светящуюся печальными белыми камнями, похожими на черепа каких-то доисторических животных, и подумал, что она нарочно это все разыграла, чтобы отвлечь его, но в это мгновение на вершине холма появилась чуть сутулая фигура ее чахоточного брата.

Хорошо заметный отсюда, он подымался на вершину, заложив руки за спину, каким-то тихим, безразличным шагом, какой-то пустотелой походкой, равнодушный ко всему на свете и отдаленный от всех выражением горькой обиды, застывшей на его худом лице и сутулой, зябнущей даже в эту жару фигуре.

— Он же не видит нас,— шепнул Баграт и, взглянув на ее лицо, поразился выражению грусти и удаленности его.

— Неужели и он умрет,— прошептала она и как-то потянулась вслед за исчезнувшим на той стороне холма братом.

Баграт почувствовал укол ревности.

— Все умрем,— сказал он и ощутил, что слова его упали в пустоту.

Она все еще из-за его плеча смотрела на вершину холма, за которым исчез ее брат, и покачала головой. Он вдруг почувствовал себя нашкодившим ребенком, которому открыли жестокий смысл его шутки. Она подняла глаза и посмотрела на него с грустным удивлением, словно спрашивая: «Неужели можно быть счастливыми, если рядом такое?»

Он ничего не ответил на ее взгляд, он просто растерялся. Он почувствовал, что за нею стоит какая-то сила, и растерялся оттого, что не мог себе объяснить, откуда взялась эта сила в этой девочке.

— Знаешь,— сказала она ему, перестав прислушиваться и опуская голову,— лучше я окончу школу и тогда, если ты не передумаешь, возьмешь меня... А то дедушке и так...

— Что и так? — спросил он.

— Ну, сам знаешь, ему будет неприятно,— сказала она, как бы упрашивая его не уточнять, что именно и почему будет дедушке неприятно.

Он был уверен, что дедушка никогда не согласится отдать свою любимую внучку за него, полукровку.

— А что отец? — спросил он, удивляясь, что она говорит только

о бабушке, и чувствуя, что лучше было бы в будущем иметь дело с ее отцом, чем с дедом, упрямым, как его мул.

— Ну, папа,— улыбнулась она улыбкой старшего, вспоминающего о младшем,— он-то переживет...

* * *

Весной следующего года Баграт неожиданно появился в Чегеме и взялся за мешок кукурузы вспахать приусадебный участок тети Маши.

За два дня до соревнования Тали с Цицей Баграт снова появился во дворе у тети Маши. На этот раз он принес завернутую в мешковину стопку пластинок, переложенных огромными листьями тыквы. Осторожно, как яйца, вынимая их из мешковины, он одну за другой переиграл все пластинки. Это были записи русских, грузинских и абхазских песен.

Переиграв все пластинки, он снова переложил их листьями тыквы и завернул в мешковину.

— Оставил бы,— сказала тетя Маша,— небось не съедим...

— Подарю выигравшей патефон,— ответил Баграт и, осторожно взяв под мышку свой хрупкий музыкальный груз, вышел со двора.

Услышав эти слова, Талико, сидевшая тут же на шкуре тура, повалилась на спину и лежа, подхватив гитару, сыграла «Марш челюскинцев» — самую модную в ту пору мелодию в Чегеме. Неизвестно, откуда взялась эта мелодия и в самом ли деле она была посвящена челюскинцам, или это плод фантазии чегемских девушек, но так они ее называли, и Тали играла ее лучше всех.

И вот наступил решающий день. Еще с вечера наломанные холмики зеленых табачных листьев лежали в прохладе сарая, усталного по такому случаю свежим папоротником, чтобы женщинам было в этот день мягче и праздничней сидеть и работать.

Около дюжины женщин и девушек из местной бригады, почти все родственницы, а если не родственницы, то ближайшие соседки,— так вот, все они во главе с тетей Машей усердно низали табак и еще более усердно обсуждали возможности и последствия этого соревнования.

Тали была в этот день особенно хороша. Склонив лицо со старательно прикушенным язычком над длинной табачной иглой, торчавшей у нее из-под мышки, она низала с молниеносной быстротой.

Цок! цок! цок! — с хрустом надкушенного огурчика табачные листья нанизывались на иглу.

— Да не горячись ты, язык откусишь,— говорила ей время от времени тетя Маша, поглядывая на нее,— патефон наш...

— Да, тетя Маша,— отвечала ей Тали,— тебе хорошо говорить...

Заполнив иглу табачными листьями, она (на миг убрав язык), прижимала к груди и жестом лихого гармониста тремя-четырьмя рывками (шмяк! шмяк! шмяк!) сдергивала на шнур скрипящую низку и теперь снова, прижав ее к груди, со свистом пропускала сквозь нее свободную часть шнура и таким образом, доведя ее (низку) почти до конца шнура, быстрыми шлепками ладони растягивала плотно согнанные листья до необходимой прореженности, предварительно намотав кончик шнура на большой палец ноги, кстати, очаровательный и сам по себе достойный небольшой лирической поэмы.

Дядя Сандро и Кунта надевали на сушильные рамы вчерашнюю низку табака. Они брали с двух концов четырехметровый шнур, тяжело прогибающийся от сырых листьев, приподымали его, слегка встряхивали, чтобы сразу же отпали листья, которые плохо держатся, и прикрепляли его к раме, стоящей на деревянных путях. Напол-

ненную раму откатывали по этим путям, пока она не упиралась в предыдущие рамы, на которых сушился табак.

В полдень, когда женщины, поскрипывая одеждой, пронизанной черным лоснящимся табачным маслом «зефиром» (так его называли чегемцы), пошли к роднику умываться и перекусывать, Тали осталась в сарае. Не прерывая работы, она выпила традиционную окрошку из кислого молока с мамалыгой, которую принес ей из дому дядя Сандро.

— Не убивайся, дочка,— на всякий случай не слишком громко говорил ей дядя Сандро,— твой дед и без патефона неплохо жил.

— Все же обидно будет,— отвечала Тали, доскребивая миску и облизывая костяную ложку,— ведь я быстрее всех умею низать...

— Сама знаешь, чья дочь,— согласился дядя Сандро с неожиданной гордостью, хотя за всю свою жизнь не нанизал ни одной табачной иглы.

Дядя Сандро подсчитал ее работу. Оказалось, что Тали до полудня нанизала шестнадцать шнуров табака — примерно дневная выработка неленивой крепкой женщины.

Вырвав клочок папоротниковых листьев, Тали обтерла руки и, достав гитару (как винтовка у хорошего партизана, гитара у нее всегда была с собой), улеглась на спину, чтобы дать немного отдохнуть затекшей спине, и сыграла «Марш челюскинцев».

Десятилетний мальчик, приемный сын Кунты, целый день толкался в сарае и не сводил глаз с Тали. Сейчас, когда она стала играть «Марш челюскинцев», он почувствовал, что глаза его предательски щиплет от сладостной грусти этой мелодии. Мальчик боялся, что слезы его вызовут насмешку у дяди Сандро или тем более у Тали, и не знал как быть — то ли сбежать, то ли, пересилив слезы, дослушать «Марш челюскинцев». Чтобы дать стечь назад навернувшимся слезам, он поднял голову и сделал вид, что чем-то там заинтересовался. Тут его окликнул дядя Сандро и велел сходить в табачный сарай, где работала Цица, и узнать, сколько шнуров она нанизала с утра. На тот случай, если они это будут скрывать, он велел ему на глазок посмотреть, насколько велик возле нее холмик нанизанного табака.

— Вот видишь,— показал он ему на табак, нанизанный Тали,— здесь шестнадцать шнуров, а вот здесь около десяти, а вот здесь не больше восьми...

— Хорошо,— сказал мальчик и выбежал из сарая.

— Постой! — окликнул его дядя Сандро.— Если спросят, кто послал, скажи: «Никто! Гулял и зашел».

— Хорошо! — сказал мальчик и снова побежал.

— Постой! — опять остановил его дядя Сандро.— А если спросят про Тали, знаешь, как отвечать?

— Шиннадцать,— сказал мальчик.

— Дурень,— поправил его дядя Сандро,— не надо ничего говорить. Скажи: «Я не знаю, я там не был». Понятно?

— Да,— сказал мальчик и помчался стрелой, боясь быть снова остановленным и окончательно запутанным новыми подробностями этой интересной, но, оказывается, слишком сложной игры.

— Лучше бы сам пошел,— сказала Тали, откладывая гитару и снова берясь за иглу.

— Что ты,— отвечал ей дядя Сандро,— как только я отсюда уйду, они шпиона запустят!

Вскоре вернулись все женщины и, рассевшись по своим местам, принялись за работу. Примерно через час в сарай вошел мальчик и сказал, что у Цицы девятнадцать шнуров.

— Не может быть! — в один голос воскликнули все женщины, вскидывая головы и оцетинивая иглы.

— Постой! — гневно воскликнул дядя Сандро, — на вид как? Горка возле нее большая?

— Горка так себе, ничего, — сказал мальчик, растерявшийся от общего возмущения.

— Ложь! Ложь! Ложь! — воскликнула Тали. — Ей помогают!!!

С этими словами она швырнула свою иглу и, громко рыдая, пошла в сторону дома, перемежая рыдания проклятиями в адрес своей соперницы и всего охотничьего клана.

— Чтоб я вынула твое лживое сердце из груди, — рыдала Тали, — чтоб я его поджарила на табачной игле, как на вертеле...

Женщины из сарая замолкли, прислушиваясь и удивляясь свежим подробностям ее проклятий, чтобы запомнить их и при случае применить к делу. Их прислушивающиеся лица с забавной откровенностью выражали раздвоенность их внимания, то есть на лицах было написано общее выражение жалости к обманутой Тали и частное выражение любопытства к сюжету ее проклятий, причем частное любопытство ничуть не подозревало, что оно в данном случае неприлично или противоречит общей жалости.

— ...И чтоб я, — между тем продолжала Тали, закончив могучий аккорд рыдания, — скормила его нашим собакам! И чтоб они, — тут она поднялась на еще одну совершенно неожиданную ноту, — чавкая! чавкая! поедали его!

Тут сидевшие в сарае лучшие умелицы народных заклятий переглянулись. Неожиданный глагол, употребленный Тали, с плакатной смелостью вырывал крупным планом морду собаки, мстительно чавкающую лживым сердцем соперницы.

— Неплохо, — сказала одна из них и посмотрела на другую.

— Что и говорить — припечатала, — согласилась другая.

— Что вы тут расселись, как овцы! — заорал дядя Сандро на женщин. — А ну верните ее сюда! Не дай бог еще услышат там...

Тали вернули в сарай и едва усадили, как оттуда раздался голос.

— Кто это там у вас плакал? — спрашивал голос женщины из табачного сарая.

— Что я говорил?! — сказал дядя Сандро и, высунувшись из сарая, крикнул своим зычным голосом: — Это Лена плакала, Лена! Чего вам?!

С этими словами он быстро поднял бинокль и направил его на сарай соседней бригады, словно хотел убедиться, какое впечатление произвели его слова на кричавшую женщину.

— Небось Макрина? — спросили из сарая.

— Да, Макрина, — сказал дядя Сандро, — тише, она опять кричит.

Не отрывая бинокля от глаз, словно это помогало ему слушать (а это и в самом деле помогало ему слушать), он прислушался.

— А нам слышалось... голос Тали, Тали! — донесся издали голос Макрины.

— Ха! Так и знал! — усмехнулся дядя Сандро. — Тали плакать не с чего! Не с чего! — закричал он, глядя в заплаканные глаза своей дочери. — Тали поет и смеется!

Дядя Сандро снова посмотрел в бинокль и увидел, как женщина обернулась в сторону сарая, видимо передавая остальным его слова. Потом в бинокле появилось лицо Макрины, и по его ясному озорному выражению дядя Сандро понял, что она хочет сказать что-то неприятное. — «Слышали, как она поет, слышали!» — уловил дядя Сандро.

— Делом надо заниматься! Делом! Э-у-у-уй! — закричал дядя

Сандро и вошел в сарай, показывая, что не хочет тратить время на пустые разговоры.

— Я всегда могу узнать, что она нанизала, а что ей подсунули,— сказала Тали, не отрываясь от работы.

В сущности, Тали была права, у каждой низальщицы свой почерк: одна прокалывает стебелек табачного листа повыше, другая пониже, третья и так и так, четвертая, прокалывая, надламывает его и так далее. Но занятие это, конечно, хлопотное и неприятное. Лучшее уж обойтись без него.

Дядя Сандро решил снова послать мальчишку в сарай той бригады, но для маскировки он уговорил Кунту через некоторое время якобы в поисках мальчика заглянуть туда же.

Мальчик отправился в путь, а через некоторое время за ним заковылял и Кунта. Когда дорога стала подниматься на холм, Кунта по старой привычке срезал ее, чем сильно обеспокоил дядю Сандро.

— Вот козлиная голова,— бормотал он, следя за ним в бинокль,— смотрите, если он раньше мальчика не явится туда...

Не дожидаясь вестей оттуда, дядя Сандро вошел в сарай. Теперь он заметил, что холмик ненанизанного табака возле его дочки сильно уменьшился, а до вечера было еще далековато. С молчаливого согласия всех других женщин дядя Сандро стал перекладывать ей охапки табачных листьев, наломанных другими женщинами. При этом он выбирал самые крупные листья, потому что чем крупнее лист, тем его легче нанизывать и вдобавок он сам быстрее заполняет иглу. Это уже было нарушением правил соревнования, но сравнительно небольшим. Низала-то все-таки она.

Дядя Сандро время от времени выходил из сарая и смотрел в бинокль. Наконец появился Кунта.

— Ну что? — стали спрашивать у него нетерпеливые женщины. Вид Кунты дяде Сандро не понравился.

— Мрачный, как его горб,— сказал дядя Сандро, опуская бинокль.

Мрачность Кунты оказалась вполне оправданной. Придя в сарай, он объявил, что у Цици нанизано тридцать два шнура.

— Ах так! — воскликнула тетя Маша и, сдернув на свой заполненный шнур последнюю иглу, взяла его за оба конца и не вставая, перебросила тяжелую зеленую гирлянду сидящей рядом Тали.

— И мы! И мы! — закричали все остальные женщины и, повскакав со своих мест, стали перетаскивать и перебрасывать в ее кучу нанизанный ими табак. У Тали за одно мгновение прибавилось четырнадцать шнуров табака, и она снова вышла вперед.

Тали рассмеялась сквозь слезы и, в неожиданно бравурном темпе сыграв «Марш челюскинцев», как бы окропила женщин взаимно освежающей бодростью.

Часа через два дядя Сандро заметил сквозь бинокль, что в табачный сарай соперников вошел председатель сельсовета Махты.

— Ну, при нем-то не будут подкладывать,— сказал он, опуская бинокль.

— Что и говорить, при нем не посмеют,— согласились женщины, и уже до вечера каждая работала только на себя.

Дядя Сандро послеживал за табачным сараем соперников и верхнечегемской дорогой, чтобы вовремя заметить председателя сельсовета, если он покинет соседнюю бригаду до конца рабочего дня.

Уже в сумерках Тали донизывала шестьдесят шестой шнур табака. По строгим условиям договора во время соревнования низать табак разрешалось на протяжении любого времени суток без использования искусственного освещения.

Донизав шестьдесят шестой шнур, Тали схватила свою гитару и побежала домой. Ей еще надо было вымыться, переодеться и явиться в праздничном наряде для получения заслуженной награды. Она была спокойна за свой приз, по предварительным данным разведки было ясно, что Цица, несмотря на помощь родственников, никак не могла подняться выше пятидесяти шнуров.

Подобно тому как люди, чтобы разобраться в самых запутанных явлениях жизни, вдруг обращаются к мнению детей или заведомых глупцов, как бы чувствуя, что в данном случае к истине нельзя подойти логическим путем, а можно выхватить ее из тьмы мгновенным взглядом случайного наблюдателя, так и дядя Сандро, зажигая фонарь, чтобы приступить к пересчитыванию и перекладыванию в один ряд всего нанизанного за день табака, спросил у помогавшего ему Кунты:

— Что ты думаешь про это состязание?

Кунта приподнял второй конец шнура, встряхнул его и, когда они, вытянув, уложили его отдельно, сказал, выпрямляясь, насколько позволяя ему выпрямиться горб:

— Я думаю, состязание — вроде кровной мести... Выигрывает тот, у кого больше родственников.

Не успел дядя Сандро насладиться патриархальной точностью его определения, как возле сарая раздался бодрый голос Махты:

— Искусственное освещение запрещается!

Дядя Сандро почувствовал в его голосе знакомые интонации легкого опьянения мечтой, которые бывают у истинного алкоголика в предчувствии близкой и точно гарантированной выпивки.

Было решено (еще днем) устроить у тети Маши дружеский ужин человек на семьдесят — восемьдесят, в узком кругу лучших людей обеих бригад, где Тали будет вручен патефон вместе с комплектом пластинок. По этому поводу во дворе у тети Маши уже расставляли столы, резали кур и собирались лампы из ближайших домов.

— Искусственное освещение проходит как грубейшее нарушение условий! — Продолжая восторженно витийствовать, Махты вошел в сарай и поздоровался за руку не только с дядей Сандро, но и с Кунтой.

— Смотри, дорогой, — отвечал ему дядя Сандро, приподымая фонарь и показывая, что в табачном сарае остались несметные сокровища человеческих трудов, но самих людей, нарушающих условия соревнования, нет.

— Знаю, — сказал Махты и, оглядев темные сугробы неубранного табака, двинулся к выходу. — Молодцы наши девочки, молодцы!

И по его восторженному голосу дядя Сандро понял, что Махты хотел сказать; а хотел он сказать, что за таких девочек сколько ни прозноси здравец, все мало будет. И дядя Сандро заразился его настроением.

— Давай-ка побыстрей, — сказал он Кунте и ухватился за конец шнура.

И тут из дома раздался крик его жены. Дядя Сандро бросил шнур и выпрямился.

— Э-гей, ты! — кричала она своему мужу сквозь рыдания. — Тали там нет?

— Какого черта, — крикнул дядя Сандро в ответ, — она же с тобой мыться ушла?!

— Ее нигде нет! — закричала в отчаянье тетя Катя, и голос ее захлебнулся в надгробных рыданиях.

— Как нет?! — проговорил дядя Сандро, и фонарь дрогнул в его руке. — А ну держи!

Когда он прибежал домой, тетя Катя сидела на крыльце, бессильно опустив руки на колени и горестно покачивая головой.

Вот что она ему рассказала и впоследствии много раз пересказывала, и с годами воспоминания ее не только не потускнели, а, наоборот, обрастали все новыми и новыми свежими подробностями, которые она в тот час не могла вспомнить или даже считала неуместным вспоминать.

Оказывается, после окончания работы, прихватив свежую одежду, девочка вместе с матерью пошла к роднику. Там они развели огонь, нагрели воду, и девочка, сбросив свое прозефиренное платье, как обычно, вымылась в зеленом шалашике из ольховых веток. Здесь обычно мылись все женщины.

Ничего особенного тетя Катя за ней не заметила, только обратила внимание на то, что Тали очень торопится и что на левой ноге ее повыше колена отпечатался след папоротниковой ветки. Сперва она не придала ему значения, ну, подумаешь, отсидела ногу. Хотя со свойственной ей естественной непоследовательностью она тут же добавляла, что этот след от папоротника на нежной ноге ее дочки ей сразу же не понравился и она нарочно терла его мочалкой, но он никак не отмылся.

— Да, видно, то, что отпечатано судьбой,—говорила тетя Катя, вздохнув,—никакой мочалкой не ототрешь, да я-то не знала об этом...

Потом, по словам матери, девочка быстро обтерлась полотенцем, и тут-то несчастная мать (по словам той же несчастной матери) снова обратила внимание на то, что след от папоротниковой ветки все еще держится на невинной ноге ее дочки, но, видно, ничего уже нельзя было сделать, судьба набирала скорость, как машина, выехавшая из города.

— Хотя кто его знает,—добавляла она, задумчиво вздыхая,—может, если б отпарить ногу, и обошлось бы...

Одним словом, что говорить... Тали надела на себя крепдешинное платье (почти неношеное), красную шерстяную кофту и красные туфли, привезенные из города беднягой Хабугом (вовсе не надеванные ни разу), и, даже не высушив головы, кинулась к Маше.

— Куда ты простоволосая, там чужие! — крикнула тетя Катя ей вслед.

Но девочка уже перемахнула через перелаз и исчезла между высокими стеблями кукурузы.

— Гребенку забыла! — крикнула Тали сквозь шелест кукурузы, и больше она ее голоса не слышала.

Тут тетя Катя обернулась к костру и увидела, что сброшенная слишком близко от огня рабочая одежда ее дочки уже тихо тлеет и дымится. Только она подбежала к ней, как, пыхнув и обдав ее смрадным дыханием старого курильщика, платье превратилось в пепел.

Тетя Катя никак не могла понять, что это все означает, хотя уже тогда чувствовала какую-то тревогу. Она загасила огонь, набрала в кувшин воды и крикнула наверх, чтобы Тали возвращалась. Сверху раздался голос Маши, и она сказала, что Тали к ним еще не заходила. Тут тетя Катя вовсе перепугалась, но все-таки подумала, что девочка подбежала ко двору тети Маши и, увидев, что там много народу, в самом деле постыдилась своей мокрой нечесаной головы и прямо кукурузой, чтобы срезать дорогу, побежала в сторону дома. Что было делать? Ее несчастная мать с тяжелым кувшином на плече, с нижним бельем девочки, но без ее рабочего платья, которое, как она уже говорила, в пепел обратилось, ни разу не останавливаясь, поднялась до дому.

— Тали! — крикнула она, входя во двор, но никто ей не ответил.

Ноги ее ослабли, но она все-таки дотащила кувшин до кухни и бро-

силась в комнату девочки. Смотрит — гитара висит над постелью. Наклонилась — чемодан под кроватью.

«Не могла же, — думала тетя Катя, — девочка сбежать с кем-нибудь, не прихватив смены белья?!» И все-таки не по себе ей было, все не шел у нее из головы этот проклятуший след от папоротниковой ветки на нежной ноге ее девочки повыше колена.

Она вышла на веранду и, увидев, что в табачном сарае мелькает свет, решила: а вдруг девочку для чего-то позвали туда. Она крикнула мужу и, услышав его ответ, совсем упала духом.

— Дура ты! — прикрикнул на нее дядя Сандро. — Там сейчас полно народу!!! Наверное, забились куда-нибудь и обезьянничает с девочками перед зеркалом!

С этими словами он быстро направился к дому тети Маши. Там уже почти все были в сборе, столы были расставлены, и женщины то и дело выносили из кухни закуски и ставили их на столы. Дядя Сандро осмотрелся, рефлекторно оценил закуски и определил центр пиршества, то есть место тамады, то есть свое место, и, вздохнув, поздравил тетю Машу.

Тетя Маша вышла из кухни, румяная от огня и рассеянная от сосредоточенности на предстоящем веселье. Дядя Сандро рассказал ей о том, что Тали где-то исчезла.

— Да здесь где-нибудь, — ответила тетя Маша, оглядывая столы и стараясь вспомнить, чего где не хватает.

— Фонарь мне! — крикнул дядя Сандро, и один из молодых людей, прислушивавшийся к их разговору, побежал на кухню и вынес фонарь.

Через мгновение все знали о том, что Тали исчезла.

Полдюжины молодых людей во главе с дядей Сандро спустились к перелазу. Оттуда, подымаясь вверх по утоптанной тропе, они быстро нашли место, где Тали свернула с тропы и, глубоко вдавливая ноги в мягкую пахоту, пошла по полю, местами разрывая плети фасоли и огурцов.

— Фить! — присвистнул один из парней и, наклонившись, поднял огрызок огурца с хвостиком.

— Она! — воскликнули все в один голос, потому что у огрызка был очень свежий вид.

— Или ее украли, или ничего не случилось! — воскликнул один из молодых чегемцев, прозванный Скороспелкой за быстроту и легкомыслие умственных соображений. — Раз она сорвала огурец, значит, она не знала, что ее украдут, — пояснил он свое предположение, показавшееся дяде Сандро не очень убедительным.

Тут некоторые согласились с этим предположением, что девушка, решившая бежать со своим возлюбленным, не станет по дороге прихватывать огурчики, но некоторые, остановившись, стали спорить в том смысле, что все бывает на свете. Тем более она в этот день сильно намаялась и, может быть, очень хотела пить.

Дядя Сандро двинулся дальше, не выпуская из света фонаря следы своей дочки. Через две минуты эти следы привели к заднему крыльцу дома тети Маши. Тут дядя Сандро страшно повеселел, решив, что это одна из ребячьих затей его дочки.

— Она где-то здесь прячется! — воскликнул он и, передав фонарь своему наиболее воинственному племяннику Чунке, вбежал в дом.

Перевернули вверх дном все комнаты, даже влезли на чердак, но ее нигде не было. Желание спокойно посидеть за праздничным столом, где именно его выбрали бы тамадой, было у дяди Сандро настолько велико, что это желание порождало все новые и новые надежды, что с дочкой ничего не случилось и сейчас все выяснится и все друж-

ной гурьбой направляются к столам. Дядя Сандро вспомнил, что под домом стоит колода для выжимки винограда. «Наверное, она туда влезла», — подумал он и, спрыгнув с крыльца, пригнувшись полез под дом. Подойдя к колоде, он сдернул с нее старую коровью шкуру, грозно сказав при этом:

— Вылезай, вертихвостка!

В тот же миг из колоды шарахнулась собака и, обдав его какой-то трухой, с воем выбежала в кукурузник.

— Чтоб тебя!.. — выругался дядя Сандро и уныло поднялся в дом, где не только не нашли Тали, а, наоборот, обнаружили, что исчез патефон, хотя пластинки остались на месте, если не считать, что в суматохе одна из них сломалась.

Тут всем стало ясно, что дело плохо, и стали искать ее обратные следы и, конечно, их быстро обнаружили. Прямо с патефоном в руке она спрыгнула с крыльца и приземлилась в трех метрах от него. Дальше следы ее (теперь более глубокие из-за патефона, как радостно пояснили чегемские детективы) вели к самому глухому углу приусадебного участка.

Тут страшный шум поднялся во дворе тети Маши. Женщины выли, мужчины кричали, чтобы их отпустили и они тут же уничтожат весь род этого паршивого полукровка. Как только кто-нибудь начинал кричать, чтобы его отпустили, на нем мгновенно повисали три-четыре человека, чтобы всем ясно было: не отпускают парня, а то наделал бы он делов. Интересно, что пока успокаивали и гасили этот очаг гнева, неожиданно загорался один из гасивших, словно в него влетела искра из этого очага, и теперь все кидались успокаивать его, а погашенный очаг как-то стыдливо смолкал и отходил в сторонку, словно говоря: «Ну что ж, пусть более разгневанный и, значит, более достойный отомстит». Это не мешало ему после некоторой передышки иногда снова загораться и бросаться мстить оскорбителю, и, когда его схватывали успокаивающие и как бы говорили ему своими удивленными взорами: «Ведь мы тебя уже успокоили», он, продолжая неистовствовать и кричать, отвечал им глазами: мол, я не виноват, оказывается, там еще оставался огонь, оказывается, вы меня не до конца загасили.

Особенно неистовствовал Чунка. Он порвал на себе рубашку и дал в воздух два выстрела из своего кольта, чем перебудил всех окрестных шакалов и они уже до утра не переставали выть и перелаиваться с чегемскими собаками.

Услышав этот шум, тетя Катя все поняла и с громкими рыданиями, время от времени зовя свою дочь, стала подходить к дому тети Маши.

— Та-ли! — кричала она, как бы выплескивая из рыданий имя дочери.

— А-а-а,— рыданьем отвечали женщины со двора тети Маши, как бы говоря ей: и мы скорбим с тобой, и мы, как видишь, не сидим сложа руки.

Словом, все шло как надо. В таких случаях младшие представители рода, сверстники украденной девушки, должны проявлять неслыханное бешенство, тогда как старшие представители рода должны скорбеть и стараться ввести это бешенство в разумные рамки кровной мести.

К большому горю, как это часто бывает, примешались досадные мелочи, в данном случае смешные претензии охотничьего клана. Представители его по мере накала драмы умыкания стали все громче, все увереннее роптать на то, что Талико, сбежав замуж за парня из другого села, не имела права забирать с собой патефон.

— Но ведь она его выиграла, — удивлялись родственники Тали, — ведь она была нашей колхозницей?

— Нет,— отвечали упрямы из охотничьего клана,— побег явно был задуман раньше соревнования, значит, мысленно она уже была там...

— Да что там спорить,— притворно вздыхали родственники девочки,— патефон-то теперь не вернешь, но вот пластинки, те, что еще не разбили, можете взять.

Такое ехидство представителям охотничьего клана показалось нестерпимым, и они обратились за помощью к самому Тенделу: все-таки Цица была его прямой внучкой. Но Тендел неожиданно отмахнулся от них: возможность поохотиться за живым умыкателем девушки вызвала в нем прилив такого бескорыстного азарта, что он остался совершенно холоден к возможности получения патефона. Он даже как бы недопонял юридическую зацепку, найденную представителями охотничьего клана.

— Гори огнем ваш патефон! — даже прикрикнул он на них.— Вы что, не видите, что творится?!

Наконец преследователи во главе с Тенделом с криками, со стрельбой из пистолетов выхлестнули со двора тети Маши, а председатель сельсовета напутственно кричал им с веранды:

— Вперед, ребята! Только мою стахановку не пристрелите!

Топча ни в чем не повинную кукурузу, преследователи добежали до плетня, через который перемахнула беглянка. Сразу же за плетнем протекала речушка, один из маленьких притоков Кодора. Все перешли речку и тут на глинистом берегу обнаружили следы девичьих ног, неожиданно превращающиеся в лошадиные копыта.

— Здесь он ее и втащил к себе в седло,— сказал Тендел, а молодые представители рода заскрежетали зубами в знак ненависти к умыкателю.

Впрочем, судя по следам, здесь было две лошади, так что втаскивать девочку к себе в седло Баграту не было никакой необходимости. Стали изучать, куда ведут следы, и обнаружили, что лошади, некоторое время потоптавшись на берегу, вошли в воду.

— Чтобы скрыть следы! — воскликнул Тендел и разделил преследователей на две группы, чтобы одна шла вверх по течению, а другая вниз.

Сам он возглавил группу, которая шла вниз по течению, в наиболее вероятном направлении беглецов. Не удивительно, что именно с ним оказался и Чунка, не перестававший напоминать о том, как он всегда ненавидел Баграта, и дядя Сандро, который с удовольствием пошел бы вверх по течению, но боялся, как бы эти чересчур разгоряченные юноши не наделали бед.

Преследователи затихли, удаляясь в погоне, как бы углубляясь в смысл своего предназначения, а оставшиеся во дворе бессмысленно топтались на месте на виду у накрытых столов, озаренных уже не только лампами, но и полной луной, появившейся из-за холма. И тут слово сказал председатель сельсовета.

— Друзья мои,— сказал он,— ушедшие ушли, а мы давайте займем места за этими столами. Если они вернут нашу девочку в целости, пиршество будет в самый раз. Если не вернут, будем считать этот стол поминальным.

С этими словами он слез с веранды и первым занял место под самой большой лампой у самого ствола лавровишни. За ним устремились остальные мужчины, как бы радуясь, что и им наконец дали возможность углубиться в свой смысл, и одновременно удивляясь приятной мудрости председателя сельсовета.

Все быстро расселись за столами, и только ближайшие родственники ели и пили на кухне, потому что в таких случаях чегемские обы-

чай хотя прямо и не запрещают застолья, но считают, что вроде бы не с чего ближайшим родственникам особенно распускать пояса.

Только бедная тетя Катя молча стояла у плетня и смотрела в ту сторону, куда ушли преследователи. Она тихо плакала, время от времени переходя на мотивы похоронного песнопения. Было велено не трогать ее, но из уважения к семье и роду издали следить, чтобы она не наложила на себя руки. Конечно, никто не верил, что она так прямо и покончит жизнь самоубийством, но это считалось наиболее тактичным выражением сочувствия горю матери. Этим обычаем чегемцы как бы говорили тете Кате: «У тебя такое большое горе, что не удивительно, если бы ты попыталась покончить жизнь самоубийством. Но ты этого не делаешь только потому, что знаешь, что мы за тобой следим и не позволим тебе наложить на себя руки».

Между тем настроение застольцев быстро улучшалось. Ночные бабочки кружились не только вокруг ламп, но и вокруг светящихся розовой «изабеллой» стаканов, путая метафизический свет вина с прямым источником света.

Иногда сидящие за столом вдруг спохватывались и, требуя тишины, прислушивались к ночным шумам, как бы улавливая какие-то таинственные подробности погони: то ли крик, то ли ржанье лошади, то ли выстрелы. Через мгновение все убеждались, что все это им померещилось, зато получалось, что сидящие за столами не просто сидят и пьют, но одновременно и тревожно бдят, духовно соучаствуют в погоне.

А тосты делались все длинней и длинней, так что пьющим приходилось время от времени прерываться, чтобы пальцем вытащить из стакана и стряхнуть вконец осатанелых мотыльков.

Особенно они не давали покоя председателю сельсовета Махты, потому что он сидел возле самой большой лампы и дольше всех говорил, подняв стакан.

— И чего это они во мне нашли,— бормотал он, отмахиваясь от бабочек и то и дело вытаскивая их из стаканов.

— Свет ты наш,— не то объяснила тетя Маша причину обилия мотыльков вблизи председателя сельсовета, не то пошутила.

Во всяком случае, она велела одной из своих богатырских дочерей, а именно Маяне, стоять с домотканым полотенцем позади Махты и отмахивать от него бабочек. Простодушная Маяна некоторое время хорошо отмахивала мотыльков, но потом зазевалась и сваяла со стола вместе с бабочками лампу, жареную индюшку, несколько бутылок с вином и тарелку с хачапури.

— Уж лучше бабочки,— сказал председатель сельсовета, застыв в оскорбленной неподвижности, пока вокруг него собирали разбросанные закуски и тарелки. Юную великаншу пришлось прогнать домой, и она ушла ворча:

— А что я такого сделала?

Глядя на ее могучую спину и высокую шею древнегреческой статуи, гости и в самом деле понимали, что она могла и поосновательней перетряхнуть эти сдвинутые столы.

— Друзья мои,— сказал Махты, после того как на его участке стола кое-как восстановили порядок и застолье приняло характер совершенно узаконенного оптимизма...— Друзья мои,— повторил он, чтобы несколько сбавить гул этого оптимизма,— независимо от исхода мужественной погони наших людей (тут раздался рыдания тети Кати, все еще стоявшей у плетня), рекорд нашей прекрасной девочки никто не умыкнет, он всегда с нами!

После этого тоста ровное и сильное течение веселья никто не прерывал. Кстати, кто-то, взглянув на высокую зеркальную луну, вдруг

вспомнил, что именно с этого слова девочка начала свое членораздельное общение с людьми, и вот теперь в такое же полнолуние она выскочила замуж, из чего следует, что провидение уже тогда намекнуло на то, что сбывлось через пятнадцать лет.

Но тут кто-то заспорил, что, может быть, все это и не совсем верно, потому что у нее уже была попытка сбежать с сыном мельника, так что, может, ее и теперь вернут, а стало быть, луна здесь ни при чем.

Воспоминание о сыне мельника вызвало к жизни другую не менее таинственную догадку, а именно — что каждый раз она бежит вместе со своей музыкой: в тот раз гитара, теперь патефон. С каким же инструментом, весело гадали гости, она сбежит в третий раз, если ее сейчас вернут?

Этот вопрос очень долго занимал застольцев, хотя по части музыкальных инструментов, надо прямо сказать, в Чегеме негусто — абхазская чамгури, греческая кеменджа у нескольких греческих семей, живущих здесь, да международная гитара. Так что не удивительно, что один из чегемцев, в конце концов, сделал смелое предположение, что в следующий раз Тали, должно быть, доберется до районного пианино, стоящего в кенгурийском Доме культуры.

Одним словом, весело коротали ночь те, что сидели за столом. И только тихо всю ночь плакала тетя Катя, стоя у плетня и глядя туда, куда ушли преследователи, молча плакала богатырская девушка Лена, прикрыв голову овечьей шкурой, чтобы не слышать застойного шума, и всю ночь стонал пастух Харлампо, потому что ночь его была полна сладострастных, но, увы, даже во сне недоступных видений.

* * *

Преследователи во главе с Тенделом шли вниз по течению реки, утешая себя мыслью, что лошади по такому каменистому руслу реки далеко уйти не смогут.

Километрах в пятнадцати от Чегема речушка эта, с неожиданной яростью низвергнувшись с порога, втекала в узкое ущелье. Так что, по мнению Тендела, здесь они должны были выехать на берег и уже дальше двигаться, оставляя на земле свои предательские следы.

Но, увы, подойдя к грохочущему водопаду, они убедились, что к берегу не ведут никакие следы. Некоторые из преследователей, особенно Чунка, все норовили сверху заглянуть в дымящуюся и грохочущую двадцатиметровую бездну, словно этот безумец мог вместе со своей юной полонянкой и патефоном спланировать туда, распластав полы своей бурки.

Возможно, Чунка — самый яростный из преследователей — заглядывал туда с тайной надеждой увидеть внизу, в водовороте бочага, кружащийся край башлыка затонувшего похитителя. Но не было никаких следов удачного или неудачного полета в бездну, и преследователи повернули обратно.

— Где-то проворонили следы! — крикнул Тендел сквозь грохот воды и, ничуть не смущаясь неудачей, наоборот, с еще большим энтузиазмом повел преследователей обратно.

В самом деле на обратном пути он нашел место, где Баграт рискнул выйти из воды и напрямик подняться по очень крутому, поросшему самшитовыми кустарниками берегу. Тут все, кроме Чунки, стали в один голос утверждать, что лошади здесь подняться не смогли бы, — до того им самим неохота было влезать на этот очень уж крутой и дикий берег. Но Тендел нашел лошадиные следы, и преследователям ничего не оставалось, как перейти речку и карабкаться за своим предводителем.

— С его окаянной силищей,— говорил Тендел, подтягиваясь и продираясь сквозь ошетиленные кусты самшита,— он их волоком мог поднять...

Между тем подыматься становилось все труднее и труднее.

Преследователи, несколько поостывшие от усталости, вскоре окончательно истратили всю свою ярость на бесплодную борьбу с неожиданно хлещущими по лицу ветками рододендрона и лавровишен, на отдираание от одежды колких ежевичных веток и плетей лиан.

— Смотрите! — неожиданно крикнул Тендел и обернулся к своим товарищам.

Он победно сжимал в ладони красный клочок от кофты Талико. Этот клочок передали дяде Сандро, чтобы он его признал, хотя и так было ясно, что это ее кофта. Дяде Сандро ничего не оставалось, как признать кофту, и он, не зная, что делать с этим странным трофеем, положил его в карман.

Через некоторое время еще несколько клочков от кофты были переданы дяде Сандро, причем каждый раз Тендел, полный охотничьего азарта, передавал ему эти куски одежды с таким победным видом, словно был уверен, что девочку можно вернуть если не целиком, то хотя бы по частям.

— Платье пошло! — крикнул Тендел и передал назад клочок материи, словно вырванный точным и сильным движением.

— Наверно, лошадь неожиданно дернулась,— гадая и дивясь лентообразной форме оборванного лоскутка, говорили преследователи.

— Если так пойдет,— пошутил кто-то осторожно,— он ее к месту как раз голенькой и довезет.

Неизвестно, до чего бы дошутились усталые преследователи, если бы идущий впереди Тендел знаками не показал, что надо остановиться и молчать. Все остановились и стали следить за старым охотником, стараясь подалеке заглянуть, но ничего, кроме каштановых деревьев, они не увидели.

А между тем сам Тендел, время от времени оборачиваясь, знаками показывал, что видит что-то очень важное, может быть даже самого похитителя, пытающегося использовать доверчивость бедной девочки.

«Так почему же,— все больше и больше волнуясь, думали преследователи,— он, старый охотник, метким выстрелом не прервет подлые ласки негодяя или, в крайнем случае, не даст и нам посмотреть, что там происходит?!»

Вот что говорили они без слов, нетерпеливыми знаками обращаясь к охотнику. Наконец Тендел позволил им подойти. Перед преследователями открылась маленькая лужайка, окруженная каштановыми деревьями, поросшая густой травой и устланная прошлогодними листьями каштана.

Посреди лужайки стоял юный кедр, возле которого виднелись заросли черники. Именно в сторону этого юного кедра и показывал Тендел, знаками объясняя, что если что случилось, то случилось именно там. После этого он, знаками же велел всем стоять на месте, сам осторожно подошел к юному кедру. По его словам, он сразу же заметил, что к этому кедру были привязаны лошади, а потом, раздвинув кусты черники, он увидел зеленое пространство, очищенное от палых листьев, скорее даже отвесное любовным вихрем. Два куста были до того измочалены, что даже старый Тендел представил, с какой же силой надо было держаться за них, чтобы не взлететь в небо.

Тендел повернулся и, уже не затаивая шагов, задумчиво подошел к своим спутникам.

— Что же там случилось? Скажешь ты нам наконец или нет? — спросил Чунка, теряя терпение.

И Тендел сказал. Да, в тот час он, вздорный старый охотник, произнес слова, исполненные достоинства и красоты даже по мнению придиристых чегемских краснобаев.

— Друзья мои,— сказал он,— мы хотели пролить кровь похитителя нашей девочки, но не ее мужа...

— А-а-а,— догадались преследователи, как бы с облегчением сбрасывая с себя оружие,— значит, успел?

— Даже не спрашивайте! — подтвердил Тендел, и все стали спускаться вниз.

Окончательно успокоенные прытью влюбленных, преследователи с чистой совестью возвращались домой. (Кстати, много лет спустя Баграт одному из своих друзей признавался, что шум, поднятый погоней в ту ночь, служил им прекрасным ориентиром безопасности.)

Одним словом, преследователи, умиротворенные усталостью, пробирались к реке. И только Чунка никак не мог уgomониться.

— Хоть бы лошадей постыдились! — ворчал он теперь на обоих, продираясь сквозь кусты лавровишни.

— Это уже придирка,— защищал влюбленных старый Тендел,— нечего стыдиться — муж и жена!

— Да, но подальше могли привязать лошадей,— никак не мог успокоить Чунка свое мрачное бушующее воображение.

— За людьми, можно сказать, войско гналось,— громко спорил Тендел,— а он будет думать, где лошадей привязывать...

Когда они спустились к реке, неожиданно над их головой, видно спросонья, вылетел орел, и Чунка, выхватив свой кольт, одним выстрелом убил могучую птицу, что его как-то сразу взбудило и он перестал ворчать. Он положил на плечи убитого орла, сцепил на горле когти птицы наподобие железных застежек и, придерживая огромные крылья, как края боевого плаща, возглавил шествие.

Когда они приблизились к дому тети Маши, солнце уже вставало из-за горы. Тетя Катя все еще стояла у плетня и ждала. На рассвете, сморенные вином и усталостью, гости разошлись, остались только ближайšie соседи и родственники.

Юные великанши убирали со столов, то кладя в рот, то отбрасывая собравшимся окрестным собакам куски ночной трапезы. Одна из них доила корову, поймав ртом и прикусив надоевший ей хлещущий хвост коровы, и, продолжая доить, озиралась усатым лицом на тех, кто с веранды следил за возвращающимися преследователями.

Убедившись, что дочери среди возвращающихся нет, тетя Катя закричала, как кричат по усопшей. Тетя Маша подбежала к ней и стала ее успокаивать, поглаживая рукой по спине и ласковым голосом призывая ее к стойкости. Остальные чегемцы, те, что оставались у тети Маши, были страшно заинтересованы, что это там за штука свисает с плеч Чунки.

— Чтоб я умер, если это не орел,— наконец сказал один из них.

— Орел, да не тот,— съязвил представитель охотничьего клана, глядя на бронзовеющую рябь утреннего солнца, играющую на крыльях убитой птицы.

На следующее утро бедняга Харлампо с горя объелся грецкими орехами. Он их ел, не прерываясь, с утра до полудня. В полдень сильное масло грецкого ореха ударило ему в голову, и он бросился за одной из коз, как раз Галиной любимицей, шея которой была перевязана красной ленточкой, вернее не сама шея, а ободок проволоки, на которой висел колокольчик.

Впоследствии многие говорили, что не будь на шее этой козы красной ленточки, может быть, как-нибудь и пронесло бы. Но тут он

взглянул на эту красную ленточку, и пары орехового масла под черепной коробкой дали взрыв.

И вот он помчался за этой козой, которая, не будь дурой, тоже дала стрекача. Сначала они пробежали по всей деревне, увлекая за собой собак, но потом то ли он ее загнал на тропу, ведущую к мельнице, то ли она сама туда завернула — неизвестно, но коза, Харлампо и свора собак, бежавшая следом, устремились вниз по крутой винтообразной тропе.

Несмотря на шум мельничных колес, на мельнице их услышали еще до того, как что-нибудь поняли. Все, кто там был, высыпали наружу, прислушиваясь к приближающемуся визгу и лаю собак. Они решили, что собаки случайно подняли в лесу кабана, выгнали его на тропу и теперь всей сворой мчатся за ним и вот-вот выскочат из-за утеса перед самой мельницей.

Ружья ни у кого не было, но кое-кто держал топоры и палки. Впрочем, богатырской мощи Гераго хватило бы, чтобы одним пинком подбросить кабана в воздух.

Никто ничего не понял, когда из-за утеса выскочила обыкновенная коза с испуганно дребезжащим на шее колокольчиком. Она пробежала мимо людей, юркнула в помещение мельницы, разбросала головешки костра, обожглась и неожиданно впрыгнула в бункер, откуда зерна сыпались под жернов.

Через мгновение из-за утеса появился Харлампо со сворой собак, бегущей за ним. Тут все поняли, что случилось что-то ужасное, а некоторые, узнав своих собак, стали их подзывать и успокаивать с попыткой хоть что-нибудь у них выведать.

Но ни пастух, ни взволнованные собаки ничего толком не могли передать собравшимся у мельницы.

— Ты чего?! — крикнул Гераго, могучими объятями перехватывая пастуха.

— Пусти! — кричал Харлампо, пытаясь вырваться и глядя безумными глазами в дверной проем, откуда, в свою очередь, время от времени высывалась из бункера козлиная голова. Задние ноги козы были зарыты в кукурузу, а передние все соскальзывали с крутых, отшлифованных годами досок бункера, имевшего форму перевернутой пирамиды.

Передние ноги, выбивая костяную дробь, выкарабкивали козу настолько, что она высывала голову, но тут она соскальзывала вниз и, выплескивая золотистые фонтанчики кукурузы, снова начинала свой безумный бег на месте, чтобы в конце концов высунуть голову из бункера, увидеть Харлампо и снова рухнуть. Все это видел Харлампо, глядя в дверной проем налитыми кровью глазами.

— Что она тебе сделала? — допытывался Гераго, все крепче и крепче прижимая к себе пастуха.

Ничего вразумительного не сумев ответить на вопрос мельника, пастух продолжал яростно барахтаться в его объятиях. Коза тоже продолжала свой безумный бег на месте, топоча копытцами по стенке бункера иногда со скоростью пулеметной дроби и все время выплескивая задними ногами золотистые струйки кукурузы, которые иногда вылетали даже из дверей мельницы, что, в конце концов, вывело из себя даже уравновешенного мельника.

— Веревки! — гаркнул Гераго и, тут же положив на землю бедного Харлампо, туго заплел его, благо на мельнице всегда полно веревок, которыми закрепляют кладь на спинах животных.

Неожиданно один из старых крестьян быстро нагнул и понюхал Харлампо.

— Ха, — сказал он, — все ясно: ореховое одурение.

Тут все стали наклоняться и нюхать бедного Харлампо, убеждаясь, что от него разит орехом, как от свежерасщепленного орехового ствола. По совету того же крестьянина, который догадался понюхать его и вообще оказался неплохим знатоком Ореховой Дури, Харлампо перенесли и опустили в ледяную воду ручья, питавшего мельницу. С его же одобрения Гераго осторожно, чтобы не повредить внутренних органов, положил на живот пастуха пятипудовый запасной мельничный жернов, чтобы, с одной стороны, плотнее заземлить молнию безумия, а с другой — чтобы самого Харлампо не смыло течением. Голова Харлампо была так обложена камнями, чтобы он даже при желании не мог захлебнуться.

Сутки пролежал в воде в таком положении пастух, и каждый, кто видел его здесь, поражался, что мельничный жернов, лежащий на его животе, продолжает вибрировать, выдавая внутреннюю работу безумия, и только к концу следующего дня жернов перестал вибрировать, и Гераго, осторожно просунув в него руку, приподнял его и, взглянув на спокойно всплывшее тело перевязанного пастуха, ухватился другой рукой за веревки и так и вытащил на берег одновременно и жернов, и пастуха.

Впоследствии, когда кто-нибудь из чегемцев начинал хвастаться силой мельника, хотя мельник и не был чегемцем, но, обслуживая одновременно свое село и Чегем, он как бы отчасти принадлежал к чегемцам, — так вот, когда чегемцы рассказывали о его силе, они часто приводили в пример, как он запросто вытащил из воды пятипудового пастуха и пятипудовый мельничный жернов одновременно. При этом рассказчик не забывал указать и на крутизну берега, куда мельник должен был подняться со своим десятипудовым грузом.

Надо сказать, что обычно слушатель пропускал мимо ушей замечание относительно крутизны берега, что было не вполне справедливо. Но с другой стороны, и слушателя можно было понять, потому что он никак не мог взять в толк, какого черта мельничный жернов оказался лежащим на пастухе, а сам пастух при этом оказался лежащим в воде.

Рассказчику, конечно, только этого и надо было, и он всю эту историю рассказывал с самого начала, чего мы в данном случае не собираемся делать, а просто сами подключаемся с того места, на котором остановились.

Таким образом, после того как жернов перестал вибрировать, бедного Харлампо вытащили из воды, развязали и всю ночь отогрели на мельнице у хорошо разожженного костра.

— Сердце мое разорвалось, — к утру, отогревшись у огня, сказал он почему-то по-турецки.

Было похоже, что вместе с ореховым безумием ледяная вода ручья, промывая ему мозги, случайно вымыла оттуда знание абхазского языка, правда довольно слабое, но для пастуха, и тем более грека, вполне достаточное. Впрочем, чегемцы довольно хорошо знают турецкий язык, так что им никакого труда не составляло общаться с притихшим Харлампо.

Утром Харлампо отправили назад, дав ему в руки веревку, к которой была привязана коза, к стати, тоже успокоившаяся. За это время она не только успокоилась, но даже отчасти и отъелась, потому что пастуха ее тут было некому и Гераго, держа ее на привязи, кормил чистой кукурузой.

На всякий случай через некоторое время следом за ними поднялся наверх и один из чегемцев, который как раз смолот свою кукурузу. То погоня своего ослика, то слегка придерживая его, он, по его сло-

вам, издали следил за пастухом и его козой, но ничего особенного ни в поведении пастуха, ни в поведении козы не заметил.

Единственное, что, по его словам, можно было сказать, это то, что коза время от времени озиралась на Харлампо и, фыркнув, шла дальше, а пастух никакого внимания на нее не обращал.

Кстати говоря, когда решили отправить Харлампо вместе с козой, Гераго, проявив удивительную чуткость, как бы даже не обязательную для человека столь могучего сложения, не только догадался снять с ободка на шее козы красную ленточку, но и самый колоколец намертво заткнул пучком травы, чтобы тот своим звучанием не будил в нем горьких воспоминаний.

В стаде старого Хабуга было пять коз с колокольцами на шее, и дядя Сандро, следуя мудрому примеру Гераго, на всякий случай заткнул и остальным козам язычки колоколец пучками травы.

Ко всему случившемуся, в доме с ужасом ждали приезда старого Хабуга, которого все это время не было дома, он отдыхал в горах на Кислых Водах. На восьмой день после побега Тали (тетя Катя вопреки очевидности все еще называла его умыканием) старый Хабуг въехал во двор на своем муле. Домашние как и не решились сообщить ему о случившемся, а узнал ли он сам об этом, сейчас никто не знал.

Скорбно поджав губы, тетя Катя вышла ему навстречу. Харлампо как раз перегонял через двор стадо коз со зловеще обеззвученными колокольцами.

— Это еще что? — спросил Хабуг, кивнув на стадо.

— Попали в дурную историю, — вздохнула тетя Катя и в то же время не решаясь сказать что-нибудь более определенное.

— А козы при чем? — спросил старик.

— Наш бедняга-то того, — слегка кивнула она назад, в сторону Харлампо, показывая, что присутствие самого пастуха мешает ей говорить более определенно.

Старый Хабуг молча спешил, кинул поводья невестке и, когда стадо устремилось в открытые ворота, стал вылавливать из него коз с колокольцами на шее, освобождая их от травяного кляпа. Нисколько не удивляясь вновь зазвеневшему стаду, Харлампо прошел мимо старого Хабуга за своими козами.

— Ничего, потерпит... Не князь Шервашидзе, — сказал старый Хабуг, выпрямляясь, и выразительно взглянул на тетю Катю, из чего она сразу поняла, что старик все знает.

Так и не присев, старый Хабуг нагрузил своего мула двумя мешками грецкого ореха и десятью кругами копченого сыра (кенгурийский прокурор был большой любитель копченого сыра), прихватил с собой метрику внучки и табеля об ее успеваемости и отправился в Кенгур. Старик знал, что советская власть очень не любит, когда девочек до совершеннолетия выдают замуж, и поэтому надеялся отсудить внучку и, если повезет, арестовать соблазнителя.

К вечеру он был у ворот дома кенгурийского прокурора. Прокурор лично вышел из дому и подошел к воротам.

— Что тебя привело? — спросил он, поздоровавшись и открыв ворота.

Впуская во двор нагруженного мула, он пытался по форме клады угадать содержание просьбы старого Хабуга.

— Это правда, — спросил старый Хабуг, войдя с мулом во двор, но останавливаясь у самых ворот, — что власть сейчас не любит, чтобы девочки замуж выскакивали, пока не войдут в тело?

— Ни секунды не сомневайся, — отвечал прокурор и с жалостью посмотрел на нагруженного мула, взглядом стараясь облегчить его участь.

— Тогда помоги мне,— сказал Хабуг, и они вместе с прокурором разгрузили мула.

Войдя к нему в дом, старый Хабуг показал свидетельство о рождении своей внучки, выданное чегемским сельсоветом и табеля об успеваемости, на каждом из которых был начертан известный афоризм: «Героизм и отважность школьника — учиться на отлично».

Табеля об успеваемости девочки не очень заинтересовали прокурора, но свидетельство о рождении он долго рассматривал и даже, приподняв, проверил на свет.

— Считаю, что девочка у тебя в кармане,— сказал он, возвращая табеля и прихлопывая метрику как стоящий документ, который он оставляет для борьбы.

— Приезжай, как только я дам знать,— сказал прокурор, выпроваживая старого Хабуга.

Хабуг сел на своего мула и в ту же ночь возвратился домой.

Сама по себе попытка отсудить внучку после всего, что случилось, была для тех времен необыкновенно смелой. Но Хабуг так любил свою внучку, так был уверен, что ее побег — следствие ее доверчивости, доброты, то есть ошибка, которую надо исправить, так верил в необыкновенность ее достоинств (в чем был прав), что ни капли не сомневался в ее счастливом будущем, если ее удастся отсудить. То, что она может быть счастлива с человеком, с которым она бежала, горькнлось, вышвыривалось из сознания самой силой его любви, его горькой обиды, что все это произошло слишком рано и без его ведома.

Десять дней подряд плакала тетя Катя возле кровати своей дочери, разложив на ней ее вещи, фотографии, пластинки, причем разбитая пластинка тоже лежала возле остальных, как бы символизируя катастрофу вместе с красными лоскутками кофточки и лентообразным клоком крепдешинового платья.

В поминальном речитативе тети Кати мотив безвременного оборванного детства занимал главное место:

— Еще не высохли косички на кукурузных початках, которые ты заплетала. Еще не перестали сосать козлята, которых ты впервые ткнула в сосцы своих матерей... Ой, да пусть высохнут сосцы твоей матери, хоть и так они ссохлись давно... Ой, да еще не высохли чернила в твоей чернильнице, еще хочет ручка твоя клювиком поцокать о дно чернильницы, а ты ее бросила... Как ястреб цыпленочка, растерзал тебя злой лаз, только перышки до бедной матери долетели...

В этом месте она обычно задумчиво брала в руки лоскутки ее последней одежды и, подержав в руке, перекладывала на другое место, как бы давая всей этой драматической экспозиции, не меняя основного тона, несколько новый узор.

На пятый день дядя Сандро заметил, что в поминальный речитатив стал с некоторой блудливой настойчивостью вкрадываться (видно, сама чувствовала, что переступает границу, но гипноз творчества всасывал) мотив жалости к бедным пластинкам, которые бросила, как бросила свою бедную мать.

— Оставь пластинки, ради бога! — гремел дядя Сандро, заставая ее за этим мотивом. — Какая она тебе бедная?!

Не прерывая речитатива, услышав голос мужа, она отходила от этого мотива, но, как понимал дядя Сандро, продолжала кружиться в опасной близости.

В ближайшие дни поминальное песнопение все больше и больше насыщалось прозаической мыслью, что девочка, почти голая и босая, без смены белья, оказалась на чужбине. Этот мотив настолько отяжелел ее песнопение, что в конце концов мелодия шлепнулась на землю

и голос тети Кати, начав с риторического вопроса: «Разве ты отец?» — перешел на ежедневный ритм домашней пилы.

Дядя Сандро был вполне готов, раз уж так случилось, передать чемодан с вещами своей дочке, но он и в самом деле не знал, где она. Были извещены родственники во всех селах, чтобы в случае чего они передали родителям, где Тали. Но никто ничего не знал.

И только через месяц стало известно, где скрылся Баграт со своей возлюбленной. Он увез ее в село Члоу. Хотя Тали ни разу за это время не выходила из дому, куда он ее привез, ее обнаружили по одному забавному признаку.

Сама-то она, конечно, из дому не выходила, но местная молодежь, как это принято, захаживала к молодоженам. Вскоре на всех вечеринках села Члоу стали раздаваться рыдающие звуки «Марша челюскинцев», что не могло не дойти до Чегема.

Однажды ночью чемодан с вещами был переправлен в село Члоу, а через неделю молодые переехали к себе домой. Переправлял чемодан, конечно, Кунта. Кстати, в виде платы за переправку чемодана он выпросил у тети Кати осколки разбитой пластинки, говоря, что они ему нужны для одного дельца, а для какого, не сказал. Впоследствии оказалось, что он пытался расплавить в сковороде осколки этой пластинки и облить этой расплавленной массой трещины в своих резиновых сапогах.

Бедняга Кунта почему-то решил, что резиновые сапоги и патефонные пластинки сделаны из одного и того же материала. Но оказалось, что материал, из которого сделаны пластинки, хотя и хорошо размягчается на огне, но с резиной никак не склеивается.

Пока Тали бежала с Багратам и пряталась в селе Члоу, слава ее как одной из лучших низальщиц табака вышла из укрытия, ибо нет более противоестественных вещей, чем слава и подполье. Так вот слава ее вышла из укрытия и в виде большого газетного снимка в республиканской газете «Красные субтропики» побежала по всей Абхазии.

Уже из дома мужа в селе Наа она была приглашена в Мухус на слет передовиков сельского хозяйства, где, рассказывая о своих успехах, назвала тетю Машу своей учительницей по низанию табака.

Кстати, фотография получилась на редкость удачная. В доме дяди Сандро она до сих пор хранится под стеклом и даже на пожелтевшей поверхности дрянной газетной бумаги до сих пор видно, как трепещет, как дышит ее лицо.

Она изображена хохочущей амазонкой с табачной иглой, торчащей из-под мышки в виде копья, нанизывающей этим копьём сердцеобразные табачные листья. При некотором воображении эти табачные листья можно принять за расплюснутые сердца поклонников, которые она нанизывает на свое копьё. Это тем более допустимо, что и табачные листья, между нами говоря, липовые, потому что, когда ее снимали, табака уже не было, так что нерастерявшийся фотокор вручил ей горсть платановых листьев, чем, кстати говоря, и вызван ее неудержимый хохот на фотоснимке.

После появления газетного снимка дядю Сандро неожиданно повысили и сделали бригадиром той бригады, где так славно проявила себя Талико. Тетя Катя достала номер газеты со снимком дочери и включила его в свою поминальную экспозицию, не смущаясь, что хохочущая мордочка ее дочки рядом с красными (отчасти смахивающими на кровавые) лоскутками ее кофты уничтожает зловещий смысл последних вещественных доказательств ее умыкания.

Она упрямо продолжала утверждать, что дочь ее была взята насильно, что лоскутки от кофты и платья лучше всего доказывают ее героическое сопротивление варварскому натиску этого лаза.

Теперь она редко, примерно раз в неделю, пускалась в поминальный плач. Чаще всего плач ее теперь был обращен к газетному снимку как к наиболее свежему, малооплаканному предмету. Иногда ее плач обрывался совершенно неподходящей фразой:

— Вроде бы похудела, бедняга...

Она поближе к глазам подносила газету и подолгу рассматривала снимок дочки. А иногда, бывало, взгляд ее переходил на снимок исполненного мужества и доблести бойца интербригады. Он был помещен на этой же газетной странице.

С некоторой материнской ревностью она подолгу рассматривала его, не понимая, кто на нем изображен, но чувствуя, что человек этот, судя по виду, может постоять за себя и своих близких и, видно, совершил немало подвигов, раз его поместили в газете с гранатами и с винтовкой.

— Хоть бы за такого вышла, дурочка...— говорила она с некоторой грустью и добавляла, подумав:— Да кто такого нам даст...

После появления снимка в газете старый Хабуг оживился больше всех. Не дожидаясь вызова кенгурийского прокурора, он оседлал своего мула и поехал к нему без всякой клади, а только положив в карман газету с изображением внучки.

Теперь, думал он, слава его внучки облегчит ему ее возвращение. Но все получилось наоборот. Когда он подъехал к воротам его дома, навстречу ему вышла жена прокурора и, извиваясь от стыда («Извиваясь от бесстыдства»,— говаривал потом старик, рассказывая об этом), стала уверять, что прокурора нет дома, что он завтра будет у себя в кабинете и что он вообще теперь про дела разговаривает только у себя в кабинете.

Тут старый Хабуг понял, что дело плохо, но решил подождать до следующего дня. В самом деле прокурор на следующий день у себя в кабинете принял старого Хабуга и объяснил ему, что теперь, когда девочка получила такую славу, никого судить нельзя, потому что власти этого не любят еще сильнее, чем когда несовершеннолетних девочек умыкает какой-нибудь бездельник.

— Кстати,— добавил он,— умыкание тоже не получается...

— Почему?— спросил старик, едва сдерживая бешенство, потому что никак не мог взять в толк, как это трудовая слава его внучки укрепляет позиции этого чужеродца, а не родных девочки, которые ее воспитали.

— Патефон,— сказал прокурор с притворным сожалением,— если б она не потащила патефон туда, где он ждал ее с лошадьёю...

Прокурор, разговаривая с Хабугом, то и дело отрывал глаза от газетного снимка, который положил перед ним старик, и снова углублялся в рассматривание снимка, что явно не содействовало продвижению дела и еще сильнее раздражало старика.

— Сдался вам этот патефон,— процедил Хабуг, пытаясь еще раз в нужном направлении повернуть мысли прокурора,— это можно сделать так: она несла его домой, а этот парень на полпути схватил ее вместе с патефоном... Свидетели будут...

— Нет,— сказал прокурор, на этот раз даже не отрываясь от снимка.

— Метрику!— гаркнул старик, вырывая у прокурора газету и складывая ее.

— Вот, пожалуйста,— сказал прокурор, вынимая метрику из ящика стола и протягивая ее старику. — Я бы сам, но сейчас нельзя...

— Пришлю нашего горбуна, вернешь все, что взял,— сказал Хабуг и не оборачиваясь тяжело зашагал к дверям.

— О чем говорить,— прокурор догнал его в дверях,— я даром копейки не беру.

В самом деле, через несколько дней Кунта вывез из дома прокурора два мешка грецких орехов и девять кругов сыра, ибо десятый, как ему объяснили, был уже съеден. Дядя Сандро считал, что десятый круг сыра был задержан в счет юридической консультации. Чтобы не злить упрямого Хабуга, он велел тете Кате и Кунте не говорить, что прокурор недодал десятый круг сыра. В свою очередь, тетя Катя, когда раскрыла мешки с орехами и увидела, что там не высокосортовый чегемский орех, а более грубокорый низинный орех села Атара, не стала об этом говорить дяде Сандро, чтобы не раздражать его. Вполне возможно, что жена прокурора, которая возвращала ясак, просто спутала географию приношений.

* * *

Дни шли. Постепенно рана, нанесенная Багратом, заживала в душе тети Кати. Во всяком случае, в один прекрасный день она убрала в комод всю свою поминальную экспозицию, а портрет дочери, вырезав из газеты, поместила в рамке под стеклом.

Пожалуй, больше всех переживал старый Хабуг, хотя ни разу никому не пожаловался на свою обиду. Единственное, что было замечено всеми, это то, что он не выносит вида узловатых веревок из дома тети Маши. В самом деле, у тети Маши еще несколько лет применялись в хозяйстве веревки, бугристые от многочисленных узлов — последняя память коварных игр Баграта.

На следующий год в один из летних дней, когда вся семья сидела на кухне и обедала, вдруг у самых ворот дома раздалось два выстрела. Все замерли.

Первой, в чем дело, догадалась тетя Катя.

— Выйди-ка,— сказала она мужу, и лицо ее посвежело от вдохновенного любопытства.

Дядя Сандро выбежал к воротам, где всадник из села Наа прятал в кобуру пистолет и одновременно пытался успокоить свою перепуганную лошадь.

— Наша Тали двоих мальчишек родила! — крикнул он и, подняв лошадь на дыбы, повернул ее и погнал обратно по верхнечегемской дороге.

Дядя Сандро так и замер, изобразив руками жест гостеприимства: мол, въезжай во двор, а там поговорим. На самом деле жест этот, конечно, был условным: без достаточно сложного церемониала примирения ни один родственник Баграта не мог переступить порога Большого дома. Да и сам этот вестовой дяде Сандро не понравился. Его джигитовка в непосредственной близости с хвастливым сообщением о благополучных и обильных родах как бы отдаленно намекала на какие-то особые достоинства их рода: мол, и лошади под нами играют так, как мы хотим, и женщины наши рожают лучшим образом.

Дядя Сандро был, конечно, рад, что его дочурка удачно родила. Но зачем же перед ним, великим тамадой, так выламываться? «Попался бы ты мне,— думал дядя Сандро,— за хорошим столом, я бы тебя заставил похлебать собственную блевоту».

— Ну как? — нетерпеливо встретила его у порога тетя Катя.

Дядя Сандро молча вошел в кухню. Обстановка была сложной: с одной стороны, радостная весть, с другой стороны, неизвестно, что скажет отец, который больше всех переживает побег внучки.

— Двоих мальчиков родила,— бодро сказал дядя Сандро, войдя в кухню и садясь у огня,— для начала неплохо...

— Бедная девочка,— тихо запричитали бабка и тетя Катя.

Старый Хабуг молчал. Видно, шутка дяди Сандро никак его не развеселила. Пообедав, он молча еще некоторое время посидел у очага, а потом вышел на веранду, взял свой топорик на плечо и пошел в лес, где он рубил колья для фасолевых подпорок.

— Ты куда? — спросила у него бабка, вслед за ним выбегая во двор, хотя и так знала, куда он идет. Просто ей, как и всем в доме, надо было узнать, что делать с этой новостью, как вести себя дальше по отношению к Тали.

— Это Наа — малярная дыра, — сказал старик не оборачиваясь и вышел за ворота.

Старушка вошла в кухню и передала слова старого Хабуга. Все поняли, что это начало прощения. Слова его можно было и даже отчасти надо было понимать как намек на приглашение внучке приехать с детьми на лето в Большой дом.

Чегемцы, которые во всем всегда ищут дополнительный смысл, узнав, что такая юная девочка, как Тали, родила двух мальчиков, решили, что это неспроста, что, видно, здесь каким-то образом оказалось место, где прошла ее первая брачная ночь. В то лето к юному кедр, под которым расстелил свою нетерпеливую бурку Баграт, поистине была проложена народная тропа.

Оказалось, что этот кедр так богат выделениями сочной огнелюбивой смолы (некоторые говорили, что он стал таким после привала влюбленных), что любая его веточка, подожженная с одной стороны и воткнутая другой в землю или в щель дощатой стены, горела как свеча, фонарик или факел, — в зависимости от своей толщины.

Кстати, о существовании таких особенно просмоленных экземпляров хвойных деревьев пастухи хорошо знают и часто пользуются ими на альпийских лугах в качестве осветительных приборов.

Но всем, особенно женщинам, хотелось думать, что этот кедр совсем особый. В конце концов некоторые из них дошли до того, что стали тайно пить отвар из душистых веток этого кедра, и от них разлило крепким скипидарным духом, но откуда он взялся, этот дух, многие тогда не догадывались. И только через год, когда тетя Маша родила близнецов, но, к великому сожалению ее, опять девочек, она призналась, что попивала этот самый отвар.

Чегемцы, по-прежнему собиравшиеся во дворе тети Маши, увидев этих двойняшек, считали своим долгом напомнить ей испытанную чегемскую теорию формотворчества женщин, которую она напрасно пыталась перехитрить.

Удивляясь ее непонятливости, они снова и снова ей объясняли, что никакой отвар не может менять данную богом или природой (тут чегемцы не видели принципиальной разницы) чадотворящую форму. В лучшем случае, говорили они, отвар может только прочистить, привести в рабочее состояние ту форму, которая есть.

— Кстати, так и получилось, — говорили они, намекая на близнецов, — усилив свою чадотворящую форму, ты добилась, что она тебя зарядила сразу двумя девочками.

— Стало быть, так оно и есть, — отвечала тетя Маша и, вывалив могучие груди, приставляла к ним поднесенных младенцев.

Близнецы одновременно приникали к грудям, уставив друг в друга алчный глаз, как бы тускло вспоминаящий собрата по доземной жизни, но не выражающий по этому поводу никакой радости и, главное, никак не собирающийся по этой причине делиться с ним благами этой жизни.

Этот взгляд младенцев, сосущих молоко из грудей матери и одновременно одним глазом посматривающих друг на друга приводил в восторг добродушных дочерей тети Маши.

— Эх, время, в котором стоим,— говорили некоторые чегемцы по этому же поводу.

— Небось всем хватит,— и вовсе ничего не понимая, говаривала тетя Маша, опуская глаза на детей. А потом, обращаясь к кому-нибудь из дочерей, по привычке добавляла: — Принесла бы чего-нибудь там пожевать, что ли...

* * *

Здесь мы оставляем чегемцев, тем более что они прекрасно обходятся без нас, однако в нужном месте мы к ним еще вернемся, если, как говорится, бог даст сил и при этом никто их не отнимет. А сейчас мы покидаем Чегем, ибо пусто даже в любимом Чегеме без Тали, без ее живого голоса, без ее утешающей душу улыбки..



ЕВДОКИЯ МУХИНА

★

ВОСЕМЬ САНТИМЕТРОВ*

Из воспоминаний радистки-разведчицы

IV

Мартовские виноградники

После двух тяжелых вылетов в Кущевку и в Нальчик мне было приказано отдыхать и набираться сил. Я выглядела плохо. Раньше была худая, а теперь еще и позеленела, ввалились глаза, от переутомления и разных страхов растрепались нервы. Это-то ладно, кто из фронтовиков не был нервным. Один скрывал лучше, другой хуже. Один смеялся и пел, другой то и дело ругался... Я заметила: нервничать и переживать начинаешь на отдыхе. После драки обязательно машешь кулаками. Воскрешаются в голове подробности разных случаев и столкновений. Кажется, что вела себя неправильно, надо бы так, а не эдак. Ночью вскочишь вся в поту от дурного, тревожного сна — кругом тихо. Только похрапывают, ворочаются и горько вздыхают подружки, которые тут же лежат на диванах и диванчиках, на столах, а то и просто на полу; так вышло, что нашу группу расселили в служебных помещениях гостиницы. А все-таки забота и о нас была — на голом паркете не спали, каждой девчонке начхоз выдал тощенький матрасик, одеяло шинельного сукна и набитую ватой подушку...

Я вот написала «подружки», «девчонки», а точнее бы сказать — неизвестные молоденькие солдаты в синих диагональных юбках, в беретах с красной звездочкой, в башмаках или в кирзовых сапогах... И опять нужна поправка: тогда еще в Красной Армии солдатами не называли. В ходу было слово «боец». Все равно — мужчина или женщина, парень или девушка. Я привыкла, что командиры ко мне обращались: «Боец Евдокимова». А те, что рядом со мной жили и служили, равные со мной товарищи, называли то Женей, то Чижиком, хотя мало кто меня знал. Разве что... по слухам.

Когда мне предоставили отпуск, я пошла просить майора, исполняющего обязанности начальника школы, чтобы позволил навестить родных — папу, маму и сестренку Веру. Мы ведь находились в Сочи — рукой подать до Сухуми и нашего села Ачадара. Я сказала, что готова даже пешком пойти, хотя машины сновали туда-сюда и можно бы обернуться за два-три дня.

Эту мою просьбу майор воспринял как нарушение дисциплины. Поднялся из-за стола, поставил меня по стойке «смирно» и, глядя злыми глазами, сказал:

— Слушай, Евдокимова, и запоминай. Когда бы не полтора года безупречной службы и отличные рекомендации прежнего командова-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир», 1972, №№ 11, 12; № 10 с. г.

ния, я бы приказом объявил тебе выговор и отправил на гауптвахту... Вы поняли, боец Евдокимова? Поняли, за что следует вас наказать?

— Так точно. Поняла.

— Если действительно поняла, объясняй.

Мы стояли один на один в его кабинете. Он разозлился, и я разозлилась. Смотрела ему в глаза и про себя ругала: «Чертов формалист, тыловая крыса!» Он был крепкий мужчина с веселыми глазами, на формалиста несколько не похож. Я его совсем не знала — ни фамилии, ни имени. Известно было, что он на этой должности временно.

Нас, небольшую группу разведчиков, за два дня до того из штаба Закавказского фронта перебросили в Сочи, где организовался крымский штаб партизанского движения. Сюда прибывала с разных фронтов, а также из советского тыла недавно мобилизованная молодежь... В новом штабе все разведчики, радисты и минеры были зачислены в особое подразделение под названием «Школа». Кто-то действительно учился, кто-то действовал, а мне был приказ отдыхать. Вот я и пришла к начальнику со своим заявлением. Он на меня накричал, да еще и потребовал, чтобы сама объяснила за что и почему.

Мне казалось, майор надо мной издевается.

— Ну так как же, Евдокимова, дождусь от тебя ответа: почему не должна была проситься домой, тем более что дом близко?..

Я пожалала плечами:

— Наверное, конспирация?

— Выходит, понимаешь!.. Кругом, марш!

И я зашагала вон из кабинета. Встретилась с Дашей Федоренко.

Она меня погладила:

— Ну чего ты, Женечка, Женя?

По правде, я не была Женей, плакала как Дуся Мельникова, дочка своего отца. И тут же сообразила: Даша тоже не Даша. Мы с ней закадычные подруги, вместе учились в разведшколе, вместе выбрасывались под Нальчик... Там с нами была третья наша подруга, которую мы называли Полей Свиридовой. Под этим именем она и погибла. Настоящего ее имени и теперь не знаю... Знали командиры, да и то не все, а кому было положено...

Даша меня продолжала успокаивать:

— Ну что ты, что? Чем тебя обидел майор? Приставал? Хочешь, посмотришь в мое зеркальце, какая ты хорошенькая. Вот только от слез нос распухает.

На эти ее слова я расхохоталась:

— Кто это ко мне будет приставать? — Мне и в голову не приходило, чтобы могла кому-нибудь понравиться.

— А тогда что?

Я не могла ей ответить, не имела права. Ну как признаться, что просилась в Сухуми к родителям? Мы же друг другу все это время вралы в соответствии с тем, какую биографию нам сочинило начальство. Вполне возможно, и у Даши, которая не Даша, родной дом еще ближе, чем мой, — в Адлере или в Хосте. И я представляла, как мы пойдем туда, где до войны жили, и нас там все сразу узнают... Мы своим родителям и школьным товарищам писали: дескать, служим медсестрами в прифронтовых госпиталях...

На душе было скверно. Не знаю, как другие, я за полтора года не могла привыкнуть скрываться от своих и все время отговариваться. Особенно трудно во время отдыха.

Наверное, еще и потому было паршивое настроение, что в конце января и в начале февраля, как раз когда мне выпал отпуск, лил холодный, тягостный дождь. Там, где мы жили, печей не было, центральное отопление не работало. И в помещении и на улицах все прокисло. Как

насмешка торчали повсюду вечнозеленые пальмы и всякие другие южные растения. В «Школу» прибывали новички, их учили, а мы с Дашей и кое-кто еще из подобных нам «старичков» и «старушек» маялись без дела. Притом что и поговорить по душам ни о чем не могли...

Вскоре прибыл подполковник, начальник «Школы». Он всех тех, кто уже участвовал в боевых операциях и выбрасывался в тыл врага, собрал и стал рассказывать, что в Крыму десятки партизанских отрядов, наш штаб создан им в помощь. «Школа» будет готовить не только радистов, но и минеров-диверсантов; они станут действовать вместе с партизанами — взрывать в Крыму железные и шоссейные дороги, мосты, солдатские казармы, склады боеприпасов и другие военные объекты противника.

— Действия партизан, — сказал нам начальник «Школы», — отныне включены в общий план наступления всей Красной Армии.

Впервые мы узнали, что в Белоруссии и на Украине партизанские отряды слились в соединения по несколько тысяч человек. Центральный штаб партизанского движения оперативно руководит повсеместно разбросанными отрядами на огромной территории от линии фронта до Западного Буга и Дуная. Крупные партизанские соединения форсировали Днепр и движутся по направлению к Западной Украине. Им дана задача закрыть пути подвоза противника. Чтобы осуществить этот план, необходимо подготовить тысячи минеров, сотни радистов. У нас рядом поработенный врагами Крым. Наш штаб призван наладить постоянную радиосвязь с партизанами Крыма. Помочь отрядам оружием и боеприпасами, подготовить и заслать в крымские горы диверсантов-подрывников.

Подполковник особо обратился к нам, уже имеющим опыт разведки в тылу врага. Он часто посматривал на меня. Под его взглядом я краснела и смущалась. «Верно, знает, — думала я, — что мне еще две недели до совершеннолетия». Но об этих своих подозрениях я тут же и забыла. Меня увлекло другое. Подполковник говорил:

— Отныне все мы, подчиненные крымскому штабу, как командиры, так и сержантский и рядовой состав, уже не только бойцы Красной Армии, но одновременно и партизаны. Партизаны ждут нашей помощи, а мы во всех своих действиях будем опираться на них. Мы вместе с ними, мы слитны, мы одно и то же...

Так под шум дождя закончил свою речь наш новый начальник. И мне захотелось тут же подойти к нему и попросить, чтобы скорее выбросили в Крым, к партизанам. Я поделилась своими мыслями с Дашей. Она удивилась:

— Куда торопишься? Ты ж на отдыхе. Посмотри лучше в окошко — небо раскрылось. Бежим к морю, позагораем на солнышке.

Я говорю:

— Дашенька, ты бы знала, как надоело бездельничать!

— Тю! Всего-то прошло две недели. Только начинаешь приходить в норму. Смотри — вот и щечки появились, глазки стали живее. Молчи, пока не зовут. Отдыхай. Тут один парнишка глаз с тебя не сводит.

Я хотела спросить: какой, где он? Вместо этого сказала:

— Слушай, Дашка! Тебе разве не хочется в партизаны? Неужели не понимаешь — станем сами собой. Не надо будет скрывать собственное имя и можно говорить со своими товарищами на любую тему. О прошлом, о будущем — всем можно делиться...

Даша рассмеялась и весело ругнулась — ужасная была ругательница, не хуже иного парня. Она была большая, сильная. Схватила меня за руки, завертела до полусмерти.

— Дашка, Дашка, голова кружится...

— Подожди, еще не так закружится! Ты знаешь, кто в тебя влюбился? Сашка Зайцев. Вот он стоит, ждет нас, идем вместе на пляж.

— Ой, Даша, мне он ничуть не нравится...

И все-таки я была взволнована. Мне думалось, что для такой, как я, любви не существует, никто на меня никогда не посмотрит...

Мы пошли к пляжу. Сашка тут же к нам присоединился, хотел меня взять под руку, но я отстранилась.

Тогда он вдруг сказал:

— Девушки, я с вами не пойду!

Ветер трепал его седой чуб. Круглолицый крепкий паренек с резкими голубыми глазами. Он смотрел мимо меня. Я понимала — обижается. Но что с собой делать? Я радовалась, что такой хороший, смелый, открытый паренек увидел во мне девушку, может быть даже полюбил. Но не могла ему ответить тем же.

Предложила:

— Давайте побежим взапуски!

Сашка грустно посмотрел:

— Я не могу, ничего не могу, нет ни минуты...

— Ты что? — спросила Даша. — Сам же хотел погулять.

— Хотел, — сказал Сашка. — Да вызвал начальник оперотдела.

Сказал: «Через час полетишь!» Я дал согласие.

— Куда? — вырвалось у меня.

— Забудь спрашивать, разведчица! — отрезал Сашка. — Поцелуй лучше на прощание, а?..

Я его поцеловала. В Нальчике кинулась на шею, а сейчас только чмокнула в щеку. И он меня чмокнул. Потом попросил:

— Дай свое фото на память.

— У меня нет, Саша.

— Тогда возьми мое.

Я взяла его маленькую фотокарточку, но не могла придумать, куда ее девать и что с ней делать. Даже не поблагодарила. Моя подружка сердито на меня покосилась. Она крепко, по-мужски пожала Сашке руку.

— Ты не думай, — сказала она, — мы с Чижиком к тебе скоро прилетим.

Он горько рассмеялся:

— Куда? Радистов в одно место не посылают.

Мне вдруг стало его жалко, и я заговорила быстро и весело:

— Эх ты! В партизанских отрядах разве по одному радисту? Чего скрываешь? Летишь в Крым! Мы ж теперь все партизаны, слышал, что начальник говорил?

Сашка не ответил. Он смотрел на меня во все глаза.

Я улыбнулась и неожиданно для себя крикнула:

— Сашка, Сашка! Я тебя буду помнить, честное слово! Хочешь, хоть сейчас пришью тебе на шапку красную партизанскую ленточку?

С этими словами я к нему подошла и поцеловала в губы. И он убежал.

— Даша, — спросила я, — почему он весь соленный — и щеки и губы?

— Ну и чудила, ничего-то ты не знаешь. Все ребята, которые улетают, на прощание купаются в море.

— Зимой?

— А что такого! Давай и мы с тобой пойдем сейчас и тоже выкупаемся. Это будет нашим крещением. Потом если чем обменяемся — станем навеки родными сестрами.

— Давай! — согласилась я, и мы побежали купаться.

* * *

После очередного медосмотра мне было назначено дополнительное питание. Я стала получать двойную порцию масла, стакан молока, а в мясной день лишнюю котлету. Нас, разведчиков и будущих десантников, кормили в особой столовой в помещении бывшего санатория машиностроителей. Мне хотелось видеть, какая я стала. Хоть немного поправилась или по-прежнему зеленая? Будто назло, все зеркала из санатория вынесли. Зачем это сделали, не знаю. Люстры тоже поносили. Люстры ладно, мне они были ни к чему. Однажды я заметила, что при входе в столовую у открытой стеклянной двери останавливаются наши девушки, а парни над ними смеются: вот, мол, какие фасонистые. Идет война, но все равно прихорашиваются. Я стеснялась подолгу себя разглядывать, однако не могла пройти и не посмотреться.

К середине февраля жизнь в нашей «Школе» стала веселее, мы со многими перезнакомились — и с парнями и с девушками. Новички смотрели на Дашу, на меня и на других ребят и девчат, побывавших за линией фронта, как на героев. Видно было, что хотят расспросить, но это не разрешалось. Когда мы, «старички», входили в столовую, нас оглядывали и шушукались. От этого нос невольно задирался. Я, наверно, смешная была со стороны. Старалась смотреть строго и ходить твердой мужской походкой. Один высокий паренек из новеньких — он мне ужасно нравился — поглядывал на меня с улыбкой. Я отворачивалась, думая, что потешается над моим росточком. Потом оказалось, что он улыбался по другой причине...

Февраль в Сочи почти всегда дождливый. Неожиданно погода установилась, снег повсюду сошел, и даже не было туманов. Теперь довольно часто кое-кто из «Школы» стал исчезать. Ребят забрасывали самолетами в Крым, а иногда и в другие места. Оказывается, по распоряжению Центрального штаба наших людей посылали и на Херсонщину, и под Николаев, и даже под Одессу. Я бы, наверно, и себе не призналась: каждый раз входя в столовую, бросала быстрый взгляд в дальний угол, где сидел высокий, незнакомый мне юноша. Я никогда и никого юношами не называла, а его про себя в отличие от других определяла именно этим словом и, наверно, очень бы опечалилась, когда б увидела, что он исчез. Это бы означало, что неизвестно, вернется или нет.

Конечно, я попалась. Даша заметила мои взгляды, посмеялась надо мной, а потом сказала:

— Отдай мне фото Саши Зайцева, а я тебя познакомлю с тем длинным...

Я обиделась, что Дашка назвала его длинным, но мне, конечно, хотелось познакомиться.

Говорю Даше:

— Отстань, никто мне не нужен...

Но случилось так, что в этот самый вечер нас — всю «Школу» — собрали на лекцию. Из Москвы прилетел полковник — начальник оперативной группы Центрального штаба партизанского движения. В столовой составили столики, получилась гладкая поверхность в виде большого квадрата. С одной стороны встал прибывший полковник с командирами и молодыми помощниками, среди которых оказался и тот улыбочивый юноша. Он и так был высоким, а теперь вырос в моих глазах еще больше. Кругом расположились все мы из подразделения «Школа». На столе появились бруски взрывчатки и разные металлические предметы с проводами и с рожками — прямоугольные, круглые, сигарообразные. Я тут же сообразила: это мины разных конструкций. Так оно и оказалось.

Полковник нам представился. У нас не было принято, чтобы командиры перед всеми называли себя по фамилии, а тем более по имени и отчеству. Но этот приезжий начальник очень просто, как все равно штатский человек, назвался Ильей Григорьевичем Стариновым. Наши командиры были с ним обходительны, внимательно вслушивались во все, что представитель Центрального штаба объяснял и показывал.

Даша стояла со мной рядом и горячо шептала в ухо:

— Старинов такой специалист, такой, какого нигде больше нет. Он воевал против фашистов в Испании, сбрасывал под откос эшелоны, взрывал танки, самолеты...

Полковник Старинов держался деловито, не произносил громких слов. Это был спокойный человек лет сорока, по виду очень усталый. Помню, он начал с таких слов:

— Партизаны, разведчики, десантники, минеры, да и радисты тоже должны каждодневно обновлять свои знания, помня, что конструкторская мысль не стоит на месте. Наши заводы производят теперь мины многих типов, разного назначения, друг на друга не похожие. Мы все, призванные воевать в тылу врага, должны, как таблицу умножения, усвоить, что нет у нашего брата оружия более сильного и точного, чем мины, мины и опять-таки мины. Небольшая группа бойцов, имея несколько килограммов тола и простейший взрыватель, легко сбрасывает с рельсов железнодорожный состав с техникой и живой силой противника. Сотни фашистов, десятки орудий и танков может уничтожить маленькая мина. Там, где артиллерия должна израсходовать тонны и тонны снарядов, минер дергает шнурок или нажимает кнопку электрозамыкателя и достигает неминуемо точного действия... Смотрите, такая вот металлическая штуковинка весом в шестьсот пятьдесят граммов — вы ее, наверное, все знаете, называется она магнитная мина — вызвала несколько дней назад в глубоком немецком тылу в Белоруссии взрыв такой мощи, что вышел из строя большой железнодорожный узел, десятки цистерн с горючим и целый эшелон боеприпасов... Вас ваши инструкторы с этими штуками знакомили. Однако крымские партизаны их еще не получали и не умеют ими пользоваться. Задача штаба снабдить отряды минами всевозможных систем и там, во вражеском тылу, наладить обучение тех, кто проявит достаточную смелость и смекалку...

Старинов взялся нам показывать другие мины — нажимного действия, химического, электрического. Но особенно подробно и с увлечением говорил о МЗД, то есть о минах замедленного действия.

— Эта штука особая, — рассказывал он. — МЗД для того, чтобы взорваться, не требует никакого постороннего воздействия. Ее не надо ни дергать, ни толкать, ни нажимать на нее. Поставил на сутки, на неделю, на две недели — она сработает в заданный час. Ее можно замаскировать глубоко и тщательно, так что ни один миноискатель не найдет. Самое же главное преимущество МЗД в том, что она снижает, а то и вовсе уничтожает риск в работе наших минеров-подрывников. Партизаны ставят эти мины и маскируют их на железнодорожном полотне с таким расчетом, что один, другой, третий немецкий эшелон проходит и не взрывается. Фашисты радуются — партизаны ушли, оставили их в покое. Они ускоряют движение поездов, как вдруг — хотя их разведка и говорит, что никаких партизан вблизи нет, — начинают взрываться мины. В разное время, в разных местах и точно под паровозом. Вы ведь знаете, что немцы ставят впереди состава платформы с балластом, чтобы взорвались они, а паровоз остался целым. МЗД можно рассчитать так, что она войдет в действие только под нажимом огромной тяжести паровоза... Вижу, вы удивляетесь: я ведь

только что говорил, что МЗД взрывается в определенный час сама, без внешнего воздействия. А вот смотрите...

Старинов разобрал при нас одну из мин замедленного действия, показал несколько капсул, наполненных кислотой. Каждая из них была рассчитана на определенное время, после наступления которого пластинка внутри капсулы разъедается, предохранитель сбрасывается — и происходит взрыв.

— Но можно ведь и по-другому, — продолжал полковник. — Кислота разъела пластинку, предохранителя больше нет, мина становится на боевой взвод и теперь сработает под нажимом того или иного веса. Вот какая это мина! Она открывает перед нами огромные возможности. Недавно в Таганроге было назначено совещание большой группы немецких штабистов. Наши подпольщики узнали о нем за три дня. И заблаговременно заминировали зал. Взрыв произошел в точно определенное время — десятки фашистских офицеров взлетели на воздух...

Мы смотрели и слушали, боясь дохнуть. В моей голове творилось что-то невозможное. Я твердо решила: обязательно буду проситься к партизанам. А потом перерешила: возьмусь за изучение немецкого языка, пусть меня выбросят с парашютом в Берлин или под Берлин, я проберусь с миной замедленного действия в кабинет Гитлера и поставлю ее на тот день и час, когда там соберутся все главари фашистской шайки — Геринг, Геббельс, Риббентроп. От взрыва мины они все погибнут, и война сразу же окончится нашей победой...

Подумать только: мне уже было без малого восемнадцать лет, а все еще жила детскими мечтами... Я так увлеклась, что уже не слышала полковника. Вдруг в его речи мелькнуло слово «радио», и я снова наострила слух. Однако что-то важное пропустила и смысл до меня не доходил. Тогда я подняла руку. Начальник «Школы» грозно на меня глянул, а полковник спросил:

— Что-нибудь непонятно?

— Нет, просто размечталась и пропустила.

Он улыбнулся.

— А вы кто — минер, радист?

— Я радистка.

— А как зовут? — спросил полковник.

Не успела я ответить, Даша крикнула:

— Это Чижик. Неужели не слышали — знаменитый Чижик.

Такой поднялся хохот, что я чуть не сгорела со стыда, а полковник сказал:

— Осторожно, осторожно, не очень-то раскачивайте стол. Тут у меня есть штуковинки, которые требуют нежного обращения...— Когда все успокоились, он продолжал:— Вот, товарищ радист по имени Чижик, вы, как советская девушка, а точнее боец Красной Армии, можете гордиться. Нигде в мире еще не добивались таких успехов в производстве взрывов на расстоянии, как у нас. И не при помощи электрического замыкателя — это давно не новость, — а по радио! Да, да, именно так. Могу по секрету рассказать. Мы в Харькове еще в позапрошлом году, перед тем как оставить город, в особняке, где в то время жили секретари Центрального Комитета партии Украины, заложили две мощные мины с особым радиоустройством... Особняк был большим и удобным. Когда наши отступили, а гитлеровцы заняли город, в особняке расположился командующий гарнизоном палач из палачей генерал-лейтенант Георг фон Браун. Конечно, раньше чем вселиться, генерал послал в особняк своих саперов, и те были рады-радешеньки, доложив, что нашли и обезвредили нашу закопанную под углем в котельной мощную мину. Но они рано торжествовали. Если бы они как следует искали, то под первой миной, гораздо глубже, в кир-

пичной кладке фундамента, нашли бы вторую. Первая была поставлена только для отвлечения. Фрицы на это клюнули. В особняке устроился генерал со всем своим штабом. Но это еще не все. Такие же мины были заложены в помещении, занятом штабом округа, и под одним из мостов. Прошло немало времени, и вот в три часа ночи четырнадцатого ноября сорок первого года я со своими сотрудниками-радиоинженерами передал из Воронежа три радиосигнала на определенной волне. И в Харькове по этим сигналам произошло три мощных взрыва. И мост, и штаб округа, и резиденция генерала фон Брауна взлетели на воздух...

Слушая полковника Старинова, все мы были напряжены. Он переждал сколько-то времени, а потом попросил того высокого юношу, который стоял возле него:

— Товарищ Максимов, уложите на этой поверхности модель номер шестнадцать.

Вот я обрадовалась — узнала фамилию. Шепчу Даше:

— Можешь не знакомить, сама познакомлюсь.

Даша отвечает:

— Лучше смотри, что он делает.

Этот молодой человек, высокий, худенький, в красноармейской гимнастерке, по кускам вынимал из ящика и раскладывал на большой плоскости соединенных столов игрушечную железную дорогу. В одном месте он перебрисил через нарисованную реку высокий игрушечный мост, то есть модель. Когда все было готово и кольцевая дорога выложена, он поставил на рельсы крошечную дрезину с антенной.

Полковник стал объяснять:

— Вообразите, кругом лес. Дорога ведет к жизненно важным центрам и снабжает германскую армию боеприпасами, орудиями, танками, живой силой. Видите, партизаны вышли из лесу и подняли на рельсы портативную дрезину с укрепленным на ней взрывным устройством. Мотор дрезины работает на батареях. Не в этом главное. Главное в том, что она подчиняется радиоуправлению. Товарищ Максимов,— обратился полковник к своему помощнику,— приступайте.

Юноша принялся крутить рычажки коробки, похожей на обычный радиопередатчик. Дрезина поехала. Все быстрее, быстрее...

— Внимание! — воскликнул Старинов.— Вообразите, что мост охраняет взвод немцев. Они ничего не успеют сделать...

Крошечная дрезина въехала полным ходом на мост и на самой его середине резко затормозила. Раздался щелчок, вспыхнуло пламя, и... мост рухнул.

Полковник Старинов взялся объяснять, какие тут действуют силы. Мне его слова были как пустой звон. Пусть он главный, пусть Максимов всего лишь выполнял приказ,— я впилась взглядом именно в него. В моих глазах он был красивее всех и умнее всех. Мне ясно представлялась вся картина. Где-то в заболоченном лесу партизаны волокут на себе дрезину, поднимают на рельсы. Мой Максимов командует: «Раз, два — взяли! Раз два — дружно!» Нет, нельзя вслух командовать, надо шепотом...

Полковник продолжал что-то рассказывать. Его слова доходили будто через подушку. Сердце стучало, как ключ на «северке». Если можно взрывать мосты при помощи радиодрезины, неужели я не могу через стол передать свои чувства? Я не смотрела на Максимова, но твердо знала — он ищет моего взгляда. Даша ткнула меня под бок и многозначительно хмыкнула, а я все равно не подняла головы.

Донесли слова Старинова:

— Товарищ Чижик! Опять размечтались? О чем?

Я вскинула на него глаза и четко ответила:

-- Прошу направить меня к партизанам!

Раздался общий смех. Наверное, я ответила невпопад.

Когда кончилась лекция, наши девчата и я с ними отправились на берег моря полюбоваться закатом солнца. Тихо-тихо. Не верится, что всего три недели назад я была на переднем крае и снаряды рвались рядом со мной.

Мы с Дашей сидим на большом гладком камне. Я беру ее руку и крепко прижимаю к груди.

— Ты влюблена? — шепотом спрашивает моя подружка.

Я пожимаю плечами и в то же время безвольно киваю головой. Тогда она, глядя перед собой, говорит:

— Эх, как-то там Сашка Зайцев. Нет от него сведений. Что он делает за морем, в Крыму?

Я засовываю руку в глубокий карман бушлата, вытаскиваю крошечную фотографию Сашки и отдаю Даше.

— Он парень смекалистый, — говорю я. — Дашенька-Даша, верю, жив и здоров.

Даша берет фотокарточку, долго вглядывается, долго молчит. Нас выводят из оцепенения голоса девчат:

— Чижик, Даша! Поднимайтесь с холодных камней, простудитесь!

— Черта с два! — ругается Дашка. — Ничего нас не берет. Хоть бы в госпитале, что ли, поваляться недельки две... — И опять она невесело, по-мужски бранится.

У Даши слова одно, а в душе другое. Конечно, ей грустно, война никого не веселит. Вдруг распрямляется, как пружина, вскакивает, поднимает меня, хохочет... Девчонки усаживаются на бревне, и мы с ними. Крики чаек, шум прибоя — все это радость и все это жизнь. Мы задумываемся и замолкаем, глядя, как на небольших волнах плавают, то и дело скрываясь под водой, чайки-нырки. Где-то в стороне Турции сгущаются облака. Поднимается холодный ветер, а я запеваю:

Не надейся, рыбак, на погоду,
А надейся на парус на свой,
Не надейся на синие волны,
В них скрывается камень морской.

Песню подхватывают девчата. За первой песней вторая — о подвигах, о войне:

Когда-то я был под Одессой,
Шла в бой тогда наша рота,
Бежал впереди с автоматом в руках
Моряк Черноморского флота...

Уже темнело, мы побрели потихоньку к нашему общежитию. Вдруг дальний голос:

— Евдокимова! Ев-до-ки-мо-ва! К начальнику «Школы»!

Запыхавшись вхожу в кабинет, козыряю:

— Боец Евдокимова. Явилась по вашему приказанию.

— Вольно... Что, Чижик, надоело небось ходить без работы?

— Да, надоело.

— Ты не будешь против, если пошлем тебя с одним парнем на практическую связь в Геленджик? Поедете на машине. Старшим будет Максимов Аверкий. Отправитесь в путь через час, как только стемнеет.

Я смотрю на подполковника. У меня, наверно, ошарашенный вид. Как-то не верится, что речь идет о том самом Максимове... Неужели начальник догадался о моих чувствах? Ну уж нет, он бы нас ни за что

не послал в паре. «Аверкий, Аверкий, — крутится у меня в голове. — Вот так имечко!» Ни с того ни с сего я начинаю громко смеяться.

— Очнитесь, Евдокимова! — нахмурившись, говорит начальник. — Что с вами?

— Аверкий... — вырывается у меня. — Такое у него имя?

— Не задавайте никчемных вопросов! — обрывает меня подполковник. Но я вижу: ему и самому смешно. — Пожалуй, старомодное имя, — соглашается он, — но что поделаешь.

А на меня накатывает безудержное веселье. Чувствую — так с начальством говорить не положено, но справиться с собой не могу.

— Товарищ подполковник. — говорю я и прыскаю от смеха, — у писателя Гоголя я читала имя Акакий...

— Шуточки отставить, — обрывает меня начальник «Школы». — В чем дело? Что вы так разошлись? Собирайтесь и выезжайте на практику.

— Есть собираться на практику... Разрешите вопрос.

— Спрашивайте.

— На что мне практика? Кажется, во всем был порядок. Посылайте прямо на боевое задание.

На меня напал дух строптивости. Надо бы радоваться, что судьба в лице начальника «Школы» преподнесла такой подарок. Сейчас познакомлюсь с тем самым юношей. Но это-то меня и пугало: сумею ли себя вести, смогу ли быть спокойной? И вообще, как держаться? Ах, если б с нами поехала Даша...

— Вы что, отказываетесь? — повышает тон начальник «Школы», и я понимаю: сейчас получу хорошую взбучку.

— Никак нет, не отказываюсь, — торопливо говорю я, и подполковник отпускает меня с миром.

Через десять минут подбегаю с вещмешком к полutorке. Тут собралось человек десять. Темно. Я кричу:

— Даша, Даша Федоренко!

Ее нет.

Старшина командует:

— По местам!

Мы взбираемся на машину, рассаживаемся на дне кузова, рядом устраивается давно мне известный Сенька Лобов из нашей разведшколы. Мы с ним особо не дружили, а все-таки он свой. Остальные новички.

— Сень, а Сень, — шепчу я, — где тут Максимов Аверкий?

Сенька протягивает руку, показывает пальцем:

— Га! Неуж не видела. Вот он. Мост взрывал на лекции. Смотри, согнулся, как аршин, только сел — уже спит.

Черта с два он спит! Спрятал лицо, чтобы меня не видеть. Откуда я могла знать, что это так? Знала, была уверена.

Машина мчится по извилистой дороге в гору, потом под гору. Поднимается луна, светлеет. Машина резко тормозит.

— А ну, ребята, девочки, вываливайтесь за борт! — кричит шофер. — Разомнитесь, посидите за кустиками. Ехать далеко...

Надо ж так: «Посидите за кустиками...» Рядом со мной стоит этот самый Аверкий.

Я его спрашиваю:

— Как тебя называть? Веркой, что ли?

— Как хочешь, так и называй, — говорит Максимов и отворачивается.

Назло ему я тоже отворачиваюсь и бегу. Думаю: «Если пустится догонять, значит, нахал и дурак!» Нет, не побежал, и мне стало досадно. Когда снова погрузились, я надеялась, что Максимов додумается сесте:

со мной, а он забился в угол. От обиды я спрятала лицо в воротник и вскоре уснула.

На заре приехали в Геленджик. Городок крепко разбомбили немцы. Полуразрушенные дома пустовали. Наша группа разбрелась, как и было приказано, попарно. Большею частью мальчишки с мальчишками, девчонки с девчонками; я должна была идти с Максимовым. Машина ушла, мы остались на дороге одни. У него вещмешок и рация с комплектом питания, точно так же и у меня. Мы бойцы Красной Армии, одеты одинаково — бушлаты, кирзовые сапоги. Только и разница — у него пилотка, а у меня берет. Правда, он высокий, а я против него совсем маленькая.

Максимов говорит:

— Меня ребята прозвали Складным, а ты, я знаю, Женя Чижик.

Отвечаю ему и дерзко смотрю в глаза:

— А я подумала было, что ты Складной. Такое прозвище тебе больше подходит.

Он посмотрел с хитрецей — глаза синие:

— Оставь, разведчица. Кто складный, а кто ладный, потом выясним. Договорились? Задача такая: надо поскорее связаться со штабом, а то нас опередят. Давай пойдем — вот дом пустой, крыша целая.

— Давай...

Максимов пошел впереди, я за ним. Он хотел казаться суровым, а я хотела, чтобы видел меня дерзкой и боевой. Но мы оба знали — на практику зря не посылают. Начальство будет судить по результатам: кто скорее наладит связь и передаст толковую радиogramму. На практику посылают перед выброской с важным заданием, начальству нет дела до того, какие отношения у двух радистов-напарников.

Максимов идет по тропинке между аккуратно подстриженными кустами к чьей-то каменной даче. Не оборачиваясь говорит:

— Ты меня слушаешь, Чижик?

Я ему задиристо отвечаю:

— Должна слушать, ты же считаешься главным.

Думаю: сейчас обернется, сейчас обернется. А он, может быть, стеснялся, разве так не бывает? Дрожит голос. Как сейчас помню — бас. Он этим самым дрожащим мальчишеским басом отвечает:

— Я учился на минера-подрывника. Нам давали уроки радиосвязи, но практики было недостаточно. Я больше радиотехник, чем радист. Подполковник сказал, что ты опытная...

— Да, опытная! — отвечаю я с фасоном.

— Во всем? — спрашивает он и глупо смеется.

— Дурак! — отвечаю я.

Максимов оборачивается ко мне, глаза нисколько не хитрые.

— Чижик, — говорит он, — здравствуй! — У него восторженно получилось.

— Ты что? Глупый от рождения?

Он по моим глазам видит, что я ему посылаю привет, но не откликается, изо всех сил стремится держаться в рамках.

— Прости меня, — говорит он, — я должен бы сразу поздороваться. Но ведь время идет, правда?

Мы входим в дом, под ногами кирпичная крошка. Гуляет ветер, гремит железо. Находим уцелевшую комнату. На стене колышутся под сквозняком смешные картинки — зайчики, медвежата. Стоит детская кроватка без матраса — одни пружины. Закрываем за собой дверь. Ветер все равно дует. Два окна. Одно целое, другое без стекол. Тут не было немцев, дом разрушен бомбой, но берет такая тоска, что мне уже не до Аверкия. Может, никто здесь и не был убит, но мне мерещится кровь, вспоминаю, что видела по ту сторону фронта...

Переламываю себя и быстро разворачиваю рацию. Сидя на полу, выстукиваю ключом свои позывные, передаю, сочиняю из головы сообщение. Штабной оператор мне отвечает:

— Ваша радиограмма поступила первой.

Максимов нависает надо мной:

— Ну что там, как?

Ему, конечно, хочется, чтобы мы в соревновании вышли вперед. Говорю ему:

— Порядок.

— Так быстро?

— Слушай, старшой,— говорю я.— Холодно и есть охота.

Мой Максимов преобразается. Выбегает из дому, снова вбегает. Вот у него в руках кусок почерневшей фанеры, торчат изо рта гвозди. Вот он достает из-под бушлата охотничий топорик. Тут-тук-тук — забито окно. Тут-тук-тук — наколоты полешки. Горит в печке огонь, закипает на огне открытая банка с мясными консервами. Откуда-то является табуретка, на ней газетка, на газетке нарезан хлеб.

— Товарищ принцесса, кушать подано!

— А ты, старшой, и правда Складный... Только говорить надо не принцесса, а принцесса.

— Я нарочно, Чижик, неужели не понимаешь?

— А зачем нарочно?

Мы едим тихо-тихо, стараемся жевать аккуратно, не показывать жадность. Мы боимся друг друга. Я думаю, думаю, потом говорю:

— Я тебя буду называть Ава. Можно?

Наша сиротская комнатка, где когда-то спал ребенок, наполняется теплом. Мы снимаем с себя бушлаты, кидаем на кровать. Максимов подходит со спины и целует меня, целует. Я замираю от счастья, но мне страшно, я отбиваюсь:

— Уйди, отойди!

Вырываюсь из его рук, становлюсь у окна и гляжу на далекое бурное море. Из черных низких туч одна за другой вываливаются и медленно плывут над волнами в сторону Новороссийска толстые рыбы.

— Смотри, это «хейнкели».— говорю я, чувствуя, что за спиной стоит Максимов.

— Все равно я тебя люблю,— хриплым баском отзывается он.

Мне семнадцать, Аверкию девятнадцать лет. По-моему, он самый красивый и, я верю, самый умный и самый ловкий, хотя у него и нет седого чуба и волосы не кудрявятся, как у Сашки Зайцева.

Откуда приходит любовь?

Я вынимаю из кармана часы. Спешит, торопится секундная стрелка. Кроме нее, я отчетливо вижу, как неумолимо пододвигается к цифре XII длинная, минутная.

— Старшой,— говорю я и не узнаю своего голоса.— Двенадцать ноль-ноль, твое время, вызывай штаб.

Он умоляюще смотрит на меня:

— Можно, буду работать на твоем «северке»?

Я мотаю головой: нет, нет, нет!

— Ты же быстрый, ты же Складный! — Этим я подразумеваю, что он должен сам развернуть свою рацию, сам связаться, сам передавать. А он все смотрит мне в глаза, не может оторваться. Кончается тем, что я его подпускаю к своему передатчику.

Сидя на полу, он выстукивает свои позывные. Рука плохо слушается, наушники сползают с головы, лицо несчастное. Кладу свою ладонь на его руку. Теперь, когда мы стучим вместе, все идет хорошо

— Давай текст,— шепчет Максимов.

Ему кажется, что оператор штаба может слышать наш разговор. Чтобы подразнить Аверкия, диктую:

— Люблю тебя, люблю!

Был бы он настоящим радистом, так бы и передал: рука бы сработала автоматически.

Нет, Аверкий решительно сбрасывает мою ладонь и выстукивает открытым текстом:

— Шестерка «хейнкелей» развернулась в сторону Новороссийска.

Я кричу:

— Ава, Аверкий! Нам запрещено передавать открытым текстом!

Он смотрит на меня с недоумением:

— Пока я составляю радиограмму, сколько пролетят самолеты?

Меня обжигает стыд. Верно. Одно дело условная военная игра, практика, и другое — наблюдение за противником. В данном случае секретность значения не имеет. Важна быстрота: штабной оператор успеет связаться с Малой землей под Новороссийском, там подготовятся к огню зенитчики.

Выходит, хоть я и опытнее,— Максимов лучше ориентируется в обстановке. Вот почему начальник «Школы» назначил его старшим.

...Трое суток длилась наша практика.

Максимов со своим «северком» уходил за десять — двенадцать километров и оттуда вызывал меня. С каждый разом все быстрее выстукивал текст — старался показать свои способности.

Он возвращался — уходила я. В часы встреч, чаще всего ночами, я показывала ему приемы быстрой и четкой работы ключом. Потом мы говорили, говорили. Я рассказывала, какие приключения выпали на мою долю в тылу врага, но не упоминала ни Кущевку, ни Нальчик: ему ведь не полагалось знать, где и что я разведывала. Не полагалось ему знать и правду о том, где я жила, кто мои родители, чем занималась до войны. Вот уж секрет так секрет! Будто не понятно, что училась. Вдруг он рассмеялся:

— А я знаю — ты была под Нальчиком, ты родом из Сухуми...

— Знаешь — помалкивай. Я о тебе тоже слышала, что тебе дорожке всего мины, а влюблен ты в полковника Старинова...

— Нет, влюблен только в тебя. Пусть нам нельзя говорить, где мы родились и жили, но ведь можно же о будущем, правда?! Где бы ты хотела, чтобы мы с тобой поселились? Мы с тобой, с тобой, только с тобой!

У него это хорошо получалось, как песня. И я ему верила. Мы сидели при свете каганца из консервной банки, забывали время, забывали, что кругом полыхает война. И притом наши разговоры были военными, всегда военными. Он прерывал поцелуи и принимался быстро-быстро рисовать схемы действия разных мин. Он хотел, чтобы я знала все, что известно ему, и чтобы мы вместе вылетели в партизанский отряд.

— У партизан не запрещено любить друг друга,— говорил он с жаром.

— Но ведь и умирать не запрещено,— смеясь, отвечала я.— Ты представляешь — тебя убьют.

— А ты тогда что сделаешь?

— Убью десять. нет, двадцать... нет, за тебя подорву целый эшелон, тысячу фрицев.

— А потом полюбишь другого?

— Никогда никого!

* * *

Однажды случилось — Аверкий ушел в горы. И только ушел — начался мой сеанс связи со штабом. Получаю радиogramму: «Немедленно возвращайтесь любимыми средствами!» Было непонятно — обоим возвращаться или одной? Я сообщила, что ушел мой напарник, нет возможности с ним связаться, он в пути.

Новое приказание требовало, чтобы я, Евдокимова, не теряя времени отправлялась на пристань. Там стоит барка. Она отбывает в 16.00.

Не иначе меня вызывали для важного задания. О Максимове ни слова. Переспрашивать не годится. Приказ есть приказ, война есть война. Никто не знал, никто не мог знать, не хотел знать, не имел права знать, что существует на свете любовь.

А я?

Неужели не знала, не чувствовала, не понимала?

Я плакала сердцем.

Что это еще за слезы сердца? Очень даже простая вещь: подчиняешься дисциплине, руки и ноги действуют, голова соображает, а сердце стучит жалобно и тревожно. Не знаю, как другие, — я попалась впервые. Записку Аверкию оставила сплошь из слов любви... А ну взглянет кто из нашей группы? Черт с ними — пусть читают и завидуют!.. Нет, нехорошо. Рву первую записку, пишу официальную: «Срочно вызвал штаб». Даже не подписалась.

Свернув рацию и накинув на плечи вещмешок, мчусь во всю прыть к пристани. Навстречу ветер. Холодный, злой, за три дня такого не случалось. Думаю: это неспроста. И тут как опалило: ведь я и в пути смогу в наш час связаться со своим напарником по радио. Сообщу ему обо всем. Записку, что вызвал штаб, оставлять не годится. За это, пожалуй, попадет... Круто разворачиваюсь. И вот я опять в нашей комнате. Оглядываю стены, убогую кроватку, заколоченное окно. Я их запомню на всю жизнь. Рву и затаптываю записку. И все-таки хочется оставить какой-нибудь знак любви. Выскакиваю в садик. Все мертво, ветер шуршит обшарпанными кустами. Стоит, правда, вечнозеленая магнолия, в цвету она красивая, а зимой листья у нее железные — годятся разве что на могилу... Время идет, торопит меня время. Вдруг придумала: нарисую на блокнотном листке розу. Получилось очень хорошо. Я ж подавала надежды стать художницей. Жаль, роза черная, грустная...

...И опять бегу к пристани. Ветер все сильнее. Откуда ни возьмись дождь со снегом. Это ж надо: конец февраля — и такая чертоплясия.

В Геленджике невелика пристань. Стоят два-три суденышка и одна-единственная барка — черная нефтеналивная посудина. Сквозь снежную пелену вижу — к ней швартуется буксир. Значит, порядок — моя барка. Взбегаю по шатким мосткам, гулко отзывается на мои шаги железная палуба: порожняя барка. Поплывет под погрузку в самый конец Черного моря. Захолонуло сердце: я бы на ней могла доехать до родного Сухуми, а потом дальше — до Батуми, где служит прожектористкой старшая моя сестра Мотя...

Мечты летят, им снег не помеха. Ловлю себя на том, что не прошло и двух часов, как расстались с Аверкием, но думаю не о нем, хочу встретиться с родными — истосковалась по ним душа. А в то же время теплится надежда: войду в рубку, а там .. ждет Аверкий. Ведь могло быть, что он связался со штабом до меня и получил такой же приказ.

Открываю дверцу рубки. Пусто. Большое рулевое колесо. За ним покрытая козьем мехом скамья. Бьет в нос запах нефти, чувствуется неприятность чьей-то одинокой службы. Отсюда лесенка в каютку. Там узкая койка, столик, на нем фонарь «летучая мышь», неприбран

ные бумаги. На табуретке — холодный примус, кастрюля с остатками пшенной каши...

Выбегаю на палубу:

— Э-эй! Кто тут, отзовитесь!

Ветер, снег, под ногами скользко. Волны с грохотом бьют по железным бортам. Похоже, мы отчалили. Я цепляюсь за раму двери: унесет, чего доброго, в море. Смотрю на часы — 16.15. Почти вовремя отплыли. Хорошо, я не опоздала. Надвигается из снега дядька в тулупе. Замечает меня, машет руками. По тому, как машет, и по тому, как ругается, понимаю — что-то не то.

Берег далеко — не видно ни домов, ни деревьев. Сжимается сердце. Дядька — высокий, запорошенный снегом, — подходит вплотную. Лицо страшное. Мохнатая шапка надвинута на лоб, щеки небритые, белые, брови седые, глаза смотрят зло.

— Как здесь оказалась, а? Кто разрешил? — Увидев красноармейскую звездочку на берете, он всплескивает руками в брезентовых рукавицах: — Смотри — военная! Что такое, откуда?

— Вы что, не в курсе? Не знаете? — Мой голос дрожит и от холода и от страха.

— А ну, заходи в рубку! — Дядька говорит с грузинским акцентом, мне чудится — знакомый голос.

В рубке полутемно. Дядька сбрасывает измазанный нефтью тулуп, стирает с лица мокрый снег — у него черные брови, на щеках черная щетина, черные глаза сверкают. Я думала увидеть старика, а передо мной парень. Смотрит недоброжелательно, строго:

— Куда едешь? Давай документы!

— Вам разве в порту не сказали? Вы куда держите путь? Моя часть...

И тут я окончательно теряюсь. Чувствую — произошла ошибка. Даже догадываюсь какая: я неправильно расшифровала радиограмму. Наверно, приказали идти не на барку и не на баржу, а на б а р к а с. Действительно, чего б это меня послали на баржу? А я забыла, что баркасы бывают не только весельные, но и моторные, быстроходные. Вроде бы один такой стоял на геленджикской пристани. Я покрываюсь холодным потом: что теперь будет! Как я не додумалась: если вызывали срочно, не могли послать на баржу — она ведь до Сочи будет плыть сутки, а то и больше...

Думаю, что делать, как быть. Говорю:

— Нет у меня документов...

Неожиданно хозяин баржи — или как его там называть — распахивает руки и кидается с объятиями:

— Дуся Мельникова! Откуда? Как попала? — Хохочет, тискает меня, прижимает к сердцу. — Ах ты маленькая, ах дорогая! Спускайся в кубрик. Скорей! Вижу, дрожишь, вижу, замерзла. Вино есть, коньяк есть — согреться... Ну? Чего стоишь?

И тут только я его узнаю. Не помню, как зовут. Помню, что работал на хлебозаводе, часто бывал у нас, в селе Ачадара. Одно время приударял за Мотей. Хороший парень, веселый.

Он сверкает улыбкой, я тоже стала отходить душой и улыбаться — обрадовалась: первый раз за полтора года встретила не то чтобы с земляком — с близким знакомым, почти с товарищем. Он с Мотей ходил на танцплощадку, а я в стороне стояла, никто меня не приглашал...

Спустилась в каюту, он зажег фонарь, хлопчет, усаживает:

— Устраивайся, Дусенька. Ай, как изменилась, какая стала хорошенькая... Хочешь мандарин, апельсин?.. Что же ты? Садись, Дусенька, садись!

Такой приветливый, а я окаменела. Я ж теперь под другим именем. Узнавать земляков не имею права.

— Вы, товарищ, ошибаетесь... Документов, правда, у меня нет, но никакая я не Дуса и не Мельникова...

Глупо вышло. Чувствую — краснею, запольхали уши. Вот положение!

Он смеется:

— Ладно меня морочить! Знаешь, недавно был я в Ачадаре, видел твою маму, отца. Сестренку Веру тоже видел. Она мне дала Мотин адрес — номер полевой почты... Что смотришь как неживая? Я Серго Маргелашвили, не узнаешь?

— А я Евгения Ивановна Евдокимова... С вами не знакома, никогда не видела. По приказу командования еду в Сочи...

Настала его очередь краснеть. От злости весь закипел:

— Сочи, Сочи — никакого не будет вам Сочи. Документы, гражданка. Давай документы! Нету — значит, вы арестованы.

Вот беда: мне документов не полагалось. Нам с Максимовым дали одно предписание на двоих. Как у старшего оно хранилось у него.

Не сказав больше ни слова, он вышел и хлопнул за собой дверь. Конечно, обиделся, а может, и того хуже. Через минуту влетел снова, забрал фонарь.

— Раз такая дура, сиди в темноте!

Ушел, опять вернулся.

— Спички есть?.. Отдавай!

— Не отдам!

— Не отдашь — силой отниму! Спички — зажигалки посторонним лицам на нефтеналивном судне держать не положено. Вообще не имеешь права тут находиться.

Я ему отдала спички. Он забрал фонарь, остановился в двери.

— Эх ты! Что, не вижу — ты радистка, да? Военная, секретная? Отца-мать встретишь — тоже не признаешь? От брата родного отвернешься?!

Я молчу как истукан. А что говорить? Мне и самой до смерти хочется расспросить этого Серго о маме, о папе, наверно, и с Мотей переписывается... Мне интересно, как он с хлебозавода попал на баржу.

Наконец нахожу что сказать:

— Если понял, кто я, должен понимать порядок... Был бы ты хотя бы военным. Почему не в армии?

Серго еще пуще разъярился:

— Почему-почему!.. Подумаешь, военная — околачиваешься на бережку. А мою грудь знаешь? Мой живот знаешь?! Хочешь познакомиться?! — Одним движением он скидывает с себя ватник, задирает рубашку: — Гляди!

Вижу длинный сине-красный шрам — не то ожог, не то след тяжелого ранения.

— Что это, а, Серго?

— Смотри-ка, узнала Серго.. Ты зажигалки немецкие с палубы сбрасывала? Как нефть на воде горит, видела?! Ишь, она военная. Пойдем, Дунька, я тебе покажу. Оставь мешки-коробки, подымайся наверх, море увидишь, красоту поймешь, узнаешь, кто такой Серго Маргелашвили...

Он накинуд на плечи тулуп, насунул на голову шапку и вытолкал меня на палубу.

Свирстит ледяной ветер, снега нет, небо очистилось. Море горбится волнами, лупит по борту, окатывает брызгами. Я не то чтобы идти — стоять не могу на обледенелой палубе, цепляюсь за раму двери. Серго хохочет:

— Я не военный, да? Ты военная!

Ему хорошо в валенках, в тулупе, в меховой папахе, в густой щетине бороды. Я в своем беретике, в бушлате, в кирзовых сапогах — от холода млею, зуб на зуб не попадает. Минуты не прошло — превратилась в ледышку...

Я не обижалась на Серго. На его месте и не так бы рассвирепела: какая-то девчонка строит из себя тайную персону... Он же меня знал и до войны и в начале войны, видел во мне всего лишь Мотину сестренку, ее привесок.

Спрашиваю:

— Куда меня тащишь, зачем?

— Как куда? На нос веду. Здесь я один. По штату полагается двое — война, кадров не хватает... Идем, идем. На буксирном катере мое начальство, предъявлю тебя капитану — пусть смотрит военного зайца.

Он видит — я как неживая, позеленела от качки. Пожалел:

— Ладно, стой тут.

Серго пошел к носу, а я осталась, смотрела через стекло рубки. Баржа длинная-длинная. Вдали виден синий глазок катера и толстый обледенелый трос.

Серго выпростал из-под тулупа руку с фонарем, стал подавать морзянкой сигналы.

Морзянку я легко понимала. Серго передал, что на борту женщины в красноармейской форме, и в ответ получил приказ глаз с меня не спускать. Все равно я была рада: хорошо хоть не сообщил, что у меня радиопередатчик. Вот бы началась волянка. На катере могли бы вообразить, что на баржу прокралась немецкая шпионка. Смотрю на часы — скоро мое время связи с Аверкием. Спустилась в кубрик, вытащила рацию, выбросила на палубу шнур антенны. Стала выстукивать позывные Аверкия, но помехи были так сильны, что я не могла услышать отклика. Где сейчас Аверкий? Может, в горах, а может, в пути... Я продолжала вслушиваться в радиокашу, укрепила кварцем волну — ничего не помогает. Где Аверкий, где? Скорее всего и ему приказали возвращаться. Мчитесь на попутной машине, а возможно, плывет на баркасе и думает, куда я пропала. Нет, с баркаса бы он обязательно откликнулся...

...Вернулся Серго в мокром тулупе. Кричит:

— Какое имеешь право, сейчас же прекрати!

Я ему объяснила: хочу связаться со штабом. Серго приказал немедленно спрятать рацию и коробку с питанием в вещмешок:

— Могут быть большие неприятности тебе, мне...

Тогда я решила — скрываться бессмысленно: как-никак он ведь старый товарищ, — знает всю нашу семью. Сколько можно играть в прятки! Но разговора не получилось. Серго вышел на палубу, позвал меня:

— Смотри, слушай небо!

Он тревожно сказал. Я стала слушать небо. Море шумит — мокрое, холодное море. Все-таки достигает ушей шум самолетных моторов. В просветах туч появляются темные силуэты. Чьи? Вот вопрос! Они как летучие мыши — ни одного огонька. Кто за кем охотится? Быстрый шум и медленный шум. Кто бомбардировщик, кто истребитель? А тут еще и зубы стучат.

Я говорю:

— Серго, замерзаю.

Он отвечает:

— За нами охотятся, понимаешь...

Я говорю:

— Ты же пустую ведешь баржу, чего тебе бояться?
 — Называется, военная. Если зажигательная бомба упадет на полную баржу, что будет?
 — Пожар.
 — Правильно — пожар. А если на пустую?
 — Ничего не будет, сбросишь в море, и все.
 — Ты, Дуська, что такое? Военная девочка, хорошенькая, секретненькая, больше ничего, Если подойдешь к полной нефтяной бочке и зажжешь спичку, загорится, правда? А если к пустой? Взрыв будет! Смесь нефтяных паров с воздухом. Так и на порожней барже. Разлетимся с тобой на мелкие клочки.

На счастье, небо заволокло тучами и мы смогли спуститься в кубрик. Время моей связи с Аверкием кончилось, со штабом будет только ночью. У меня сникло напряжение, почувствовала тошноту и голод, брякнулась на койку. А Серго все учил и учил, как маленькую. Меня сильно знобило. Он мне предложил коньяку. Я отказалась, он выпил. Дал мне хлеба, кусок жареной свинины. Я из-за качки неспособна была куска проглотить. Он настаивает:

— Я тебе говорю: выпей, легче будет.
 С надеждой я посмотрела на примус.
 — Согрел бы лучше чайку.
 — Опять глупости. При такой качке примус — ха-ха-ха. Только на стоянке, когда нет волны. Так и живем — всегда всухомятку. Эх, Дуся, в армии лучше, я мечтал попасть в армию...

Он меня упрямо называл Дусей, и я понимала: маскировка перед ним — дело бессмысленное... Не знаю, как случилось — меня сморил сон. Сквозь дремоту чувствую — стало тепло. Еле-еле продрала глаза. Оказывается, Серго укрыл тулупом... Качается под потолком фонарь. Бегают по каютке длинные тени. А мой хозяин навастривает на ремне бритву, потом намыливает перед зеркальцем щеки. Я испугалась: неужели станет в такую качку бриться? Обязательно изрежется.

Серго заметил мой испуганный взгляд, рассмеялся:

— Спи спокойно, не для тебя бреюсь...

И опять я куда-то провалилась. Проснувшись в полной тиши. Не бьются волны о борт, не качается фонарь. Стоит передо мной молодой морячок в наглаженном кителе, в фуражке с серебряным крабом. Командует:

— Хватит нежиться, подымайся — будем причаливать!

— Что, Сочи?

— Смотри, Сочи ей снится... Туапсе. Дальше не поплывешь. Сейчас сдадим тебя, товарищ боец, военному коменданту... Слушай — не вздумай проговориться, что меня знаешь, ничем не показывай. Не прощайся, не улыбайся — ничего такого не надо...

— Так ведь я тебе с самого начала назвалась псевдонимом...

Он злиться стал:

— Замолчи сейчас же! Хуже всего, что назвалась. Я тебя с детства знаю как Мельникову — вдруг говоришь: Евдокимова. Выходит, расшифровалась, демаскировалась. Отчислять тебя надо из разведки. За такие дела крепко попадет. Заруби на носу: я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Договорились?

— А если просто сойду и ты не заметишь? Зачем вмешивать коменданта, а, Серго?

— Гижиа! — закричал он. — Сумасшедшая! Если сбежишь — поймут, скандал будет. Я не замечу — с катера заметят. Скажут: Серго бритый, девочка у него ночевала.

— И зачем ты только сообщал на катер?

— Хватит трепаться. У тебя что? Дисциплина? А у нас нет? У тебя устав, а у нас, думаешь, по головке гладят?

Серго мне подмигнул, но я поняла: от официального тона больше не отойдет.

Светало. Он встал у штурвала, я натянула на плечи вещмешок... Ох, как хотелось убежать, выпрыгнуть незамеченной. Мне было стыдно и грустно, очень грустно и очень стыдно. Будто и не имела никакого военного опыта, не вылетала в тыл врага, не получала благодарностей командования. Снова я чувствовала себя маленькой школьницей... Серго держался надменно: настоящий морской волк. Я с восторгом смотрела на его гладко выбритые щеки. Ни одного пореза. Вот это да. Мог бриться при такой качке!

Убежать от его внимательных глаз не удалось. Когда пришвартовались, он передал меня капитану катера, капитан отвел к военному коменданту...

...До сих пор все говорили, что я везучая. Началась полоса невезения.

* * *

Может, и не стоило бы писать, как я сдуру попала на баржу. Чепуха, мелочь... Нет мелочей на войне, а тем более у разведчика. Вся моя дальнейшая судьба определилась этим случаем... Чуть не двое суток продержали меня в Туапсе. Я просила военкома, чтобы разрешил мне связаться со своим штабом по радиции, объяснила, что меня срочно вызвали с практики, ждут с нетерпением, беспокоятся, куда я запропастилась. Военком не слушал. Передал для выяснений какому-то старательному младшему лейтенанту — только что окончившему школу голубоглазому мальчику. Этот в ужас пришел, обнаружив в моем вещмешке радицию...

— Может, вы и правду говорите, но я даже понятия не имею о существовании какого-то штаба в Сочи...

Препроводил меня в особый отдел. Начались подковырки: откуда, что, почему без документов? Только на следующий день додумались — позвонили на геленджикскую пристань. Там, слава богу, вспомнили, что был звонок из Сочи — просили посодействовать в быстрейшей отправке сержантов Максимова и Евдокимовой. Ее не дождалась, Максимов уехал один...

...Какое мне было это слушать и держаться в рамках! Но в подобных случаях волнение и крик не помогают. Я же сама была виновата, не кто-нибудь. Хорошо еще, мне дали галоны в столовую и кое-как накормили. Но отправили с попутной машиной только после того, как связались каким-то образом с начальником нашей «Школы».

И вот я приехала. Стою навытяжку перед подполковником, дрожу от усталости, от страха, от голода. Подполковник смеется:

— Вы, Евдокимова, ни в чем не виноваты. Виновата Клава Пилипенко: в радиогамме вместо баркаса получилась у нее барка. Не знаете Клаву? Вот, знакомьтесь — наш новый штабной радиооператор.

Ко мне подходит девчурка моего роста, пунцовая от переживаний, вытягивается по стойке «смирно»:

— Товарищ сержант, в первый и в последний раз. Я никогда кораблей не знала. Барка, баркас, думала — одно и то же...

Подполковник ворчит:

— Штабному оператору не думать надо, а точно шифровать текст, точно передавать, точно принимать... Идите. Идите и вы, Евдокимова. Отдохните, приведите себя в порядок, а завтра утром ко мне.

Клава вышла, а меня начальник зовет обратно:

— Жаль, жаль, что вы опоздали... Вместо вас пришлось послать вашу подругу Дашу Федоренко...

Я хотела спросить куда, но вовремя вспомнила, что подобные вопросы задавать воспрещено. Еще больше хотела спросить, здесь ли мой напарник по практике. Подполковник прочитал мои мысли:

— Больше всех, знаете, кто переживал ваше исчезновение? Максимов.— Хитро прищурился и продолжил: — Ну да это и понятно: ведь документ у него был и на себя и на вас.

Я обрадовалась, заскакало сердце.

— Можно мне идти, товарищ подполковник?

Он кивнул. Я вылетела как пуля. При выходе меня дожидалась эта самая Клава Пилипенко, схватила за рукав:

— Прости, Женя. Я ведь не такая, как ты, опытная.

Вырываюсь от нее, спешу:

— Да ну, что такого! Я даже думала, что сама перепутала...

Клава меня держит.

— Тебя велел целовать... Аверкий.

— Где он?

— Этого я тебе не скажу.

Отдыхать я не пошла. В столовой во время обеда невольно зыркнула глазом на тот столик, где всегда сидел Аверкий. Увидела другого мальчика. Цыганистого, нахального. Он мне откровенно подмигнул, и многие это заметили. Он расхохотался, но никто больше смеяться не посмел.

Тут хоть и были одни новички, все знали, кто я и где побывала.

Откуда могли знать? Да вот такая Клавка разве может сохранять личные тайны? Смотришь — за личными начнет разглашать и военные.

Я разозлилась на эту девчонку — душа против нее кипела. Вы бы посмотрели — нехорошее лицо. Носик — как все равно клюв у курицы. Ах, думаю, какая же ты все-таки. Из-за тебя не повидалась, не попрощалась. Из-за тебя, может быть, на всю жизнь потеряла любимого...

Я весь вечер гуляла одна. Кто со мной встречался, по лицу догадывался: не тронь, будет плохо... Под конец голова все-таки взяла верх над сердцем. В самом деле: при чем тут эта Клавка? Неужели от нее зависит, что людей разлучают? Она еще хорошая, искренне жалеет... С другой стороны, интересно получается. Еще в школе я была отличницей, ни в одной радиопрограмме не допускала даже малой ошибки. На месте командования надо бы именно такую, как я, сделать штабным оператором. Нужен хороший слух, быстрота и точность, а думать необязательно. Думать оператору опасно — глядишь, что-то перепутаешь.

Неужели и правда позавидовала Клавке? Я тому позавидовала, что она может в радиосеансе с Максимовым передать ему слова приветствия. А так разве сравнится оператор с радистом-разведчиком? Куда бы я ни пошла, ловлю на себе взгляды, полные уважения. И не одни новички — командиры тоже поглядывают. А что такое Клавка? Секретная девчонка и больше ничего...

Вспомнила я и баржу. Как же было досадно, что не имела права рассказать Серге о своих подвигах. Он передо мной бахвалился, показывал шрам, потом при неистовой качке побрился, чтобы я поняла, какой он опытный моряк. Подумаешь, подвиг! Побывал бы с дедом Тимофеем в Куцевке, выбросился бы с парашютом в гущу немецких войск под Нальчик. Там бы краба на фуражку не нацепил и морской формой не похвалился. Не было бы ни коньяка, ни мандаринов с апельсинами...

Так я думала, но мыслями своими осталась недовольна: нехорошо, несправедливо ты рассуждаешь, Мельникова-Евдокимова! Серге тебе дал урок, чтобы не воображала и не зазнавалась. Такие, как он, хоть

и не числятся в армии, испытывают и тяготы и опасности наравне с нами. Потом вспомнила его горькие слова: «Отца-мать встретишь — тоже не признаешь? От брата родного отвернешься?» И действительно, обнял как родную и ухаживал, как старший брат. Я его обидела недоверием — он простил, укрыл меня, согрел. Я хоть ничего у него не спрашивала, он успел сказать, что папа и мама живы-здоровы, что Верка растет, что Мотя в порядке...

За эту ночь моя ватная подушка напиталась слезами. А утром начальник оперативного отдела штаба Северский сразу же после завтрака вызвал в кабинет для серьезного разговора.

* * *

Вот я написала про слезы и раньше тоже писала, хотя и лила их всегда втайне от всех. Слезливость и даже нервозность в моем личном деле нигде не значились, и подруги не замечали, не говоря уж о начальстве. Не могу даже сказать со всей определенностью, что тайные слезы хоть в какой-то мере показывают слабость души. Прошло с тех пор тридцать лет, но и теперь я, бывает, плачу, но не для других, даже не напоказ членам семьи. От отца и матери, от мужа, от детей я слезы всегда скрывала — находила способ выплакаться без свидетелей. И еще хочу сказать: во фронтовых условиях или на территории, захваченной противником, а также в дни подготовки к выброске плачешь втихомолку чаще всего, если совершаешь ошибки и обижаешься на свою собственную неловкость и незрелость. Конечно, бывают слезы радости, но всякий понимает, что это совсем другое, такие слезы не скрывают, с рыданиями они ничего общего не имеют...

После ночных слез и раздумий я была пасмурной. От долгих переживаний тяжелеешь и киснешь. Конечно, раньше чем войти к начальнику, я оглядела себя и подтянулась. А он, как опытный командир, хоть и видел, что стою перед ним молодцом, что-то такое подметил и покачал головой:

— Вольно, Евдокимова! Садитесь и слушайте...

Начальник оперативного отдела крымского штаба партизанского движения Георгий Леонидович Северский вызывал меня впервые. Я его, конечно, знала, знакома не была, но видела. Он обращал на себя внимание яркой молодостью лица, чеканностью шага, замечательной выправкой. Ему, верно, было лет тридцать, но даже на мой взгляд, при том, что он занимал такой пост, в нем как ни в ком другом из командиров чувствовалась легкость и пружинистость; его даже встречать на улице было приятно, он излучал силу и жизнерадостность...

И вот я у него в кабинете. Он мне командовал «вольно», но я, хоть и села, вольно перед ним себя чувствовать не могла. Потому как была самым его вызовом подготовлена к тому, что речь пойдет о новом вылете. Я увидела перед собой на стене карту Крымского полуострова — линии, стрелы, черточки, кружки...

Я сидела. Северский передо мной вышагивал.

— Вот какое дело, товарищ сержант... Такое дело, что приказом не обойдешься... Уже три недели, как мы выбросили в Крым, а точнее в горный лес между Джанкоем и Керчью... Впрочем, там ни гор больших, ни настоящих лесов нет, партизанские силы находятся почти в непрерывном движении. Да, так вот, в тот район для связи с партизанами был выброшен небезызвестный вам радист-разведчик, весьма опытный и ловкий парнишка, Александр Зайцев. И... понимаете, какая штука — сведений от него мы и поныне не имеем. Связь нужна. Необходимо связь с партизанами этого района. А ее нет. Раньше была, но скоро месяц — пропала. Что там у них случилось?.. Может быть, про-

сто нет питания для рации, сели батареи. Хочется думать, что дело только в этом. А Зайцев... Зайцев не дает о себе знать...

— Неужели погиб?! — вырвалось у меня.

Северский поморщился. И правда, разве можно знать — погиб ли, ранен ли, попал ли в плен. Принято надеяться на лучшее.

Подполковник продолжал:

— Зайцева мы выбросили одного. Без проводников и даже без опорных точек.

...Никогда еще со мной ни один командир так долго и обстоятельно не говорил. Я вся напряглась. Стараюсь угадать, чего он добивается. Думаю, сейчас скажет: хотим выбросить вас, как и Зайцева, без точных координат, в надежде на авось и на ваше умение. Я именно этого ждала, понимала, что ничего хуже быть не может. Буду болтаться в неведомом краю одна-одинешенька. От этого стало страшно, а чтобы преодолеть страх, я тут же воскликнула:

— Разве я когда отказывалась!..

Он мне договорить не дал. Велел слушать внимательно.

— Речь вот о чем. Есть один майор... В дальнейшем вы его будете именовать товарищ Зубр. Он предложил выбросить группу парашютистов, сам же ее подготовил из молодых ребят. И хотя Восточный Крым, куда надо лететь, он знает плохо, никто лучше его не умеет ориентироваться в подобных условиях. Радистом мы намеревались послать с ним Дарью Федоренко, но сочли нужным направить ее в район, куда предполагалось выбросить вас. По вине оператора вы задержались. Тогда решили было остановиться на кандидатуре Максимова, однако он в тылу врага еще не бывал... Майору нужен радист-разведчик с репутацией, опытный, решительный... В случае чего на него вся надежда...

Северский замолчал. Видно, ждал, что я стану говорить. Мне как бойцу полагалось бы вскочить и браво взять под козырек: «Служу Советскому Союзу!» Этим я показала бы строевую выучку. Но по глазам подполковника я видела — он добивается другого. Моего мнения, что ли?

Подымаю руку:

— Разрешите вопрос?.. Вот вы сказали, что майор Зубр, который нас поведет, обстановку знает недостаточно. А я тем более — в Крыму никогда не была. На кого и на что мы будем опираться?

— А на кого вы, Евдокимова, опирались в Нальчике?

— Знала и всеми порами чувствовала — наступает Красная Армия. В ней была надежда и повседневная поддержка. Кроме того, контактовалась с местным населением, ощущала братскую руку помощи...

Я старалась, как на экзамене.

— Да-да... — сказал подполковник. — Плохо разведчику без поддержки. В Крыму, куда полетит десант, нашего наступления пока не предвидится. Слышите: пока. Задача в том и состоит, чтобы подготовить наступление, облегчить его, ослабить противника. Что у нас имеется? Подробные карты, свежие данные аэрофотосъемки. Со всем этим мы вас познакомим. Но раньше надо решить, по силам ли нам подобная боевая разведка... на два фронта. Нет опытных людей. Вы понимаете, товарищ Евдокимова?..

— Какие два фронта? — вырвалось у меня.

— Два фронта вот какие. Часть группы должна, может быть даже с боем, углубиться в лес, чтобы отыскать партизан. Туда пойдут минеры-подрывники. Если партизан не найдут, придется им самостоятельно совершить ряд диверсий на железной дороге Джанкой — Керчь или на ее феодосийском ответвлении... Задача второй части группы —

выйти на скальный выступ к берегу Черного моря, найти и зафиксировать точные координаты подземной крепости... Это не обычная крепость, а надежно замаскированная в карстовых пещерах крупная артиллерийская часть, выдвинутая к береговой кромке и оснащенная мощными дальнебойными орудиями против наших военных кораблей.— Подполковник стал водить указкой по карте.— Смотрите, это район Семь Колодезей— самый узкий перешеек между Черным и Азовским морями. Примерно сюда выбросим десант...

...Кто-то рывком открыл дверь кабинета; вошел плотный, крепко сбитый военный лет сорока. Молча пожал руку Северскому, остановился против меня, посмотрел в глаза.

— Чижик? Так, что ли? — А сам все смотрит, смотрит, испытывает. Белки глаз у него с красноватыми прожилками.

Я перед ним вскочила:

— Сержант Евдокимова...

— Это я как раз знаю; и то, что Евдокимова, и то, что Чижик, и то, что считаешься везучей. С нами-то полетишь? Имей в виду — ребята молодые, хоть и хорошо обученные, но в настоящих переделках еще не были. Большею частью минеры, но и стреляют дай бог.

Мне майор понравился открытостью и силой. Было понятно, почему взял себе псевдоним Зубр. А может, и не сам — нарекло начальство. Все равно ему такое прозвище было и к лицу и к фигуре...

— Ну что? Решилась? Полетишь?

— Полечу! — сказала я.

* * *

Когда вышли на улицу, майор Зубр повторил:

— О тебе говорят — ты везучая. Берем это дело на вооружение. Ребятам, которых я отобрал, известно, что именно по этой причине добиваюсь тебя заполучить. Подымаю твой авторитет. Кроме того, учти: сегодня шестое, вылет произведем завтра, в ночь на восьмое марта, и ты у нас в Женский день будешь как ангел-хранитель. Договорились?

Я рассмеялась. Этот майор, чернявый, плотно сбитый, широкоплечий, был похож на циркача.

Отвечаю ему:

— Над Нальчиком я в сочельник летала, как ведьма. Теперь вы меня зачисляете в ангелы. Разрешите, останусь Чижиком?

Он кивнул. Немного помолчал, потом говорит:

— Сейчас познакомлю тебя с моими хлопцами. Держи нос на вздержку!

Входим во двор какого-то дома отдыха. Тут, оказывается, эти парни нас ждут. С ними ни старшины, ни сержанта. Сидят на ступеньках крыльца, до обеда осталось пятнадцать минут, прикидывают, наверно, — отпустят к сроку или придется есть холодную кашу. Вскочили перед майором. Он с ходу начал речь:

— Мечта ваша исполнилась, поздравляю! Командование школы доверяет вам и мне важнейшую операцию...

Майор говорит, а я вижу — крепкие ребята, хорошо стоят. Особо высоких нет, да и не положено отбирать в разведчики слишком выдающихся. Предпочтителен средний рост. Ребята, конечно, поглядывают на меня. Тот цыганитый парень, который в столовой умудрился мне подмигнуть, видит, что я его разглядываю, и кривит губы.

Рядом с ним маленький, рыжий, лицо усыпано веснушками, глаза ярко-голубые. Этот, поймав мой взгляд, покраснел, будто школьница.

Еще одного я заметила. Бутуз. Его небось мама пирожками откармливала. Притом выражение сознательное. Такие ищут глаза

учителя и чуть что тянут руку: вызовите меня. Еще минута — и лица смешались. От напряжения устала, опустила глаза.

Опустила и думаю: интересно, в жизни мы с первой же встречи определяем, есть в человеке симпатия или нет. Для другого, может, и есть, а для меня нету. Что тут делать — не понравился, все! Здравствуй-прощай — и никакой дружбы. То в гражданке, то есть в гражданской жизни. А на войне? Начнет командир отбирать бойцов по симпатии, пожалуй, и без людей останется.

Майор представил меня как радистку группы. Я пожалала руки десяти человекам подряд. Сережа Толстяк, Андрей Толокно, Виктор Чуб, Петр Железка и так далее... Левофланговый, самый маленький (а все-таки повыше меня), — Коля Рыжик. Все, кроме Коли, рассмеялись — собрались до пары Чижик и Рыжик... Да, забыла сказать, что этот нахальноватый парень оказался по имени Геннадий, а по прозвищу Цыган. Говорит так, чтобы все слышали:

— Чижик Рыжику глаз не выключет, ха-ха-ха!

Обыкновенная товарищеская шутка. Но я вспыхнула:

— Держись, Цыган, за свой карман! — Этим я хотела сказать, чтобы не задирался и бросил свои хихоньки да хахоньки.

Скорей всего не очень удачно получилось: опытная разведчицарадистка, а веду себя чересчур развязно — встала с ребятами на одну доску.

Мне хотелось понять, как майор на все это смотрит. Глянула в его сторону — увидела спину. Он ушел не попрощавшись. Да и чего, действительно, прощаться: свел меня с группой, и ладно.

Ребята меня окружили. Я знаю — им есть хочется, обеденное время.

— Сейчас будете меня расспрашивать или сперва пойдем в столовую?

Молчат. Не иначе ждут приказа. Они курсанты, а я как-никак готовый сержант. Мне стало смешно: здоровые, сильные, я перед ними кутенок...

— Решено, — говорю, — сперва подзаправимся. Ладно, ребята, идите. После обеда встретимся.

После обеда я с ребятами разговорилась. Мы сидели на открытой веранде, под лучами солнышка. С моря дуло теплом и весенней влагой. Я рассказала, как меня выбрасывали и как обманывала фрицев, притворяясь неразвитой девчонкой пионерского возраста. Слушали меня ребята не то чтобы со вниманием, а с каким-то нетерпением, и это меня подгоняло: не могла нащупать, чего они от меня ждут. Стали задавать вопросы, я отвечала. Опасалась, что Цыган будет мешать, а он как нарочно держал дисциплинку. Если кто отвлекался или переговаривался, он пресекал:

— Замолкни, Штык!.. Дай слушать, Рыжик!

Такой старательный. Например, спрашивает меня:

— Вот вы рассказывали, товарищ сержант...

— Называй меня по имени или по прозвищу, зачем выкать. Так что ты хотел узнать?

— Ладно. Я тебя слушаю. Как ты передавала сведения, как встречалась с немцами?.. Ты с пистолетом ходила и с гранатами?

— Когда ходила, а когда и ползала.

— А зачем пистолет и гранаты, если не убила ни одного фрица?

— Как так не убила? Разведчик, если без этого невозможно, стреляет в последнюю секунду. А врага уничтожает тем, что наводит на него наш огонь. Вызывает самолеты или дает координаты артиллерии.

— Понятно, — сказал Цыган.

Он так сказал, будто и правда со мной во всем согласился. И я продолжала свои рассказы.

Были и другие вопросы. Например, тот парень, которого я раньше определила как выскочку, действительно заглядывал в глаза и пользовался любым случаем, чтобы хоть что-нибудь спросить: «Как спит разведчик, когда?.. Ты радистка — если отобьешься и останешься одинокой, сможешь связаться со штабом? А если кто из нас отобьется, станут нас искать, кто?.. Ты вылетала в штатской одежде, но ведь мы десант в военной форме, значит, отговориться, как, например, ты в Нальчике при встрече с часовым, будет невозможно?»

Отвечаю и при этом чувствую, что нет в моем голосе твердости. Это ж не боевая учеба, я могла только делиться тем опытом, какой у меня был. До сих пор вылетала в тыл как крестьянская девчонка, а в боевую разведку не ходила ни разу. Раскидываю умом и так говорю:

— В группе есть старший, без его приказа стрелять и обнаруживать себя никому права не дано.

Тогда поднимает руку Цыган:

— А если встречу с фрицем нос к носу, кричать старшего или ждать, что немец меня пристрелит?

На этот раз он опять пустил в ход подковырку, желая меня сбить. Остальные ребята, я вижу, слушают с жадностью. Понимаете: одно дело, когда поучает командир, и совсем другое — товарищеская беседа. Теперь вижу — лучше всего было бы откровенно признаться: я и сама такая же, как вы, в бой вступать не приходилось. Но меня заело. Чувствую, Цыган хочет принизить.

Задерживать ответ не годится. Это действует плохо.

Беру деловой тон:

— Есть устав Красной Армии, который мы все обязаны помнить. Что же касается меня, радиосвязь со штабом надеюсь обеспечить в любых условиях... А между прочим, одинаковых обстоятельств не бывает, боец обязан быстро соображать, применяясь к обстановке, и не считаться со смертельной опасностью...

Сказав эти слова насчет устава и всего прочего, я почувствовала холодок, какой возникает, если старший по званию не умеет разговаривать с подчиненными и заменяет простоту параграфом. От стеснительности и растерянности я посмотрела на ребят, обвела их взглядом и неожиданно для себя брякнула:

— Давайте лучше споем, и если споемся, ненужные раздумья отойдут, и наперед мы не станем воображать себя мертвецами...

Цыган насмешливо откликнулся:

— Это как прикажете...

Я постаралась не обращать внимания и затянула было любимую свою песню «Не надейся, рыбак, на погоду», но от обиды голос меня подвел и я пустила петуха.

Тут начался общий смех. Я думала, злой, нет — добрый. Простецкий смех. Все, кроме разве Цыгана, смотрели на меня с улыбкой.

— Вот что, ребята, — сказала я. — Идите-ка выкупайтесь в холодном море. Так принято у разведчиков перед выброской.

* * *

Заместителем командира группы был назначен старшина Еремейчик. Я и сейчас не знаю, прозвище это или фамилия. Раньше я с подобными людьми не встречалась. Он был вполне военным в том отношении, что носил форму и на все смотрел как положено — старательно и с пониманием. Лет ему было под сорок, лысоватый, в гимнастерке и в кирзовых сапогах, которые казались самой важной его частью: тонкие

ноги как бы втекали струйками в широкие голенища, и было непонятно, как он мог ходить, а точнее — уверенно вышагивать. Он был плоский. У него грудь была плоская и лицо плоское. Я давно его знала как старшину всей «Школы», но даже предполагать не могла, что он и радист, и разведчик, и минер-диверсант. Ребята мне рассказали, что Еремейчик был тяжело ранен осколками собственной мины. И будто бы не все удалили. Один слишком близко к сердцу, хирурги вырезать не решаются. Он мог бы демобилизоваться, но из армии до победы уходить не желает.

Утро было росистое и солнечное. У меня хватало бодрости. Хотелось зажигать других, но как, я не знала. Вскоре наша группа вооружилась. К ночи мы должны были вылетать. Еремейчик после утреннего завтрака объяснил группе, что хоть и летит с нами, но еще не сдал старшинских обязанностей по «Школе», а потому Евдокимова до прихода майора будет считаться командиром группы и все должны принимать ее слова как приказ, в соответствии с ее указаниями действовать.

Мы вышли на берег моря, где на пустынном пляже были установлены фанерные мишени. Стреляли из пистолетов ТТ и одиночными выстрелами из автоматов ППШ. Это особое искусство — прицельная стрельба из автомата. Я владела всеми видами личного оружия и перед другими, кроме Цыгана, показала хорошие результаты. Прекрасно стрелял Рыжик, но всех сильнее Цыган. Он поражал мишени в самое яблочко, у него получалось легко, свободно и с шиком. Потом мы стреляли по чайкам-ныркам, и опять же Цыган показал, что автомат может служить даже охотничьим ружьем. Потом до самого обеда мы занимались изучением карты местности того района, куда предстояла выброска. Все понимали: от знания карты будет зависеть наша жизнь. Предполагалось, что группа выбросится кучно в холмах, заросших сосновым подлеском и можжевельным кустарником; от этих холмов на западе начиналось предгорье, где есть шанс отыскать партизан. На юго-востоке, за виноградниками, на самом берегу Черного моря, в карстовых пещерах располагается подземная крепость врага, к которой ведет замаскированная шоссейка. Не было сомнения, что охранение тыла крепости имеет несколько поясов. Огневые точки противника должны быть расположены как внутри, так и снаружи колючего ограждения, по которому скорей всего пропущен электроток. Если при выброске будет дуть сильный северо-западный ветер, есть опасность налететь на провода.

Было заранее определено: группа разделится пополам, а потом в течение трех суток нужно собраться в условленном пункте. Кто собьется с пути, должен пробираться к сборному пункту в одиночку.

В карте я разбиралась хорошо, ребята сразу почувствовали ко мне доверие. И Цыган не старался выделяться — похоже, насытился славой лучшего стрелка. Он, между прочим, рассказал, что еще в Осоавиахиме готовился на снайпера, но тут, в «Школе», нет ни одного ружья с оптическим прицелом.

Ох Цыган, Цыган!

* * *

Когда стемнело, старшина Еремейчик собрал всю группу и построил нас в одну шеренгу у входа в гостиницу «Сочи». Свет от фонаря был густо-синим, отчего голубые комбинезоны, натянутые поверх формы, виднелись черными, а лица казались восковыми.

Я была левифланговой, стояла рядом с Колей Рыжиком. Скосив глаза, видела, как в свете качающегося фонаря бегают по его лицу вес-

нушки. А нос заострился. И кадык на худенькой шее ходит туда-сюда.

Может быть, минута прошла, я не знаю. Часы у меня были, но я не имела права смотреть. Надо было смотреть на старшину, ждать его слова.

В комбинезоне Еремейчик выглядел стройным, бравым и значительным, нисколько не плоским. Комбинезон надевают поверх сапог. Вот почему не видны были худые ноги Еремейчика.

Он три раза прошелся вдоль строя, придирчиво осматривая каждого. Ничего не говорил, ни к кому не цеплялся. Наконец из себя выдавил:

— Как сознательным и подготовленным всем вам говорю: здесь для замечаний и вопросов не место. Подойдет полуторка, молча — я повторяю: молча, без разговоров и взаимопереканий — грузитесь в порядке спокойной очереди, то есть тем же самым строем, какой сейчас есть. И таким же строем — запомните, кто за кем — будем по сигналу летчика прыгать. Майор, командир группы, перед вами всеми первым, а я как его помощник за вами — последним... Возможно, будут уточнения. Вольно! Стоять на месте. По возможности без разговоров, тем более без шуточек. Погрузимся на машину — шутите, веселитесь хоть всю дорогу до аэродрома.

Как только перестал говорить старшина и можно было обмякнуть, ко мне повернулся Рыжик. Шепотом спросил:

— Ты чувствуешь?

— Что я должна чувствовать?

— Общее напряжение советских фронтов от Черного до Баренцева моря? Я серьезно тебя спрашиваю. Ты себя как частицу чувствуешь?

— Чувствую-чувствую.

— Думаешь, я шучу?

— Зачем... ты не шутишь. Но не надо, Коля, ладно? Напрягайся сам за себя, ладно? Пока мы здесь, на Большой земле.

Он улыбнулся, и я вдруг увидела три золотых зуба. У мальчишки золотые зубы. Почему я раньше не видела? А потому, наверное, что он ни разу при мне не улыбался. Не смеялся, когда остальные смеялись.

Я вспомнила, что перед войной на толкучке в Сухуми какой-то дядька в грязном белом халате носил на груди фанерный лоток. На лотке горкой лежали золотые коронки. Да не золотые, конечно, а медные под золото. Деревенские женщины, парни, девушки выбирали из кучи и примеряли на свои здоровые передние зубы. Для красоты. Вот я и подумала, что этот Колька Рыжик тоже так носит. Не захотелось его слушать.

— А ты стихи любишь? — спросил он.

— Люблю, люблю... Только помолчи, ладно?

Тут подошла полуторка, и мы стали грузиться. Я ждала, что из кабины выйдет майор Зубр, но в кабину сел старшина. Майор нас потом обогнал на открыто «виллисе». С ним рядом сидел начальник «Школы», а впереди, с водителем, в гимнастерке с четырьмя шпалами — еще какой-то военный.

Как я могла увидеть знаки различия? Оказывается, вышла из-за тучи луна. Для меня неожиданно. Честно говорю — я была как пришибленная. Что-то обрывками видела, обрывками слышала. Даже не лоходило, о чем говорят, сидя в кузове, ребята.

Вдруг я заметила, что рядом со мной Рыжик. что лицо у него обиженное. Может быть, я его обидела? Надо было кончать с этим

настроением. В самом деле, о чем я, когда грузились и потом, в машине, думала? Не могла отдать себе отчета. Наверное, все-таки вспоминала, как мы ехали на практику с Аверкием и как мы потом клялись друг другу в любви. Но и это было во мне смутно.

На аэродроме нас ждали все руководящие командиры крымского штаба.

Еремейчик нас построил, после чего начальник крымского партизанского штаба заговорил с нами без всякой официальности, как бы наново представил нам наших командиров — майора Зубра и старшину Еремейчика, сказав, что оба они волевые и опытные разведчики, с которыми он сам бы полетел куда угодно. Потом позвал первого и второго пилотов нашего «ЛИ-2», и они каждому из нас пожали руку. Почему-то мне запомнилось на всю жизнь, как первый пилот — высокий мужчина в красивой кожаной куртке стоял против меня и смотрел в глаза. Он удивленно смотрел, а может, и восхищенно. У него была доброта во взгляде. Правой рукой взял мою руку, а левой накрыл. Ладони горячие, прямо обжигают. Спрашивает меня с улыбкой:

— Это как называется?

Я ему тоже улыбнулась, пожала плечами. Он весело стал смеяться, но не громко, будто для одной меня. Наклонился и говорит:

— Называется — пирожок на дорожку. От него тепло доходит до самого сердца и всякая боязнь улечивается.

— Тогда и я вам сделаю, хотите?

Я стояла в ряду со всеми, но почему-то чувствовала, что нет никого. Ни командиров, ни всей нашей команды. Мы с пилотом одни. Он очень большой, я — очень маленькая.

— Хорошо, — говорит, — сделай и ты мне пирожок.

Я положила свою ладошку поверх кисти его огромной руки, и он опять рассмеялся.

Смотрю — все нас видят, и все смеются. Это было недолго, несколько секунд тепла.

Забыла сказать, что мы стояли на взлетной дорожке. Неожиданно громко раздается команда:

— По местам!

Один за другим поднимаемся по трапу. Вот оно, знакомое гулкое брюхо самолета. Вдоль бортов металлические скамьи, с потолка льется от плафона тусклый желтый свет. Второй пилот захлопывает тяжелую дверцу. Звук — как от удара по пустой бочке. Моторы пока не работают. Тихо. Майор говорит Еремейчику:

— Разобрать парашюты!

Старшина в приказном тоне обращается к нам:

— Разбирать парашюты, помогать друг другу пристегивать, проверять друг друга — все ремни и застёжки; осмотреть грузмешки, осмотреться самим; осмотреть оружие — автоматы, пистолеты, гранаты! Объявляю новый приказ командира группы: прыгать будем в следующем порядке — первым майор, за ним радист Чижик. Все остальные — от левого фланга за Чижиком; последним прыгаю я. Каждый знает, кто за кем?

Все подтвердили, что знают.

За процедурой прикрепления парашютов следили не только майор и старшина, но и первый пилот. Но вот все готово, мы садимся, еле умещаюсь на узких скамьях. Груз на каждом велик. На мне рация, два комплекта батарей — один в упаковке, другой в вещмешке с продуктами. Мешок тяжелый, пожалуй, потяжелее моего собственного веса. Его набили для быстрого снижения. Сама-то ведь я слишком легка, ветер может далеко унести. Чего только нет в моем мешке. Ну да ладно, лететь не больше двух часов, выдюжу.

Заработали пропеллеры. Все быстрее, быстрее, пока не начался общий сильный гул, самолет дернулся и, постукивая, побежал по взлетной дорожке. Каждая неровность болезненно отзывалась на моих перегруженных плечах. Я его торопила: скорей взлетай, а то еще во мне что-нибудь сломается! Но вот стук прекратился — значит, мы в воздухе.

Сидим молча. Друг на друга почти не глядим. Я вспоминаю, как летела с Дашей, Полей, Сашкой Зайцевым и Галицким в район Нальчика. Такой же был самолет, только группа поменьше. Летели весело, перекрикивались, шутили. Правда, груза такого не было. Но дело, пожалуй, не в грузе. А в чем? В тот раз летели под рождество, в этот — под 8 марта. Об этом почему-то все забыли. А как бы хорошо по такому случаю пошутить. Нет, не до шуток.

Хочу понять, почему мы такие напряженные, почему нам не до шуток. Ведь под Нальчиком нас разбросали по одиночке, значит, и опасность для каждого была большей.

Стараюсь отбросить эти мысли. С трудом приподымаюсь, чтобы заглянуть в иллюминатор. Смотрю — все иллюминаторы задрены: нельзя себя выдавать светом.

Летим, летим, постепенно привыкаем... К чему привыкаем? К страху?

Вот это верно. К страху надо привыкать, страх надо приручать. Так нас учили в разведшколе. Помню, еще говорили, что страх нужно из врага превратить в помощника. «Нет людей бесстрашных. Герой тот, кто преодолеет страх, переделает его в осторожность».

Хорошо говорить, а как исполнить? Осторожность годится в бою, в разведке. А какая у нас может быть осторожность здесь, в самолете? Страх уже есть, а переделывать его не во что. Понемногу оглядываю всех — кто как себя держит. Первым делом смотрю на командира. Он ничем не выделяется. В таком же комбинезоне, с таким же тяжелым мешком. Встретился с моим взглядом, вскинул голову: «Не робей, Чижик, не куксись! Все будет хорошо». Старшина Еремейчик сидел со мной рядом. Он уткнулся носом в какую-то книжицу. Хотя вряд ли мог при таком свете читать. Я заинтересовалась, заглянула на обложку. Устав Красной Армии. Думаю: это особый надо иметь характер, чтобы в такой обстановке... Но пригляделась внимательно — спит старшина Еремейчик. Прячется за книжку и спит. А может, он притворяется? Я от этого даже развеселилась.

Цыган, как я и думала, держался воинственно. Положил ногу на ногу, горделиво закинул голову — мол, знай наших. Вроде бы ждал, что сейчас его сфотографируют. По мне скользнул холодным взглядом: ты-то чего сюда затесалась?.. Что ж, может, так и надо. Командир в него верит...

Летим... В самолете холодно. Давит изнутри на ушные перепонки. Значит, поднялись высоко. Снова оглядела ребят. Интересно, как держится тот, что обо всем расспрашивал, — Сашка Бутуз? Гляжу — нет его. Куда мог деваться? Кажется никто с места не поднимался. Снова смотрю, считаю. Вместе со мной двенадцать человек. Должно быть тринадцать. Не выдерживаю и толкаю в бок Еремейчика. Он вздрагивает:

— А? Чего?

Кричу ему в ухо:

— Пропал Сашка Бутуз!

Окончательно проснувшись, Еремейчик говорит:

— Во-первых, Евдокимова, без паники. Во-вторых, делаю вам замечание: как это у вас, разведчицы, пропала наблюдательность? Сержант Александр Трущенко по прозвищу Бутуз отсутствует с момента

погрузки на машину ввиду его оставления на моем месте для временного несения обязанностей старшины «Школы». Вы должны такое дело замечать. В-третьих, соображайте — нас было бы тринадцать...

— Ну и что, если бы тринадцать?

— Как это что?.. — Он на секунду задумывается. — Тринадцать на два не делится. А нас должно быть две равные группы.

— Вы суеверны, товарищ старшина, — говорю я.

— Отставить глупости, боец Евдокимова!

В этот момент мы почувствовали, что самолет пошел на снижение. Все напряженно смотрели на альтиметр над дверцей пилотской кабины. Когда опустились до шестисот метров, самолет выровнялся. Еще минута — и загорелась красная лампочка. Это первый сигнал к выброске. Поднимаемся, становимся в ряд, и каждый защелкивает свой карабин на кольцо. У меня от груза и туго затянутых лямок затекли и ослабли руки. Никак не дотянусь до кольца и нет сил нажать пластинку карабина. Второй пилот идет к дверце самолета. Сейчас он ее откроет. У меня дрожат руки, в голове стучит. Вот-вот вспыхнет второй сигнал. Нервы так напряжены, что кажется: если вовремя не успею прицепиться к кольцу, выпрыгну так. Мои тщетные усилия заметил майор. Он вырвал у меня из руки карабин, мгновенно его зацепил: открылась дверца, вспыхнул сигнал к прыжкам, холодная струя ворвалась в нутро самолета. Командир группы сделал шаг, и вот его уже нет — сгинул в темноте. За ним, скрестив руки на вещмешке, лечу в бездну и я. Сильный, давно мне знакомый рывок открывшегося парашюта. Зверем наваливается на меня удвоенная резким торможением тяжесть груза. Вскрикиваю от боли. Парашют выравнивается, тяжесть становится обыкновенной, почти привычной. Вижу немного правее от себя светлый круг. Это купол парашюта. От него тянутся белые стропы. Черно и тихо. Замирает вдали шум самолета. Сердце выстукивает: «Меня там нет, меня там нет». Это по привычке — я всегда прыгала одна. Приказываю сердцу стучать: «Нас там нет, нас там нет!» Чувствую, как мокнет лицо. Значит, дождь, мелкий дождь. А нам обещали мороз. Кто-то говорил: «В Крыму сухо, небольшой мороз». А тут дождь. Неужели я и правда в Крыму? Ветер приносит свежий запах хвои. Поджатые ноги ловят землю, и я, крепко сжимая колени, сразу же падаю на правый бок и тяну на себя нижние стропы; парашют гаснет. Только что был огромный купол, теперь это белая куча. Ее только и вижу, больше пока ничего не вижу. Кто-то проходит мимо, возвращается. Это майор Зубр.

— Комкай, скорей комкай парашют!

— А я уже скомкала.

Он гукает филином — подает сигнал сбора. Слышно, как трещат под ногами сучья, чавкает мох. Еремейчик говорит:

— Все в сборе.

— Ищите расщелины, ямы, валуны. Снимайте комбинезоны, заворачивайте в них парашюты. Чтобы меньше белого. Меньше, меньше белого.

Мы разбегаемся по сторонам, хлещут по лицу можжевеловые колючки.

Слышу хриплый голос Еремейчика:

— Маскируйте парашюты качественно!

Неведомая земля, прощупываю ее ногами. Она тверда. Где валуны, где трещины? Всюду мокрая хвоя и острые живые колючки спутанных ветвей. У меня есть фонарик, но его зажигать нельзя. Становлюсь на четвереньки и нащупываю оплетенный корнями песчаный холмик. Рублю корни лопаткой, копаю наугад, и вот уже ямка на всю глубину руки. Засовываю в нее парашют и комбинезон. Сгребаю ногами

хвою и песок, затаптываю и маскирую, как можно маскировать на ощупь. Бегу на гуканье филина.

Еремейчик докладывает:

— По счету все тута.

Вся группа стоит молча, прислушивается. Ветер качает сосновый подлесок, шуршит в хвое дождичек. Воздух резко пахнет хвоей, талым снегом. Душа не верит, что, кроме нас, тут кто-то поблизости существует.

— Не дышать! Считать до восьмидесяти!

Считаем, слушаем... Шестьдесят, шестьдесят один, шестьдесят два. И вдруг — чух-чух-чух, чух-чух-чух. Поезд. Шум его нарастает. Все начинают дышать, шептаться. Минеры скапливаются в особую группу.

— Молчать! — командует майор. — Еремейчик! Когда эшелон подойдет на ближайшую к нам точку, определите на слух расстояние до полотна, число вагонов, направление движения, скорость движения, меру погруженности и предполагаемый груз.

И снова мы стоим, молчим, ждем. Еремейчик снимает с себя вещмешок, опускает на землю и рацию с комплектом питания. Тут только я вспоминаю, что он, помимо своих прямых обязанностей, еще и радист. Глаза уже привыкли к темноте, но мы друг другу еле видны. Отогнув уши ладонями, Еремейчик слушает. Поезд все ближе, ближе. Слышно, как стучат на рельсовых стыках колеса. Спросить меня — я бы сказала, что мы от него не более чем в двухстах метрах. Паровоз тоненько и резко свистит четыре раза. Потом шум понемногу стихает, удаляясь вправо.

Еремейчик уверенно и четко докладывает:

— По состоянию приглушающей влажности атмосферы предположительное расстояние от пункта наблюдения до железнодорожного полотна — тысяча двести метров. Состав сборный: пять пассажирских и девять шестнадцатитонных двухосных вагонов, груженных живой человеческой или тягловой скотской силой.

— Говорите яснее, Еремейчик. Люди, что ли? Лошади?

— Людей там нет, это фрицы, стало быть — гитлеровцы. Лошади или коровы — отсюда не чувствую. Состав идет направлением Джанкой — Керчь. Ориентировочно определяю: мы находимся в расширяющейся части перешейка, примерно в двадцати километрах от Черного и в трех от Азовского. Скорость продвижения состава порядка сорока пяти — пятидесяти километров в час: немцы тут партизан не боятся. О чем с тоской и сообщаю.

Майор приказывает:

— Отберите четверых в разведку. Группа, становись кольцом, автоматы наизготовку! До возвращения разведчиков не шуметь, не говорить. Всем поставить часы по моим: один час тридцать шесть минут московского.

Через полчаса все ушедшие поочередно возвращаются и докладывают, что поблизости никого нет. Все группой уходим цепочкой по следу Еремейчика повыше, в гущу можжевельника. Майор и Еремейчик, уединившись под плащ-палаткой, лежа рассматривают карту. Нам, собравшимся вокруг, виден мутный свет из щелочек, слышны голоса командира и его помощника. Так длится минут десять. Шуршит в руках командиров карта, свет под плащ-палаткой гаснет. Одним движением майор и старшина вскакивают, но не расходятся. Они обнимаются, троекратно целуются. Еремейчик дрожащим голосом говорит:

— Товарищ Зубр...

Майор вытирает глаза:

— Друг Еремейчик. Сколько вместе пройдено!

— Товарищ Зубр, случись что — семью мою не забудь. Адрес знаешь?..

— Знаю, знаю. Ни пуха тебе, ни пера, Еремейчик!

А мы стоим, ждем — с каждой стороны по пятеро.

— Что же вы не прощаетесь, хлопцы? — Глянув на меня, майор поперхнулся: — И девчата. А ну обнимитесь, поцелуйтесь!

И тут вдруг вышло, что меня обнимает и целует, будто мы с ним расстаемся, Генка Цыган.

Я с досады даже отплюнулась. Ведь он идет с нами.

Вот так мы и разошлись, расстались — шестеро к морю, шестеро к лесу.

* * *

Дождь сыпал мелкий, липкий, обволакивающий. Наша группа, нагнув головы, беглым кошачьим шагом упорно продиралась сквозь кустарник. Всюду под ногами хвоя, иногда мокрый скрипучий песок. Идем молча. Слышим дыхание друг друга. Шагаю и думаю — нехорошо получилось, что разделили группы только вчера, мало знаем друг друга. Нас пятеро бойцов: Генка Цыган, Колька Рыжик, Петр Железка и Андрей Толокно. Пятая я. О Генке Цыгане и Кольке Рыжике уже говорилось. Андрей Толокно по «Школе» мне тем только и помнился, что все время ужасно смолит махру и глухо покашливал. Помню, однажды я его слегка поддела: «Как же ты в лазутчики готовишься, а сам все куришь да куришь? Ты же себя выдашь. Огонь спички виден за километр». На что мне Андрей ответил: «Не бойсь, сестренка. Я одну от другой прикуриваю. Огонь раз запалю — и на весь день. А потом учти — я из шахтерской породы. У меня батька забойщик, угольщик. Учил меня держать дисциплину. Не понимаешь? В газовой шахте курить нельзя. Как в шахту спустился — забудь, что был курящим. И ничего, оказывается, привыкаешь. Поднимешься на-гора — дыми не хоч». Этот разговор я запомнила. А что еще? Ну, крепкий, широкоплечий курносый парень. Не слишком разговорчивый.

Петр Железка так держался, будто между нами протекла река. Докричаться можно, только слов не разберешь. Чем был замечен Железка? Куда б мы ни шли, звенит в кармане мелочью: вроде на сапогах у него шпоры. Нарочно, что ли, так делал? А сейчас идет и не звенит; Андрей Толокно не курит. Пойми где кто...

Тревожные мысли не покидали. Клубились в голове. Тут и отец с матерью, которых я обманула, сказав, что учусь на медсестру. Тут и Аверкий, который мог быть со мной рядом, а его заслали на противоположный берег Азовского моря... Вдруг сверкнуло, что из Крыма к нему ближе. Если б мирное время, садись в лодочку и греби через Керченский пролив. Нет, на лодочке бы не получилось, до моря нам еще шагать да шагать. По моему пониманию, мы, считая все повороты, прошли километров пятнадцать. Скоро начнутся виноградники. Карту я помню отчетливо и ярко. Она для меня освещена внутренним светом. Так было и в Кущевке и в Нальчике. А тут еще ориентир — железная дорога. В подобных условиях мне и компас не нужен. Интересно, как мог Еремейчик определить, какой состав и сколько в нем вагонов. Скорей всего сказал, чтобы вселить в своих ребят уверенность и восхищение перед его проницательностью. А может, долгая практика дает подобный навык? Еремейчик и Зубр партизанили под Севастополем, валили под откос немецкие эшелоны...

Мне идти нетрудно, меня разгрузили. В вещмешке остались только продукты. Мины и тол нашей разведгруппе не нужны — они перекочевали в мешки минеров, которые отправились искать партизан. Остальные, включая командира, тоже подразгрузились, но мне оставили меньше, чем другим. И не потому, что девчонка — сил у меня по-

больше, чем у Рыжика, — а потому, что тащу рацию и два комплекта питания. Это как-нибудь восемнадцать кило. Две гранаты тоже весят. Автомат, пистолет, фляжка с водой, лопатка — все тянет к земле. Но пока шли сосновым подлеском, было легко. Тем более мы спускались под уклон. Вот только напрасно одели нас в теплые бушлаты, в ватные штаны, в шапки из искусственного меха. Не знаю, как другие — я от испарины больше мокла, чем от дождя, хотя плащ-палатку отбросила за спину.

Когда вышли к виноградникам, командир подал знак, что пора сделать передышку и прислушаться. Я глянула на свои светящиеся часы: 5 часов 21 минута.

Я так считаю, что тревога всегда подступает раньше изнутри, чем снаружи. Непонятно даже, с чего начинается, но уже чувствуешь, что вся напряглась.

Прошло минуты две, и мы стали замечать дымящийся в волнах тумана рассвет. Туман пока что прозрачный. Во всяком случае, настолько, что можно различить предметы. И тут откуда ни возмись сорока. Она поднялась с сосенки и пустилась над нами кружить. Не на высоте, а понизу, будто козодой или даже летучая мышь. Правда, звук ее полета слышен — не то что у ночных птиц.

— Молчи, проклятая, молчи! — злым шепотом сказал майор Зубр.

Я думала, он ко мне обращается, так как была только одна женского рода. А ведь я и слова не проронила, не кашляла, не чихала. Оказывается, командир заклинал молчать сороку.

Что за подлая жизнь у этой птицы! Я тогда еще лесных условий не знала. Позднее, когда партизанила на Украине и в Польше, мне пришлось сорочий нрав прочувствовать на себе сполна. С детства я от старших слышала, что сороки похищают блестящие предметы, за что в народе их прозвали воровками. Однако сорока хуже чем воровка: будто по найму Гитлера, она действовала против партизан и разведчиков. Сорока живет в лесу, но ради того, чтобы напасть, готова даже лететь в населенный пункт или в воинскую часть противника. У нее натура такая: увидит, что крадучись пробирается один лазутчик или группа, обязательно оповестит об этом всех в окружности.

Так было и в то раннее-раннее утро 8 марта 1943 года. Я эту дату точно запомнила — начался Женский день. Самый тяжелый и страшный Женский день, выпавший мне за мою жизнь.

Несмотря на заклинания нашего командира, сорока застрекотала. Не знаю, живет ли эта птица в Германии, но здесь немцы ее понимали как родную. Только она пустила свои каркающие трели, сразу же и совсем близко раздался выстрел ракетницы; я даже думала, что Зубр выстрелил. Нет, мы нарвались на фашистскую заставу. Секунду спустя над нами повисла осветительная ракета и застрочил немецкий пулемет.

Фрицы били наугад. Их огневая точка находилась где-то в винограднике.

— На огонь не отвечать! — командует майор.

Мы отползаем к можжевельным кустам. Все еще висит осветительная ракета, но туман не дает немцам увидеть наше передвижение. Пулемет замолкает. Может, он и совсем бы замолк, но сорока все кружит, кружит и стрекочет, как бы подсказывая врагу на огневой точке: стреляйте, стреляйте!

И тут вскакивает Генка Цыган, яростно матерится и короткой автоматной очередью сбивает сороку. Птица шлепается к его ногам, он, довольный, хохочет и тут же падает, скошенный пулеметным огнем. Упал без крика, мне показалось — лег. Но не так лег, как мы лежали; зачем-то отбросил от себя автомат, зачем-то вытянул руки.

— Идиот, идиот! — шепчет с тоской майор Зубр.

Я поползла к Цыгану. Еще был туман, когда я ползла. Ракета погасла. Где-то за туманом начинался рассвет. Я ползла на локтях, попластунски.

— Отставить, Евдскимова! — приглушенным голосом приказывает майор.

Я не могла остановиться, ползла и ползла.

Ветерком на мгновение снесло туман, и все стало видно. Вдали открылось гладкое море, открылся виноградник до самого моря; я не сразу поняла, что виноградник, показалось, что переплетение проволоки. Стала видна серая бетонная горбушка дота; пулемет молчал. Из уха Генки Цыгана струей бежала кровь, он не шевелился. Бежала красная кровь и смешивалась с влагой земли. Смерть товарища я видела первый раз. Я смотрела и не понимала, тупо смотрела.

Залаяли собаки. Две, три — не знаю сколько.

— Не стрелять! — приказал майор, хотя собаки, виляя среди сухих виноградных плетей, бежали в нашу сторону. Огромные седые овчарки.

Людей с собаками почему-то не было. Собаки бежали, а солдаты их не сопровождали. Я думаю: сейчас собаки будут здесь, как же так не стрелять?

— Огня не открывать! — повторил майор.

А собаки уже близко — от нас всего метрах в двадцати. Но они хоть и бегут, но как-то неуверенно. Не знаю, видят нас или нет. Если видят, одного только Цыгана, тело которого за кустом, а голова ниже куста, на открытом месте; из уха течет и течет кровь.

— Смотрите, ребята! — говорит майор. — На собак смотрите!

Говорит и смеется нервным смехом, хотя на его памяти немало смертей.

Мы смотрим на собак — они совсем не могут бежать, завязли. Виноградник на мокрой глине, весь в глине. Нестриженный виноградник. Его с осени, видно, не обрезали и прошлой весной тоже, наверно, не обрезали. Отростки вытянулись и переплелись, даже собакам трудно продираться. Не в том дело. Главное, они вязнут, ни туда, ни сюда.

— Всем ясно? — спрашивает майор.

Мы отвечаем, что всем.

Собаки лают. Хрипло, зло. Но теперь они еще и визжат. Одну лапу вытянут, другая вязнет в глине.

Я снова поползла к Цыгану. Надо ж понять, мертвый он или живой.

— Ни с места, Евдокимова, — останавливает меня майор. — Железка!

— Слушаю, товарищ майор.

— Забери у мертвого оружие, вынь из мешка про запас!

— А может, он живой?

— Не идиотничайте, боец Капитонов! Он уже холодный, понимаете... Найдете время — прижмите к сердцу ухо.

Железка хорошо справился. Снял с пояса Цыгана пистолет, вынул из кармана гранаты-лимонки. Для этого расстегнул бушлат. Потом прижался к сердцу Цыгана ухом.

Автомат лежал в стороне, на открытом месте.

— Не трогай автомат, ползи по-за кустами, — командует майор. Но Железка благополучно вынул и автомат. Немцы стрельбу не возобновляли.

Море совсем открылось, далекое, тихое.

— Группа! — командует майор Зубр, а сам смотрит в бинокль. —

Справа, на западе, на краю обрыва видите развалины кошары и две сосны?

— Видим,— откликаемся мы.

— Это и есть наш сборный пункт. Железка и Толокно! Забирайте левее, а мы с Евдокимовой и Рыжиком пойдем в обход правой стороной. Не вздумайте сокращать путь по виноградникам. Ни ползком, ни тем более в рост. Завязнете. Приказ поняли?

— Так точно, поняли.

— Выполняйте!

Я в последний раз посмотрела вслед ребятам. Было отчетливо видно. Виноградник языком входил в кустарник, слева он спускался к морю, над которым багровел край солнца. Справа чем ближе к берегу, тем отвеснее подымалась скальная крутизна, местами поросшая сосняком и густым можжевельником. Километра за три тенями качались две сосны; возле них какие-то развалины.

— Ползти за мной, не разгибаться! — приказал майор мне и Рыжику.

Скоро мы потеряли из виду двух наших товарищей.

Я думала: как же так, не похоронили Цыгана, бросили, оставили. Еще не понимала войну.

* * *

Я не замечала Рыжика, только слышала его дыхание. Это мешало думать. Не знаю, нужно ли было думать.

Казалось, уже можно приподняться, по-пластунски долго не проползешь, на четвереньках далеко не уйдешь. Нас пеленал туман, видны были разве что ближайшие кусты. Пулемет постреливал короткими очередями, дробь слышалась глухой и ленивой. Кто знает, может, стреляли из другого дота. Первым выпрямился майор. Я трудно разгибалась — замлела спина. Смотрю — что такое? Рука сама схватилась за пистолет, я бы могла выстрелить. Представляете: Рыжик прыгнул на спину майору Зубру. Майор клюнул носом, упал, заматюгался. А Рыжик его держит и кричит мне:

— Ложись, ложись!

Майор сбросил Рыжика и свирепо вышептывает:

— Ты нешто спятил!

Рыжик отвечает:

— Ложитесь, товарищ майор.

Вдруг вижу — у Рыжика плечо в крови. Тогда поняла: он прыгнул на майора, чтобы его спасти.

— Сильно ранен? — спросил майор.

— Не думаю,— ответил Рыжик и застонал.— Товарищ майор, не сердитесь. Я увидел, что слетело несколько веточек можжевельника. Пули срезали, понимаете. Я прыгнул... Не сердитесь.

Майор говорит:

— Чудило, ты мне спас жизнь.

Рыжик отвечает:

— Возможно.— И улыбается дрожащими губами.

Опять вижу его золотые зубы. Он пробует опереться на локти, чтобы ползти дальше, но падает на бок, лицо его искажает боль. Весь рукав бушлата напитался кровью. Мы с майором снимаем с него вещмешок, бушлат, гимнастерку, нижнюю рубашку. Я срываю пергамент с индивидуального пакета, мочу йодом марлю. Рыжик не дает себя перевязывать:

— Ну тебя к черту, ты делаешь больно!

Шепчу ему:

— Терпи!

Майор подтверждает:

— Надо терпеть... Задание провалено. Терпи, терпи, задание провалено, а все равно надо терпеть.

Рыжик скрежещет зубами. Я его быстро перевязала. Наложила вату, все как полагается. Хорошо замотала бинтом. Но и я знаю и он знает — пуля насквозь не прошла, застряла в плечевом суставе.

Рыжик говорит:

— Нашла меня на излете. Ты понимаешь?

Я не знала этого выражения, однако сообразила: пуля достала Рыжика в конце своего пути. Значит, стреляли издалека.

Рыжик говорит:

— Прикончите меня, товарищ командир. Ползти не могу.

Майор Зубр кричит злым шепотом:

— К такой-то и такой маме! Не будем ползти! Шальная пуля. Помоги ему одеться, Чижик. Пойдем дальше полным шагом, была не была.

Рыжик не дал надеть рубашку, да она бы на него и не налезла. Плечо и предплечье раздулись и набрякли. Кое-как мы Рыжика поднимаем. Его вещмешок берет майор.

То и дело слышно, как тарахтит пулемет, но к нам пули не долетают. Командир хотел идти полным шагом. Какое там: плетемся, еле передвигаю ноги. Давно рассвело, а солнца нет. Опять моросит дождь, в кустарнике взнет туман. Коля Рыжик просит пить. Мы с майором поочередно подносим к его губам флягу. По тому, как дрожат у нас руки, Рыжик видит, что наши силы на исходе.

— Пристрелите меня, пристрелите! — однотонно повторяет он.

Майор его за это ругает на чем свет стоит и вдруг говорит ласково:

— Милый, дорогой, осталось немного, потерпи...

Когда мы в час восхода смотрели с опушки, разваленная кошара и две сосны видны были отчетливо и ясно. Вроде бы не дальше чем в трех километрах. А мы тащимся уже три часа. То и дело останавливаемся, но не разрешаем себе привала. Тянется и тянется можжевельный кустарник. Мы защищаем собой Колю Рыжика, принимаем удары колючих ветвей на себя, но иногда и ему достается. Он стоит, мычит от боли. На нем только бушлат — грудь открыта. Накладываем сверху плащ-палатку, но она мешает его подерживать. От тяжести вещмешка и рации с комплектом питания мне уже невмоготу. Еще минута — и свалюсь. Так кажется. Однако мы шагаем и шагаем, глаза застилает туман, заливают дождь.

— Привал, — приказывает майор. — Привал...

Перед нами каменистая площадка. Слева кустарник, сквозь который мы продрались, справа метрах в трехстах — молодой сосняк, взбирающийся в гору. А прямо... там не видно ничего. Там небо и далекое море. Можно только догадываться, что море где-то там. Кромка обрыва тянется в тумане.

— Лежите здесь спокойно, не шевелитесь, — прерывающимся голосом говорит командир. — Я пойду... я в разведку. Евдокимова! На тебе... понятно? На тебе вся ответственность. Из кустов не вылезайте. Наши товарищи... Железка и Толокно... Они уже должны быть здесь. Тихо! Не все еще потеряно. Это и есть сборный пункт. Сейчас, сейчас.

Майор тяжело побежал. Дважды споткнулся о камни, но удержался на ногах. Он замахал руками, мы услышали его хриплый голос:

— Ребята-а! Порядок! Вижу две сосны и стену кошары... Отдыхайте, сейчас вернусь.

И правда, он скоро вернулся вроде бы радостный и немного растерянный:

— Смотрел в бинокль. Сосны там, где и нужно,— метров на пятьсот левее.

— На пятьсот метров?! — неспособная сдержать разочарования, спрашиваю я.

— Да, мы зашли правее и выше. Но совсем немного.

Коля Рыжик от потери крови наполовину без сознания. Изредка открывает глаза:

— Пить, пить!

Идти он уже не может, даже вниз. Мы с превеликими трудностями укладываем его на плащ-палатку, прячем в кустах наш груз. Берем с собой только рацию и коробку с питанием. Но, конечно, автомат висит на пузе... Склон был не крутым, но опять пришлось входить в кустарник. Иглы можжевельника так расцарапали лицо, что щеки кровоточили. Теперь руки заняты, не можем отгибать ветви. Нам мешают автоматы, то и дело мы скользим на мокрой хвое. Но вот наконец и черный гребень прибрежного скального обрыва, а на нем две сосны, почти голые до верхушек.

Майор говорит:

— Подойдем к соснам — и ребята повывлазят из кустарника. Ты пока тут с Колей, а я пойду к соснам. Толокно с Железкой меня увидят и объявятся. Скорей всего услышали, что кто-то идет, и попрятались. Это правильно, бдительность не вредит...

Майор зашагал к кромке берега. Тут, наверху, туман не так густ, и я видела все подробности. Вот он идет, озирается по сторонам, вот подошел к дереву. Сосна, оказывается, стояла одна: примерно с трехметровой высоты она разветвлялась и каждая часть свечой тянулась к небу. Так нередко бывает с соснами. Издалека представляется, что их две. Я не знаю, кто рисовал карту с обозначением сборного пункта. Может, штабной работник, а может, и партизан. Да не все ли равно, кто рисовал, это значения не имеет. Стало не по себе: вдруг есть еще одна каменная площадка над обрывом? Такая, где по-настоящему две сосны. Крым велик, район Семь Колодезей тоже не мал.

Рыжик лежал на плащ-палатке. Лицо — как гипсовая маска, заляпанная пятнами веснушек. Глаза плотно закрыты. Я его больше не старалась будить, понимая, что человека в обмороке не разбудишь. Вдруг услышала храп. Значит, не обморок, значит, спит. Это хорошо, пусть отоспится.

Майор Зубр угрюмо ходит вокруг дерева. Вот отщипнул финкой кусок коры, разглядывает. Чего разглядывать? И без того ясно — никого тут нет и не было.

Вернувшись, майор долго стоит, распялив ноги, набычившись. Я смотрю на него с надеждой. Смотрю снизу вверх, как на опытного, сильного, хитрого. Понимая значение моего взгляда, он встряхивается и говорит:

— Тебе все ясно?

Я пожимаю плечами.

— Так вот, Евдокимова. Ту воду, что осталась во фляжках, не пить. И ему, — он показывает на спящего Рыжика, — тоже не давать. Всю что есть чистую воду оставь для промывания раны...

— А где взять для питья?

— Луж много... Ничего, что мелкие. Чистая тряпочка или марля есть? Ищи лужу побольше, клади сверху тряпочку, только чтобы не тонула. Если затонет — замутишь воду. Нам-то ничего, а для Николая собирай чистую и выжимай во фляжку.

И опять он замолкает. Небритое лицо, тяжелый взгляд. Куда он смотрит, чего ждет?

— Когда связь со штабом, а, Евдокимова?

— Сеанс через час двадцать.

— Тогда вот что. Есть еще время... Ты как считаешь, могли ребята задержаться? Им-то путь был ближе, чем нам. Скорей всего устроили привал и ненароком уснули... Вот что мы с тобой сейчас сотворим, Евдокимова. Отнесем Николая под стену кошары. Там я углядел что-то вроде навеса. Будешь с ним сидеть, понятно? Я сбегая за нашими вещмешками, потом дам тебе часок для сна...

— Раньше поспите вы, товарищ Зубр.

— Товарищ майор, не просто Зубр. И ты обязана подтверждать, что мой приказ тобой усвоен, должна повторять. Потому как я командир десанта, а вся моя группа — ты одна... Вопросы есть?

Я смотрела, слушала. Вроде бы он шутил, горько шутил. Чувствовалось, что привык вести в бой, действовать, распоряжаться. А тут мокро, уныло и некем руководить. Одна только я, девчонка. Передо мной выругаться толком и то невозможно.

— Вопросы есть? — повторил он с напором.

Я сказала, что сомневаюсь насчет ориентира:

— На карте две сосны, а в наличии одна.

— Что? Как это одна? Карта составлена по данным аэрофото-съемки. Сверху не разберешь, что сосны срослись.

— Нет, товарищ командир, одно раздвоенное дерево.

Он зло посмотрел, хотел, наверно, выругаться, но махнул рукой:

— Это мы с тобой раздвоенное дерево. Будем тут торчать, пока нас не срежут пулеметным или автоматным огнем... Я выходил на кромку, другого такого места с деревьями и кошарой не существует.— Он сжал кулаки, затряс ими.— Нет, шалишь, мы с тобой не древесина, мы люди! Вооруженные люди. Мы еще дадим фрицам прикурить. Берись за плащ-палатку, по-нес-ли!

Когда мы пристроили Колю Рыжика у глинобитной стены под навесом, майор тут же побежал за нашими вещмешками, принес, развязал, заставил меня есть:

— Питайся, сержант, без этого жизни нет!

Разорвав Колину сорочку, я собрала в пустую фляжку воды для него. А мы с майором утолили жажду, улегшись на живот, прямо из лужи.

Вскоре я связалась с штабом и доложила обстановку. Начальник крымского штаба секретарь обкома товарищ Булатов призвал нас к стойкости и обещал при первой возможности выслать за Рыжиком «У-2». От Еремейчика штаб радиogramм не имел. Я получила приказ упорно искать его позывные в эфире.

Пока было светло, майор, не отнимая бинокля от глаз, вглядывался вниз, туда, где должна быть подземная крепость. Там перекачивались клубы густого тумана. Только изредка виднелись острия больших камней. Майор давал бинокль и мне. Я шарила глазами по всей низине и не увидела ни малейшей приметы жизни. Берег моря, даже освободившись на минуту от тумана, казался вымершим. Можжевеловые заросли на обрыве не шевельнулись ни разу.

Майор велел мне лечь с Рыжиком, прижаться к нему, чтобы хоть немного его согреть и согреться самой. Я осторожно прикорнула, но дотронувшись даже до здоровой руки, отпрянула:

— Товарищ командир, у него страшный жар.

Майор пожал плечами:

— Лежи, все равно лежи. Поспи хоть часок.

Сквозь сон я слышала, как наш командир уходит, приходит. Дождь сеял и сеял.

* * *

Ночью открылось небо, высыпали звезды, под утро опять все затянуло тучами, лег туман. Мы дремали с майором вперемежку. Иногда один из нас отходил от лежбища немного размяться и согреться. Коля Рыжик все спал. Я не верила, что так долго можно спать. Иногда присыл пить, я прижимала к его губам мокрую тряпочку, и он снова начинал храпеть. Он проспал часов восемнадцать и вдруг резким движением вскочил.

— Рука не болит, совсем не болит! — закричал он и расхохотался. Не имея сил держаться на ногах, сел, но продолжал улыбаться: — Честное слово, ни в плече, ни в руке боли нет.

— Есть хочешь? — спросил майор.

— Очень!

Сидеть долго Рыжик не смог. Я его кормила с кончика ножа. А он все болтал и болтал, поблескивая глазами. Прожует, проглотит кусок мяса и тут же начинает говорить:

— Мне снилось, что к нам опять ворвались фашисты, а я их гранатой, гранатой...

— Почему опять, Коля?

— Подожди, ты кто? Ах да, ты сержант Евдокимова, Чижик. Все помню. Чижик-Рыжик, где ты был... Я тебе не рассказывал? Мы жили в Ростове на улице Энгельса, мой отец был врачом, мы не успели уйти. Маму и папу увели. Я за ними побежал, эсэсовец ударил прикладом по зубам, выбил передние зубы. А я вскочил и опять побежал. Хилый и маленький. Что ты улыбаешься, я сейчас не хилый, только рука... Не движется, но будет двигаться, правда?.. А потом маму и папу затолкали в машину, я остался один. Примкнул к подпольщикам. Нашел их и к ним примкнул. Мы писали сводки Совинформбюро. А когда в Ростов вернулись наши, я немного подремонтировался, мне вставили зубы. От мамы осталось колечко. Вставил на место выбитых зубов мост, а потом пошел и записался добровольцем, чтобы мстить этим гадам... Ты Чижик, да? А это наш Зубр? Вот видите, я в полном сознании... А где ребята? Где остальные? Цыган погиб, и я погиб... Слушай, Чижик, неужели не увидела, не поняла, каким парнем был Генка Цыган? В разведшколе самый лучший. Теперь погиб... И эти туда же — Толокно и Железка? Не скрывайте от меня...

Майор с досадой воскликнул:

— Сопли отставить! Стоните, понемножку войте, но без соплей. Разведчики не говорят о погибших, а еще неизвестно... Евдокимова, займитесь делом. Развесили уши. Больной человек болтает, а вы... Промойте рану, наложите новую повязку...

Рука у Коли Рыжика до самых кончиков пальцев опухла и покрылась красно-синими пятнами. Я нажимала — оставалась ямка. Боли действительно не было.

— Перевязывайте, — сказал майор и, резко отвернувшись, быстрым шагом ушел.

Он вернулся, когда Коля Рыжик опять впал в забытие. Встал напротив, покачал головой:

— Уж лучше бы меня, ей-богу, чем вот этого. Слышь, Евдокимова, мы разведчики, нас не хоронят и не оплакивают. Не положено и... плохая считается примета. А то погиб, погибли... Да будь ты в бреду-перебреду — молчи!

Майор сообразил, что перегнул, попробовал даже рассмеяться:

— Ладно, чепуха!

— Нет не чепуха, — отвечаю я. — Человеческие чувства не чепуха. Действует разве только грубость?

- Успокойся, Чижик, это нервы.
- У меня нервы, а у вас?
- Думаешь, если командир, нервов не должно быть?

* * *

Ночь выдалась и пасмурной и сильно ветреной. небо гудело. Похолодало. Туман отовсюду слетел. Мы навалили на Колю две наши плащ-палатки, а он все равно дрожал. И мы дрожали, застыли до косточек, охрипли и осипли. Из штаба поступило сообщение, что за нашим раненым вылетел из Куцевской «У-2». Через час будет. Дрогнуло сердце. Надо ж так. Мы с дедом Тимофеем сидели в самой что ни на есть фашистской гуще, а теперь оттуда летит к нам помощь... Я мимолетно поделилась с майором. Он от меня отмахнулся:

— Давай, Евдокимова, без лирики. Связь со штабом еще держишь? Тогда передай, что Петр Железка и Андрей Толокно пропали без вести.

Я передала. Меня запросили, не откликнулся ли Еремейчик, они его никак не нащупают. Отвечаю, что нет, задаю встречный вопрос, продолжать ли поиски в эфире, у меня питание на исходе. Мне приказали искать до последнего. Запасные батареи везет мне летчик.

Мы с майором старательно вслушивались в небо. Он зарядил ракетницу. Слушать из-за ветра было бесполезно, да и рано. Тогда майор уселся возле меня и заговорил. Меня обрывает за то, что вдаюсь в лирику, а самому, значит, можно. Коля метался в бреду. То просил пить, то умолял неведомую нам Настеньку пойти с ним в клуб на танцы. Он смеялся и плакал. Майор поглядывал на меня — не ударюсь ли и я в слезы. Вдруг обнял, стал добрым:

— Тебе сколько лет, дурочка ты маленькая? Исполнилось восемнадцать? Это ж надо так, восемнадцать, а ты как пичужка. Заметь, какие бывают совпадения. В тот самый год, когда ты родилась, я поступил в военное училище. Уже был женат, четыре года проработал на заводе. Я в армию, а у нас с женой родилась девчонка, назвали Женей. Как и тебя. Выходит, вы тезки, но не настоящие. Так тебе, значит, восемнадцать? И моей Женечке столько же. Но ты, можно сказать, ребенок, а моя крепкая, здоровая, уже вполне взрослая. На втором курсе педагогического института... Знаешь, Евдокимова, я тебе такой дам совет: когда родишь дочку, назови Женей. В честь своего псевдонима. Ха-ха! Эт-то будет здорово! Мы ж с тобой встретимся, обязательно встретимся после войны. Где мы с тобой встретимся, а, Евгения Ивановна? Решай..

Только он это сказал, вдали рванулся к небу красно-желтый дымный цветок. Я стала считать секунды, досчитала до двадцати, только тогда услышали, как бабахнуло. А потом еще вспышка и еще взрыв. Получалось, что это от нас километрах в семи. Коля Рыжик первый закричал:

— Фашисты, гады! Бей гадов!

Майор рассмеялся от радости:

— Это Еремейчик, голову на отсечение, его работа! Подорвал мину под паровозом.

Я говорю:

— Откуда? Взрыв в семи километрах, не больше.

— Вызывай штаб, докладывай: Еремейчик вышел на феодосийскую ветку, произвел первый взрыв.

Спрашиваю майора:

— Это приказ?

— Приказ, приказ! Я его почерк знаю: две мины подряд.

Моя рация была готова к действию. Только я вышла в эфир со своими позывными, тут же мне откликнулся Еремейчик:

— Я «Один сто семнадцать», «Один сто семнадцать».

— Я «Один сто двадцать один». Я Чижик, я Чижик. Перехожу на прием.

Еремейчик сообщал, что группа в порядке, напала на след партизан. К сборному пункту пробиться невозможно. Он передал свои координаты: в тридцати километрах на запад от места выброски, в лесистых холмах. До сих пор не было возможности связи в назначенные часы: по пятам шли немцы. Теперь группе удалось оторваться.

Тут же я вслух переводила радиограмму майору. Он стал нервничать:

— Спроси, кто взорвал немецкий эшелон на ветке, ведущей в фео-досийском направлении.

Я была уверена, что получу ответ: «Не знаю». Еремейчик отрапортовал:

— Командиру десантной группы майору Зубру. Докладываю: в день высадки нами на ветке заложены сроком на сорок восемь часов две мины МЗД-пять. После чего, преследуемые немцами, мы ушли на юго-запад-запад. Прошу сообщить, сработали ли мины. Перехожу на прием.

Я подтвердила, что было два взрыва, и тут же услышала позывные штаба. Северский поздравил группу с удачной работой и сразу же передал майору Зубру приказ вылететь с раненым и с Евдокимовой, то есть со мной.

— Следите за небом, не зевайте, над вами «У-два». Пилот ждет ваших сигналов. Три красные ракеты, потом три фонаря. Груз и рацию замаскируйте в кустах...

Мы прислушались, и к нам из низких туч пробился шум мотора. Майор трижды выстрелил красными ракетами. Он взял в обе руки два фонарика — свой и Рыжика. Третий засветила я. Страшно было, что самолет ночью не сядет на такую маленькую площадку. Пилот приземлился мастерски. Я с любовью смотрела на эту фанерную птицу. Стою и шепчу:

— Милый кукурузничек, сел.

Пилот — в унтах, в теплой шапке и в куртке, подбитой мехом, — с трудом выбрался на крыло и прыгнул к нам. Мотор продолжал работать на малых оборотах. Пилот сказал:

— Внизу у немцев горит эшелон. Ваша работа?

— Наша, наша! — прохрипел майор. — Помогай, браток, грузить раненого.

Мы уложили бесчувственного Рыжика на заднее сиденье, потом торопливо замаскировали в можжевельнике весь наш груз.

— Где мне садиться? — спросил майор. — На среднем месте у тебя мешок.

— Выбросите его — и делов. В нем песок и камни. Я положил для центровки и для устойчивости. Больно свирепый ветер.

— Как это выбросить? Чтобы немцы увидели?

— А что нам! Сюда больше не прилетим...

— Как знать, — ответил майор, стащил с сиденья мешок и поволок в кустарник. Копался довольно долго.

— Он у тебя что, такой? — спросил меня летчик и покрутил пальцем у виска.

Я пожала плечами.

Вернувшись, майор усадил меня рядом с Рыжиком. Его распухшую руку невозможно было согнуть и приладить. Мне пришлось сесть

на борт и положить Колину голову себе на колени. Чтобы я не выпала, пилот с майором надежно меня принайтовали.

Развернувшись против ветра, мы взлетели в черное небо. Ночь казалась особенно черной, потому что внизу пылал высоким красным огнем длинный немецкий эшелон. Залаяли зенитки, но мы скрылись в тучах и до самой Кушцевки летели на высоте в полторы тысячи метров.

Прилетели в четвертом часу. Аэродром — кое-как укатанная земляная площадка — располагался километрах в трех от дедова куреня. Я хоть и знала, что там все взорвано и сожжено, страшно захотела глянуть хоть одним глазом. Какое там! Не смогла бы сделать и пяти шагов. Когда сняли с моих колен Рыжика, я пробовала подняться, но тут же и рухнула обратно: все во мне замлело и ооченело. Я даже не смогла поцеловать на прощание моего бедного собрата.

На аэродроме ждала санитарная машина. Колю уложили на носилки и унесли. Самолет заправился. Не прошло и двадцати минут, мы снова взлетели и часа через два приземлились в Адлере.

Нас встречали начальник штаба и подполковник — начальник «Школы». Они молча поздоровались с нами за руку. Мы все уселись в легковую машину, которую повел сам подполковник. Всю дорогу молчали.

А может, и не молчали, может, был горячий разговор. Я когда выкарабкалась из самолета, что-то понимала, что-то замечала, но не слышала ни слова. Оглохла. А когда опустилась на сиденье штабной «эмки», в ту же секунду уснула.

Потом я узнала, что, когда приехали в Сочи, из машины меня вытащила Даша Федоренко. Взвалила на плечо и поднялась со мной по лестнице на второй этаж. Раздела, уложила, а я так и не проснулась до самого вечера.

(Окончание следует)



АЛЕКСАНДР ШТЕЙН

★

ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО, ЧТОБЫ У НЕГО ЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН

«**Т**человеку нужно прежде всего, чтобы у него звонил телефон. Человеку нужно, чтобы он был нужен».

Случайно тронув рычажок транзистора, слышу низкие знакомые интонации, нарочито медленный голос, будто бы и чужой, но и донельзя, до острой боли знакомый.

«Если он не нужен, это катастрофа для него самого».

«Только для себя и на себя,— это, так сказать, я сам вынудил себя к пребыванию в одиночном заключении...»

Узнаю голос друга, измененный болезнью.

«Нет ничего тоскливее, ужаснее и бессмысленнее, чем одиночество, вызванное своим собственным взглядом на жизнь, на отдачу этой жизни».

Слова выговариваются старательно, отдельно. Как бы расставляются знаки препинания, важное как бы подчеркивается курсивом.

И оттого еще явственней — у микрофона надломленный недугом человек.

«Когда человек до самого последнего дня своей жизни нужен другим людям... вот это и есть жизнь, вот это и есть для человека и есть для себя».

Это радиоречь, посвященная его трилогии «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я отвечаю за все».

Говорит о персонажах романа и о героях жизни, ставших этими персонажами.

Но в подтексте — и о себе.

Эта речь — последнее его выступление, последнее слово людям.

Его литературная жизнь напоминала приливы и отливы, которые я наблюдал на берегу Кольского залива, у студеного моря, того самого, описанного Юрием Павловичем в его северных повестях и романах.

Волна то набегают, с головою накрывая прибрежные валуны, то убегает назад, к океану, обнажая морское дно.

Пейзаж прекраснейший, но и строгий.

И право — похоже.

«Ура» и «караул» сменяли друг друга в литературной критике книг Германа, равно как анафемы и панегирики. Признания и полупризнания уступали место отрицаниям полным и частичным.

А иногда было одно глухое молчание.

Он трудился жадно, неуемно, прямо-таки с бальзаковской ненасытностью — рассказ за рассказом, сценарий за сценарием, роман за романом.

Его то переиздавали подряд, без разбора и отбора, даже и то, с чем, по совести, не так уж надо было торопиться.

А то фатально не хватало бумаги на книги, которых настойчиво требовала читательская заявка.

То мелькнет год, в котором имя моего друга не будет помянуто хоть в крохотной

аннотации, хоть в обычном «поминальном» списке, где перечисляются навалом фамилии-достижения.

То нет номера журнала, газеты, где так или иначе не склоняется это имя.

И снова молчание, словно бы и нет такого литератора — Юрия Германа.

Все это если не ранило — жалило.

«Всю жизнь меня с кем-то путают...» Одно тем не менее неизменно. Потертые переплеты библиотечных книг. Исчирканные читательские формуляры.

Признание де-факто — читателя. Оно и в пору похвал и в пору молчания.

Свободный от «соображений», независимый от приливов и отливов литературной моды, от качанья критического маятника — читательский интерес.

Он непреходящ, и это незаменимый, ни с чем не сравнимый писательский допинг.

Отсюда, наверно, и непрестанные встречи с читателями, охота к этим встречам, не ослабевавшая и в болезнь: это надо сегодня вечером, чтобы завтра с утра сесть за письменный стол...

Не подумайте, всматриваясь в биографию моего друга, что время не внесет в черты его портрета своей цветовой гаммы, не коснется его своей, нелегкой порою, десницей.

Коснется — и не раз.

И вряд ли справедливым будет разглядывать эти черты вне контекста со временем, не соотнеся биографию моего друга с биографией эпохи, в которой мужало поколение, страдало, смеялось, плакало, расшибалось, поднималось, шло вперед, отступало, надеялось, сокрушалось — и верило...

В ЛЮДЯХ

Горький и Герман. 6 мая 1932 года статья в «Правде» под названием «Встреча турецких и советских писателей и журналистов». Отчет о приеме в Доме ученых. Много приглашенных писателей, художников, режиссеров, артистов. На приеме выступает Горький.

«...все чаще и чаще мы имеем явления исключительного характера. Вот вам пример: 19-летний малый написал роман, героем которого взял инженера-химика, немца. Начало романа происходит в Шанхае, затем он перебрасывает своего героя в среду ударников Советского Союза, в атмосферу энтузиазма. И, несмотря на многие недостатки, получилась прекрасная книга. Если автор в дальнейшем не свихнет шеи, из него может выработаться крупный писатель. Я говорю о Юрии Германе».

И 6 мая 1932 года Юрий Герман становится знаменитым писателем.

«Было мне немногим более двадцати одного года, когда в тихой парикмахерской на Малом проспекте Васильевского острова прочитал я добрые слова, сказанные Алексеем Максимовичем Горьким про меня. Добрые, но осторожные. Помнится, там была такая фраза: «Если малый не свихнется, из него может выйти толк». Не свихнется,— недоуменно размышляла я.— А почему, собственно, мне следует свихнуться?»

Почему?

Потому хотя бы, что автоматизм действует безотказно магия горьковской похвалы: повторенной ТАСС, слишком неотразима, чтобы ей могли сопротивляться журналы, газеты, издательства, общественные и литературные организации.

Хотя бы и потому, что сказанные бегло слова одобрения на турецком приеме рассматриваются как индульгенция и как пропуск в журнально-издательский рай. И это в чем-то прекрасно, а в чем-то и страшно — прежде всего для самого литератора.

...Но пока все идет как по писаному. Вяло реагирующие раньше на авторские предложения Германа издательства теперь наперебой предлагают договора. Встрепе нулись завлиты театров, киностудий. Дверь из комнаты Юрия Павловича выходит на кухню, и жители коммунальной квартиры прислушиваются сквозь шум примусов к интервью, которые дает их до того неприметный сосед газетным репортерам.

Словом к лютправщику газеты-многотиражки «Голос бумажника» приходит слава.

Герман приглашен в Москву, зван на горьковскую дачу, а потом в квартиру на Малой Никитской, когда писатели встречаются с правительством.

Помню, в эту пору как-то я задал Герману вопрос, на который одни писатели отвечают с великой охотой, другие с великим раздражением.

— Над чем работаешь?

— Переписываю «Вступление».

— «Вступление»? Переписывать?

— Ну и что? Сколько раз переписывал Толстой «Войну и мир»? А ты, миленький, наверное, заметил, что я далеко не Толстой и даже не Шеллер-Михайлов.

И все-таки я в недоумении. «Вступление» переиздается, его требуют книжные магазины, в библиотеках на книгу очередь.

Герман не обмолвился ни единым словом насчет того, что толкнуло его на непонятное многим, и мне в том числе, решение.

Боялся, что это нанесет удар его еще не оперившейся литературной репутации? Возможно.

Боялся испуга издательства? Вероятно.

Ведь никому не придет в голову, и издательствам в первую очередь, что Горький вытаскивает к себе на дачу молодого романиста вовсе не для лобызаний.

Горький учиняет разгром роману! Да, да, разгром!

— Но какой! — воскликнет Юрий Павлович.

Правда, он расскажет о разгроме лишь несколькими годами позже.. И вполне благоразумно...

«Но какой!» — воскликнет он снова уже десятилетиями позже, в своих воспоминаниях...

И летнюю грозу вспомнит, бушевавшую за распахнутым в сад окном, и летевшие по саду длинные листья, и сверкавшие длинные молнии — и грозу тут, в горьковском дачном кабинете, столь неожиданно обрушившуюся на бедное «Вступление» и на него самого, автора, уже «приготовившегося слушать нечто прочувственное — комплиментарное».

Все это столь внезапно и столь непостижимо после публичных похвал, облетевших страну, что онемевшему Герману поначалу представится, будто бы и не о нем, Германе, идет разговор и не к «Вступлению» относятся все эти жестокие слова.

— Мне показалось, что идет речь о совсем другом сочинении, которое Горькому не нравится.

Бранил его Горький немилосердно — за языковые неточности и стремление к афористичности, за общие места и за гладкие, «казалось бы без сучка и задоринки, обтекаемые фразы», за «одел» там, где надо писать «надел», и за «надел» там, где надо писать «одел», и за очень, очень, очень многое другое.

Слышится сквозь грозу и такой поучительный — отнюдь не для одного молодого Германа — диалог:

«— Вы сколько раз этот роман переписывали?

— Один,— не без гордости заявил я.

— А вам, сударь, не кажется, что это хулиганство?»

И Горький советует скрывать такие вещи от людей, «как мелкое воровство, а не хвастаться ими».

«Один! — повторил он с непередаваемой интонацией возмущения и брезгливости.— Значит, сколько посидел, столько и написал. Хорош добрый молодец!»

Герман всю свою жизнь возился с рукописями молодых писателей, встречался не раз с оскорбительной для уважающих свою профессию литераторов скорописью, какой иные еще и хвастают, почитая ее за некое моцартианство, хотя моцартианства тут на грош, а больше безответственного отношения к самому себе, и к своему делу, и к своему имени. Полагаю, отсюда та нравоучительная беспощадность, с какой вспоминает Юрий Павлович свое первое знакомство с Горьким.

Тогда-то, вернувшись из Москвы, он, повторяю, никому не сказав ни слова, садится за стол и переписывает роман.

«Горький прочитал и сказал мне угрюмо:

— Теперь лучше. Значительно лучше. Почти хорошо. Но, понимаете ли, почти».

Спустя год Всеволод Эмильевич Мейерхольд, не зная ничего об этом «тайном» разговоре Германа с Горьким, а слыша про роман одни лишь публичные похвалы, тоже скажет о «Вступлении»:

— Почти шедевр.

И Герман с горечью и тоской, припомнив ту горьковскую грозу, подумает: «Что может быть хуже «почти шедевра»?» И заметит — много позже:

— Что касается излюбленных страниц в моих же произведениях, то мне назвать что-либо трудно, почти ничего из опубликованного меня потом не удовлетворяет. Обычно пока пишу — нравится, погом меньше, но все-таки еще кажется, что получилось то, о чем мечтал. А когда перечитываю то, что опубликовано, злось, особенно спустя несколько лет. Может быть, и этим объясняется мой упорный возврат к старым темам, образам, переработка старых произведений. Вероятно, есть какой-то разрыв между моей фантазией, воображением и тем, что получается на бумаге.

Герман пришел, когда я сидел за пишущей машинкой. С мальчишеским, несколько невежливым любопытством смотрит на вложенный лист.

— Ты меня прости, но я совершенно не понимаю, как можно... отстукивать литературу на пишущей машинке! Ну, статью, пожалуй. Но пьесу... По-моему, это все равно что сочинять на машинке стихи. Представляешь, Пушкин отбросит свое гусиное перо и начнет отстукивать: «Я помню чудное мгновенье!» Чудовищно!

— А Маяковский, кажется, писал на машинке...

Аргумент оставлен без внимания.

Незадолго до войны он купил себе пишущую машинку и развлекался ею, как позже кактусами и другой страстью — рыбками в аквариуме.

Сидел за машинкой и одним пальцем отстукивал письма друзьям, ответы читателям, адреса на конвертах, заявления в издательства.

Его по-детски забавлял и восхищал сам процесс появления волею его одного пальца печатных букв, слов, фраз.

Во время войны приучился писать все только на машинке и уже не мог иначе.

Архивов не заводил, иначе бы они, архивы, состояли главным образом из правленной машинописи.

Проникшись неукоснительно сознанием того, что надо писать из жизни и о чем знаешь, Герман неожиданно для самого себя садится за роман о некоем немецком юноше начала тридцатых годов, отпрыске миллионера, чьи страдания и походили и не походили на страдания гётевского молодого Вертера.

«После «Вступления» написал я роман «Бедный Генрих», книгу легкомысленную и неудачную, которую долго и упорно ругал Горький, а это он умел делать великолепно».

Книгу эту сам Герман не любил. Никогда к ней больше не возвращался.

Мне очень нравился роман, грешным делом. И новой, смелой для нашей тогдашней литературы экспрессионистской манерой написания, и сюжетом, и сутью. И читая десятилетия спустя послевоенные произведения западногерманских прозаиков и драматургов, написанные в отчаянном душевном смятении, на духовном пепелище послефашистской Германии, на фоне ее «экономического чуда», вспоминаю неудачную книгу Германа, где немецкий юноша уходит из дома миллионера в начале разгула фашизма. В этих произведениях — удачных и неудачных — было нечто очень близкое, не страшусь сказать — родственное. Даже в сюжете. Даже в характерах героев, таких разных. Даже в их страданиях молодых Вертеров XX столетия. Даже в их отвращении к порядкам, традициям, навыкам бюргерских родительских домов, в ненависти к мещанской безвкусице в быту, в образе мышления, в образе жизни. И невыразимо мучительное ощущение действительности, с каким существуют герои...

Но у этих писателей, разумеется, все неизмеримо ближе к предмету изображения...

— Ах, какое это горе в литературе, — сказал Горький при новом свидании, снова критикуя у Германа то, что ему не пришлось по душе, — приблизительность, пунктирность, порхание. И похоже, а не то. Не обрадуешься, не удивишься, не почувствуешь себя счастливым.

Как же редко чувствует себя счастливым писатель, трезво относящийся к тому, что выходит из-под его пера или машинки!

Герман так настойчиво и не раз пересказывает потом эту мысль Горького, потому что она и его мысль.

Ах, худо, когда «не обрадуешься, не удивишься, не почувствуешь себя счастливым»...

Мейерхольд и Герман. И все-таки отзыв Горького свою миссию в конечном счете выполнил: Германа заметили. Это помогло ему жить и работать.

Тогда, на турецком приеме, был и Мейерхольд. Некоторое время спустя пригласил Германа к себе в театр.

«—...все что касается Лондона, у вас превосходно.

— Нет у меня Лондона,— угрюмо пробормотал я.— У меня описан Китай, а потом Германия — Берлин...

Мейерхольд кивнул.

— Да, да, Берлин. Я спутал... Действительно. Берлин и этот толстяк инженер. Послушайте-ка, напишите нам пьесу про вашего инженера. Это может быть очень интересно. Сядьте и напишите.

— Не умею, Всеволод Эмильевич. Я никогда не писал пьес, я не смогу.

— Многие не могут, однако пишут, а мы ставим».

Написать пьесу для театра, куда еще недавно он силился попасть хотя бы на галерку! Написать по просьбе самого Мейерхольда, спектакли которого смотрят по многу раз!..

Еще в моде бригадные методы, каковыми пишутся пьесы, авторам придаются режиссеры, артисты, завлиты, композиторы и даже сами председатели месткомов.

Мейерхольд уезжает в Париж и, подчиняясь законам времени, «придает» Герману режиссера и художника. Сформированная мастером тройка по настоянию Мейерхольда отключается от мирской суеты, уединяется в Щелыкове, в бывшем имении А. Н. Островского. Теперь там Дом отдыха работников ВТО; в самом доме Островского музей, и стоит замысловатое кресло, сооруженное самим драматургом, и комнаты полны чудесных экспонатов, которые нельзя ни в коем случае трогать руками, и нельзя трогать ничего, боже упаси, на письменном столе Островского, а тем более садиться за его письменный стол. Но тогда—все иначе. «По горькой иронии судьбы, я писал свою пьесу в кабинете Островского. за тем письменным столом, за которым писались «Гроза», «Лес». Я сижу и пишу. Широко распахивается дверь, и входит Александр Николаевич Островский — такой, как на портрете в собрании сочинений: меховые отвороты, рыжеватая бородка, неприязненный взгляд. И слышен мне его тенорок:

— Ты что тут делаешь, стрикулист? Та как смеешь! Вон! Свистун!»

В 1968 году вышло два тома статей, писем, речей и бесед Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Есть там и дотеле не опубликованная, хранившаяся в архивах машинописная статья, посвященная спектаклю. Она проливает свет на причины, побудившие Мейерхольда ставить «Вступление».

«В центре пьесы знаменитый европейский ученый, изобретатель, профессор Оскар Кельберг. Высокоодаренная личность. Человек больших идей. Растерянность, страшная угнетенность охватывает Кельберга.. Кельберг с ужасом взирает на гибель духовных ценностей, создававшихся веками. Перед его глазами корчатся в агонии жертвы капитализма. Близкий друг Кельберга, инженер Нунбах, сломлен кризисом и брошен безработицей на дно жизни. Кризис сует Нунбаху в его опухшие от пьянства руки коллекцию порнографических открыток и гонит высококвалифицированного инженера на улицу торговать ими».

С премьеры спектакля «Вступление» демонстративно уйдет весь состав германского посольства в Москве во главе с послом.

Герман так описал потом этот приятный инцидент:

«На лице Мейерхольда появилось непередаваемое выражение счастья. Такое выражение я видел на лице у командующего авиацией Северного флота на командном пункте, когда он, командующий, понял, что разгром фашистской авиации на ее норвежских берегах начался и процесс этот необратим».

Герман не преувеличивал несколько свою роль в мейерхольдовском спектакле, не переоценивал ее и когда поднялся вокруг спектакля большой шум и у нас и за рубежом. Напротив, объяснял всем, что написал средний роман и дурную пьесу, а спектакль, который весь от начала до конца выдумал Мейерхольд, гениален.

И не постеснялся впоследствии признаться:

«Мою пьесу очень ругали; Мейерхольда — справедливо — хвалили. Мне было горько, но не слишком».

Влюбился в Мейерхольда безмерно, так что готов был простить критике и неуважительные выражения и просто брань по своему адресу, чего он вообще-то прощать не любил и никогда не будет любить...

Простил — потому что хвалят Мейерхольда.

Тем сильнее ранит удар, нанесенный самим Мейерхольдом.

Отшумели овации премьеры, осыпались цветы, поднесенные исполнителям спектакля, отзвучали банкетные тосты — и все кончилось.

Спектакль шел, но к самому Юрию Павловичу мэтр теряет всякий интерес, в том числе и человеческий.

«Он умел близко, по-настоящему общаться с людьми, только делая с ними совместную работу».

Это свойство Мейерхольда Герман переносит болезненно.

Приехав в Ленинград со своей «Дамой с камелиями», Мейерхольд даже не дает себе труда позвонить бывшему любимому автору, и Юрий Павлович, смилив гордыню, сам набирает телефон «Европейской» гостиницы. Мэтр долго и бурно притворяется, что невероятно рад звонку, однако не зовет Германа к себе в гости, что он обычно делал, приезжая в Ленинград. И Герман, вновь смиряя гордыню, напрашивается на «Даму с камелиями». Приходит в Выборгский Дом культуры — и тут новое испытание честлюбия. Мейерхольд оставляет «бывшему» автору место не в нормальной ложе или в партере, а... «в яме оркестра».

И Герман, как он потом признается, обиделся ужасно. «Как обижаются в молодости». И ушел из театра.

И с той поры никогда больше не видел Мейерхольда.

Но пройдет много, много лет, и он снова вернется к нему и назовет месяцы, проведенные в работе с Мейерхольдом, удивительными месяцами молодости и скажет, что за эти месяцы он очень многое понял, и если что-то в работе его удастся, то, он знает, «не без тех миновавших дней».

И напишет один из лучших своих литературных портретов — портрет Мейерхольда. Если не лучший.

Мейерхольд — художник революции, обуреваемый великими страстями.

И с такой же революционной страстью пишет его портрет Герман.

Собственно, тут два портрета — Мейерхольда и самого Германа.

В 1966 году на вопрос анкеты: «С какими недостатками в нашем обществе вы активнее всего боролись в своих первых произведениях?» — ответил:

— С равнодушием.

И литературный портрет Мейерхольда не просто писательская зарисовка — Герман требует от всех, кто знал Мейерхольда в работе, восстановить его жизнь, «это долг совести и чести каждого, кому судьба подарила трудное счастье общения с этим человеком».

Перечитываю портрет Мейерхольда и не нахожу в нем ни одной умилительной интонации, часто мешавшей Герману, когда он писал о людях, перед которыми испытывал восторг открытия.

Да, вот уж про кого скажешь — умел любить!

Мейерхольда он любил, как и сочиненного им доктора Устименко, как невыдуманного доктора Слупского, как выдуманную Ашхен Оганян, — все это люди, без которых ему не хотелось жить.

Бодунов и Герман. «В поисках героев, попал я в седьмую бригаду ленинградского уголовного розыска, которой командовал И. В. Бодунов, ныне комиссар милиции в отставке, человек интереснейший, талантливый и работник совершенно выдающийся».

Герману было двадцать три года, когда он познакомился с Бодуновым.

Последний приезд Юрия Павловича в Москву в шестьдесят шестом году — и последний раз я вижу его с Бодуновым. Дружба, а с ней и влюбленность тянулись десятилетиями.

К фигуре Бодунова писатель возвращается неоднократно: начав с первых очерков

о ленинградском уголовном розыске и уже в последние годы жизни написав «повесть-быль», так и названную — «Наш друг — Иван Бодунов».

«Все дело в том, что я вообще не могу расстаться с героем, пока, как говорится, весь материал не будет отработан, пока для меня самого уже не останется в его истории, в его характере «белых пятен»...»

Чехов писал дворян и мещан, купцов и простолюдинов, мужиков и мастеровых, вдовушек, архиереев, столоначальников...

Герман не устал восхищаться великолепной житейской энциклопедичностью Чехова, его изумляющим знанием людей, живущих во всех этажах современного Чехову общества. Объяснял это не только гением Чехова, но и тем, что по роду своей медицинской профессии Чехов знал тех, о ком писал.

И яростно завидуя этому чеховскому человековедению, Герман всегда жалел, что стал слишком рано профессиональным литератором. Оттого так жадно вцеплялся в людей, которыми увлекался, оттого так страшила его разлука с ними, оттого и становились субъекты его любви, живые люди, литературными героями, оттого-то, например, и возникал, и исчезал, и вновь высвечивался в разных обликах все тот же Иван Васильевич Бодунов, оттого и писал Герман свои повести о Жмакине и о Лапшине «исключительно из жизни».

Еще одно обстоятельство, притягивавшее Германа именно к Бодунову. Иван Васильевич — тот самый обывоченный человек, не винтик, самостоятельно мыслящая личность, сохранившая чистоту помыслов, веру в людей, которые и есть противоядие от всех возможных нравственных падений на крутых исторических поворотах.

В этом смысле нравственный облик Бодунова, «сыщика» и «милиционера», как тот сам себя шуточно рекомендовал при знакомстве, схож и с самим нравственным обликом Германа — литератора, гражданина, товарища.

Знакомство с Бодуновым исследование его жизни и взаимоотношений с сослуживцами — честными и формалистами, циниками и верующими свято в высшую справедливость революции — не только оплодотворяло писательский поиск героя, но и очищало душу художника, давало силу писать, набирать свежий воздух в легкие в самые непростые времена.

И в конечном счете привело к другому герою — Держинскому.

«Стоит сказать, что ты писатель, — сетует в автобиографии Юрий Павлович, — как собеседник твой поворачивается к тебе в три четверти, как говорят фотографы, и нет больше многого человека, а возникает персонаж, который вдруг начинает вещать замогильным голосом то умное, что, как представляется ему, нужно писателю».

Придя однажды за материалом для «Известий» в уголовный розыск на площади Урицкого, писатель «застрял» здесь на долгие годы.

К Герману «притерпелись». Он счастлив. «Я был то ниспосланное богом или чертом наказание, бороться с которым было бессмысленно. Мне никто ничего не показывал, мне никогда ничего не демонстрировали. Если я присутствовал, меня не замечали. Мне это, впрочем, было удобно, хотя и несколько уничительно».

Если бы спросили, что больше всего меня восхитило в творчестве Германа, пожалуй, назвал бы раньше всего «Лапшина» и «Алексея Жмакина». Почти физической осязаемостью изображаемого, сложным и тонким психологическим рисунком, «подтекстом», который так не любит Герман, «вторым планом», который он тоже так не любит.

И конечно же, открытием типа.

Есть одна история, рассказанная Германом в повести-были «Наш друг — Иван Бодунов» и затем повторенная в журнальном интервью. Она объясняет многое в направлении его поиска. История о том, как Бодунов ловит вора-рецидивиста Жарова (того самого, который превратится, правда сильно трансформированный, в будущего Жмакина),

Жулик собирался, очаровав хранителя музея и прикинувшись высокоэрудированным в вопросах искусства и археологии краскомом — красным командиром, — украсть из Эрмитажа ни более ни менее, как... скифское золото.

Дело, как говорили, «пахнет керосином»: до скифского золота была цепь дерзких краж одна другой сногшибательней — Герман боится потом использовать весь этот документальный материал, чтобы его персонаж не выглядел нереальным.

Жаров ухитряется вынести — это случилось во времена нэпа — ведро драгоценностей из ювелирного магазина. Причем серебра не берет, гнушается. Приходит в магазин в рабочей спецовке, в ведре клейстер; в темноте залезает в витрину, на ощупь достает драгоценности; выходит из магазина на глазах милиционера, дежурящего неподалеку, останавливает извозчика, машет милиционеру ручкой — и был таков.

В конце концов Бодунов поймал Жарова, его ждет вышка.

Бодунов сидит с уголовником после неудавшейся операции со скифским золотом у себя в кабинете и «раскалывает». Это не просто «одинокий волк», как сам себя называет вор, раскалываться он не хочет. Хвастает своими кражами, щеголяет начитанностью — прочел всего Достоевского, даже Фрейда читал. Смеется, вспомнив, как Бодунов гонял за ним по крыше Перинной линии Гостиного Двора и так и не догнал... И Бодунов тоже смеется — и раскалывает.

Мало-помалу, час за часом Жаров рассказал о себе все: что там — все одно вышка.

Так Бодунов узнает, что «одинокий волк» — когда-то одесский мальчик, у которого умерли в двадцатом году родители; мальчик жил впроголодь, проел все, даже тахту, на которой спал, стянул на кухне коммунальной квартиры две серебряные ложки. Тут же был схвачен. Отправлен в камеру, где сидят налетчики. Его там бьют. Укусил одного из бандитов за руку. Над мальчиком чинят жестокую расправу. Избитого, окровавленного, в полусознании относят в тюремную больницу. Оттуда выходит озлобленный звереныш.

Бодунов бесстрастно слушает рассказ-исповедь.

Затем берет билет на поезд в Одессу.

Проверяет дотошно все, рассказанное Жаровым, — все правда.

Тем временем приговор «одинокому волку» произнесен: расстрел.

Бодунов снова садится в поезд — в Москву. К Горькому. Добивается приема.

Теряет свою обычную сдержанность. С запалом описывает Горькому путь Жарова к вышке. «Кто есть Жаров и кем бы мог стать».

Горький активно вмешивается в борьбу за жизнь Жарова. Расстрел заменен тюрьмой.

Бодунов следит за Жаровым, когда он отбывает срок, вскоре сокращенный, и когда выходит на волю. Определяет его на завод имени Карла Маркса токарем. Жаров женится. Тот же Бодунов достает жилищный ордер молодоженам — в бывшую людскую бывшего господского петербургского дома.

Жаров талантлив. И после нескольких лет работы на заводе бывший вор становится заместителем директора завода. Юрий Павлович вспоминает:

«И вот когда я подарил ему свою повесть — называлась она тогда «Жмакин», — он дико обиделся, сказав: «Моя жизнь незаурядная, если так дальше пойдет, свободно могу до замнаркома дойти, а ты меня в повести только до шофера довел! Да и надо было обо мне без всяких там псевдонимов писать, в серии «Жизнь замечательных людей»...»

Во время войны Жаров командует танковым батальоном и погибает, сгорев в танке. Награждается орденом Ленина — посмертно.

Герман отказывается от этой биографии сверхвора — пишет вора простого, и, вероятно, поступает правильно.

Вероятно, прав и живописуя своего Бодунова не эдаким конан-дойлевским сверх-сыщиком, а обыкновенным человеком, но только лишенным напрочь душевного равновесия. Обыкновенным человеком, но только влюбленным в свое дело. Обыкновенным человеком, но только делающим это дело талантливо.

Помнится, когда я впервые познакомился с Бодуновым и всматривался в него, прислушивался к его негромкой и сдержанной речи, следил за его повадкой, то и дело ловил себя на том, что видел не Бодунова, а Лапшина, то есть не реального человека. А литературный тип, созданный Германом.

Иначе говоря, я уже не мог не смотреть на Бодунова глазами Германа.

Да, Герман открыл тип и, открыв его, опозитизировал, вложив в него часть своего ума и своего сердца, сделал его нашим литературным современником.

Сам Бодунов — не Лапшин, а именно Бодунов — пришел в первые годы революции в Ленинград искать правды.

Он был тогда малограмотным пареньком из глубинки, явился в город в овчине и лаптях.

Его отцу, входившему в комитет деревенской бедноты, кулаки отрезали голову.

В те годы Бодунов и стал работать в ЧК. У Дзержинского. И запомнил заповедь Дзержинского: у чекиста должны быть чистые руки, горячее сердце и холодная голова.

Эта заповедь стала законом для Бодунова.

Юрий Павлович познакомился с Бодуновым в начале тридцатых годов. Бодунов работал в эти годы в ленинградском уголовном розыске.

Дзержинского давно уже не было в живых — он умер от разрыва сердца в двадцать шестом.

Герман шел по следам Дзержинского как исследователь. Вникал в подробности его биографии, читал его тюремную переписку. Его стихи.

Художник ощущал жадную и острую потребность в герое, для которого бы, как и для него, Германа, заповедь Дзержинского была бы непреложным условием человеческого существования, законом жизни.

И он был несказанно счастлив, когда судьба свела его с прототипом героя. Герман не хотел писать героя, каким он, герой, должен быть.

Он хотел писать героя, который есть.

И это был Бодунов.

Две повести «Алексей Жмакин» и «Лапшин» были опубликованы вначале раздельно как два самостоятельно живущих произведения. Впрочем, «Жмакин» был напечатан гораздо позднее...

В том, что уже после войны Юрий Павлович решил объединить обе повести, расширив и углубив их содержание, раздвинуть их сюжет, введя в них новые жизненные наблюдения и свои размышления о времени и о современниках, есть своя логика.

Но об этом чуть позже.

Сейчас мне хочется сказать о том, что эти две повести написаны рукою истинного прозаика, мастера.

Манера сжатая, выразительная, мужественная.

Вот из начала повести о Жмакине:

«Партия была небольшая — восемь человек. Шли молча и быстро, чтобы не замерзнуть. Дыхание из пара на глазах превращалось в изморозь. Мороз был с пылью — пыльный мороз, любой бродяга тут начинает охать. И деревень не попадалось — только кочки, покрытые голубым снегом, да мелкие сосенки до пояса, не выше.

Захотелось есть. Жмакин вытащил из кармана хлеб, но хлеб замерз — сделался каменным. С тоской и злобой Жмакин закинул хлеб подальше в снег. Под ногами все скрипело. День кончился. Ничего не было слышно, кроме мертвого скрипа, — ни собачьего бреха, ни голосов. К вечеру краски сделались фиолетовыми, — пыль сомкнулась в сплошной туман. Лица у всех были замотаны до глаз — у кого портянкой, у кого платком.

К ночи вошли в городок. В морозном тумане едва мерцали желтые огни. Пахло дымом, навозом, свежим хлебом. В большой комнате Жмакин разулся и заплакал. Весь мир был проклят, все надо было поджечь и уничтожить, всю вонючую рвань, и все города, и села, и хутора».

Ничего лишнего, навязчивого, дидактического. И, главное, сказано во много раз больше, чем написано.

В самом-то деле. Жмакин бежал из ссылки, не ведая, что нашлась где-то добрая, ищущая справедливости душа. что кто-то, неизвестный, там, в бесконечно далеком и прекрасном городе, терпеливо распутывает узелки, завязанные нечистыми руками, кто-то, неизвестный, добирается до сути дела Жмакина, осужденного по навету, несправедливо.

Кому дело до него, Жмакина, озлобленного на весь мир, несчастного изгоя?

Оказывается, нашелся такой Человек.

Жмакин бежит из ссылки, всю свою дьявольскую изобретательность и недюжинную энергию тратя на то, чтобы, вернувшись в Ленинград, скрыться от Лапшина, уйти от встречи с ним — любой ценой.

А Лапшин сосредоточен на том, чтобы найти несправедливо осужденного Жмакина — любой ценой.

Это органическое переплетение философского и гуманистического смысла повести с незаурядным сюжетом и составляет силу произведения о борьбе за то, чтобы Волк среди людей вновь превратился в Человека.

В той же уплотненной мужественной манере — «Лапшин». Для тех суровых, аскетических времен Юрий Павлович позволил себе роскошь, вызвавшую косые взгляды и некоторых читателей и некоторых критиков. Почему понадобилось автору, выписывая героя уже не первой молодости, лишать его естественного для сорокалетнего нормального мужчины семейного уюта? Почему не нашел себе Лапшин достойной подруги? Да и вообще не испытал счастья любви? Коротает некоторое свободное время с ворчливой старухой Патрикеевной, помогающей в его нехитром хозяйстве, а то с Васькой Окошкиным, зеленым пареньком, работающим в том же уголовном розыске...

Короче говоря, почему понадобилось Лапшину делать одиноким? Неустрашимым?

Это задумывалось вовсе не для того, чтобы вызвать сострадание к герою. Это надо было Герману для того, чтобы доказать: человек может быть счастлив независимо от того, посетило ли его личное, интимное счастье или нет, он все равно может быть счастлив, если есть у него дело, которому он служит вдохновенно, азартно, с полной и безусловной отдачей.

Можно спорить с такой писательской позицией, но это позиция. Эта недвусмысленная и ясная позиция у Германа всегда, о чем бы ни писал, не только о том, что есть счастье. Так было и во «Вступлении». Так было в «Наших знакомых».

Так было и в «Жмакине» и особенно в «Лапшине».

Во взаимоотношениях Лапшина и Окошкина, юного сыщика, тоже подчеркнутая авторская позиция. Лапшин стал для Окошкина тем самым старшим другом, которым был для него, Германа, Бодунов.

В заключительной главе своей повести-были «Наш друг — Иван Бодунов» он расшифровал ее, эту свою позицию.

«Много позже я понял: в молодости непременно должен быть у тебя старший товарищ, мудрый и спокойный друг, много испытавший, много повидавший, для которого не так все просто в жизни, как для тебя, и про которого ты знаешь совершенно твердо: это настоящий человек! Это рыцарь без страха и упрека. Он никогда ничего не испугается, не свернет с дороги совести, правды и порядочности ни в чем, ни в самой малой житейской мере, не пойдет на компромисс, не говоря уж разумеется, о выполнении долга коммуниста.

Такой старший как бы поверяет и проверяет твою жизнь и твою совесть, твое мужество и твои силы, если они нуждаются в испытании».

В ту пору жизнь поставила самого Юрия Павловича перед крутым испытанием, учинила ему серьезную проверку. Его друга обвинили во многих грехах, наклеили на него грубые ярлыки, несправедливые и страшноватые. Иные отвернулись от него. Юрий Павлович, твердо веря в невиновность товарища, поселил его у себя дома, предоставил возможность продолжать работу. В то время эта товарищеская акция сама по себе была акцией гражданской смелости. Герман пошел на нее во имя правды и во имя дружбы. Не помню, советовался ли он тогда с Бодуновым — самому Ивану Васильевичу по некоторым обстоятельствам как раз в ту пору приходилось не бог весть как сладко. Но одно Юрий Павлович знал незыблемо: и сам Лапшин, и его реальный прототип Бодунов — и тот и другой поступили бы только так.

Очевидно, по всем этим причинам и не мог разлучиться писатель ни с Лапшиным ни с его прототипом ни в жизни, ни за письменным столом.

Во второй половине пятидесятых годов на книжных полках появился и тотчас же исчез в силу остро вспыхнувшего читательского внимания новый роман Юрия Германа «Один год».

Читавшие «Лапшина» и «Жмакина» без труда узнали в романе своих старых знакомых. Это были вроде те же персонажи — и другие.

Изменилось время, изменились герои.

В чем выиграл роман по сравнению с повестями? Рамки его были далеко и широко раздвинуты, эти рамки вместили и размышления писателя, обогащенные опытом войны, опытом последующего десятилетия, опытом личным, опытом общества в целом. Явилась новая струя — гневная, обличительная. Лапшин теперь боролся не только за Жмакина, но и против людей, оскорбляющих Жмакина и его, Германа, кощунственным искажением правды, псевдобдительностью, прячущих свое чиновное равнодушие, черствость, бессердечность под панцирь привычных и удобных формул. Возникли в романе новые лица — антиподы Лапшина и самого Германа.

Общественный конфликт обозначился крупнее, само произведение приобрело большую многоплановость.

Сюжет? Он тоже подвергся изменениям существенным: сохраняя былую психологическую канву, автор вплеел новые нити, усиливающие внешнюю занимательность, вплоть до сцен погони, больше типичных для романа приключений, чего вовсе не было или почти не было в довоенных повестях.

Кое-что в этой решительной реконструкции пошло на пользу, и прежде всего воинствующая позиция самого автора (хотя она в некоторых главах отдает ненужной назидательностью). Герман со всей, я бы сказал, публицистической остротой поставил многие нравственные проблемы, всерьез волнующие современников.

Но кое-что оказалось и утерянным. В частности, уплотненная, компактная манера письма. Некоторые новые персонажи в «Одном годе» показались мне слишком однолинейными, плоскостными, некоторые новые эпизоды — схематичными.

Таковы, на мой взгляд, и выигрыши и потери романа «Один год» по сравнению с двумя моими любимыми повестями.

Несмотря на потери, роман жив, любим читателем, породил сильный, светлый, гуманный фильм.

Название фильма со всей ясностью определяло его нравственный смысл, духовное направление: «Верьте мне, люди».

Ильф и Петров и Герман. Да, в самом названии — программа. Так было и с другим, более ранним произведением Юрия Павловича «Наши знакомые».

Наши знакомые. Те, с кем встречаемся дома, в трамвае, на улице, в очереди, на работе. И профессии соответствующие — уборщицы, повара, официанты, рабочие на строительстве.

В сборнике воспоминаний об Ильфе и Петрове Семен Гехт рассказывает: Ильф Ильф, тогда уже знаменитый, прочел роман Германа и он ему понравился. Чем? «Описанием простых человеческих судеб», — отвечает Семен Гехт.

Лев Славин сообщает в сборнике воспоминаний о том же:

«В ту пору, когда Ильф был уже очень известным писателем, он прочел только что вышедшую книгу молодого тогда писателя Юрия Германа «Наши знакомые». Ильф лично не знал его. Но услышав, что Герман приехал на несколько дней из Ленинграда, Ильф разузнал, в какой гостинице он остановился, и пошел к нему специально, чтобы сказать этому незнакомому писателю, как ему понравился роман и почему он понравился ему».

— И знаете, — сказал мне недавно Славин, — Герман всю жизнь помнил этот незапланированный визит и гордился им. — Засмеявшись, Славин добавил: — Великая традиция русской литературы... Помните, поздней ночью на извозчике ехал Некрасов к Достоевскому, прочитав «Бедных людей»...

Герман действительно будет гордиться визитом Ильфа, хотя, вспоминая визит, не преминет подчеркнуть, что Ильф говорил о недостатках «Наших знакомых» со «спокойным бешенством».

«Вообще говорил он мне очень много неприятного, почти только неприятное. Но я почувствовал, что чем-то мои сочинения интересуют, он в них, если можно так выразиться, мешивался».

Думаю, все происходило не совсем так. Вряд ли Ильф стал бы разыскивать ленин-

градца лишь для того, чтобы сказать ему почти только неприятное. Вряд ли. Правда, очевидно, в том, что Ильф, по-настоящему взволнованный романом, видел в нем открытие некоего нового литературного направления, подчеркнуто-полюемическое изображение именно обыкновенных судеб и обыкновенных людей.

Ильф немедля познакомил Юрия Павловича со своим соавтором.

Александр Роскин в том же сборнике воспоминаний в третий раз упоминает имя Германа — на этот раз в контексте с именем Евгения Петрова.

«Помню, как ополчился он раз на критиков, щипавших тогда Юрия Германа.

— Отличный писатель,— кипятился Евгений Петрович,— не понимаю: чего они от него хотят? Виноват он только в том, что его интересно читать».

Вот в этом Герман был на самом деле кругом виноват: книгу «Наши знакомые» буквально расхватали.

Знакомство с Петровым перешло в дружбу.

Дружба, как часто, во влюбленность.

Евгений Петров назначен редактором «Огонька». И «Огонек» — любимый журнал Германа, и Герман требовал от друзей, чтобы читали журнал «Огонек» регулярно, а одного из своих приятелей без его ведома подписал на журнал. Так же было, когда Евгения Петрова назначили редактором «Литературной газеты»: отныне не было лучшей газеты в мире и Герман с упоением читал ее вслух родным и знакомым.

— По доброте я не видел равных Петрову, по ярости — тоже не видел! — комментирует он свои чтения.

Эта убежденность в несравненных качествах Евгения Петрова дала Юрию Павловичу силу выдержать тяжелый натиск той самой газеты, которую редактировал Евгений Петров.

В 1964 году Юрий Павлович рассказывал об этом все в той же «Литературной газете» по-мужски, со всей беспощадностью к самому себе.

«Е. П. Петров хорошо ко мне относился. Более того, мы были дружны. И вот однажды я согрешил. Описывать грехопадение не очень интересно. Коротко говоря, я написал вариант своей пьесы специально для театра, который желал одеть героя в форму своего ведомства».

Друзьями Юрия Павловича не забыт сей прискорбный случай. Центральный театр транспорта уговорил Юрия Павловича «перекантовать» на транспорт пьесу «Сын народа». Печально, но факт. Уговорил.

Малодушие прозаика, очень хотевшего, чтобы пьесу поставили в столице, особенно после того как критика дружно бранила его за неудачную драму «Вступление», плюс неукротимая, железная настойчивость Театра транспорта, жаждавшего тематической пьесы, да еще некоторое, назовем — легкомыслие, свойственное прозаику Герману, когда дело касалось театра,— все это «сработало».

Появился, к недоумению и огорчению друзей Юрия Павловича, компрометирующий имя писателя «транспортный вариант».

Слово самому Юрию Павловичу:

«Петров позвонил мне из Москвы.

— Сейчас же запретите спектакль.

— Но...

— Один раз он был у вас врачом, сейчас он у вас машинист, а будет кто — хлебопеком? Послушайте — запретите!

— Евгений Петрович, дело в том, что...

— Я не Евгений Петрович, сейчас я редактор «Литературной газеты». И если это безобразие не прекратится, мы по вас ударим.

— Вы? Ударите?

— Мы! Ударим! И больно!»

«Безобразия» прекратить я не смог, и «Литературная газета» ударила — и как! И было очень стыдно.

Много позднее Петров рассказывал мне, как родной его брат В. П. Катаев спуска и послабления не давал нисколько Ильфу и Петрову, когда они начинали писать. И заканчивал этот рассказ: «Товарищ с товарища спрашивает, а кум куму прощает»...»

Головко в Герман. Вскоре после войны в одно из воскресений за Германом и мною прислали длинную черную машину — едем в гости к адмиралу Головко.

Еще не странно видеть за рулем водителя в матросской ушанке, с черными погонами флотского главстаршины.

Война хоть и позади, но и рядом.

Живем ею, еще отчетливым ее эхом, ее беспощадной памятью.

Фамилия бывшего командующего Северным флотом адмирала Арсения Григорьевича Головко тоже на слуху. И прилагательное — «легендарный».

Северный флот — самый молодой флот страны — на краю земли. И у самого молодого флота самый молодой командующий.

Адмирал был любим на Севере, самые фантастические истории, легенды, сказания об адмирале Головко перелетали не только с корабля на корабль, но и с флота на флот. Это было похоже на узун-кулак в среднеазиатских степях — «длинное ухо», слух, мчавшийся на конях из аула в аул.

Добирались они и до нас в Ленинграде и Кронштадте, свободно проникая сквозь кольцо блокады...

...Герман забнет, поживается в сером демисезонном пальто, уцелевшем в блокаде и вывезенном из Ленинграда в конце войны, — он еще служил на Севере. Сохранилось и зимнее, но оно в ленинградском ломбарде и выкупить, простите, не на что — об этом знаю я; там, куда мы едем, этого не должны знать ни в коем разе.

Как и то, что на жене его чужая шуба. Одолжили на воскресенье в связи с предстоящим визитом у московской приятельницы. Своя шуба в ломбарде, рядышком с его зимним пальто. На одной квитанции.

Странно, что он никогда не писал мне из Полярного о Головко. Такой падкий на были и легенды о добром, правильном, справедливом — ни разу.

А о том, что ему нравилось жить на Севере, — неоднократно. «Я много езжу. Написал одну пьесу, получилось, как говорят, ничего — взялся за другую, под названием «Далеко на Севере». Про фронтовых женщин-врачих. Получается хорошо, но немножко грустно...»

Потом эти женщины-врачихи войдут в его последнюю трилогию. И там тоже получится хорошо, но немножко грустно.

В сорок третьем году его приглашали на работу в Москву в военную газету. Очень скучал в Полярном без семьи — жена и дети в Архангельске. «Жить врозь уже нет сил. Что касается отъезда... я бы уехал, если бы ко мне тут дурно относились. Относятся же ко мне здесь настолько хорошо, даже не по заслугам, что пожаловаться решительно не на что и отъезжать до того момента, пока я хоть в какой-то мере тут нужен, — грех. Да и атмосфера у нас очень хорошая. Думать легко и работать хорошо — времени много, никто не цукает и не гоняет, сиди и пиши, а не хочешь — смотри, набирайся всего».

Снова предложение — в Москву, и снова отказ: «...когда наберу действительно много флотского духа, когда действительно почувствую, что могу ехать в Москву, потому что у меня хватит надолго чего писать из жизни, а не из головы, тогда и попрошусь...»

Спустя несколько дней: «Я тут путешествовал и опять скоро отправляюсь... у меня теперь страсть бродяжничать, и мне хочется помотаться по разным морским путям и дорожкам...»

Письма из Полярного бывали разные. или, как выражался Юрий Павлович, «разненькие», — и веселье и не слишком: бывало, нападала на него хандра тяжелейшая.

И все тоскливей без семьи: «Таня нынче одна, скоро уж с полгода, живется ей невесело, за полгода виделись мы с ней три дня и никто не пишет ей».

«Таня живет одна, в тоске».

Приписка: «И все-таки я доволен, что я тут. Я очень много вижу каждый день и рад этому. Теперь я стал старый, очень умный, необыкновенно талантливый и вообще просто прелесть...»

Ему исполнилось в этот день тридцать три года...

Насчет нового предложения выехать в Москву: «С флота я никуда не уеду. Мне тут отлично».

«Я на днях отправляюсь бродить. Я теперь не в пример некоторым другим пишу все исключительно из жизни».

«Отношение ко мне, если я не ошибаюсь, отличное, и вообще мне тут есть что делать».

Узнав о дне рождения Юрия Павловича, комфлотом послал Герману, не сказав от кого, бутылку шартреза, подаренного, в свою очередь, комфлоту каким-то офицером из британской военной миссии в Полярном. Герман был чувствителен, как сейсмограф, ко всем колебаниям человеческой атмосферы, где бы и когда бы то ни было. Ранним любым проявлением людской толстокожести и, напротив, приходил в умиленно-блаженное состояние, если обнаруживал в людях душевную тонкость, а в их добрых поступках — изящество, деликатность и особенно застенчивость.

Чеховское...

Люди, служившие на флоте, знают, кем был командующий в те времена, да еще в гарнизоне отрезанном, далеком, — как говорилось в старину, и царь, и бог, и воинский начальник...

Почерк Головки был — в цифрах потопленных неприятельских транспортов. И в поросятах, которые по традиции выдавались подводным лодкам, возвращающимся с боевых операций. И в пушечных выстрелах при входе в гавань. (Таким способом называлась победная цифра: сколько кораблей потопили, столько выстрелов и столько поросят.) И в анонимной бутылке шартреза, присланной в день скромного писательского тезоименитства...

...Адмирал сегодня уже не командует Северным флотом — переведен в Москву на высокую должность. Но скучает по Северу и к себе относится в новой ипостаси с несколько иронической почтительностью...

— А нам дадут супу? — тихо любопытствует Герман.

Приехал Юрий Павлович в Москву из Ленинграда всего на два дня, сегодня — обратно. Билеты на «стрелу» уже в кармане. Приехал взять «добро» у начальника Главного штаба, без его команды не откроют плотно закупоренных ленинградских морских архивов. А Юрий Павлович вернулся к материалам о войне, о Севере, о флоте, и надо порываться в еще не успевших пожелтеть документах... «Подгребайте-ка ко мне в лес послезавтра, в воскресенье, — пригласил нас адмирал. — Форма одежды — теплые исподнее, валенки, ушанка. Выяснить отношения будем на природе, хотя, имейте в виду, слоны живут долго потому, что не выясняют отношения...»

— Дадут супу? — продолжает шептать Герман в машине и оживляется: — Ты помнишь, полгода назад я пришел в твой домик на Петровке, «постепенно переходящий в сарай», и попросил, если помнишь, каши? Размазни, но только чтобы ее было много.

Я помнил. Он был зван на обед к одному весьма известному литератору и заявился ко мне после обеда злой как черт.

Именно теперь, когда едем на званый обед, не терпится ему вновь «прокатить» историю, которую он рассказывал наверняка не впервые и всякий раз с рождающимися по дороге новыми подробностями...

— Ах, как все было изысканно... Много салфеток, вываренных, в крахмале, много рюмок различных калибров и еще больше пустых тарелок — отдельно для салата, для хлеба, для рыбы, для мяса, для десерта и для очень многого иного... Глубоких тарелок, правда, я не заметил и понял: горим. Немножко посидели, поговорили про умное, а потом вошла какая-то старуха с профилем дамы пик, в наколке и в переднике с размытыми пятнами в духе Монэ или Марке, и внесла на большом, тоже размытом в духе импрессионизма подносе кокильницы. Не правда ли, очень утонченно? Кокильницы. Но не думай, что эти кокильницы поставили на стол. Там ничего не ставили на стол. Там только обносили. Даже хлебом. Я потом приноровился и сразу хватал три или четыре ломтика — тем более что ломтики были тоненькие-претоненькие. Они просвечивали. Нас все время обносили и все время спрашивали: хотите ли вы? Еще бы не хотите! Я умирал от голода. Но когда человек очень хочет есть, ему стыдно сказать, напротив, он всеми силами старается продемонстрировать, что если он чего и не хочет, то именно есть. И когда меня спрашивали: хотите ли вы? — надо было отказываться, хотя бы через раз. Но вначале я не в силах был этого сделать. И взял маленькую, простите, кокильницу. В ней на доннышке было немножко грибов. Чуть-

чуть. Они были посыпаны сыром. Это было фантастически вкусно и неправдоподобно мало. Потом нас обнесли обыкновенной простой русской водкой, но ее почему-то держали в белоснежной накрахмаленной салфетке, как шампанское, и почему-то спрашивали: «Позволите ли вам налить?» А почему бы я мог не позволить? И вдруг принесли суп. Это было как мираж. Но взглядевшись, я очнулся: да, мираж. Суп-бульон принесли в таких маленьких чашечках, что они казались еще меньше, чем кокильницы. Хозяйка еще успела положить в чашечки укроп. Почему-то укропа было сколько угодно и — на столе. Все остальное разносили. Нет, на столе, кроме укропа, были специи, соус кетчуп, соус фландрис, соус керри, еще какой-то соус с иностранной наклейкой и необыкновенно изящный тройничок с уксусом, горчицей и солью. Я покончил с бульоном одним полуглотком и вдруг, поняв, что сейчас умру от голода, поглядел на стол, дабы что-нибудь схватить. Но, кроме специй, там ничего не было. Я бы намазал хлеб горчицей, но хлебом тоже только обносили. Я был так зол и так несчастен и ничтожен в своих помыслах, что не мог даже следить за ходом утонченной беседы — кажется, это называется козери — о пуантилизме и сюрреализме, об экзистенциализме и Жане Кокто. Мне хотелось вернуть что-нибудь земное, будничное, повседневное, посконное, но куда там, я боялся даже заикнуться. На сладкое было желе. Опять на тарелочке для лилипута что-то дрожало. «Вы хотите?» Я ответил мужественно, помня, что надо было отказываться хотя бы раз: «Не хочу». Я курил. И когда потом нас позвали в кабинет, где, вероятно, нас обнесли бы французским коньяком и гаванскими сигарами, кончики которых следует откусывать, я испугался, что могу не только откусить кончик сигары, но его и съесть, и убежал и попросил у тебя хотя бы размазни, но только чтобы было много.

Тут главстаршина, сидевший дотопе за рулем с каменным лицом Будды, натренированный на то, чтобы не вникать в разговоры на заднем сиденье ни при каких обстоятельствах (ведь это была машина Главного морского штаба, на ней ездили «туда» и «оттуда»), — тут главстаршина громко захохотал, как хохочут только в матросских кубриках. И только тут, глянув по сторонам, мы обнаружили, что, замороженный рассказом, он давно промахнул поворот на Переделкино и теперь мы мчались напрямик в Минск...

— Так как ты думаешь, Танечка, нам дадут супу? Или хотя бы размазни?

Разворачиваемся, чуть не угодив задними колесами в сугроб — машина длинная, — и едем в Переделкино.

...Вся передняя — в офицерских и адмиральских фуражках с дубовыми золотыми листьями, в одинаковых белых шарфиках, и внизу, под вешалкой, очень много галош — и то и другое по форме.

Домоуправительница Устя гоняется за белой дворянкой по имени Шарик, сжимающей в зубах чью-то адмиральскую галошу на малиновой подкладке с золотой буквой «Е». Головка натаскивал дворянку носить за ним галоши, и тут, увидев их в таком обилии, Шарик распоясался.

Еще раздеваемся, когда из столовой доносится женский голос: какая-то дама говорит о французском импрессионизме — надо же! Я вспоминаю о старухе в наколке и о кокильницах и переглядываюсь с Германом.

И Герман шепчет:

— Супа не будет.

Мы входим. Нет, тут никого не обносят, на столе по-русски много и широко — начиная с маринованных опять, домашне посоленных огурцов, студня, жареных пирожков с рыбой, капустой и мясом. А супа два — на весь дом пахнет рыбной солянкой и украинским борщом.

Уютно шаркая тапочками, адмирал выходит нам навстречу, усаживает Германа около дамы, рассуждавшей об импрессионизме. Герман смотрит на меня с отчаянием. Даму слушают вежливо, но вяло, больше из почтения к адмиралу, чьей женою она была, и мало-помалу она сосредоточивает свое светское внимание на Германе, спрашивает про его творческие планы, чего он больше всего на свете не любит. И он злится все больше, разговор за столом идет необязательный, несущественный, день уходит впустую, ему уже не удастся поговорить с Головкой, а билеты на «стрелу» в кармане, и я кожей чувствую, как он ненавидит даму.

Ощувив всю бессмысленность такого застолья, хозяин стучит вилокю по стакану и, установив тишину, рассказывает о том, как один военный инженер, фамилию забыл, не то на Л., не то на М., находясь на одной из наших военно-морских баз в Германии, неподалеку от французской границы, внезапно отбыл в Париж в самовольную отлучку.

Это было так невероятно — в Париж, да еще в те времена, когда поездка в Париж казалась всем нам чем-то совершенно нереальным, да еще без командировочного предписания, по собственному, никем не контролируемому желанию...

— Кто же его выпустил?

— Никто. Взял трофейный «опелек» — и айда!

— А зачем?

— Захотелось.

— Но как же?

— А вот так.

— А все-таки?

— Имел желание рассмотреть Эйфелеву башню. Вблизи. И въехать на Елисейские поля через Триумфальную арку, повторив маршрут Александра Первого Больше ничего.

— Он что, нормальный?

— А что тут ненормального?

— А дальше?

— Посмотрел и вернулся.

— Домой?

— А куда же?

— Ну и что же дома?

— В Смерш, на допрос. Кто, что, куда, зачем и какая разведка завербовала. А я, говорит, к разведке отношения не имею, ни к ихней, ни к нашей, у меня другая специальность, я инженер-строитель. На каком же основании поперли в Париж? А я, говорит, туда стремлюсь с детства.

Все хохочут. Я глянул на Германа — он один не улыбается и только спрашивает низким, очень напряженным голосом:

— Ну и что же вы с ним сделали? Небось уж где-нибудь копает?

Головко взглядывает на Германа задумчиво.

— Повторять, что я ему говорил, при дамах, пожалуй, смысла нет. Напишите, говорю, объяснение. А что, говорит, писать? Пишите, говорю, как сказали: захотелось в Париж. Можете добавить, что стремились с детства. Ну, он так и написал. Что захотелось. И что стремился. Еще что-то насчет Эйфелевой башни написал. Что она самая высокая в мире. Его прорентгенили до пятого колена. Посидел на гауптвахте. Он теперь трофейные предприятия демонтирует. Тут он бог. Работать умеет, подлец.

Домоуправительница внесла новую мощную партию пирожков, а Герман закатывает глаза и разводит руками, как бы показывая, какой из ряда выходящий случай, и из ряда выходящий инженер, и из ряда выходящий Головко...

— Лев Николаевич Толстой, — произносит Юрий Павлович, встав и подняв стопку, и так значительно, что домоуправительница Устя застывает на месте с поднятым блюдом, — писатель, которым каждый из нас обязан гордиться, умел видеть простые вещи простыми, срывая все и всяческие маски. Вы, Арсений Григорьевич, действовали в данном случае по великой толстовской традиции. Инженеру не то на Л., не то на М. захотелось повидать Париж, как естественно хочется повидать этот прекрасный город всем нам, и вы поняли это естественное стремление.

Офицеры и адмиралы слушают речь Юрия Павловича, признаться, с некоторым недоумением: налицо, как ни кинь самоволка, и грубейшая, не говоря о незаконном переходе границы.

Но начальник Главного морского штаба согласно кивает Герману и, тоже встав, предлагает вышить за то, что ничто человеческое не чуждо человеку, в том числе инженеру, проявившему настойчивость, инициативу и волю к достижению цели, к которой стремился с детства, и сам последовал традициям великой русской литературы, а поэтому предлагается опрокинуть в один бокал три тоста — за инженера, за настойчивость в достижении цели и за графа Льва Николаевича Толстого.

Поскольку тройной тост предлагает начальник Главного морского штаба лично, все раскованно улыбаются милой шутке и с охотой пьют, и Герман, осушив стопку, снова закатывает глаза и разводит руками, и ясно становится, что отныне никого на всем земном шаре не поставит он вровень с этим адмиралом.

— Посмотри на него,— умиленно шепчет мне Юрий Павлович,— он в тапочках. Это неслыханно...

И уже не жалеет, что приехали, и подливает водку то на перце, то на рябине даме, которую он уже не ненавидит, как раньше, напротив, находит ее милой и, главное, делающей, в общем, в этой среде, далекой от французского импрессионизма и от многого иного, нужное, полезное и, если хотите, благороднейшее дело. И уже все, все, все без исключения умиляет его почти до слез: и беленькая дворняжка, внесшая в зубы еще одну галошу одного из адмиралов, на малиновой подкладке, в этот раз с буквой «Ю», и домоуправительница Устя, разливающая крепчайший, истинно флотский чай, и появившийся неожиданно бочонок натурального вина, который прислали адмиралу его земляки с Кубани.

А Головки притащил сверху патефон, ставит на него пластинку, любимую, которую мог слушать бесконечно. Пластинка куплена им в Париже на Севастопольском бульваре, когда он, «дон Алонзо», возвращался из Испании, где воевал волонтером. Это вальс, незатейливый, простенькая мелодия в духе «Под крышами Парижа», а может быть, чем-то похожий и на вальс «На сопках Маньчжурии», он трогателен, наивен, и у слушающих его теснит в груди. А может быть, это оттого, что за окном русская метель, но говорят про Испанию, и шумят слова «Гвадалахара», «Барселона», «Картахена», фамилии Листера, Ларго Кабальеро, Хозе Диаса, Эренбурга, Кольцова, Хемингуэя; читают, конечно, стихи Светлова про Гренаду, и все, все кажется Юрию Павловичу необыкновенно прекрасным, и у него блестят глаза от умиления.

А тут Головки приглашает его пройти наверх, в кабинет, по лестнице, которая в этом доме, разумеется, называется трапом. И они скрываются. Они остаются вдвоем, очень долго только вдвоем, все ждут их, время ехать, и наконец они спускаются.

И оба, и Герман и Головки, и шумят, какие-то просветленные, и молчаливые, и загадочные...

Выпив посошок на дорогу, все отправляются в переднюю.

Когда Герман надевает свое демисезонное пальто довоенного шитья, Головки восхищается и ставит в пример всем военным морякам писательскую недюжинную закалку. Герман стыдливо улыбается.

— Юрочка,— виновато говорит жена,— я забыла, которая шуба моя. Ведь все-таки она чужая.

— Тише,— шепчет Герман — И вспомни, если можешь...

— Может быть, ты вспомнишь,— жалостно шепчет жена.

— Все-таки она была на тебе, а не на мне...— шепчет он с фальшивой ласковостью.

— Берите любую, там разберемся,— ликвидирует назревающую семейную ссору подошедший и регистрирующий своим морским глазом все ЧП Головки.

Все дамы тем временем оделись. К счастью, на вешалке остается лишь одна женская шуба. Ее и берут.

Всю дорогу Юрий Павлович едет молча забыв даже попилить жену за инцидент в передней.

Он полон всем, что случилось в это воскресенье, хотя в это воскресенье ничего особенного не случилось. И, очевидно, последним разговором один на один там, на втором этаже...

Когда мы подъезжали к Москве и сквозь метель замаячили ее неясные огни, сказал, вроде бы ни к кому в машине не обращаясь:

— Спросил его: почему вы, командующий флотом, зная, что тут у вас, на флоте, есть писатель, имя которого, вероятно, вам было известно, и, может быть, еще задолго до войны, не пригласили меня к себе?

— Что он сказал?

— «Я стеснялся». Именно потому, что считал меня писателем, стеснялся. И сам спросил — между прочим, весьма сердито: «А вы, едрена качель, почему вы не пришли ко мне?»

— Что ты сказал?

— «Я стеснялся».

Чеховское...

И много месяцев спустя всякий раз, когда заходила речь об адмирале Головке, голос Юрия Павловича менялся, становился низким, грудным, как всегда, когда он говорил о чем-то необыкновенно значительном и умилявшем его... И писал мне о записках Головки, опубликованных вскоре после этого свидания в «Новом мире»:

«Передай Арсению Григорьевичу, что его записки мне необыкновенно помогли. В них есть настоящая и точная точка зрения — то, чего я не знал, так как это время был в Архангельске. Пишет ли он дальше? Если не пишет, то это очень печально».

А спустя пятнадцать лет после этого воскресенья пишет мне из Ленинграда:

«Я очень обрадовался твоему письму, хоть оно и не слишком веселое. Все мы почему-то перестали писать друг другу, а письма все-таки штука приятная. Обычно я, не знаю, как ты, но я получаю только повестки на разные заседания...»

...Про Головку — все это невыносимо! Какая-то дикая закономерность: умирают хорошие люди!»

Эта дикая закономерность очень, очень скоро коснется и его самого...

...и **Дзержинский**. «Наши знакомые» — знаменитая книга Германа, необыкновенной популярности у читателя тридцатых годов. Ею зачитывались, одни наши знакомые крали ее у других наших знакомых. Кроме всего прочего, это была беллетристика со свойственной истинной беллетристике непринужденностью и легкостью изложения с той самой занимательностью, когда нельзя оторваться от страниц и жаль, что где-то все же роман должен кончиться...

Стало быть, сила Германа в изображении судеб людей обыкновенных, простых, чьи биографии — биографии миллионов?

Но почему же в ответ на вопрос интервьюера: «Кого же все-таки можно считать вашим самым любимым героем?» — отвечает коротко: Дзержинского.

Почему Дзержинского? Только ли потому, что при встрече с Горьким тот присоветует написать книжечку для ребят о Дзержинском и расскажет о том, что Дзержинский спросил Горького: «Алексей Максимович, когда же отпадет необходимость в жестокости?»

Но ведь биография Дзержинского не рядовая, а из ряда выходящая, сам он личность более чем незаурядная, своеобразнейшая, не боюсь сказать — исключительная. Может быть, потому, что исключение подтверждает правило?

Или потому, что в Дзержинском для Германа воплотился облик идеального человека революции, выражаясь его же, Германа, словами, «центральный характер»?

Попробуем понять, на чем фокусирует свое внимание Юрий Павлович, изучая эту биографию и, в частности, книгу воспоминаний жены Дзержинского Софьи Сигизмундовны.

«Никто никогда не замечал в его взгляде выражения безразличия».

Это уже не могло не привлекать Германа с его ненавистью к равнодушию.

Герман читает воспоминания американского скульптора Шеридан — она лепила Ленина, лепила и Дзержинского. Что выписывает из ее воспоминаний Герман?

«А руки его — это руки великого пианиста или гениального мыслителя. Во всяком случае, увидев его, я больше никогда не поверю, больше ни одному слову из того, что пишут у нас о г-не Дзержинском».

Выписывает строки из письма Дзержинского жене в 1918 году:

«Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасти наш дом, некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем самым, каким было и раньше. Все мое время — это непрерывное действие».

И — строки из письма Дзержинского сестре:

«Не знаю почему, я люблю детей так, как никого другого. Я никогда не сумел бы полюбить женщину, как их люблю. И я думаю, что собственных я не мог бы любить больше, чем несобственных. В особенно тяжелые минуты я мечтаю о том, что взял какого-либо ребенка, подкидыша, и ношусь с ним, и нам хорошо...»

И — случай в тюрьме Дзержинский сидел вместе с умирающим от чахотки рево-

люционером Антоном Россолом: тот в полубреду мечтал увидеть небо — и Дзержинский, когда выводили арестованных на прогулку, взвалив Россола на спину, встал в строй. Прогулка продолжалась сорок минут. Останавливаться запрещено. Так Дзержинский носил Россола на спине все лето. Это тюремное лето навсегда сделало его сердце больным.

Герман записывает чьи-то слова:

«Если бы Дзержинский за всю свою сознательную жизнь не сделал ничего другого, кроме того, что сделал для Россола, то и тогда люди должны были поставить ему памятник».

Германа интересуют строчки из блокнота Дзержинского, ходившего в 1921 году в детские больницы и приюты:

«...Вобла, рыба — гнилая. Сливочное масло испорчено. Жалоб в центр не имеют права подавать».

Переписывает выводы Дзержинского:

«Нужно 120 тысяч кружек, нужно сшить 32 тысячи ватных пальто, нужен материал на 40 тысяч детских платьев и костюмов. Нет кожи для подошв к 10 тысячам пар обуви».

Переписывает пожелание Дзержинского сыну Яцеку — чтобы сын, когда вырастет, непременно был «ясным лучом — умел бы сам любить и быть любимым».

Герман фиксирует в своих заметках, что первый смертный приговор ВЧК, созданной по предложению Ленина 20 декабря 1917 года, был вынесен князю Эболи: тот присвоил себе бланки и печати ВЧК и под маркой работника ВЧК производил обыски и присваивал себе огромные ценности.

И то, что 15 января 1920 года, то есть когда гражданская война еще не кончилась, не кто иной, как Дзержинский подписывает постановление ВЧК об отмене смертной казни по приговорам ЧК и ее местных органов.

И то, что Дзержинский приказывает судить работника ЧК, ударившего арестованного контрреволюционера. И на суде сам выступает обвинителем.

И слова Дзержинского, сказанные им в Большом театре на собрании, посвященном пятилетию ВЧК — ОГПУ:

«Кто из вас очерствел, чье сердце уже не может чутко и внимательно относиться к терпящим бедствие, то уходите из этого учреждения. Тут больше чем где бы то ни было надо иметь доброе и чуткое к страданиям других сердце».

И — строки письма Дзержинского сестре:

«Я остался таким же, каким и был, хотя для многих нет имени страшнее моего».

И Герман называет удивительными слова, какими заканчивается знаменитое письмо Дзержинского всем чрезвычайным комиссиям, посвященное борьбе с беспризорностью детей:

«Забота о детях есть лучшее средство истребления контрреволюции».

Не примечательно ли — первые рассказы о Дзержинском, написанные Германом, адресованы детям.

Как и первые рассказы о Ленине Михаила Зощенко.

Напечатаны первые рассказы о Дзержинском в ленинградском детском журнале «Костер».

Как и первые рассказы о Ленине Михаила Зощенко.

Написаны эти рассказы примерно в одно и то же время, трудное и сложное, когда особенно важно детям сказать о Ленине и о Дзержинском.

А для меня удивительно и то, что сам Герман, будучи человеком противоречивым, часто непоследовательным, в чем-то очень сильным по характеру, а в чем-то и грешным, нестойким, влюбляется в Дзержинского, человека, которого никогда в жизни не видел, в личность поразительно цельную, единую в действиях и помыслах, в личность гармоническую в высшем и прекрасном значении этого слова.

Впрочем, удивительно ли?

Можно сказать (тут не будет никакого преувеличения), что Дзержинский — незримый спутник Германа не только потому, что он, Герман, пишет о Дзержинском очерки, рассказы, повести, наконец пьесу.

Не только и не столько. Тем более что не все эти рассказы и повести удаются Герману по-настоящему.

Дзержинский всегда с Германом, потому что для Германа Дзержинский — воплощение честности революции. Ее мечты. Потому что Герман доказывает: Дзержинский — меч революции не только карающий, но и спасающий. Доказывает: человечность революции, гуманность ее — смысл жизни революционера.

«Главное в Дзержинском, — размышляет Герман в своих записках, — вера в человека, а не неверие и подозрительность. И Бодунов (Лапшин) и Штуб в трилогии — это продолжатели дела Дзержинского, это представители подлинно гуманной советской власти, которые никогда не признавали человека, любого человека, винтиком, которые ненавидели страшную формулу: «лес рубят — щепки летят»...»

И особо останавливается на персонаже из своей трилогии — Штубе (читавшим трилогию известно — Штуб кончает жизнь самоубийством). Почему особо? И вообще, как могло случиться самоубийство героя, героя активного, никогда не стоящего в стороне, борца, человека переднего края?

Герман объясняет в интервью, данном журналу «Вопросы литературы»:

— Это своего рода фронтовой огонь на себя, это никак не слабость, это то самое, о чем писал Вольтер: «Если все потеряно и нет надежды, жизнь — это позор, а смерть — долг».

Можем не согласиться с Германом. Более того — с Вольтером. Это наше право. Можем осудить и самого Штуба за избранный им род огня на себя. Это тоже наше право.

Но не можем отказать ни Штубу в человеческом мужестве, ни Герману в писательском.

И обоим — в гражданском.

В ПАМЯТИ, В ПИСЬМАХ, В ДОКУМЕНТАХ

Родители. «Четырех лет от роду я попал на войну. Отец был офицером. Мать пошла за ним сестрой милосердия. В артиллерийском дивизионе — среди солдат, пушек, коней — прошло мое детство. И в полевом госпитале — у матери».

Юрий Павлович Герман родился 4 апреля 1910 года в городе Риге, в семье Павла Николаевича Германа, поручика Малоюрославского полка, родом из мещан, получившего личное дворянство.

Мать, Надежда Константиновна, урожденная Игнатъева, преподавала русский язык в рижской гимназии.

Хорошо помню его отца, Павла Николаевича, тучного, одутловатого, сохранившего и после революции вместе с бывлой строевой выправкой усы типичного русского отставного офицера; и носил он потертый френч с нашивными карманами, какие донашивали после гражданской войны военспецы из бывших офицеров.

И маму помню его — строгую даму, пронесшую сквозь революцию, как отец, свою бывшую строевую выправку, несколько высокомерную манеру обращения и несколько надменное выражение лица — и то и другое положено, по ее мнению, бывшей преподавательнице русского языка в дворянской классической гимназии. А Юрий Павлович, если говорить правду, мучительно стесняется этой ее манеры и этого ее выражения лица. И, переводя родителей из провинции в Ленинград, выполняя все сыновние обязанности, возможно, по этим причинам не спешит знакомить с матерью своих многочисленных друзей. Родители, естественно, обижаются, и мама его, забыв о надменности, совсем как другие простые мамы, иногда горько-горько жалуется мне на то, что Юра обходит ее вниманием, а оно, известно, дороже любых денег.

Считаю долгом друга сказать ему об этом.

Раздражается еще пуще и навещает родителей еще реже.

Странности и причуды революции, сделавшие в свое время Всеволода Вишневского, дворянского сына, братишкой-матросом и пулеметчиком Первой Конной, а дочь профессора права Петербургского университета Ларису Рейснер — начальником политотдела Волжской военной флотилии, не минуют и заурядного, ничем особенно не примечательного бывшего русского офицера Павла Николаевича Германа.

До издательства он доплелся наконец! Дают рукопись на прочтение и отзыв рецензенту, какой-то, конечно, отбывает на юг в отпуск. Рецензент гуманно соглашается прочесть рукопись на курорте. И кладет ее в свой чемодан. И садится в поезд.

В вагон забираются воры и крадут чемодан.

Тем временем Юрий Павлович становится незаменимым работником многотиражной «Голос бумажника».

«Тут я делал все и познакомился с немецкими специалистами, приехавшими в СССР».

Пока он знакомился с немецкими специалистами, что потом и определит его судьбу, воры рассматривают содержимое чемодана.

«Мой роман ворами пришелся не ко двору, рукопись была пухлая, тяжелая, и ее подкинули в милицию».

И «Рафаэль из парикмахерской», продолжая жить своей, отдельной от автора жизнью, отправляется в новое путешествие — по отделениям дорожной милиции.

Таким образом, это путешествие можно считать первым заочным знакомством будущего автора «Лапшина» и «Жмакина» со своими будущими героями — милиционерами и ворами.

«Рафаэль из парикмахерской», проплутав по дорожным отделениям милиции, возвращается в «Молодую гвардию».

«К тому времени я уже понял, какой кошмар написал, радовался, что роман украли, и сидел тихо, не скандалил с «Молодой гвардией». Ведь я вместо статьи с историями из жизни людей, которых хорошо знал, за два месяца накатал роман».

Но — поздно. «В эту пору, совершенно причем для меня неожиданно, мне сообщили, что роман мой «Рафаэль из парикмахерской» нашелся и будет издан».

Потребовать, чтобы роман не печатали, у молодого автора не хватает душевных сил.

И роман издан в 1931 году. И они вновь встретились — автор и роман.

Славы первому, прямо скажем, второй не принес.

Увлечения. Я не встречал среди молодых литераторов моего поколения, начавших, и это было естественно, с отрицания ранее существовавших литературных канонов, этических норм, цеховых статутков, — да, я не встречал среди них человека, который так свято чтит бы писательскую честь. И — с первых же дней своего вступления в литературу.

Герман никогда не забывал о том, что носит звание писателя, — ни в мир, ни в войну, ни в пиджаке, ни в шинели, ни перед читателями, ни перед зрителями.

И не прощал тому, кто не дорожит своим высоким писательским предназначением, кто «суется перед клиентом», кто (как он выразился в письме по адресу такого суеющего, попавшего в честную и суровую воинскую среду в Полярном на Северном флоте) стремится «схватить себе что-нибудь на грудь» или же, торопясь попасть кому-то сиюминутному в тон, покровительственно-небрежно отзовется о так называемой писательской братии.

Тут Герман злой и опасный.

Писателями, режиссерами, людьми искусства увлекался так же, как и излюбленными своими персонажами из милиции, медицинского мира, официантами, поварами...

То совсем юные Александр Зархи и Иосиф Хейфиц, которые еще не поставили своих «Депутата Балтики» и «Члена правительства» и которых вся студия Ленфильма ласково называет «мальчиками». Собирается делать с ними картины, тащит их с собой в уголовный розыск и даже заставляет участвовать в облаве на воров и проституток...

То Сергей Герасимов — восхитительно страшный Медокс, сыгранный в рянем фильме Григория Козинцева и Леонида Трауберга «СВД»; возникшая с Сергеем Аполлинариевичем в те годы дружба даст вскоре фильм «Семеро смелых», живущий и по сей день...

То московский гость Евгений Петров, в котсфом Юрий Павлович увидит не только одного из авторов «Двенадцати стульев», но и пресобраз своего любимого героя, вменяющегося «во все»...

То переводчик Валентин Стенич, о котором скажет Герман, задыхаясь от переполняющих его почти благоговейных чувств:

— Без Стенича мы бы никогда не узнали великих англичан и великих американцев — это были Его американцы и Его англичане.

И много, много других кумиров на час и на долгие годы возникнут на его будущей литературной дороге...

Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович проделывает по этой дороге, ведущей к сердцу Германа, путь несколько более сложный. Как ни странно, этот путь связан с проблемой моды.

Немного о моде. Она, мода, будь это платье, кинематограф, прозаическая манера письма, новая звезда на небе поэзии, носы башмаков, новые музыкальные ритмы, новый способ лечения старой болезни взамен испытаннейшего, опробованного,— все это вызывало у Германа инстинктивный протест.

И вот он раздражается, слыша восторженные клики вокруг нового тогда имени Шостаковича.

Он кипит.

«Поворот» к Шостаковичу у Германа начался, когда Шостакович оказался под огнем несправедливой критики.

Он говорит во всеулышание, что Шостакович велик, и что все мы «чижики и ничтожества, случайно оказавшиеся подле гиганта», и что для него лично музыка Шостаковича столь же существенна, как «Война и мир», «Смерть Ивана Ильича» и чеховский «Крыжовник».

Спустя несколько лет я слышу, как он объясняет своим друзьям сыщикам, что Шостакович — гений. Что, ничего не смысла в музыке, музыку Шостаковича он понимает, что лучше Шостаковича ничего нет на свете и что только Шостакович заставил его уразуметь, для чего вообще нужна музыка. Раньше он сего искренне не понимал.

Друзья сыщики слушают его очень внимательно, очень вежливо, но молчат.

Говоря все это же и друзьям, знавшим его коротко, он забывает, что им-то известно — он не ходит в концерты.

Кому положено быть военным. Уже были позади Западная Украина и Западная Белоруссия 1939 года. Юрий Павлович вместе с группой ленинградских артистов, возглавляемых Николаем Черкасовым, едет в войска.

В местечке под Белостоком — наша негаданная встреча. Подходит к нам подтянутый, ладный командир. Это Алексей Сурков. Герман с великим любопытством и даже с некоторым недоумением разглядывает поэта, чувствующего себя привычно и уверенно в солдатском обличье.

Уже позади и тяжелая зимняя лесная война — Герман сам надевает военную форму, впервые: он специальный корреспондент ТАСС на Карельском перешейке.

Начало сорок первого. Келомякки, нынешнее Комарово. Здесь поселились несколько ленинградских писателей, в их числе Герман.

Зимние Келомякки — последняя, наполненная грозowymi предчувствиями передышка.

Совсем поблизости, в Пенатах, жил еще недавно Репин. Чуть подале Куоккала — места Корнея Чуковского.

Каждая снежная тропка — литературная реминисценция...

Герману нравится тут жить. Изобретает теорию, по которой писателю должно чураться города, презренной урбанистической суеты. Жить, как Чехов в Мелихове, — с уймой гостей, спящих во всех комнатах, с утренними веселыми чаепитиями, с одинокими прогулками в сосновом лесу. Жить, чтобы было время размышлять. Жить, как Репин, — мастерская, друзья, природа.

— На Карельском перешейке попал я с тассовской «эмкой» в жуткую пробку. Подбегает ко мне младший лейтенантик, смотрит на две мои шпалы — вроде бы майор, — рапортует, став по стойке «смирно» Дескать, доблестно расшивает пробку: скинул в овраг застрявшую поперек обозную повозку, заставил шоферов вытаскивать грузовик из кюв.. И вдруг, оборвав рапорт, машет рукой, идет прочь — продолжать расши

вать пробку. А знаешь, что случилось? Сообразил младший лейтенант, глядя на мое поглупому растерянное лицо, чего стоит сей замаскированный под военного шпак с двумя шпалами,— не по чину! Да еще с дурно застегнутым ремнем... Словом, понял, кто я есть на самом-то деле, и стыдно стало: кому, лапоть, отдаешь рапорт! Нет, военный из меня не получится во веки веков!

Кто знал в те месяцы последней передышки перед страшной, немислимой войной, получатся ли из нас военные или не получатся?

Зима в Келомякках солнечная, мягкая. Снег на соснах. Лыжня в нетронутой лесной целине. Мирный солнечный луч над куполом кронштадтского собора — он виден отсюда отлично. Пешком можно дойти до кронштадтских фортов — они вросли в лед неподалеку. Да и Финляндия близка — можно дойти до ее берега по этому льду.

— Большая война? Будет? А он откуда знает, твой Вишневский? А может, обойдется? Гитлер... Ненавижу до судороги! Ах, бонапартики — сколько они стоили и еще будут стоить человечеству! Слушай, миленький, давай переключимся и напишем-ка пьесу совсем о другом... Есть фантастическая история — я только чуть-чуть дотронулся до нее в одном маленьком плохеньком рассказике. О том, как Дзержинский провозгласил республику в царской каторжной тюрьме! Будем писать большую пьесу о большом человеке и не думать о большой войне! Пусть о ней думает Вишневский. Он солдат. Ему положено.

И мы начали писать пьесу.

Он работал с наслаждением, по уши окунувшись в густой раствор исторического материала, решив раздвинуть стены острога, вобрать сюда, во двор Александровской пересыльной тюрьмы, всю дореволюционную Россию.

Работа спорится.

Окончательно готов и даже переписан начисто первый акт. Юрий Павлович уезжает на несколько дней в Ригу — ему хочется поглядеть места, где он родился.

Там его и застает 22 июня 1941 года.

Две строчки из его автобиографии. «Отечественную войну я прослужил на Северном флоте и Беломорской флотилии в качестве военного корреспондента ТАСС и Совинформбюро».

...На конверте штамп военной цензуры — «проверено». Адрес гостиницы «Астория» — сейчас это мой адрес — напечатан на пишущей машинке. Шрифт знакомый, сразу вызывающий ассоциации из той мирной жизни: машинка Юрия Павловича.

В холле гостиницы темно, синий приглушенный свет, читаю письмо, придвинувшись к коптилке у окошечка администратора.

«Я долго и плодотворно работал на ниве — в газете «Северная вахта». Писал все — фельетоны чуть не каждый день, рассказы, очерки, различные зарисовки и все такое прочее. Всех забил и стал газетным королем, что не прошло для меня даром...»

Коптилку задувает резким порывом ветра — несколько дней назад взрывная волна выбила зеркальные стекла в холле.

Темно. Жду, пока администратор, перевязанный крест-накрест, как деревенская бабушка, пуховым оренбургским платком, матерясь, добывает огонь.

Письмо длинное, знакомый шрифт необычно уборист, без полей, без интервала, на обеих больших страницах. Как всегда у Юрия Павловича, с его системой запятых, точек и тире.

Да, на этой самой машинке я переписал 21 июня последнюю страничку первого акта нашей пьесы «Феликс». И поставил слово «заванес».

Келомякки, Келомякки...

Последняя передышка. «Будем писать большую пьесу о Дзержинском и не думать о большой войне. Пусть об этом думает Вишневский. Он солдат. Ему положено...»

Оказывается, «положено» и ему, Юрию Павловичу.

Сколько раз виделись мне блокадной зимой сорок первого Келломяки. матчевые прибрежные сосны, раскачиваемые норд-остом с залива и сам залив, сизый, свинцовый, чуть подкрашенный неярким балтийским солнцем, и дюны, и звучал в памяти этот разговор.

«Занавес».

Где «Феликс»? Не пригодился ли на растопку соседям, забытый в брошенной германовской квартире на набережной Мойки, против квартиры Пушкина?

Сколько прошло с той благословенной поры? Дней, месяцев, лет, столетий?

Келомякки, Келомякки...

Война разметала нас вскоре же, однако успели мы с Юрием Павловичем и Иоганном Зельцером в первые дни войны сочинить несколько фельетонов для сатирического отдела флотской газеты да еще сообща написать сценарий для короткометражного фильма в боевой киносборник, выпускаемый Ленфильмом. Какова же была моя радость, когда я увидел это, мягко выражаясь, скромное произведение искусства, в кубрике нашего линейного корабля осенью сорок первого года...

Я «убыл» туда, на корабль, в июле сорок первого, тогда же ТАСС вызвал Юрия Германа в Москву и направил специальным корреспондентом на Север, в Архангельск.

Иногда отыскиваю его имя в «Известиях», в «Правде», в других газетах, прорывавшихся в блокаду с большим опозданием, под короткими корреспонденциями из Полярного, из Мурманска, из Архангельска. С еще большим опозданием получаю пересланные мне моей женою из эвакуации два его письма и телеграмму: зовет ее к себе в Архангельск на работу в «Северную вахту».

В конце сорок первого и вовсе теряю его след — мы в кольце уже четыре месяца.

И вот — первая весточка...

Администратор в пуховом платке с удивлением выглядывает из окошечка: я начинаю хохотать, читая письмо, обстановка для смеха более чем неподходящая. Но что делать, вторая часть письма полна смешных характеристик наших общих знакомых, оказавшихся на Севере, и, несмотря на печатные буквы, отчетливо виден его, германовский, почерк! Опускаю их.

«Что касается до печати союзников, то я туда корреспондировал, пока был жив Афиногенов.— это шло через... Информбюро, после же смерти Афиногенова я почти перестал туда писать».

«Я написал тут повестушку — насчет англичан.— ее где-то издают, печатают в газете из номера в номер целый месяц. Мне было хорошо, а газете плохо».

«Корреспонденции твои я всегда читаю, и не потому, что они так уж удивительно хороши, а потому, что по ним я определяю — жив ты, здоров ты или нет. Рассказ у тебя был симпатичный. Но ты как личность симпатичнее...»

Вскоре он покинул Архангельск и расстался с семьей ради Полярного.

Там, на действующем флоте, ему было сподручнее.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИКЕ

«Я пишу повесть про морских летчиков. Быть может, это будет даже роман. Во всяком случае, это будет нечто объемистое. Когда это нечто я кончу, неизвестно. Мелочи я не пишу — надоело. Да и нужды в этом нет. Нынче газеты и без рассказов интересны. В августе, если обстоятельства будут благоприятствовать, надеюсь подгрести к Тане. Думаю, что меня пустят. А не пустят — что ж делать».

Отпуск Герману дали. Он был прелестен, но краткосрочен, этот отпуск.

И Герман нервничал, потому что возвращаться надо на попутных — машинах, эшелонах, самолетах...

О том, как возвращался из краткосрочного «увольнения на берег», рассказывал мне потом.

— Я стал, как ты заметил по моим письмам, пайнэка-морячок и больше всего на свете боялся вернуться не вовремя. К тому же меня могли бы из-за опоздания не отпустить к Тане еще раз, а это помешало бы моему небывалому творческому подъему. Словом, я поспешил изо всех сил к месту службы. Добрался до разбомбленного Мурманска, оттуда надо было, в свою очередь, добираться до Вайенги, мчусь на попутке к аэродрому, по моим сведениям, тут возникла оказия — вылетал в Полярное известный

в Заполярье летчик А. на своем тяжелом бомбардировщике, ты его знаешь — «ТБ-три». Попутка изрядно натрепала мне нервы — конечно, лопнул баллон, конечно, отказало зажигание, конечно, полетела свеча, фырчали, чихали, дергались, изнемогали. К тому же погода портилась от минуты к минуте. Кое-как доковыляли. Летчик А. согласился взять меня. Но с условием. «Я вам одолжение, вы — мне». «Все, что в моих силах», — подхалимски улыбаясь, сказал я. «Видите вон тех двух чижииков?» — показал мне на двух людей в морской форме, с серебряными погонами, они сиротски жались неподалеку, у бензоцистерны. Я взгляделся — вспомнил их, еще недавно надменных, разговаривающих через губу, те самые неколебимые деятели Военфлоторга, нанешие смертную обиду Саше Зонину: он вернулся из похода и они отказали ему в спирте, необходимым для «омытия» ордена Красного Знамени. Зонин затаил обиду на них, и я вместе с ним, ты понимаешь, дело ведь не в спирте. «Из-за вашей милости. — продолжал летчик А.; — им негде будет сидеть. Самолет забит. Но ничего, я заложу их в бомболюк. Но за это вы будете держать в руках всю дорогу четверть спирта, которую они мне дают вместо двух проездных билетов. Четверть — достоиние не только мое, но и всею экипажа машины боевой, помните это». «Хорошо, — сказал я со всей готовностью. на какую способен, — я подержу четверть». «Держать мало, — сказал А. строго, — ее надо удержать. Помните, это не только моя четверть». «Постараюсь», — сказал я. «А это что?» — спросил летчик А., оглядев футляр, в котором я держал известную тебе машинку-неразлучку. «Пишущая машинка системы «ремингтон», — по-военному четко ответил я. «Ее мы спустим в бомболюк и привяжем, чтобы она не ездил и не стукнула по головам». Интендантов вместе с пишмашинкой заложили в пустой бомболюк, я вцепился обеими руками в священную четверть, моторы страшно заревели, и вот мы уже ринулись в плотный туман, который как бы по мановению летчика А. развеялся уже через десять минут полета.

Я был почти счастлив. Пролетели полпути. Озеро внизу похоже сверху на небольшую лужу. Снижаемся. Что случилось? Описываем круги над озером. Видны уже редкие леса вокруг. Крашенный белой известью одинокий домик на берегу. Волнуюсь. «ТБ-три» делает один круг, второй, третий — зачем? И вдруг, выключив моторы, самолет камнем рухнул вниз — кажется, так, зайчик, военные корреспонденты отображают падение сбитых самолетов? Так вот, я, а не какой-нибудь стервятник падал камнем вниз. Ты, по-моему, знаешь, я никогда не принадлежал к числу завоевателей воздуха, сердце мое, естественно, упало. Когда осталось до земли всего ничего, моторы неожиданно включились, я не успел опомниться, как «ТБ-три», милый, славный, голубчик, пайныка, ласточка, со страшным ревом вырвался в небеса, но.. снова вычертил два круга над озером и домиком, крашенным белой известью. И не успел я по-настоящему обрадоваться, как уже мы снова рухнули камнем вниз. Ты можешь представить, какое это было испытание для моих несчастных интеллигентских нервов? Единственное, что я делал, как и в первом пике, по-солдатски исполнительно — держал обеими руками четверть спирта. Она как бы стала продолжением моих дрожавших мелкой унизительной дрожью конечностей. Что это было — штопор, бочка или иммельман, — не спрашивай. Я не знал, что это было.. Я знал, что мне худо. Меж тем самолет снова взмыл вверх и наконец, словно бы одумавшись, пошел на курс — кажется так выражаются в авиации. Второй пилот случайно обернулся и увидел мое лицо. И все понял. И нацарапав что-то на планшете, протянул мне листик. Я прочел, все еще унизительно язвисто зубачи: «Пикнул на бабу. Все в порядке. Не уроните четверть». Кто пикнул? На какую бабу? Где бабу? Потом второй пилот открыл мне смысл операции: в белом домике у озера жила девушка, любимая летчиком А. И всякий раз, пролетая над домиком, летчик традиционно приветствовал девушку таким несколько необычным для людей неподготовленных и темных, вроде меня, способом. Бочки, иммельманы и штопоры в переводе на язык любви означали, что летчик А. любит ее, помнит и просит, чтобы она его ждала, как в памятном тогда каждому военному человеку стихотворении нашего Кости Симонова «Жди меня», которое и ты, как мне доподлинно известно, переписал и держишь в кармане кителя, того, что прикрывает сердце. Но лично я был от этого необыкновенно близок к обмороку и тем не менее доблестно продолжал держать в руках четверть — как хоругвь, как полковой ящик, который мне вверили и в котором была заключена моя честь. Из этого ты можешь заключить, что служба в Полярном не

прошла для меня даром и я стал солдатом, правда еще не в такой степени, как твой друг Вишнеvский, но где-то в чем-то и похоже.

Самолет приземлился — я уже не верил, что это когда-нибудь случится, но это случилось, летчик А. посадил его на три точки с привычным для него буднично-спокойным мастерством. — и весь экипаж боевой машины, а именно летчик А., второй пилот и стрелок-радист, соскочив с самолета так легко, словно бы они спрыгнули с детского двухколесного велосипеда, с веселым любопытством разглядывали меня, тяжело дышащего, трудно сходявшего на землю с четвертью ихнего спирта. Я подошел к ним и как ни в чем не бывало поблагодарил за удачное путешествие. Это понравилось. Летчик А. глазами приказал стрелку-радисту взять у меня четверть и тут же пригласил меня в блиндаж, спрятанный в леске близ аэродрома, отметить прилет. «Ведь вы теперь придете вовремя, согласно предписанию». Да, теперь я попевал. Двигаемся к домику — и вспоминаю, что на радостях забыл свою машинку-неразлучку, привязанную в бомболюке ремнями. «Что там машинка! — весело заорал летчик А. — Человека забыли!» Видимо, он был знаком с любимой нами драматургией Чехова. Все бегом припустились к брошенному было «ГБ-три». Открыли бомболюк. Ох, зрелище! Два чижика лежали валетом бледные и гадкие. Укачало — и со всеми вытекающими миленькими последствиями, ты знаешь, я в состоянии описать их вполне живописно и даже несколько натуралистически, что, впрочем, свойственно мне и как беллетристу и как ашугу. Но не хочется. Если у тебя есть хоть чуточку воображения, представь себе, детка, сам, что было с ними после того, как их кидало друг на дружку в бомболюке, когда летчик проделывал свои любовные кульбиты!

Самым впечатляющим было, однако, и не это, а то, как несчастные, выгруженные из самолета вместе с моей пишмашинкой, стали счищать с себя все некрасивое, содеянное ими за все время воздушного путешествия, а летчики стояли около пострадавших с каменными, неулыбающимися лицами. Потом все вместе пошли к леску. «Что это было? — тихо спросил меня один из интендантов. — Налет вражеской авиации? Воздушный бой?» «Нет, — ответил я. — Воздушная трасса свободна от противника». «Что же это было?» «Ничего особенного, — сказал я, — летчик А. пикнул на бабку». На лицах интендантов не было ни кровинки, что я заметил не без злорадства. Они покинули прифронтовой аэродром, навсегда сохранив о «ГБ-три» дурную память, я же остался с летчиками, пригласившими меня пить спирт.

Спирт, тебе, верно, известно. можно разбавлять пятьдесят на пятьдесят, это будет вполне, но к концу войны, не знаю, как у вас на Балтике, но у нас на Севере многим летчикам и подводникам, нуждавшимся в так называемом допинге, этого стало мало, и они предпочитали по возможности чистый спирт, что произошло в это мурое. но, скажу тебе, симпатичное полярное утро. Неразбавленный спирт пили, чтобы не захватывало дыхание, тут же запивали водой, а то и водкой, и летчики, якобы равнодушно поглядывая на меня, на самом деле жадно ждали, как я буду задышаться и выкатывать глаза. Но я, мой дружок, памятуя, что представляю всю славную русскую литературу, пил спирт медленно, даже чересчур медленно. так же неторопливо запил водочкой и еще неторопливей — даже степенно — закусил открытыми для этого случая любимыми твоими консервами бычки в томате, теми самыми, в которых отказали Зонину надменные интенданты. Это опять понравилось. И летчик А. поднял тост за советскую литературу и в ее лице — за Юрия Германа, которого он до сей поры, к величайшему сожалению, не читал, как, скажем, Чехова, Толстого или, например, записки доктора Фридланда «За закрытой дверью», поскольку Герман как-то не попадался, но зато теперь прочтет обязательно, и весь экипаж тоже.

Спустя три тоста, в числе которых один был за авиацию, второй за встречу на аэродроме Темпельгоф в Берлине и третий вообще за отечество и человечество, не скрою от тебя, мы трижды поцеловались с летчиком А. И я сказал экипажу «ГБ-три», что отныне смыслом и делом моей жизни на флоте, а быть может и не только на флоте, будет большой роман о морских летчиках, и только о них. Я сказал, что предполагал ранее ограничиться повестью, но нет — роман, только роман. И попросил разрешения включить в него историю о том, как мы пикнули на бабку. Летчик А., поколебавшись, согласился, поставив условием скрыть его под псевдонимом, но так, чтобы знакомые в конце концов догадались. Мы расстались влюбленные друг в друга оконча-

тельно и навечно. А через неделю примерно, а быть может и больше, летчик А. возвращался с задания — бомбил немецкий караван. Стоял стеной, как бывает в этих местах, серо-молочный туман, и летчик А. врезался в сопку. Погиб весь экипаж. Обломки славного «ТБ-три» нашли через месяц... Вот тебе и грустный конец этой поначалу такой забавной истории. Больше никто не падал камнем вниз и не взмывал вверх над домиком у крохотного озера. А я так и не написал про морских летчиков — ни повести, ни романа.

В ПАМЯТИ, В ПИСЬМАХ, В ДОКУМЕНТАХ

Действующий флот. «Не сердись на меня за мое молчание — я почти месяц был в море...»

«Меня сфотографировал один добрый человек по фамилии кинооператор Маневич. Посылаю тебе свою фотографию или даже две — чтобы ты носил их у сердца».

«Я сейчас пишу сценарий еще один и пьесу из морской жизни... Очерки я писать не буду — это, как я выяснил, у меня получается очень плохо. Я буду писать рассказы. И буду сидеть на флоте... Кроме того, пишу повестушку».

О «повестушке» более подробно в другом письме: «Читал ее Николаев, контр-адмирал, член Военного совета, человек неглупый и дельный. Прочитал в несколько часов, наговорил мне много хороших слов и внес кое-какие поправки, которые я и воплотил в жизнь. С повестью этой я долго возился, хотелось что-то сделать серьезное для флота, не знаю, вышло ли, людям нравится... видеть ее книжкой мне бы весьма и весьма хотелось».

«Рассказы вам скоро начну посылать, но только маленькие крошечки».

«Буду рад повидать тебя, но в сентябре не приезжай — я отправлюсь бродить в разные края. Буду тут в октябре».

Письма пестрят шутливыми, полшутливыми и совсем не шутливыми характеристиками литераторов, работающих рядом.

«Живу я с Марьямовым хорошо, он умный, легкий и глубоко порядочный человек. Нам с ним приятно... Есть тут еще Плаучек — худрук театра, милый парень...»

«Есть тут майор Б.— твой знакомый. Он человек ничего, но очень как-то торжественно держится, я испытываю при виде его трепет...»

«Что касается до рецензии в «Литературке»¹, то она на меня не произвела никакого впечатления, но тут, к моему ужасу, она была воспринята как директива со всеми вытекающими отсюда последствиями, с косыми взглядами и всем прочим. Представляешь, как это приятно? Объяснять, что рецензии в «Литературке» не есть директива, и смешно и унижительно, а в общем ну их всех в болото вместе с говарищем Леноблем. Рецензию в «Новом мире» я не читал, потому что третьего номера журнала еще не видел, он до нас не дошел...»

Вообще-то работаете тут великолепно. Никто не мешает... так что работаете как-то само собой. А кроме того, одна добрая душа подарила мне на днях полкило или немного меньше великолепного кофе, так что я его варю и чувствую себя на седьмом небе. Вообще, человеку надо очень мало для счастья».

«Таня привезла в Архангельск свою маму и очень тому, судя по письмам, радуется. Мне за нее приятно. Бабушки на полу не валяются, их надо беречь. Лимит им пока что выдают аккуратно, а он есть основа основ». (Речь идет о производственном лимите — пайке, который получала семья его в Архангельске.— А. Ш.)

Добавляет шутливо: «Если на основании рецензии в «Литературке» его не отменят все будет вполне хорошо».

«Саша Зонин пишет роман. Человек, конечно, он хороший и, что смешно, из породы буйно хороших людей, поэтому кажется иногда плохим. Здесь он непрерывно ругает за справедливость, ссорится, буянит, заступает и, по своему обыкновению, абсолютно не понимает шуток. Из-за этого мы недавно чуть не вкапались в историю. Его разыграл один дядя, он все принял всерьез и так ужасно распалился и распалил всех нас, что

¹ В «Литературной газете» была напечатана статья Г. Ленобля о повести Ю. Герма на «Студеное море».

мы чуть не побежали жаловаться на дядьку-шутника начальству. Бог миловал от жалких слов, но вот тебе весь Зонин. Это, в общем, очень смешно.

Выглядит он роскошно в своем новом капитан-лейтенантском виде. Сед, красив, значителен, глаза с поволокой, говорит преимущественно благородное или же военноморское в историческом аспекте.

С. растолстел и читает детям вслух противным, наигранным басом стихи Блока, которые здесь достал. Дети еще небольшие, Блока нисколько не понимают, все это им ни к чему...

Было у нас три или четыре теплых дня, а теперь опять холодно, без шинели не погуляешь».

Театральные дела его теперь интересовали особо.

«Мою пьесу вдруг разрешили, о чем сюда прибыла депеша. Видимо, наш театр ее скоро начнет репетировать. Скажи про нее Пергаменту². Я ее ведь совсем наново написал, и она теперь милашка. Пусть Пергамент поставит. Эту пьесу я уже одиннадцать раз читал вслух офицерам, и ты знаешь — она имеет огромный успех у слушателей. Были случаи, когда обсуждение пьески превращалось в настоящий митинг. Прочитай газетную вырезку, которую я тебе посылаю. Это действительно так и было».

«...Из Ленинграда я получил милщейское письмо. Стилем бюро похоронных процессов меня извещают, что украденные у меня вещи не найдены. Кроме того, мне дано понять между строчек, что я симулянт и что вообще у меня никаких вещей не было. Завтра накропаю большую ябеду Ивану Васильевичу Бодунову в Москву. Пусть проберет своих ленинградских знакомых».

Рецензия в «Литературной газете» обидела его, ранила, и это чувствуется в других его письмах из Полярного.

«Многоуважаемый Александр Петрович! Чем объяснить Ваше молчание? Ужели тем, что меня обругали? Стоит ли из-за этого не писать мне, если учесть, что, по существу, я претличный человек?..

Пожалуйста, напишите мне, несмотря на то, что меня переехали. И нехорошо мне не писать. Поскольку я периферийный товарищ. Прошу также передать приветы всем, кто меня помнит, и Пронину Павлу Ивановичу, он у вас хороший человек и может понимать в отношении суеты сует и всяческой суеты. Низко прошу поклониться М. М. Зощенко и сказать ему, что мы тут с восторгом читали его «Рогульку».

С периферийным приветом Ю. Г.».

«Кого я любил и кого люблю...». Несмотря на огорчения, он работал в Полярном самозабвенно.

Впоследствии Герман скажет читателям в автобиографии:

«За годы войны я много работал в газете, написал книжки «Далеко на Севере», «Аттестат», «Студеное море», подгостовил много материала для романа «Россия молодая», узнал довольно близко прекрасный характер русского помора, так как не раз бывал в походах с североморцами. Здесь, в театре Северного флота, режиссер В. Н. Плучек поставил мою пьесу «Белое море», которая послужила в дальнейшем основой роману «Россия молодая»...»

И о том же — в предуведомлении к сборнику «Документальных повестей»:

«Годы войны свели меня со многими замечательными людьми, которые впоследствии стали героями исторического романа «Россия молодая» (я перенес характеры своих современников — знаменитых ледовых капитанов-поморов, — таких, как Воронин и Котцов, в далекую эпоху) и современных моих книг — «Подполковник медицинской службы», «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все». Именно эти годы свели меня с Владимиром Афанасьевичем Устименко, образ которого мне бесконечно дорог как образ «делателя и созидателя», как «центральный характер» моего современника».

И когда уже в 1966 году Л. Исарова, корреспондент журнала «Вопросы литературы», спросила, почему в своих военных и послевоенных произведениях он обратился

² А. В. Пергамент — в годы войны главный режиссер театра Краснознаменного Балтийского флота.

к жизни и работе медиков, и заметила, что «контраст уж очень разителен», Герман ответил:

— Это только внешний контраст. На деле хирурги и работники уголовного розыска близки друг к другу. Они всегда занимаются какими-то человеческими бедствиями, всегда борются за человека. И не случайно, что медицинской темой я занялся во время войны. Я был военным корреспондентом на Карельском фронте и Северном флоте, близко знал прекрасного хирурга и организатора, начальника санитарного управления фронта Клюсса, дружил с острым и сложным, но всегда принципиальным профессором А., так прославившимся в те годы на Севере борьбой с обморожениями. Интересовался я и судьбой доктора Стучинского, который после фронтового ранения — у него были повреждены руки — отчаянно боролся, чтобы вернуться в строй, чтобы остаться хирургом. Не раз беседовал и с врачом Маковской, послужившей прототипом Ашхен. Все эти люди не могли не задеть моего воображения; все эти люди, прожившие за войну не одну, а три жизни, надолго покорили меня...

И на последнем своем гвдорском вечере в 1966 году снова подытожит:

— Если считать голы Великой Отечественной войны, то с дорогим моим человеком и его друзьями и врагами я прожил вместе более пятнадцати лет. Срок достаточный. Во всяком случае, вполне достаточный для того, чтобы убедиться в активном начале тех, кого я любил и кого люблю по сей день.

Послевоенное... «Из чужих рук я узнаю, например, что ты, например, статский»...

Кончилась война, и он снова в Ленинграде, с семьей. «Мы общаемся со Шварцами немного и с Кавериним немного, а больше друг с другом, что весьма приятно. Дети наши большие и чрезвычайно назойливые...»

Покинув Полярное, его пишущая машинка-неразлучка стрекотала буквально дни и ночи. Заряженный войной, Полярным, флотом, Севером, Герман «отписывается».

Работает с Г. Козинцевым — ведь уже идут съемки «Пирогова». Пишет рассказы. Делает записи для романа.

«Я пишу еще клеветоны в «Лен. правду». Их там не печатают, а я все пишу и пишу».

Это для красного словца: газеты обращаются к Герману непрестанно и он откликается на их просьбы охотно; печатают его и в «Литературной газете», и в «Ленинградской правде», и в «Известиях», всюду он желанный гость, крупный прозаик, овеванный дыханием войны, полный кипучей и действенной энергии.

«Ленинградская правда» с удовольствием публикует его рецензию на книгу рассказов М. Зощенко...

И все же главный смысл его жизни в эту пору — «широкоформатное» полотно «Россия молодая»; он был на подступах к роману уже там, в Полярном, эскизно намечались контуры произведения еще в Архангельске, и тут, в Ленинграде, самое время пришло взяться за роман со всем пылом, глубоко и всерьез.

Раскапывал в лавках букинистов все новые источники. приносил домой старинные фолианты, морские лоции, собирал этнографический материал, относящийся к Северу и поморскому быту, этот быт хотел знать досконально, скрупулезно — из чего ели, из чего пили, что ели и что пили, какие были присловья, какие приметы, что носили, как носили, что пели...

«Я скоро кончу с «Пироговым» и буду писать роман. У меня все к роману готово».

Роман вырос из пьесы его «Белое море», из повестей, очерков, когда-то он сделал две полосы об истории флота российского на Севере для журнала «Краснофлотец», сейчас он мог бы этой истории флота посвятить несчетное количество полос — такие были накоплены богатейшие заготовки. Но какими бы ни были его запасы документов XVIII столетия, без того, что узнал в только что минувшей войне, он не мог бы написать роман исторический.

Работа над романом тянулась долго, когда он вышел в 1952 году в издательстве «Молодая гвардия» толстенной книгой в 908 страниц печатного текста и с приложением старинных карт «Государева дорога» и «Нападение шведских кораблей на Новодвинскую крепость в июле 1701 года», в конце значилось: «Архангельск—Полярное—Ленинград». И чуть ниже: «1944—1952».

Восемь лет.

Исторических романов, признаться, в ту пору выходило довольно много, были романы прекрасные, но были и не имевшие отношения к большой литературе, да и, прямо заметим, к литературе вообще.

Евгений Викторович Тарле, академик, приглашенный на специальную конференцию-совещание в Союзе писателей, где собрались исторические романисты, сказал с милой язвительностью, разумеется, «шутя»:

— Мое сильное преимущество перед вами, многоуважаемые товарищи, что я, не умея писать исторические романы, их не пишу...

Юрий Павлович сумел написать исторический роман — по-настоящему эпическое, по-настоящему поэтическое повествование, — не захлебнувшись в потоке исторического материала, а, напротив, по-хозяйски распорядившись им, отлично овладев языковой стихией века, избежав при этом стилизации и, конечно же, умиленно-подобострастного изображения царей, принцев и королей, в этом отношении роман был открыто полемичен и явственно выражал демократический характер, внутренне присущий самому Герману и всем без исключения его произведениям.

Повествование — я бы сказал даже, величавое своей неторопливостью, оснащенное драматически-напряженным сюжетом, полное колоритнейших описаний поморского быта, со старинными песнями, поговорками, присловьями, с эпитафиями из Радищева и Державина, Ломоносова, Пушкина, Рыльева, предваряющими части и главы. Роман не об истории царя и его вельмож — об истории народа.

Есть в «России молодой» и царь Петр, есть и приближенные его, есть и сиятельный Меншиков, и князь Репнин, и граф Шереметев, есть знаменитые военачальники-шведы и многие другие исторические лица. Но это все фон. Не они суть. Не это сердцевина «России молодой». Народ — главный персонаж романа, движущая сила всех драматических коллизий, поворотов, сюжетных кульминаций. Это, если хотите, «Наши знакомые» XVIII столетия, и во главе их — кормщик Рябов, тоже узнаваемый, предок тех самых капитанов-поморов, с которыми водил знакомство не без умысла Юрий Павлович, когда работал в Архангельске. Он сам писал впоследствии, что именно тогда открылся перед ним «во всей полноте, красоте и силе этот характер». И конечно же, «этот характер» открылся перед ним и в Полярном, в тесном общении с военными моряками советского современного флота. Они-то и вызвали в писателе желание «написать не очерк о былых днях, а нечто большое»...

В сорок шестом году Юрий Герман был подвергнут резкой и, как время показало, несправедливой критике за рецензию в «Ленинградской правде» о книге рассказов М. Зоценко.

Вылетели из плана издательства повести Юрия Павловича «Студеное море» и «Жена».

В сценарии «Пирогов» внезапно обнаружили ошибки.

«Сценарий ничего не покажет нашим читателям и ничему их не сможет научить».

«Автор не пожалел красок для того, чтобы привести в ужас своего будущего зрителя».

«...в этой картине почти что тонет маленькая фигура самоотверженного врача, пытающегося спасти десятки тогда, когда гибнут многие тысячи».

«Сценарий распадается на части и собран не образом Пирогова, а любовным сюжетом, прикрепленным к второстепенным персонажам».

«Сам образ Пирогова постоянно заставляет вспоминать что-то уже давно и хорошо знакомое. Порой — анекдоты о Павлове, порой — профессора Полежаева из «Депутата Балтики»...»

«То же следует сказать о кинематографических злодеях — немцах, плаксиво-боевом генерале. Все эти персонажи — самая плохая и низкопробная литературщина».

«...все это напоминает худшие образцы голливудовской стряпни, рассчитанной на самого нетребовательного и неразвитого зрителя».

Я скрыл этот, попавший ко мне, отзыв от Германа. Почему?

Потому что все восстановимо в человеческом организме, кроме нервных клеток.

Стоит добавить: Г. М. Козинцев мужественно отстоял сценарий, фильм в 1947 году

вышел на экраны, незабываемой литературной основой фильма был именно тот самый обруганный сценарий Юрия Павловича. Фильм и его авторы были удостоены Государственной премии.

Жалею — Юрию Павловичу не суждено было увидеть на экране, написанную в те годы, дорогую ему повесть «Подполковник медицинской службы»: ленинградское телевидение сделало удачный телеспектакль и в феврале 1971 года его передавало по всей стране центральное телевидение.

Телеспектакль сохранил главное в повести: ответ художника на вопрос о том, что же все-таки такое человеческое бессмертие и как надо для этого бессмертия жить, чем надо для этого жить.

Спектакль, равно как и повесть, чист и благороден. И я, глядя на прекрасную, естественную, окрыленную высокой поэзией игру Александра Васильевича Соколова, исполнявшего роль военного врача подполковника медицинской службы Александра Левина, думал о том, что сам Юрий Павлович, в сущности, превзошел, разумеется бесспорно, свою собственную трагическую судьбу... И сама фигура врача-подполковника, воссозданная на экране, человека глубоко штатского в военном обмундировании, бесконечно доброго к людям, которые этого стоят, и закипающего страшным бешенством, когда он борется с людьми равнодушными, озабоченными лишь тем, как угодить начальству, как сохранить свое сыгненное, благопристойное благополучие... — эта фигура чем-то напоминала самого автора повести, хотя Левин и человек иного, старшего поколения, и совсем иной биографии, и другой профессии...

Судьба самой книги, подобно судьбам автора и героя, складывалась далеко не просто.

Повесть была издана целиком в 1956 году, переиздана в 1968-м, 1972-м. и надеюсь и уверен — будет переиздаваться не раз, она этого стоит.

Кстати, она включена и в собрание сочинений, которое собираются издать в Гослитиздате в ближайшее время.

«...И нести за это ответственность. Полную». Популярность книг Юрия Павловича достигает наивысшей точки в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов — она может сравниться разве с тем периодом его литературной жизни, когда вышли следом за «Вступлением» «Наши знакомые»...

Кажется, нет издательства, где не выходят его произведения. И в «Советском писателе», и в «Молодой гвардии», и в Лениздате, и в «Советской России», и в «Искусстве», и даже в Госполитиздате выходят — и огромными тиражами! — его книги.

Я спал, как спрашивали в книжном магазине:

— У вас есть что-нибудь Германа? Все равно что, если есть — дайте...

Это годы напряженной деятельности Юрия Павловича — не только литературной. Переписывается с десятками и сотнями читателей, вникая в их нужды, заботы и обстоятельства. Выступает перед читателями, по радио, телевидению, в печати. Участвует даже в организации театрального сатирического представления.

«Ради господ бога, помоги нам вывезти «Давайте не будем» в Москву. Программа очень милая, талантливая и полезная... Не сердись на меня, но, право, овчинка стоит выделки...»

Киностудия Ленфильм отнимает у него часть жизни — и не только как автора сценариев. Выступил на заседании художественного совета однажды (цитирую по биографии Р. Файнберг «Юрий Герман»), сказав об этом так:

«Мы пришли, чтобы делать дело и нести за это ответственность. Полную. Рублем головой, как будет велено... Мы пришли сюда настолько всерьез, что даже стали ссориться друг с другом. С Г. М. Козинцевым мы вместе сделали две картины, я у него спал и ел, и никогда за двадцать пять лет мы не обижались друг на друга, а вот нынче мы с самого начала объединений, черт бы их драл, не были в гостях друг у друга. И старый друг мой и соавтор Хейфиц порой поглядывает на меня с ненавистью, почти так же, как бывает, когда мы вместе пишем сценарий и я утверждаю, что этот эпизод хорош, а он говорит, что у меня начисто отсутствует обожаемый им «кинжальный» диалог.

Объединения стали нашим личным делом».

И не только объединения. Очень много участков нашей жизни были для него личным делом, за которое он отвечал...

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

В номере гостиницы «Москва». большом и уютном, с дух захватывающим видом на темные ели вдоль Кремлевской стены и сказочно расписанные луковки Василия Блаженного, его провожают друзья, старые и новые, старые ревнуют его к новым, он замечает это, и ему это приятно.

Ему все приятно в этот тихий вечер пустынной, летней, воскресной Москвы.

Поездка в Москву прошла как нельзя более удачно.

На киностудии ему показали отснятый материал новой картины по его сценарию.

В издательстве получил десять авторских экземпляров нового издания романа «Один год», к десяти «прикупил» еще сто, а подумав, еще пятьдесят — для подарков родным, друзьям, работникам медицины и уголовного розыска, и это тоже укрепляло его и без того отменное настроение.

Он ходит по комнате в затрапезном, протертом на локтях песочном свитере, шаркивая сбитыми шлепанцами. подтягивает время от времени тоже затрапезные, вызывающе немодные широковатые брюки, сейчас ему до смерти нравится быть немодным и отставшим от светских правил, но без удовольствия прислушивается к тому, как старые друзья негромко поругиваются с новыми, лукаво улыбаясь, растягивая губы и становясь при этом похожим на мягкую образцовую куклу.

Достает из раскрытого чемодана экземпляры романа, делает своим косым размашистым почерком дарственные вновь приходящим.

Складывается и уезжает из гостиницы обычно загадя, частенько прибывая на вокзал, когда состав еще не подан. Эта боязнь опоздать на поезд, возможно, укоренилась в нем смолоду, когда еще жил в маленьком провинциальном Льгове.

А тут осмелел — жалко расставаться, — и не торопил никого, и даже подарил друзьям еще несколько приятных минут и прочитал им рассказик-коротышку.

Не свой, разумеется, — нового друга, очередное увлечение, новый предмет его изменчивой любви.

Сам предмет — на этот раз им оказался Илья Зверев, журналист и молодой прозаик, — в полосатой майке сидит на кровати, вцепившись руками в ее спинку, иначе его выпихнут, разумеется нечаянно, старые друзья, напирющие на него, ибо мест уже совершенно не хватает, как на футбольном экстрематче.

Илья Зверев, к чести его, ощущает всю неуместность громкой читки в данных условиях и молит Юрия Павловича отсидеть ее до какого-либо другого случая, более подходящего и выгодного для автора.

Однако, потребовав тишины, встав посреди номера, делая паузы, в особо потрясших его местах, при этом почти молитвенно поднимая глаза к потолку, выделяя как бы курсивом фразы, кажущиеся ему верхом удачи и совершенства, Юрий Павлович читает рассказ.

Старые друзья, прослушав, хвалят — вежливо, но спокойно.

...На вокзале шумно и весело, электрические часы над перроном бодро отсчитывают бегущее время.

В купе Юрий Павлович один — это тоже необычайно приятно.

И вспоминает: ведь целый день он ничего не ел.

На этот раз он едет не «стрелой», как всегда, а каким-то другим, дальним поездом, думал, что в поезде должен быть ресторан, и действительно ресторан есть, и он отправляется туда, хватаясь за уходящие из-под рук стенки и перебегая скрежещущие,двигающиеся под ногами буферные площадки.

В одном из вагонов его видят и узнают два отдаленно знакомых ленинградских инженера. Они ездили в Москву утверждать технико-экономическое обоснование какого-то будущего завода. Один из них массивен и крупен, другой, напротив, худ и невелик, однако чем-то они неуловимо похожи друг на друга. Как выясняется несколько позже, их роднит страсть к театру и литературе, они давно стремятся к тому, чтобы

какой-нибудь уважаемый писатель ответил им в неофициальной обстановке на ряд тревожащих их вопросов нынешней литературной жизни.

Случай представляется.

Юрий Павлович прихватывает инженеров с собой.

В ресторане подозрительно пусто.

За столиком сидит лишь официантка в рыжем перманенте, отрешенно щелкая счетами.

Второй официант, с угрюмым удивлением глянув на них, пожав плечами, наливает им по сто граммов «столичной» и отходит.

Юрий Павлович, взяв меню, выбирает, попутчики выбирают то же, что и он, и тотчас же, не теряя времени, насаждают на писателя, стремясь найти наконец хоть приблизительные ответы на мучающие их литературные проблемы.

Юрий Павлович отвечает рассеянно, отламывая кусочки черного хлеба, ест их, намазывая горчицей.

Проходит довольно много времени. Наконец официант возвращается и устало-терпеливым голосом сообщает: кухня не работает, ничего нет, ни холодного, ни горячего.

Герман спрашивает сдержанно, почему ресторан закрыт, когда по положению он должен быть открыт. Официант пробует объяснить, но, поглядев в лицо Юрию Павловичу, направляется к шефу, в этот момент вышедшему из кухонного отделения.

Попутчики Германа, воспользовавшись новой паузой, опять наваливаются на него: полный инженер стремится узнать правда ли, что Герман высказался недавно против творческой манеры Хемингуэя и Апдайка, это полного инженера очень озадачило и опечалило, ему хотелось проверить сей факт, так сказать, из первоисточника. Однако Герман отвечает как-то неопределенно — в это время внимательно прислушивается к шепоту шефа и официанта, заглушаемому сухим щелканьем: официантка по-прежнему сводит на счетах концы с концами.

Шепот наконец стихает. Официант бросает на стол пачку печенья «Мария», бутерброд с высухшим, исключительно костистым белужьим боком, бутерброд с таким же старинным куском сыра и бутерброд с когда-то излишне жирной, но тоже уже давно сохшейся и закругившейся по краям «краковской» колбасой.

Такие бутерброды обычно подолгу держат в витринах продуктовых ларьков. и называются они выставочные.

Юрий Павлович просит позвать директора ресторана.

После новой продолжительной паузы тот явился.

Это человек в силу своей редкой специальности мало двигавшийся. Судя по всему мучающийся от ожирения. Страдание читалось в его глазах, лучистых, необыкновенных, нечеловеческих — как у Христа на картине Александра Иванова.

Толщина его уникальна.

— Как вам не стыдно! — говорит ему Юрий Павлович своим грудным басом на самых низких регистрах, задыхаясь на сей раз не от восторга, как совсем недавно, при чтении чужого рассказа, а, напротив, от негодования. — Для чего вы здесь поставлены, ежели людям, для блага и во имя которых вы здесь поставлены, вы можете предложить, и то после неприличных препирательств лишь как называемый выставочный бутерброд со стыдной собачьей колбасой?

Несчастный с печалью страданья в христовых глазах стал уверять, что колбаса «краковская», а не собачья, и свежая.

— Побойтесь бога, — сказал Герман.

Стремясь разрядить напряжение, официант попробовал было пошутить, заметив что бога нет, но Герман на шутку не отозвался.

— Дело не в том даже, свежая она или несвежая, дело в том, что вам все равно это самое страшное, — говорит он, выделяя слово «страшное» как бы курсивом.

Толстяк неколебимо корректен.

— Наш вагон-ресторан, — разъясняет он с терпеливой снисходительностью, — вы ставлен на Доску почета как занявший третье место в соцсоревновании вагонов-ресторанов дороги в истекшем году. В этом году имеем все показатели для выхода на второе, а неровен час и на первое, место.

— Неслыханно! — побагровев, говорит Герман. Очевидно, успехи вагона-ресторана доконали его окончательно. — Феликс Эдмундович Дзержинский снял бы вас с поезда на ближайшей станции и отдал под суд.

Именно в эти дни Юрий Павлович редактировал для Детгиза свои ранние рассказы о Дзержинском и картинно представил, что бы сделал его герой в этих обстоятельствах.

Толстяк хотел наругать Германа, но удержался.

— Закусите чем бог послал, — миролюбиво говорит он, — и баюшки-баю. Утро вечера мудреней.

Официантка в рыжем перманенте, наконец сведя концы с концами, взмахивает счетами, как бубном, и присоединяется к шефу, готовая ринуться в атаку против буйствующих, по ее мнению, пассажиров. Выходит на шум из кухни повар в немисливо грязном колпаке. Но что колпак! Каков его халат! Бегло глянув на него, можно мгновенно и навечно утратить самый волчий аппетит.

К тому же повар спрашивает, зевая:

— Что за шум, а драки нет?

И тут Юрий Павлович не выстоял.

— Дайте жалобную книгу, — произносит он каким-то не своим, тонким и склочным голосом, который сам так ненавидит у других.

Толстяк поводит милосердными глазами, велит официанту принести жалобную книгу.

Она чудо как хороша собою, в твердом лиловом переплете с розовым ободком, с тисненной золотом надписью, с остро отточенным карандашом, привязанным, чтобы его не увели, черным шнурком для ботинка.

Попутчики Юрия Павловича уже не рады всей этой заварухе — если говорить правду, они и не ждут теперь ответов на тревожащие их вопросы, и если их тянет к чему-либо, то только назад, к заветным койкам, застеленным прохладными простынями.

Но Юрий Павлович тоном, исключаящим возражения, заявляет, что никто не уйдет, пока не будет написана жалоба и каждый из троих не подпишется под нею, оставив свои адреса и телефоны, служебные и домашние.

Полный инженер, вспомнив, как вел себя Золя в деле Дрейфуса, соглашается. Второй тоже покорно кивает.

Между тем Юрий Павлович внимательно и сосредоточенно изучает жалобы, уже вписанные в книгу.

Их немного.

Книга почти девственна.

Не всем пассажирам, плохо обслуженным этим вагоном-рестораном, видимо, было свойственно чувство ответственности, которым обладает Юрий Павлович. Самое парадоксальное, впрочем, заключается в том, что именно Юрий Павлович как никто ненавидит жалобщиков, особенно жалобщиков-профессионалов.

Кажется, это вообще первая жалоба, на которую он решился.

И он хочет, естественно, заимствовать опыт своих предшественников.

Пока он читает, а потом пишет, все работники ресторана, не исключая и повара в грязном колпаке и немисливо грязном халате, сидят чинно друг против друга за соседним столиком, молчат и думают каждый о своем.

Директор думает, что теперь ему может улыбнуться Доска почета. Официант думает, что его свободно могут лишить премии, а директору вполне могут намылить холку. Это несколько утешает официанта. Повар думает, что запросто могут назначить ревизию, и тогда ему, а может, и не только ему несдобровать. Официантка в рыжем перманенте думает, что зря она сводила концы с концами, вот теперь вернутся в Ленинград и их всех затребуют для объяснений в трест вагонов-ресторанов, и тогда ей не выкроить времени на поездку к сыну, который у бабушки на Карельском перешейке, — в прошлый раз тоже не вышло это редкое свидание.

Она даже говорит об этом, вздохнув и прослезившись, официанту — тихонько, разумеется.

Но не настолько тихо, чтобы Юрий Павлович не услышал.

Услышал. И застыл с поднятым карандашом в руках. И ощутил во всем теле внезапную мучительную усталость от всего этого тупого, злобного и унижительного времяпрепровождения. Выстрелило в висках. Сжимало в горле.

Ему стало стыдно невыносимо.

Проглотив пятерчатку, устало проведя ладонью по лбу, он взял жалобную книгу, попытался вырвать лист, на котором он только что излагал свою жалобу.

— Что вы делаете?! — вопит директор.

Впервые за время инцидента ему изменяет корректность. Оказывается, листы прошиты и пронумерованы, если, упаси бог, вырвать хотя бы один из них, его обвинят в сокрытии чьей-то жалобы и он понесет ответственность за злостное нарушение правил, введенных трестом вагонов-ресторанов.

Тогда Герман после некоторого размышления вновь вооружается карандашом, тот ступился, он достает свой «паркер» и пишет объяснение к собственной жалобе. Своеобразный авторский комментарий, в котором есть все, начиная с необходимости каждому отвечать за свое дело и, главное, любить его, выдавливать, как говорил А. П. Чехов, из себя раба, и кончая веским соображением о тяжести и неблагоприятной работе официантов вообще и особенно в специфике железных дорог, когда трясется посуда, трясутся подносы, трясется все, и люди большую часть жизни проводят на колесах, в отрыве от семьи и родного дома.

Он заходит в своем контрударе столь далеко, что и не замечает, как в конце комментария выражает глубокую благодарность всем работникам вагона-ресторана и перечисляет их поименно, с отчествами и фамилиями.

И что же было, когда он при этом узнает, что официантку зовут Антонина!

Так зовут героиню его романа «Наши знакомые»!

Когда Юрий Павлович, зардевшись, говорит об этом удивительном и во многом знаменательном совпадении, она просто-таки разрыдалась.

И у него немножко першит в горле.

Ночь меж тем мчится.

Инженеры уже собираются на боковую, но Юрий Павлович заставляет их прослушать свой комментарий и затем скрепить его подписями, а также указать телефоны, домашние и служебные.

Подписывая, худенький инженер думает, что комментарий написан в манере, несколько непривычной для такого рода сочинений, но ведь писатель всегда остается писателем...

А массивный инженер думает, что Золя все-таки волновался по более серьезным поводам, но подписывает, ничего про это не сказав.

Когда все сделано по всей форме, директор загораживает троим путь (что ему при его габаритах не составило затруднений) и сообщает, понизив голос, что у него есть палтус горячего копчения, подаренный ему лично одним капитаном-директором рыбного траулера «Надежда», Андреем Ивановичем Филимоновым. чей портрет был опубликован в «Правде» в прошлом году, а подарен ему, директору, лично палтус горячего копчения за отличное обслуживание капитана-директора, который провел весь долгий путь из Владивостока в Москву в вагоне-ресторане, отлучаясь лишь для короткого сна.

И директор говорит, что не простит себе никогда, если не угостит таких пассажиров таким выдающимся палтусом.

Теперь уже вагон-ресторан закрыт согласно действующим правилам, по всем законам. Составляют два стола, раскидывают скатерть такую тугую, что, казалось, вот-вот она сломается, убирают только мешавшую делу вазу с цветами, и гости рассаживаются попеременно с работниками сферы обслуживания.

Повар незаметно снимает свой халат и колпак.

Палтус прекрасно идет под «столичную», которую заказал Юрий Павлович, и «охотничью», которую не замедлили заказать инженеры.

Всем так хорошо, или, как выразался иногда Юрий Павлович, славненько, что он не может не прочитать вслух тот самый рассказ Ильи Зверева, который недавно читал друзьям, благо рассказ напечатан в тоненьком сборнике, свободно уместяющемся в кармане, и Юрий Павлович может не расставаться с этим столь полюбившимся ему произведением.

Не в пример старым друзьям эти простые и независтливые люди принимают рассказ, что называется, «на ура». Официантка Антонина скромно замечает, что человек, написавший такой рассказ,— великий писатель и великая честь, что он сидит тут рядом, запросто. Все соглашаются с ее мнением и пьют за здоровье Юрия Павловича. Объяснения его гаснут в общем шуме, а теми, кто их услышал, принимаются за похвальную скромность, увы, столь редкую в среде работников искусств.

Юрий Павлович говорит, что «Прощай, оружие!» Хемингуэя он недавно перечитывал с огромным наслаждением, это роман гениальный, но его, Юрия Павловича, «на данном этапе» дико раздражают копиисты, усвоившие лишь манеру писателя. И что Апдайк его раздражает потому только, что он сейчас моден, а кто знает, некоторое время спустя и Апдайк может стать его настольной книгой.

Это несколько, хотя и не целиком, успокаивает полного инженера, а худой думает, что художник есть всегда художник и вкусы его могут меняться даже от случайного облачка на небе, и это великолепно.

Чтобы хоть немного прикорнуть перед Ленинградом и суметь более или менее внятно доложить начальству о том, как прошла защита технико-экономического обоснования, инженеры заикаются насчет того, что самый бы раз по вагонам. Но, как тут же определилось, такая акция была бы курам на смех: поезд несся, грохоча, к своей конечной цели, оставляя позади отстроенные после войны кварталы Колпина с обливнявшими из-за неустойчивой краски когда-то лимонными, фасадами и белыми колоннами под русский амшир. Уже моросил привычный ленинградский дождик, и на переездах автобусы, спешившие на Невский и на Петроградскую сторону, ждали, когда поднимется автоматический шлагбаум.

В ПАМЯТИ, В ПИСЬМАХ, В ДОКУМЕНТАХ

Чеховское... В Англии в тридцатых годах роман Юрия Германа «Наши знакомые» издали под названием «Антонина».

Отчетливо вижу эту объемистую книгу с пестрой рекламной лентой, обвинявшей суперобложку, а на ленте сенсационное сообщение: «Юрий Герман — это советский Чехов».

Реклама есть реклама, с нее спрос невелик. Однако не случайно английским издателям пришла мысль о популяризации романа молодого советского писателя именно таким способом. Ведь в «Наших знакомых» многое действительно от могучего чеховского влияния, от чеховских настроений, столь созвучных настроениям Германа, от чеховского демократизма, от чеховской интеллигентности, гуманности, душевной чистоты — словом, всего, чему, не скрывая, а, напротив, афишируя это свое стремление, хотел подражать Юрий Павлович.

Да и в облике самого Юрия Павловича было нечто от Чехова — помните, почему не состоялась дружба Головки и Германа в Полярном? Стеснялся писатель. Стеснялся адмирал.

С Чеховым Герман не расставался с начала своей жизни и до конца.

Даже в уста своих персонажей вкладывает высказывания о Чехове — иногда это мысли персонажей, а иногда самого Германа...

О Чехове рассуждает Антонина из «Наших знакомых», говорят о нем военные моряки, врачи, сыщики и конечно же, герой трилогии сам Владимир Устименко, большой нелюбитель художественной литературы.

Как-то прочитал мне Юрий Павлович еще не опубликованные тогда воспоминания Бунина о Чехове: «Меня поражает, как он моложе тридцати лет мог написать «Скучную историю», «Княгиню», «На пути», «Холодную кровь» «Тину», «Хористку», «Тиф»... Кроме художественного таланта, изумляет знание жизни, глубокое проникновение в человеческую душу в такие еще молодые годы. Конечно, работа врача ему много дала в этом отношении. И, конечно, если бы не туберкулез, он никогда бы медицины не бросил. Лечить он очень любил, звание врача ставил высоко — недаром же в паспорте Ольги Леонардовны он написал: жена лекаря...» Прочитав, заметил:

— Тебе не кажется, что сам Бунин завидует этому великому чеховскому университету? Что же сказать о нас, бедненьких?..

В одном из писем, вспоминая о великом чеховском интересе к людям, снова раздраженно и язвительно корил «нас, бедненьких»:

«И уж, как правило, наше поколение не читает друг друга. Это даже считается как-то вроде некрасиво — прочитать. Как-то мелко и недостаточно модерн».

Он-то читал много, следил за всем, что печаталось в журналах, читал и хорошее и дурное — все было ему интересно.

Я заметил, что он испытывает еле скрываемое недоброжелательство к людям которые умеют слушать только себя...

Которые добры оттого, что им все равно.

Которые милы оттого, что не хочется сердиться, чтобы не дай господи не нарушить собственное душевное равновесие...

Привлекало его талантливое умение слушать других и его не формальный, а по существу интерес к тому, что делают его товарищи, друзья в литературе, в жизни.

«Козинцев написал грандиозный сценарий «Гамлет». Я, конечно, человек темный, но, по-моему, у Г. М. получилось лучше, чем у Уильяма».

Тетка из Швеции. «У меня месяц прогостила тетка. Заболела тут, стало ей скверно с сердцем и простудилась к тому же. Ну, 78 лет! Удивительная старуха!»

Тетка Юрия Павловича приехала к нему из Швеции. Русская, с незапамятных времен жившая в Скандинавии.

Цитирует характеристики, которая дает тетка его, Юрия Павловича, знакомым,— тот же прием микропортрета, однако тут другой аспект, не его, Юрия Павловича, а приезжей тетки:

«Про А.:

— А он как у Чехова. Помнишь, Юрка, я давно читала... такой какой-то... Его еще где-то забыли...

Про Т.:

— Как ее много! Слово несколько дам побывало!

Про В.:

— Очень милая дама. Такие были в мое время, то есть во время моей молодости. Они говорили: да-да, Лувр, такая прелесть, развалины в Риме. Но — очень, удивительно милая. Она не врет, что актриса?.. Хотя она, вероятно, играет крестьянок...»

Сентенции тетки принались ему по вкусу еще и потому, видимо, что ими он прикрывал свою неприязнь к очередным веяниям моды...

«Про Г.:

— И что она ко мне пристала с этим Кафкой! Я старая дама, ем свою кашу на воде, а она про этого червя! Кафка много написал, и не только про червя. И почему она все время кричит на своего мужа? У меня даже в ушах звенит. Какая хлопотливая крикунья! У них, наверное, много детей, она с ними привыкла. Ах, она редактор? У нее «Женская газета»? Нет? Она тв ой редактор? А за чем? Вот почему про Кафку...»

«Проводил я ее на самолет и, наверное, больше не увижу».

Не только литературный персонаж — авторская программа. «Больше всего на свете неприятны моему современнику характеры вялые, пассивные, те люди, по глазам которых видно, что их «хата с краю...» — напишет он в автобиографии. И процитирует Николая Заболоцкого:

Не дорогой ты шел, а обочиной,
Не нашел ты пути своего,
Осторожный, всю жизнь озабоченный,
Неизвестно, во имя чего!

И хотя герой трилогии Германа Владимир Устименко не реальный человек, а всего лишь литературный персонаж, все, что сказал Юрий Павлович о героях своих документальных повестей, целиком относится и к вымышленному им Германом Володе Устименко.

Ведь это не только персонаж — это авторская программа.

Между мальчиком Володей из первой книги трилогии, тем самым ригористом Володицей, отрицавшим Чехова, мальчиком Володицей, сыном летчика Устименко, павшего в боях за революционную Испанию, и Владимиром Афанасьевичем Устименко, выступающим в Париже в феврале 1965 года на международном симпозиуме по вопросам лучевой терапии, пролегла жизнь — большая, нелегкая, жизнь целого поколения, точнее, нескольких поколений. Трилогия, таким образом, отразила не только биографию врача Устименко, но и жизненный опыт самого автора, вобрала раздумья художника об этих десятилетиях нашей жизни, наконец, размышления автора о жизни собственной.

Место действия в последних страницах трехтомного повествования Юрия Павловича — Париж, 1965 год.

Сам Юрий Павлович был в Париже в этом же 1965 году, продолжая лечиться от поразившего его недуга лучевой терапией.

Рассказывая о том, как обнаружился в Париже двоюродный брат его, художник, пригласивший Германа «на свой кошт» в Париж вместе с лечащим врачом «моим профессором Карповым», больше говорит о брате и его картинах, нежели о том, как его, Германа, лечили.

Потом долго мне не писал — ему было очень плохо, шла первая атака наступившей болезни...

«Я ужасно перед тобой виноват... и мне нет никакого прощенья...»

Возвратившись домой, в свою деревню Соснову под Ленинградом, где была начата его трилогия, он написал эпилог к последней части романа.

Название каждого из трех томов предсмертной работы Юрия Павловича как бы заключает авторскую программу.

«Дело, которому ты служишь». «Дорогой мой человек». «Я отвечаю за все».

Выписываю эпиграфы, которые ставил Герман перед этими романами.

Перед первым — блоковая строка: «И вечный бой! Покой нам только снится...»

Перед вторым — из Джона Мильтона, английского поэта XVII столетия, слова которого, однако, звучат более чем современно: «Я не стану воздавать хвалу боязливо таящейся добродетели, ничем себя не проявляющей и не подающей признаков жизни добродетели, которая никогда не делает вылазок, чтобы встретиться лицом к лицу с противником, и которая постыдно бежит от состязания, когда лавровый венок завоевывается среди зноя и пыли».

Перед третьим — Шекспир: «Чтоб добрым быть, нужна мне беспощадность».

Страницы последней своей книги пишет уже приговоренный.

Торопится, взяв за руку своего спутника, врача Устименко, дойти вместе с ним до конца...

Кажется, что и уходя держит его руку.

Когда-то, в молодости нашей, слепяще-веселой, полной нелепого шума, неугомонности, прекрасного товарищества и чистых помыслов, ласково дразня юного Юру, будущего Юрия Павловича, я окрестил его именем Манон Леско, «погибшего создания», героини романа аббата Прево, женщины ветреной и несчастной, легкомысленной и прелестной, имея в виду ветренность моего юного друга, непостоянство и зыбкость его в привязанностях, увлечениях, страхах.

Однако модели избранного им героя и своей авторской программе он был верен — с начала до конца.

РОЗОВЫЙ СТАРИК

«Где шампунь?»

Он задает этот вопрос, чуть приоткрыв дверь из ванной в коридор, нарочито тихим, подчеркнуто страдальческим голосом.

«Дело в том, что старики, а особенно старухи, к каковым отношусь, пройдя курс лечения, я принадлежу и буду, очевидно, принадлежать до конца дней, отвратительно тем, что раздражаются на любую мелочь. Если они положили ручку, или резинку, или

газету в правый угол стола, а кто-то из несчастных домашних, прибирая, переложил их в левый — ох, не приведи господь попасться старухам под руку! Они будут нудно и длинно твердить о человеческой черствости, и о черной неблагодарности, и о том, что любой посторонний, и притом пустяковый человек, и любая вздорность его дороже им. нежели этот, то есть эта затянувшая свой век, зажившаяся, проще говоря, к несчастью всех ближних, старуха...»

Он собирается с визитом к своему другу Лукьянову в управление милиции Ленинграда. Из-за болезни визит откладывается вот уже шестой раз.

«И решил вымыть в связи с визитом голову. Я привык мыть голову шампунем, а шампуня как раз на том месте, где ему стоять, и не было. В силу того, что я стал старухой, я обиделся буквально до слез и стал выговаривать моей кроткой супруге, а она, напуганная, в свою очередь, буквально до слез, робко сунула мне в дверь золотистый флакон».

Несколькими неделями раньше пишет мне из Соснова, под Ленинградом.

«...искали у меня рак месяца три, не нашли на сегодняшний день, но нет таких крепостей... найдем».

Смерть, или, как он иной раз называл ее по старинке, с незлобивым и фамильярным небрежением — костлявая, надвигается на него, ускоряя свой шаг, и он это знает.

И свои сроки, минимум и максимум, «от» и «до».

Вероятно, это очень страшно — знать, даже приблизительно, свои сроки, но он их знает.

Вычитал из книг.

Не надо для этого будто невзначай выпрашивать своих друзей-медиков, или укордкой рыться у них же на книжных полках, или навещать букинистов на Литейном, с которыми он поддерживает связь смолоду.

Книги по медицине, громоздкие, неформатные, в мрачноватых, если можно так сказать — нелюдимых, перелетах, неказистые, ультраанесовременной внешности, чем-то похуже на тех самых земских врачей, перед которыми он благоговеет, как перед любимым Чеховым, который был тоже земский врач,— эти книги под рукою, тут же, в кабинете, на полках, тоже громоздких и неказистых.

Рукой подать от дивана, на котором он встретит конец.

Они всегда рядом с ним, рядом со всей его жизнью, книги по медицине, — и когда он был молод и здоров.

Одно из самых его постоянных чтений, если не самое постоянное.

Так что ничего не стоит ему узнать про всю болезнь раньше и больше всех.

И, узнав, поставить самому себе диагноз.

Как когда-то его любимый Чехов.

Из того же Соснова писал мне:

«Правильно ли, что Таня, выпуская меня гулять на улицу, повязывает мою голову оренбургским платком? И сижу я на лавочке у дома со старухами. Правильно ли это с точки зрения науки и чуткости?»

Он даже знает, как это будет.

И описывает скрупулезно. Даже холодновато. Как бы поглядывая издали на свое отражение в зеркале.

В своей последней книге, в последнем письме своей героини, конечно же, медицина Ашхен Оганян.

Нет. Не холодновато. Вновь перечитываю письмо Оганян — нет, не холодноватость, напротив, скорей даже скрытое, запрятанное за иронией бешенство.

Начинается оно в манере писем самого Юрия Павловича поры его болезни:

«Вы получите это письмо только в том случае, когда я перестану существовать, что, как вам хорошо известно, назначено всем нам рано или поздно. От этого никуда не деться никому. Впрочем, профессор Карл Эрнст Байер, учитель моего деда, вовсе не был убежден, что должен умереть, поскольку, правда, известно, что все люди пока что умирали, но это вовсе не аксиома, основано лишь на практическом опыте, кото-

рый вполне может измениться. Байер, разумеется, умер, а дед мой, недурной, кстати, впоследствии клиницист, сказал: еще один опыт провалился».

«В общем, мой друг Володя, «их штербе», как сказал удивительный доктор Чехов, умирая.

Пока! — как говорят нынешние молодые люди».

Нет, не холодновато. Ссылается на записки Пирогова — те, которые Пирогов обозначил словами «Дни страданий», это было незадолго до смерти хирурга.

И Ашкен Оганян, то есть Юрий Герман, пишет:

«Так вот, я пишу вам в дни страданий!»

«Я смешу себя, я смешу других, но мне не смешно больше, а другие улыбаются из вежливости».

В письме из Соснова:

«...было мне действительно очень плохо, похуже, чем Баталову в картине твоего любимого Ромма. Его ударило, если я не ошибаюсь, только по... которая такому... как изображаемый Баталовым ученый, и не слишком-то нужна, а меня ударило по голове и по органам поедания пищи, что для меня в высшей степени ценно... Да и голова нужна для писания посредством выжимки из нее — всяких романов. Тут меня и сагнуло. Врезали мне 20 тысяч 400 единиц — спросите у вашей Тани (врача.—А. Ш.), она вам, темным, объяснит что это такое, если по «два поля» в день и все по горлу. В общем, кто противник атомной войны — так это я противник...»

А в письме Оганян, сочиненном примерно в это же время, больше не смешит ни себя, ни других, ему не смешно больше, и другие тоже больше не улыбаются из вежливости...

«Ах, какая дрянная, жестокая баба — природа, когда она берется за расправу с нашим братом — человеком. И обидно мне к тому же! Что я ей сделала, этой стерве, — природе? За что она меня так отвратительно скрутила напоследок?.. Какие счета она со мной сводит?»

Смерть не только страшит его, как страшит каждого, даже уставшего от жизни и особенно от страданий, но и возмущает.

Оскорбляет!

«Мудрая» природа, «добрая» природа, спокойная и вечная природа, — задыхаясь от ярости, пишет Ашкен Оганян, то есть Юрий Герман, в свои «дни страданий». — Вы даже представить себе не можете, как бешено я ненавижу восторги немощных и паточных рабов перед величием и мудростью праматери-природы».

Перечитываю эти строки. припоминаю пасмурное и темное ленинградское довоенное утро на набережной Мойки, и квартиру в первом этаже, и большую лампу, которая горела на его письменном столе. Я зашел к нему с утра, мы куда-то спешили, но он усадил меня в кресло и взял со стола книгу.

— Помнишь, Олеша сказал нам, что лучшее о смерти и вообще лучшее в литературе мира — «Смерть Ивана Ильича»?

«...Итак, я готов к визиту в милицию. Голова вымыта на славу, побрился до раздражения кожи, надел свой выходной костюм, правда уже блестящий на локтях и на заду, дребезжаще-старушечьим голосом наказал записывать, кто мне звонил. Не забыл втыкнуть пугливо жавшимся к стенке моим ближним, что они обещают передать, кто звонил, и всегда забывают, отчего люди обижаются на мою нечуткость, хотя нечуткость-то как раз и не моя... Затем, выйдя, я решил пройти пешком вдоль Мойки и затем уже на любимую мою Дворцовую площадь. Так я и сделал. Меня удивляло несколько, что прохожие все как один оборачивались и смотрели мне вслед — разумеется, в Ленинграде я популярен, но не настолько же».

Быть может, люди войны в годы войны научили его защищаться от страха смерти, да и от самой смерти иронией.

И он защищается.

Иногда — юмором. Солдатским, грубоватым.

Иногда — иронией. Тонкой и печальной.

Как строчки последних чеховских писем — ведь он их то и дело перечитывает.

Как чеховское последнее — «их штербе»...

Книги по медицине, а главным образом их авторы и люди, о которых в книгах этих писалось, — все они вкуче составляют как бы часть его существования, часть немаловажную.

Все равно, знакомы ли они ему лично или незнакомы, то ли это Мечников или скромнейший сестрорецкий врач Слупский, доктор ли Иноземцев, хирург Бурденко или неведомая никому врачиха, чьи неприятительные записи о полевом лазарете публиковались в провинциальном альманахе.

И персонажей для своих книг выбирает преимущественно с медицинским уклоном — равнодушен, как известно, к сыщикам, но те все-таки, пусть не обижаются за правду, идут вторым эшелом.

А в первом люди профессии, каковую он почитает за благороднейшую и чистейшую в человечестве.

Такой, как, скажем, доктор Калюжный — нелюдим, врачевавший в сельской глуши, традиция тут шла не от светского, преуспевающего доктора Иноземцева, чье имя прославлено одноименными каплями, а именно от солдатского лекаря Пирогова.

Название пьесы, где угрюмая фигура Калюжного возникла перед зрителями, вызывающе ассоциативна.

«Сын народа».

Непримиримый Калюжный был не прототипом автора — слаб человек! — авторским идеалом.

Из пьесы нелюдим уходит на экран.

Но Калюжного Герман от себя не отпускает, вместе с ним он на войне, только Калюжный становится Устименко, сохраняя, впрочем, свою маратовскую непримиримость, свою мрачноватую угловатость, презрение к показному, душевную девственность, не поколебленную немислимыми катаклизмами столетия.

И своих героинь ищет после Антонины из «Наших знакомых» в медицинской среде. Так написались «Сестры», пьеса об обороне Севастополя в прошлом веке. А в сорок втором, когда Герман служил на Северном флоте, сестры воскресают в повести «Медсестра Надя Гречуха».

Рассказы о Пирогове, родившие «Сестер», написал до войны, помню, как он читал рассказ «Буцефал», который показался лучшим из написанного им.

И «Буцефал» воскреснет спустя годы в сценарии «Пирогов».

Были и упоминавшиеся подполковник медицинской службы Левин и Ашхен Оганян, была документальная повесть «Доктор Слупский».

Впрочем, сам до болезни к врачам никогда не обращался, напротив. Не жалуется санаториев и домов отдыха, искренне не понимает, зачем люди туда едут. Не знает своего давления. Веса. Составы крови. На него не заведены, как на остальных всех советских смертных, санитарные карты, нигде, ни в каких поликлиниках нет истории его болезни. Да и болезней, в общем, если не считать насморков, головных болей, легких простуд, тоже нет.

Но зато есть теория, полушутливая, что и зубов лечить не надо, лучше предоставить их, зубы, естественному ходу событий, лучше, чтоб им, зубам, самим надоело болеть и они сами по себе отмирали.

Впрочем, в 1955 году произошла «осечка».

Поддавшись уговорам и принципу «в жизни надо все испытать самому», решился провести месяц на курорте, в Кисловодске.

Из отпущенных ему по путевке двадцати шести ремонтных дней двадцать пять прилежно не делал того, что прилежно делали вокруг все остальные.

За двадцать пять дней не принял ни одной нарзанной ванны. Не выпил ни одной кружки нарзана из источника — только лишь переписал надпись о том, что эту водичку пил некогда сам Петр Первый. Не участвовал ни в одном прописанном ему гидротерапевтическом сеансе. Отверг все другие предложенные ему процедуры. Отверг диету. На утреннюю гимнастику не выходил ни разу. На прогулки по нумерованным маршрутам выходил, правда, трижды, но ни разу не добрался до цели, как бы близка она ни была. Правда ему очень нравились названия этих маршрутов: теренкуры. И он с удовольствием повторял это слово без всякого на то повода: «Те-рен-ку-ры, те-рен-ку-ры».

На двадцать шестой день этого единственного в его жизни курортного лечения (билет на поезд в Ленинград уже в кармане), трепеща от того, что ему нечего будет рассказать жене и выпихнувшему его в Кисловодск другу-врачу, делает все разом. А именно: принял первую и последнюю в его жизни нарзанную ванну. Потом встал под душ Шарко. Потом вышел на гигантскую прогулку на известное всем Большое Седло. На обратном пути завернул в «Храм Воздуха», теперь там читальня, а тогда жарили шашлыки по-карски. Это-то предназначение «Храма Воздуха» ему известно было с первых же дней пребывания, и с первых же дней пребывания он прилежно посещал «Храм», правда доезжал к нему на такси. После приема пицци в «Храме Воздуха» спустился к источнику и впервые глотнул лечебного нарзана. Нарзан показался ему, как он потом сообщил мне, подогретым и негазированным, и он этому обстоятельству изумился.

Через несколько часов стало ему худо. Впервые в жизни плохо с сердцем. И это после того, как он впервые в жизни попробовал лечиться!

Отъезд отложен, билет пропал. Юрия Павловича укладывают в кровать.

Обо всем этом происшествии Юрий Павлович пишет мне из Кисловодска в обычной остраненной, грустно-иронической манере: «Как ты, вероятно, слышал, меня на-вернул микроинфаркт».

«Навернул микроинфаркт»... Несколько неожиданное столкновение жаргонного слова с медицинским. Однако вполне в манере Германа. «Было все это довольно противно, очень больно и мучительно. Не так страшен инфаркт, как стенокардия. Припадок ее продолжался больше шести часов, представляешь? В общем, я видел «глаза орла», как пишут в книгах. Но все это лирика, а есть еще и дело. Примерно на полгода я выбыл из рабочего состояния...»

Далее идут соображения, связанные с его работой и моей.

«Глаза орла». Это выражение я встретил вновь в письме его уже много лет спустя, после облучения. «Живу в деревне, в городе почти не бываю. Написал 300 страниц романа. Пишу и пугаюсь того, что пишу, а врать на старости, да еще поглядев в «глаза орла», неинтересно. Для отдохновения пишу книжечку, вернее очерк, про И. В. Бодунова. Получается мило, довольно смешно».

...Глаза орла. А я в эти времена несколько раз видел глаза моего друга — и ловил в них странную, холодную пустоту.

Отчужденность, или, как ныне принято говорить элегантно, некоммуникабельность.

Те, кто знал Германа, знали, как этот термин и по сути и по звучанию ему неприятен — не только потому, что терпеть не мог Юрий Павлович модной, изысканной терминологии, но и потому главным образом, что ничто так не было противопоказано талантливой и щедрой натуре его, как именно некоммуникабельность.

И жизнь человеческая влечет художника — не парадная, а черновая, и не только жизнь сама по себе, но и ее чепуха, мелочи, он удивительно неотразимо, по-снайперски засекает в человеке то, что его украшает, и то, что чернит, всегда идя от частного к общему, а не наоборот. замечает, кто как разговаривает, кто как хвастает; придумывает и гиперболизирует хорошее в человеке, если этот человек ему по сердцу, и придумывает и гиперболизирует плохое, если человек ему «поперек»...

В том же последнем письме Ашхен Оганян, то есть Юрия Германа, есть строчки:

«Милый Володя! Я видела разных людей, и в том числе женщин, которые не хотели связывать себя. Боже мой, какие в старости это были несчастные, жалкие вдовицы. Как они холили и лелеяли себя, как относились к себе, к своему никому не нужному здоровью, как истово, почти свершая религиозные таинства, они кормили себя то сладеньким, то кисленьким. Как они одевали свои увядшие тела, как сосредоточивались на глупостях и пустяках, недостойных человека, как произносили слова «уютненько», «тепленько», «сладенько»...»

А тут — пустота в глазах, холод.

Герман дважды едет во Францию. Во второй раз привозит огромный мешок, набитый дорогими лекарствами. Не себе — Леониду Лукову, кинорежиссеру, тогдашнему

его очередному увлечению. Луков снимает по сценарию Юрия Павловича фильм «Верьте мне, люди». Луков ему «пришелся», стало быть, лучше Лукова на планете создания нет.

Это время, когда, казалось бы, в тучах засинела узкая полоска надежды.

Казалось бы, наступил железный перелом в болезни.

На языке врачей это называется красиво — ремиссия.

И Юрий Павлович с наслаждением повторяет это слово, как когда-то «те-рен-кур»: «Ре-мис-сия, ре-мис-сия».

Близкие счастливы. Он, по-видимости, тоже. А может, делает вид?

Во всяком случае, пишет мне в этот, казалось бы, обнадеживающий период, по обыкновению высмеивая и свою хворь и ее лечение.

«...а доктора, тудыть их в качель. ничего не петрят в лечении этой лучевой болезни. И петрить не желают. Кроме сибирского масла «облепиха», никому ничего не известно в этой области знания... Сейчас полегче. Гремит еще в ушах, и спиртное не лезет в глотку. Дожил до того, что Таня и дети уговаривают:

— У-пу-пусик, выпей рюмашку — за мамочку, за Лешечку, за Мариночку... У-у-пу-пу-псик, хоть бы надрался, как свинья...

А я сижу и кочевряжусь...»

Так что же — верил или знал, что конец?

Думаю, второе.

Ведь и в последнюю пору своей жизни, когда он уже все понимает и все высчитал, скрывает от близких им самим поставленный диагноз.

А они, полагая, что он не знает, что его ждет, скрывают от него всеми силами приговор, уже вынесенный врачами.

Так и идут меж ними эти поддавки.

И все-таки... И где-то... Надеется.

«Ах, какая дрянная, какая жестокая баба — природа, когда она берется за расправу с нашим братом — человеком...»

Еще в молодости завел манеру — делать выписки на маленьких библиотечных картонных бланках.

И помнится, выписывал и читал вслух друзьям поговорки о том, что жизнь, вопреки всему и несмотря ни на что, лучше смерти. «Жизнь надокучила, а к смерти не привыкнешь». «Никогда живого не считай мертвым». «Жить скучно, да ведь и умереть не потешно». «Горько, горько, да еще бы столько». «Ешь солоно, пей кисло, не сгниешь». «Кабы до нас люди не мерли, и мы бы на тот свет дорогу не нашли». «Придет пора, турнет курносая со двора». «Переносье свербит — к смерти».

В дни ремиссии я приезжаю по своим делам в Ленинград, вхожу в номер, набираю его телефон — я всегда звоню ему сразу же, не откладывая. когда приезжаю в Ленинград, и я не воспринимаю Ленинграда без того, чтобы не знать, что там есть Герман, которому можно тотчас же позвонить.

И сейчас, когда, приехав в Ленинград, нельзя позвонить Герману, Ленинград опустел для меня.

Он приходит в гостиницу — и потому, что хочет встретиться со мной, и потому, что любит гостиницы, весь ритуал встречи с приезжими друзьями. Он работает всегда очень много, днем и вечером, бешено — в последние годы жизни, но неизменно превращает приезды друзей в свои выходные дни.

И на сей раз пожаловал ко мне, и не один, с друзьями.

Шум, гам — все это он любил всегда в таких случаях, а сейчас это ему и нужно; впрочем, вдруг, внезапно наскучивало.

Так и сейчас.

Внезапно утомился, пошел в смежную комнату. Я за ним, садимся друг против друга на кроватях, молчим. Ему не хочется говорить, мне тоже. Входит женщина, пришедшая вместе с его друзьями. Садится рядом со мной, напротив Юрия Павловича, и, не стесняясь меня, говорит, глядя в пол, о том, что напротив нее сидит человек ради которого она, было время... «Да вру я, — перебила она себя, — не было, а есть».. Да. ра-

ди которого она могла бы не задумавшись умереть, и он это знает, знает и все-таки не принял ее любви... и быть может,— да не быть может,— снова перебила сама себя.— а так оно и есть...» и теперь, сегодня, сейчас, каждой своей клеточкой чувствует — ни к чему ему эта ее вечная, несчастная, бессмысленная любовь.

Она говорила это спокойным, чуть хрипловатым голосом, и это спокойствие и то, что она при мне и не умолкая, когда сюда заглядывали другие люди, решилась на это неожиданное, быть может, для нее самой открытое признание, жутковато.

Но еще более жутким представлялось то, как он ее слушал.

Снова ловлю выражение его глаз — с тою же странной и холодной, так резко несвойственной ему, так сказать, нетипичной для него пустотой.

И когда она смолкает так же неожиданно, как и начала, и все, ощутив великую неловкость, молчат, он говорит:

— Ре-мис-сия.

И неизвестно, к чему относится это — к ее ли чувству, к его ли приблизительным срокам.

Ночью перебираю в памяти этот шумный день, проведенный целиком с Юрием Павловичем — он потом весел, оживлен, шутит, рассказывает смешные устные новеллы, на которые, как известно, великий мастер,— и чувствую острый толчок в сердце. «Глаза орла».

В темноте ночного гостиничного номера тускло светятся передо мною глаза Германа, когда шел рассказ любившей его малознакомой мне женщины.

Где я видел раньше это выражение глаз? Зрительная память подсказала.

В блокаде. Люди, пораженные дистрофией, шли по обледенелым проспектам сами обледенелые, сберегая движения, и по сторонам не смотрели, а доводилось если поглядеть — только чтобы понять, куда идут. А бывало, когда шли, не отдавали отчета — куда.

С таким же выражением глаз.

Внешне все вроде по-прежнему — утром стрекочет машинка, и вечером она стрекочет, и ложатся рядом странички, стопки их растут, и он ездит на читательские конференции, и в Доме книги надписывает свои книги — стоит к нему огромная очередь,— и говорит мне, придя после одной из таких встреч: «Ты знаешь, это очень приятно, но и нужно, ну да ты этого никогда не поймешь, ведь вы, драматурги, зайчики избалованные. вы привыкли выходить под свет софитов и привычно раскланиваться, посылая ручкой безешки на галерку, а мы, прозаики, всего этого лишены...»

Все вроде по-прежнему.

Он даже снова ходит, как бывало, на рынок, это смолоду одно из его самых любимых занятий. он приезжал в другой город и тотчас же отправлялся на рынок. Сам выбирает и покупает продукты и, если ждет гостей, спозаранку отправляется на базар с авоськой.

И, пользуясь своим привилегированным в органах милиции положением, прописывает кого-то, кого никак не прописывают, и пишет мне очередное письмо с очередной просьбой: «...помоги этому парню. Если бы ты знал, какой он талантливый и настоящий мужичок. И как глумливо обошлась с ним жизнь».

И призывает своих московских друзей: «Любите нас. Пишите нам. Мы — зайчики. Наверное, числа девятого будем в Москве, ко мне прилетает мой парижский брат, и я хочу проводить его из Москвы».

Но приезды в Москву становятся от месяца к месяцу реже, даже если это нужно по срочным делам — в Москве снимаются его фильмы, издаются его книги.

И в последний раз, когда прилетает его брат из Парижа, ни встречать его, ни провожать не может.

Как и тогда, в Кисловодске,— нетранспортабелен.

И материал снимающегося в Москве фильма Юрию Павловичу возят в Ленинград.

«Итак, я вышел на любимую мною Дворцовую площадь. По-прежнему редкие здесь прохожие останавливаются и смотрят мне вслед, и я, будучи гадко тщеславным и не будучи в состоянии подавить в себе это низкое чувство, уже несколько приосанился

и стал подумывать о том, что я и в самом деле популярен, как Штепсель и Тарапунька, и даже ощутил известный духовный подъем. Правда, завидев ангела на Александровской колонне и взглянув на арку Главного штаба, я тут же ощутил ничтожность моих суетливых помыслов вблизи этих взлетов гения, не правда ли, пупсик? Ведь не вместе ли прохаживались мы в этих невероятных местах с Юрием Карловичем Олешей, когда он приезжал до войны в Ленинград, и, помнишь, Олеша сказал, глядя на эту арку, что ее надо читать, как стихи? А помнишь, как Олеша, приезжая в Ленинград, стоял в «Европейской» гостинице и я ходил к нему принимать ванну, это было моим любимейшим занятием до войны — принимать ванну у заезжих москвичей. Кажется, это теперь называется хобби? А у тебя есть хобби? У меня теперь нет никаких хобби. Были хобби — кактусы, были хобби — фотографии, были хобби — рыбки, и сплыли. Так вот. А после войны мы снова с тобой бродили по Ленинграду, хотя я очень не люблю гулять, но мы шли с Ленфильма пешком, и остановились на мосту, и поглядели на Петропавловку, и на Биржу, и на особняки по набережной, и ты, отвратительная столичная штучка, глянув на все это, похлопал меня, жалкого провинциала, и сказал ободряюще: «Смотри-ка, и у вас в Петербурге сохранились кое-где недурные уголки...»

Я этого не говорил, но он придумывает, что это говорил я, а уж придумав, незыблемо в это верит. Он верит тому, что придумывает про людей.

«В дверях уголовного розыска, куда я направился, стоял милиционер, меня, видимо, не знавший... а быть может, нынче и не узнавший... Долго изучал мой пропуск, что всегда меня бесило. Сравнивал мое фото с тем, что он увидел, как говорится в высшем свете, «о-натурель». И, покачав головой, все-таки пропустил меня в департамент, а оглянувшись, я поймал его полный изумления взгляд. И по суетности естества, вновь принял это за знак популярности в городе, тем более что еще недавно я долго и нудно выступал по городскому телевидению, или, как говорят мои друзья-украинцы, «телебачению».

С так называемым «хобби» у Юрия Павловича было всю жизнь хорошо.

На гонорар за «Наших знакомых» купил по случаю автомобиль — один из немногих частновладельческих автомобилей в аскетически-пуританском Ленинграде начала тридцатых годов.

Тогда у подножья Невской башни еще стояла очередь к последним в городе извозчикам, и, пахнувший лошадиным потом, извозчик мог отвезти вас в фаэтоне на резиновом ходу по деревянным торцам улицы Красных Зорь на Стрелку или к Буддийскому Храму в конец Новой Деревни.

И окажись поблизости Юрий Павлович, он не преминул бы вас отвезти на своем авто туда, куда вам нужно.

Конечно, за рулем, лично.

Это была любовь. Это была страсть.

Входил к друзьям, или в Гослитиздат, или на читательский вечер, привычным движением усталого шофера угирая ладонью вымазанный в чем-то автомобильном лоб.

Нравится поздней ночью, особенно если это белая ночь, развозить по застывшему в ночной неподвижности Ленинграду друзей и знакомых так, чтобы дать кругалю и вылететь на Дворцовую набережную или на Троицкий мост, или промчатся мимо сфинкса близ Академии художеств, а то и завернуть, прокружив вокруг памятника Фальконета, в старинные петровские места, Новую Голландию.

Досадовал, если засидевшиеся допоздна друзья живут непростительно близко от его дома и не стремятся попользоваться его автомобилем.

Тогда, помявшись, просто предлагает прокатиться.

Всегда был готов помочь в переездах, в поездках на дачу и разве что неохотно соглашался участвовать в погребальных процессиях — медленная езда не нравится!

После войны забыл о том, что водил машину, и, кажется, ни разу не брал руль. Любовь иссякла. Забылась страсть.

Увлекся фотографией.

«Увлекся» не то слово. Обуян. Одержим. Поглощен. Забрасывает семью. Друзей Писать даже на некоторое время перестал.

По ночам жена просыпается от жгучего света юпитеров — снимал ночью в квартире. Саму квартиру перестроил так, чтобы выделить помещение для фотолаборатории, хотя на службу страсти поставлены все помещения — снимки сушатся в столовой, в кухне, в ванной, нельзя, соответственно, готовить обед и мыться, так как стоят горки специальной фотопосуды. В кабинете готовые снимки раскладываются на полу и на рабочем столе.

Самые счастливые часы жизни — в фотолаборатории.

И самые чистые, самые цельные, самые благородные люди на земле — фотографы. А потом все кончается. Внезапно. Столь же необъяснимо, как и началось.

И, подобно чаплинскому миллионеру, запомнявавшему наутро все то, что умиляло и воодушевляло его ночью, вяло отзывался на вопросы о том, как дела с фотографией, есть ли новые снимки:

— Какие снимки? О чем вы?

И получив первый же аванс за новый роман, вновь перестраивает квартиру. А так как квартира сырая, в первом этаже, а рос мальчик Леша, надо опять что-то огораживать, делить и встраивать, а денег уже нет, и он снова беден, а бедный — он считает — должен жить как бедный, — то страшно раздражается на эту свою недавнюю страсть и уже всему виною полагает фотографию, а пуще фотографов, которые ранее ходили к нему запросто, а теперь их повымело, и он не стесняясь обзывает их марафонщиками и шарлатанами.

После войны он где-то вычитал, а быть может, и сам выдумал, но говорил, что вычитал: кактусы — святые растения.

Растут всюду, даже на песке, даже где нет дождей. Противостоят самым чудовищным засухам. Спасают умирающих в пустыне от жажды людей. И животных тоже спасают. В них, кактусах, накапливаются резервы водянистого сока.

— Глядя на кактусы, — говорит он растроганно, низким голосом, — можно поверить, что есть бог, который их создал.

И уже заведена обширная литература о кактусах. И уже известны вариации кактуса — эхинокактусы и мамиллярии, грандилфорусы и рипсалисы. И есть специальный чемодан с отделениями, и даже название ему придумано — кактусятник.

И с этим чемоданом носится по городам и весям, всюду, где обнаруживается новый вид этого колючего и царственного растения. И становится видным членом общества советских граждан, выращивающих кактусы. Даже собираются граждане, учитывая ее беззаветную отдачу, и выдвигают Германа в председатели общества.

Все делает сам: пересаживает, поливает, переделывает подоконники в квартире, выламывает стенки — кактусы любят свет.

Меняет к лучшему мнение о людях, когда узнает, что они одержимы кактусами. Якшается с личностями неопределенных профессий, которых в другие периоды жизни немедля выгнал бы вон, — они облепляют его, как ракушки глубоководный корабль, звонят ему ночами, таясь от его семьи, подделывая и изменяя голос. И ночами уходит к ним, как на тайное свидание, вызывая дома неоправданные подозрения. Возвращается с очередным цереусом, или факельным кактусом, или, того более, с кактусом, обладающим необыкновенным, сильным, резким и приятным запахом, под названием «царица ночи».

За два года собрана уникальная коллекция.

Однажды привез в свой кактусятник крупнейшего специалиста по кактусам, на самом деле — крупнейшего жулика. Сам ушел работать. Жена заходит в кактусятник, видит, как специалист, то есть жулик, складывает кактусы в две большие корзины.

— Что вы делаете?

— Это велел Юрий Павлович. Я вынимаю кактусы больные и увожу их лечить.

На улице стоит грузовик. Жена идет к Юрию Павловичу, он работает, просит не мешать. Когда она наконец поднимает тревогу и оба выходят на улицу — нет специалиста. Нет корзин с кактусами. Нет грузовика. Все лучшие экземпляры, на которые потрачено столько сил, средств, любви, увезены.

Завелся, позвонил в милицию своим корешам — объявили всесоюзный розыск.

Жулика разыскали. Посадили. Кактусов уже, конечно, нет. Крупнейшему специалисту угрожает тюрьма, и долгая. Юрий Павлович пугается: из-за кактусов могут посадить человека и, стало быть, он, Герман, в этом виноват. Нанял адвоката, который будет защищать вора-кактусятника.

И спрашивал жену:

— У тебя нет знакомых, которым бы ты хотела подарить кактусы? Там, кажется, еще что-то осталось...

И механически выбывает из общества советских кактусятников.

Ах, этот всесоюзный розыск!

Однажды к нему приходит здоровенный мужчина — падает на колени и просит помочь через милицию.

Пропали жена и ребенок.

Исчезли бесследно.

Мужчина полагает — убиты злодеями.

Юрий Павлович помогает мужчине — объявлен милицейский розыск.

Нашлась жена. Нашелся ребенок. Целы. Невредимы. Убежали от мужа и папочки — оттого что он бил их, воровал у них одежду на водку. Злы на Германа, отыскавшего их, бесконечно пишут ему письма, обзывают.

Некоторое время спустя тайком от семьи вступил в общество по разведению рыб.

В соответствии с уставом общества разводит рыбок.

Приобретает аквариумы. Монтирует аквариумы в книжные полки.

Книги сыреют.

В аквариумах надо поддерживать определенную температуру, и весь кабинет ошуган, как лианами в джунглях, тонкими шлангами.

Семья терроризирована.

Рыбы живородящие — и нужно сделать так, чтобы мать не сумела заглотить новорожденную крохотулю, то есть выловить младенца миниатюрным сачком и молниеносно перенести в другой аквариум, и непременно с одинаковой температурой.

Прерывает деловой междугородный разговор извинением:

— Простите, не могу говорить, у меня рыба рождает.

Рыбы золотые, в крапинку, пузатые, головастики, с пушистым хвостом и маленьким хитрым глазом. Водоросли, камешки, гроты, черви, сушеные мухи и — возможно, я ошибаюсь — сушеные тараканы.

Памятью о рыбках остались пятна на стенах и на полу.

А рыбки?

Он их разлюбил. Однажды пришел к жене и сказал:

— Хочешь, я подарю тебе мои аквариумы, они мне больше не нужны.

Жена была в отчаянии.

Неправда, что в последние годы жизни не было хобби.

Зажигалки.

Курил, и прикуривал уже больной, лежа брал со столика всякий раз другую — то бензиновую, то газовую, то с откидывающейся крышкой, то пистолетик, ему их приносили все, знавшие эту его, кажется, последнюю страсть...

И когда все кончилось, в столе нашли штук сорок зажигалок, которые теперь никому не были нужны: в семье никто не курил.

Я уже писал — материал снимавшегося в Москве фильма о сыщиках ему возили в Ленинград.

На один из таких просмотров пришел с изрядным опозданием, что было не в правилах.

Объяснил:

— Теперь я трачу неслыханно много времени на то, чтобы привести себя в порядок. Пожалуй, даже больше, чем Наташа Ростова перед первым балом. — Усмехнул-

ся.— А знаете, что я делал и почему я опоздал? На языке уголовного розыска это называется «туалет трупа».

Все замирают.

— Советую вам взять на вооружение этот милый термин. Не возражаю, если вкратите его куда-нибудь в текст... Куда идти? Разумеется, я опоздал, но, разумеется, и просмотрный зал еще занят. Вот вам острота, еще довоенная: в авиации как в кино, а в кино как в авиации — никогда не опоздаешь.

Нет, нет, понимает — дело идет к концу.

Понимает, да.

И тем поразительнее — мужество.

В канун Нового года позвонил ему в Ленинград, задал отныне, увы, далеко не банальный вопрос:

— Как себя чувствуешь?

— Ну как? Хорошо. Что мне делается? — Говорит это тем самым нетерпеливо-досадливым тоном, который я теперь так хорошо знаю и знают все, спрашивавшие его о здоровье и самочувствии. И тотчас же: — А где вы встречаете Новый год? С кем?.. Нет, назови точно, по порядку... Так... Так... Так... Ну что ж. Огни и цветы. Мило. А я — дома, по-семейному. Кое-кто придет. И даже довольно много народу. И мы будем веселиться. И вы веселитесь, зайчики. Скоро увидимся. Собираюсь в Москву.

А я беру с полки «Снега Килиманджаро» и перечитываю то, что когда-то, до войны, читал мне вполне здоровый и мало думающий о смерти Герман — читал ранним утром, на Мойке, почти напротив квартиры Пушкина.

«— Скажи, чтоб она ушла.

Она не ушла, а придвинулась ближе.

— Ну и несет же от тебя,— сказал он.— Вонючая дрянь».

Друзья из Москвы звонят в Ленинград, но не к нему домой — может взять вторую трубку. «Есть ли надежда?» — «Надежды нет». «Есть ли надежда?» — «Надежды нет».

Семья по-прежнему скрывает от него, что знает все, а он скрывает от семьи, что знает все.

За два дня до конца звонок из Ленинграда: «Остались часы».

Дают удвоенные, утроенные спотворные — не действуют. Внутривенные вливания. Внутримышечные инъекции. Если не снять боль, хоть ослабить.

Не спит.

Врачи, которых любил всю жизнь и которые платят ему взаимностью, не отходят. Один из них поздно ночью вошел в кабинет, где лежит Герман. Юрий Павлович приоткрыл глаза, снова закрыл.

— Надо пустить кровь,— сказал врач.

— А что это даст? — не открывая глаз, спросил Герман.— Ведь ничего?

Оба замолчали.

Врач сел в кресло.

— Расскажите что-нибудь забавное, ведь я не сплю, видите,— сказал Герман, по-прежнему не открывая глаз

Врач молчит, а потом пересказывает рассказ Чехова, не вошедший в собрание сочинений который недавно читал.

Юрий Павлович лежит, закрыв глаза. Говорит раздраженно:

— Вы путаете. У Чехова не так.

— Я только что читал,— говорит врач.

— Так Чехов не мог написать.— говорит Герман.

— Утром я принесу вам этот рассказ, а вы убедитесь, что я прав,— говорит врач.

— Утром вы принесете? — спрашивает Герман.

— Утром. А что?

— Пускайте кровь.

Герман верит, что еще будет утро.

Врач делает укол.
Но утра уже не было.

А на маленьком картонном библиотечном бланке в его бумагах нашли сделанную все тем же косым размашистым, только теперь из-за неверности руки скачущим почерком запись:

«Как бы умереть, не интересничая...»

«Итак, я пришел к Лукьянову, моему другу, он сменил Соловьева — твой Петька должен помнить Соловьева, он у меня отлично играл на гитаре и пел песни, и Петьке исключительно понравилось, что начальник милиции поет песни и даже цыганские и Петька сказал мне: «Дядя Юра, это только у вас дома начальник милиции способен петь цыганские песни»... Все-таки дядя Юра чего-то стоит, даже в глазах этого самонадеянного и лишённого многих славных иллюзий и тем не менее обнадеживающего поколения»... И вошел в кабинет Лукьянова, Лукьянов посмотрел на меня опытным сыщиким взглядом и спросил, правда как бы ни в чем не бывало: «Юрий Павлович, что это вы?» «А в чем дело?» — спросил я в свою очередь. «Вы сегодня смотрели на себя в зеркало?» «Ни сегодня, ни вчера, ни месяц назад», — ответил я. «Почему же?» «Дабы не вызывать в себе отрицательных эмоций, даже приучился бриться на ощупь».

Лукьянов нажал кнопку, явился дежурный.

— Принесите зеркало.

Зеркало принесли. Я взглянул. И мне тотчас же стала ясна причина моей неслышанной популярности. Мною же напуганная моя супруга принесла мне вместо моего шампуня шампунь красящий, то есть ландотон. «Ландо-тон». «Ландо-тон». Я вымыл голову ландотоном, и мои волосы стали ярко-розовыми. И теперь из зеркала на меня смотрел розовый старик».

Последняя устная новелла, рассказанная им самим.

Умирает на пятьдесят восьмом году жизни в городе Ленинграде 16 января 1967 года.

«...Человеку нужно прежде всего, чтобы у него звонил телефон. Человеку нужно, чтобы он был нужен».

1967—1972 гг.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. И. МИКОЯН



НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ*

ЕЩЕ ОДНА ВСТРЕЧА С СЕРГО

Еще в июле 1922 года я получил из Тбилиси радостное сообщение: жена родила первого сына.

Я выбрался в Тбилиси только в конце августа, да и то имел в своем распоряжении всего пять-шесть дней, то есть в обрез, если учесть, что примерно столько же дней требовалось тогда на дорогу туда и обратно.

...Жена с радостью рассказала, что, когда она находилась в родильном доме, Серго Орджоникидзе, неизвестно откуда узнав, что она родила и должна выписываться, неожиданно приехал за ней, чтобы отвезти ее домой, зная, что я нахожусь в Ростове.

Ашхен впервые тогда встретила с Серго лицом к лицу, и он поразил ее своей простотой, отзывчивостью и добротой.

Из-за плохой дороги машина не могла подъехать к дому и остановилась довольно далеко. Серго взял ребенка и донес его до самой квартиры. Ашхен была очень этим тронута...

Мне тогда хотелось сразу же увезти Ашхен и сына в Ростов. Но мать Ашхен всячески отговаривала меня, просила оставить на время дочь и внука у нее, чтобы дать им возможность как следует оправиться под ее присмотром. Я заколебался.

Пошел к Серго. Произошла очень радостная, дружеская встреча. Я поблагодарил его за внимание и заботу о моей семье, рассказал о своей жизни в Ростове, о своих впечатлениях о тамошней обстановке, о трудностях и сложностях. Серго хорошо знал Северный Кавказ по прежней своей работе и дал мне несколько полезных советов, особенно о северокавказских горских народах. Рассказал о положении дел в Закавказье, в частности о происходившем тогда образовании Закавказской Федерации и о той острой борьбе, которая разгорелась вокруг этой федерации с группой Мдивани... Обо всем этом я узнал и от других товарищей — Цхакая, Мясникяна, Махарадзе, Назаретяна, Кахяни и других, с которыми удалось тогда накоротке познакомиться.

В беседе с Серго мы коснулись и моего возвращения с семьей в Ростов. И тут он внес кое-какие изменения в мои планы.

— Зачем тебе, — сказал он, — в такую жару, да еще при плохом железнодорожном сообщении везти сейчас с собой в Ростов жену с маленьким ребенком? Есть лучшая возможность это сделать, и тебе надо ею воспользоваться. В Боржоми сейчас отдыхает Ворошилов. К концу сентября он должен вернуться в Ростов. Поедет он в служебном вагоне командующего округом. Мест там достаточно, и он, конечно, с удовольствием возьмет с собой твою жену с ребенком. Я с ним договорюсь...

Предложение было вполне разумным. Поэтому я решил, временно оставив жену в Тбилиси, вернуться в Ростов...

* Продолжение. Начало см. «Новый мир», 1972, №№ 9, 10, 11; №№ 7, 9 с. г.

Перед отъездом мне удалось вырвать один день для поездки в родное село Санаин, чтобы повидать мать и родных.

Впервые моя нога ступала тогда на советскую армянскую землю. Сам по себе этот факт был очень радостным для меня.

Я не предупреждал о своем приезде, поэтому никто меня и не встречал, но сойдя с поезда, сразу же увидел нескольких односельчан — друзей юности.

Двое из них решили сопровождать меня до самой деревни. Пошли мы пешком, что приятно напомнило юношеские годы, когда по этим крутым склонам и каменистым тропинкам приходилось ежедневно подниматься на плато, где расположено село Санаин.

Уже через две-три минуты мы оказались на знаменитом санаинском мосту. Этот древний арочный мост, построенный из крупных камней правильной формы, всегда восхищал меня красотой своей архитектуры. Он переброшен через небольшую, но бурную речку Дебед, которая течет среди скал. Мост начинается с левого берега на высоте около двух метров от уровня воды, поднимается к правому берегу, где он опирается в скалы на высоте уже около двенадцати метров.

Мост этот, судя по исторической справке, построен еще в XII веке н. э., но до сих пор ни один камень из него не выпал — так прочно строили в те времена.

В юности, в школьные годы, я садился на камни под мостом и очень любил бросать камешки в реку или читать книгу. В теплую погоду охотно купался в речке под мостом: там было довольно глубоко и вполне можно было плавать.

Этот мост и окружающая его природа, помню, так захватили в детстве мое воображение, что я с большим увлечением написал летом красками этот пейзаж. Мне картина нравилась, и, конечно, я очень обрадовался, когда, вернувшись после каникул в школу на занятия, услышал от нашего учителя рисования, известного армянского художника Шамшиняна, высокую оценку своему творчеству. Товарищам по классу мой рисунок тоже понравился.

Надо сказать, что в нашем классе было два отличника рисования, которых особенно любил учитель. Первый — это Каро Алабян, действительно обладающий большим талантом художника. Второй был я, хотя ни в какое сравнение с Алабяном идти не мог, несмотря на то, что, как и он, получал за рисование одни пятерки.

Увлечение живописью продолжалось недолго. Вскоре я переключился на чтение исторической и политической литературы и совсем забросил живопись.

Алабян же продолжал рисовать. Впоследствии он стал коммунистом, получил высшее архитектурное образование и был одним из наших выдающихся архитекторов, действительным членом Академии строительства и архитектуры СССР. В течение многих лет являлся руководителем творческого Союза советских архитекторов и вице-президентом советской Академии архитектуры. Я очень любил с детства этого кристальной души человека.

В 1958 году он тяжело заболел (рак легких). Перед поездкой в Америку я навещил его в больнице. Больно было смотреть, как мучился он от своего недуга. Мы все же очень тепло тогда поговорили. Я рассказал ему о цели моей поездки, он одобрительно к этому отнесся. В предчувствии, что это наше последнее свидание, я ушел от него в подавленном состоянии.

Через несколько дней, уже в Америке, я узнал о его смерти. Это была огромная потеря для советской архитектуры и большая потеря лично для меня.

...Мы с друзьями продолжали свой путь в деревню.

Каждый камень, каждый поворот тропинки напоминал о годах детства. Это как-то отвлекло от привычных забот, и я мысленно перенесся из своей сегодняшней политической жизни в дни беззаботного детства и отрочества. Даже природа казалась красивее, чем раньше. Удивительное это чувство — любви и привязанности к тому уголку земли, где ты родился и провел самые радостные первые годы жизни!..

Мне казалось, что нет места красивее, чем это дикое ущелье Лори и наше село Санаин.

Я побывал во многих местах нашей родины и за рубежом. Конечно, прихо-

дилось встречать места во много раз красивее, чем моя деревня, но все же она всегда мне кажется милее.

Мать не ожидала меня. Она не знала, что делать от радости.

Прежде всего, по традиции, сразу же пошла купить барашка, чтобы устроить «настоящий шашлык» для меня, родных, соседей и всех, кто зайдет в дом. Сказать правду, я не большой сторонник таких пиршеств. Но зная мать и любя ее, не стал возражать.

Собралось много товарищей-ровесников. В ожидании обеда мы решили пройтись по селу.

Зашли во двор древнего монастыря, сооружение которого, как гласит история, началось с середины X и длилось по XIII столетие. Тысячу лет назад (972 г.) была создана санаинская школа, а потом книгохранилище и академия, где, помимо теологии, изучались история философии, естествознание и другие науки. Не случайно у нас в Санаине впервые перевели на армянский язык произведения Платона, Аристотеля и других выдающихся деятелей древнегреческой культуры.

Наша санаинская школа — одна из древнейших в Армении. По сохранившимся историческим данным, она была основана армянским ученым Диоскаросом Санаинским. Здесь учился родившийся в нашем селе в 1712 году Саят-Нова, ставший потом знаменитым поэтом, писавшим на армянском, грузинском и азербайджанском языках. В начале XIX века в санаинской школе преподавал великий просветитель армянского народа Хачатур Абовян.

Большое впечатление произвела на меня архитектура санаинского монастыря. Правда, тогда я еще не имел полного представления, как высоко она ценится в истории культуры. Только недавно имел удовольствие прочитать вышедшую в 1973 году богато иллюстрированную книгу, посвященную специально архитектуре Санаина¹.

...Вспомнились времена, когда мой отец строил во дворе монастыря на обрыве хорошее современное здание из нескольких комнат — дачу для армянского епископа из Тбилиси. Это здание было потом использовано под школу. Вспомнил встречи и незабываемые беседы с Люсей Люсиновой — замечательной юной революционеркой, с которой мы познакомились еще в Тбилиси и не раз встречались как участники марксистских кружков.

Товарищи рассказали мне об активном участии рабочих и крестьян нашего района в установлении советской власти в Армении в конце 1920 года и в борьбе за победу советской власти в Грузии в феврале 1921 года. Отряд алавердских рабочих преследовал меньшевистские войска до самого Тбилиси, где грузинские коммунисты при помощи Красной Армии окончательно изгнали меньшевиков и утвердили советскую власть во всей республике.

Потом к нам присоединились несколько руководящих работников алавердской организации, которые рассказали мне много интересного о своей жизни и работе. Было приятно сознавать, что медеплавильный завод и рудники стали народной собственностью, что успешно идет их восстановление силами самих рабочих, что сплоченно и дружно работает местная партийная организация.

Предавшись приятным воспоминаниям и беседам, мы даже забыли, что дома ждет мать с вкусным обедом...

Мать была рада, что хорошо всех угостила. Вечером нам пришлось с ней расстаться. Она была очень огорчена моим скорым отъездом. В сопровождении товарищей я отправился на железнодорожную станцию, чтобы вернуться в Тбилиси, а потом и в Ростов...

...Как и всегда, Орджоникидзе сдержал свое слово. Когда Ворошилов, закончив свой отпуск в Боржоми, заехал в конце сентября в Тбилиси, чтобы ехать дальше в Ростов, Серго попросил его взять в свой вагон мою жену и сына.

Ворошилов охотно согласился.

¹ О. Х. Халпахчьян. Санаин. Архитектурный ансамбль Армении X—XIII веков. («Памятники древнего искусства») М. «Искусство». 1973.

Мы с Буденным встречали их на ростовском вокзале, где и состоялась моя личная встреча с Ворошиловым и его супругой Екатериной Давыдовой.

На второй или третий день после своего приезда Ворошилов пригласил меня и Ашхен Лазаревну к себе домой на обед.

Мы хорошо провели тот вечер. После обеда Климент Ефремович позвал погулять. Долго бродили по саду. Ворошилов рассказывал о ростовских делах, о жизни края и его людях, дал очень глубокую и объективную, как я потом убедился, характеристику каждому члену Военного совета и вообще многим руководящим краевым работникам.

Беседа наша носила очень дружеский, доверительный характер. Из нее я узнал много нужного и полезного для себя. Должен, кстати, сказать, что первые же две-три таких встречи с Ворошиловым развеяли у меня всякие опасения насчет того, сложатся ли у нас с ним хорошие отношения, что, как я уже говорил раньше, меня тогда беспокоило...

Я проникся к Ворошилову доверием и уважением как к хорошему товарищу, знающему, опытному работнику и обаятельному человеку. Это отношение к нему я сохранил на всю жизнь. С годами оно лишь углублялось и крепло.

Хорошо помню, как в тот раз, беседуя о необходимости усиления борьбы с бандитизмом в нашем крае, Ворошилов начал меня «агитировать» поближе связаться с Военным советом округа, активнее включиться как секретарю Югвостбюро в работу постоянно действующего у них совещания по вопросам, связанным с ликвидацией бандитизма. Он настаивал на том, чтобы я присутствовал на каждом таком совещании.

Кроме того, он хотел, чтобы я бывал с ним (хотя бы иногда) в войсках, на военных учениях, ежегодных военных сборах в лагере недалеко от Новочеркасска. Я согласился, и это вошло в программу моей дальнейшей работы в крае.

До тех пор секретарь Югвостбюро на заседаниях Военного совета и совещаниях по борьбе с бандитизмом не участвовал. Но теперь по инициативе Климента Ефремовича я стал систематически ходить на эти совещания, а потом втянулся в их работу, видя, что они имеют большое практическое значение и помогают лучшей координации сил военной и партийной организации в таком важном для нас общем деле, как скорейшая ликвидация бандитизма.

...Вспоминаю эти интересные, так много давшие мне совещания.

В небольшом, строго обставленном кабинете командующего военным округом собирались обычно несколько человек: Ворошилов и его заместители Буденный и Левандовский, член Военного совета опытный политработник Сааков, начальник штаба округа Алафузов (бывший полковник царской армии, добросовестно служивший в Красной Армии), краевой уполномоченный ГПУ Андреев и я. Бывали и другие лица, но фамилии их сейчас не могу припомнить.

Прямо перед нами на стене висела большая географическая карта края, на которой флажками обозначались отдельные банды с числом сабель в каждой из них. Одним цветом отмечались банды, имевшиеся ко времени нашего предыдущего совещания, другим — оставшиеся на данный день. Таким образом, все мы, участники совещания, имели возможность наглядно видеть, как проходила ликвидация банд за каждую неделю.

Докладывал обычно Алафузов. Он говорил о последних действиях каждой из банд, об их дислокации и всевозможных передвижениях по краю, о жертвах — с их и нашей стороны — при постоянно происходивших тогда вооруженных столкновениях, а нередко и жестоких боях, о ликвидации и распаде отдельных банд, о начавшейся тогда добровольной сдаче их участников.

Много мы услышали на этих совещаниях и тяжелого и трагического, но не могли не радовать наши общие успехи в борьбе с бандитизмом.

Надо сказать, что орудовавшие у нас банды были довольно хорошо вооружены. В основном они состояли из белогвардейских офицеров и солдат, не успевших после их разгрома Красной Армией удрасть за границу. Всячески подогреваемые извне, они усиленно привлекали под свои знамена все враждебные и недовольные

советской властью силы. Их охотно поддерживали кулаки, купцы, зажиточная часть казачества.

Во главе банд стояли белогвардейские офицеры либо наиболее богатые казаки, утратившие с приходом советской власти старые сословные, материальные и всякие иные преимущества и потому люто ненавидевшие нашу власть.

На первых порах бандитизм носил ярко выраженный политический характер. Бандиты убивали местных руководителей советской власти, беспощадно расправлялись с коммунистами и беспартийными активистами, поджигали здания советских учреждений и терроризировали их работников, открыто вели злобную анти-советскую агитацию...

Мы советовались, обсуждали вместе, какие принимать меры.

Ликвидация банд велась силами красноармейских частей нашего округа, а также органами ГПУ и милиции. Результаты не замедлили сказаться.

Конечно, большая заслуга в этом принадлежала войскам округа, органам ГПУ и местным партийным и советским организациям. Но не только им.

Я уже говорил ранее, что главная причина упадка и саморазложения бандитизма заключалась в общем укреплении советского строя, в изменении политических настроений прежде всего у крестьянства, что было связано с большими переменами к лучшему в нашей социально-экономической жизни.

Говоря кратко: основные массы иногороднего крестьянства и часть трудового казачества стали понимать, что советская власть действительно их власть, что она защищает их интересы, борется за их нужды и реально помогает им строить новую, лучшую жизнь.

Более понятным становился им подлинный смысл призывов и выступлений всех новоявленных «спасителей от советской власти». Крестьянство переставало не только поддерживать политические банды, какими бы душеспасительными лозунгами они ни прикрывали свою контрреволюционную деятельность, но начало и активно содействовать ликвидации этих банд. Деревня, истосковавшаяся по самому элементарному порядку, в подавляющем своем большинстве постепенно становилась враждебной всем этим бандам, которые еще продолжали, однако, находить поддержку в верхушке наиболее озлобленного казачества.

В самих бандах, весьма неоднородных по составу, по тем же общим причинам начался к тому времени естественный процесс распада и саморазложения. От них стали уходить случайно к ним примкнувшие крестьяне и казаки, заблуждавшиеся или обманутые главарями шаек.

Крупные банды стали распадаться на более мелкие. Отдельные из них целиком разоружались и переходили на нашу сторону.

Вот почему в одном из тогдашних писем Югвостбюро губкомам и обкомам нашего края была поставлена задача: «Продолжая энергичную борьбу по уничтожению остатков банд, очень важно для искренно сдающихся бандитов, имеющих тягу к земле, создать обстановку восстановления их хозяйств и прикрепления к мирному труду...»

Мы призывали руководителей местных партийных организаций «приостановить конфискацию имущества добровольно сдающихся бандитов, вернуть им то имущество, которое еще не распределено, и позаботиться о возвращении ранее отобранной земли и наделении новой, не задевая при этом интересов тех крестьян, которые получили земли бандитов и имеют на них посевы...»

Разумеется, все это следовало проводить, «имея в виду лишь одну цель — искренно сдавшихся бандитов не толкать обратно в бандитизм из-за невозможности наладить свое хозяйство».

Я писал в ЦК партии, что политический бандитизм на Дону и на Кубани, вырождаясь, постепенно переходит на путь обычной уголовщины. Распыленные по мелким шайкам, бандиты нападают на жителей станиц и сел, грабят население, угоняют лошадей и скот.

В октябре 1922 года я сообщил в ЦК, что нам удалось «почти полностью ликвидировать бандитизм в Терской губернии и под Ставрополем. Часть знаменитой беззубовской банды сдалась, с остальными ведем переговоры. Проводим

ликвидацию мелких остатков распыленных банд на Кубани. Уголовные шайки в Кабарде ликвидированы. Усиливается бандитизм лишь в Горской республике, особенно в Чечне и Ингушетии...»

К концу 1922 года политический бандитизм в крае был в основном ликвидирован. В деревнях как русских, так и национальных областей жить стало много спокойнее, и крестьянство, опираясь на хороший урожай, начало более энергично восстанавливать свое хозяйство.

Забегая несколько вперед, хочу сказать, что, выступая в мае 1924 года на II Юго-Восточной краевой партийной конференции, я отметил, что вопрос о бандитизме — очень сложный. Мы были на ингушском съезде в 2000 человек, и там один старик справедливо говорил, что их учили при царизме не грамоте, а грабежу. Благодаря царской политике драки между горцами и казаками были всегда, и остатки этого сразу не устранишь. Мне довелось побывать двадцать пять дней в Горской республике, Чечне и Кабарде, продолжал я. У этих народов общий стон: избавьте нас от бандитов, отберите оружие!..

Такая беспокойная, нервная обстановка продолжалась, в частности в Чечне, фактически до 1925 года.

Провозглашение автономии Чечни, конечно, во многом оздоровило общую обстановку в этом районе. Но все мы хорошо понимали, что покончить там с бандитизмом окончательно было невозможно без всеобщего разоружения населения, на руках у которого было еще много разного оружия, оставшегося здесь еще со времени гражданской войны.

Но об этом позднее.

БОРЬБА ЗА УКРЕПЛЕНИЕ КООПЕРАЦИИ

После XII Всероссийской партконференции на местах заметно оживилась работа кооперативных организаций. Кооперация, в первую очередь потребительская, постепенно становилась на деле одним из важнейших рычагов деловой смычки пролетариата с крестьянством.

Сельскохозяйственная кооперация, тогда еще не получившая широкого развития по стране в целом, на Северном Кавказе уже играла определенную роль. Особенно это стало чувствоваться в 1923—1924 годах.

На первых порах, как об этом уже говорилось выше, на завоевание этой силы очень активно устремились эсеры и меньшевики, которым удалось привлечь на свою сторону довольно большую группу старых беспартийных кооператоров и верхушечные слои кулачества.

Поэтому возникшие во многих местах сельскохозяйственные кооперативы, по своему составу были чужды советской власти, объединяя в основном кулацкие хозяйства и всячески препятствуя вступлению в них середняцких и полупролетарских слоев деревни.

Во главе кооперативных союзов стояли явные или скрытые эсеры и меньшевики, а также наиболее враждебные нам из старых кооператоров. Коммунисты почти повсюду оказывались в меньшинстве или их вообще не было.

Параллельно с такими кооперативными союзами, которые мы тогда называли кулацко-индивидуалистическими, стали возникать и коллективистические, находившиеся под нашим влиянием.

Естественно, что между этими кооперативами и их союзами шла тогда острая политическая борьба.

Взвесив обстановку, мы решили взять курс на объединение кооперативных организаций. Такое решение совпадало с настроениями, которые стали все чаще проявляться среди индивидуалистических кооператоров, особенно на Дону и в Ставрополье.

Дело в том, что в те годы мы предоставляли кредиты только коллективисти-

* Вторая Юго-Восточная краевая конференция РКП(б). Стенографический отчет. Ростов-на-Дону. Издание Юго-Восточного крайкома РКП(б). 1924

ческим кооперативным союзам, а в таких кредитах остро нуждались и те и другие. Поэтому «индивидуалисты» и стали гнаться к такому объединению.

Это было для нас выгодно, так как давало нам возможность шире проникать в сельскохозяйственную кооперацию и уже изнутри бороться за ее завоевание на свою сторону.

Поэтому мы дали директиву местным партийным организациям: идя на объединение кооперативных союзов, всячески добиваться упрочения своего влияния не только в губернских и уездных органах кооперации, но и в кооперативных организациях. При этом мы предупреждали коммунистов не допускать со стороны местных советских органов никаких незаконных действий по отношению к сельскохозяйственной кооперации, а также проявлять бережное отношение к беспартийным старым кооператорам, идущим на то, чтобы работать с нами рука об руку.

Это было тогда очень важно еще и потому, что кооперация была для нас делом новым и опыта в этой области мы не имели.

На Дону, где существовало шесть территориальных, независимых друг от друга союзов сельскохозяйственной кооперации, нам удалось слить их в два укрупненных межрайонных союза — донской (Донсельтрудсоюз) и северодонской (Севдос), провести в них выборы правлений на паритетных началах (между коммунистами и остальными) и даже обеспечить в одном из них избрание председателем союза коммуниста.

В Ставрополе нам тоже удалось провести такое объединение, покончив с засилием эсеров и не допустив избрания ни одного из них в правление объединенного союза. Но все это было только началом.

«В Горской республике сельскохозяйственной кооперацией еще руководят эсеры и идущие за ними беспартийные, — писал я в ЦК партии в октябре 1922 года, — коммунистов там нет совсем. Нет коммунистов и в Южно-Кубанском союзе...»

Мы продолжали вести борьбу за завоевание кооперации по всему краю, стремились укрепить ее аппарат коммунистами, добивались ее хозяйственного упрочения и более широкого вовлечения в кооперацию деревенских коммунистов и бедноты, постепенно изгоняя из ее руководящих органов эсеров, меньшевиков и их приспешников.

Проведенные при Югвостбюро ЦК краевые совещания коммунистов по вопросам кооперации дали нам возможность лучше увидеть свои слабые места на этом важном фронте классовой борьбы, более устремленно и направленно расставить силы...

При этом мы были осторожны, стараясь не делать поспешных и потому опрометчивых шагов.

На одном из первых таких краевых совещаний, проведенном еще в августе 1922 года, сразу же после XII Всероссийской партконференции, мы приняли ряд конкретных предложений, имеющих целью реализацию директив партконференции по вопросам потребительской и сельскохозяйственной кооперации.

В частности, при обсуждении вопроса о составе делегации нашего края на созываемый в Москве Всероссийский съезд сельскохозяйственной кооперации приняли решение «согласиться с предложением о паритетном представительстве Юго-Восточного союза сельскохозяйственной кооперации на Всероссийском съезде, причем беспартийных подобрать, более близких к партии».

В решении того же совещания губкомам и обкомам указывалось на необходимость «пополнения сельскохозяйственной кооперации партийными работниками, не ставя целью захват целиком правлений сельскохозяйственных кооперативов в руки коммунистов, а пока лишь добиваясь партийного большинства и руководящего влияния».

Жизнь показала, что такая тактика в отношении кооператоров-некоммунистов была правильной и вполне себя оправдала.

Сам в ту пору еще совсем молодой — мне не было и двадцати семи лет, — я любил встречаться с молодежью, с комсомольцами, понимая большое значение комсомола в деле воспитания подрастающего поколения.

Секретарем Югвостбюро ЦК РКСМ был тогда Мильчаков. Надо сказать, что он довольно точно воспроизвел мой первый «визит» к нашим комсомольцам в интересных и содержательных воспоминаниях о своей комсомольской юности³.

Действительно, я пришел в бюро комсомола совершенно неожиданно, заранее о встрече не сговариваясь, и застал там только одного из членов бюро — симпатичного, слегка заикающегося Сеннова. Остальные члены бюро оказались в разъездах по краю, беря, к слову сказать, в этом отношении хороший пример со своего руководителя, который очень любил бывать, как тогда говорили, в массах и поэтому частенько находился «на колесах».

Не зная еще меня в лицо, Сеннов принял меня поначалу за инструктора отдела народного образования, потому что я засыпал его вопросами о культпросветработе, о школах, об отношениях с учительством и т. п.

Потом он все же задал мне вопрос: «А с кем я, собственно, говорю?» И узнав, что я секретарь Югвостбюро ЦК партии сперва немножко растерялся, а потом довольно быстро нашелся и стал бойко мне рассказывать о насущных нуждах комсомольцев, о слабости партийного руководства и т. п.

Помню одно из августовских заседаний Югвостбюро ЦК комсомола, на котором я решил присутствовать, чтобы поближе узнать членов бюро и познакомиться с работой, которую они ведут.

В повестке дня оказался вопрос, который, как выяснилось, без меня решать они не хотели.

Дело в том, что из Дагестанского обкома комсомола Мильчакову сообщили, что на одном из партийных собраний в Махачкале член Дагестанского обкома партии Гоголев позволил себе недопустимые и даже оскорбительные высказывания по адресу дагестанских комсомольцев. Дагестанский обком партии, узнав об этом, не только не одернул Гоголева, но оставил этот вопрос вообще без всякого внимания.

Члены бюро Дагестанского обкома комсомола, крайне возмущенные и оскорбленные таким отношением, обратились в Югвостбюро комсомола с коллективной просьбой отозвать их всех из Дагестана, поскольку, как они писали, дальше в таких условиях работать они не могут.

Члены Югвостбюро комсомола, обсудив этот вопрос, приняли свое решение, но тут же попросили меня, чтобы делом этим занялось и наше партийное бюро, надеясь — не без оснований — на мою поддержку.

В тот же день мы рассмотрели этот вопрос у себя на заседании Югвостбюро ЦК партии и приняли решение обратить внимание Дагестанского обкома партии на несерьезное отношение к обкому комсомола, поручили партийному обкому установить с комсомолом необходимый контакт и товарищескую спайку, а непосредственному виновнику конфликта Гоголеву за безответственные высказывания о комсомоле поставить на вид. Просьбу комсомольцев из Дагестанского обкома об их отзыве решили отклонить, считая ее неправильной и чреватой неприятными последствиями для дагестанской комсомольской организации. Конфликт был ликвидирован.

Впоследствии мы очень часто встречались с комсомольцами. Их руководители постоянно участвовали в заседаниях нашего партийного бюро, пленумов и различных совещаний. И я и другие члены бюро не раз бывали в городском комсомольском клубе, в молодежных общежитиях, выступали у комсомольцев с докладами, сообщениями, проводили с ними дружеские беседы...

Надо сказать, что в те времена, особенно в условиях нашего сложного многонационального крестьянского края, комсомол играл очень большую роль.

В ряде районов, в первую очередь национальных, коммунистов было тогда очень еще мало. Партийные ячейки насчитывались единицами. Комсомольцев же было гораздо больше — в Чечне, например, больше четырех сотен, — а коммунистов единицы. И это не исключение. Во многих горских аулах комсомол выступал единственной массовой организацией горской бедноты, и притом не

³ А. Л. Мильчаков. Первое десятилетие. М. «Молодая гвардия». 1965, стр. 121

только «своего» возраста. Нередко среди юнцов-комсомольцев встречались и «бородачи»: возраст не служил тогда препятствием к вступлению в комсомол.

Из комсомольских ячеек потом вырастала ячейка коммунистов. Поэтому в лице комсомола мы имели действительно хорошую опору в широких массах.

Существовавшие тогда части особого назначения (ЧОН), сыгравшие большую роль в борьбе с бандитизмом, состояли в большинстве своем из комсомольцев и вообще молодежи. Комсомольцы выступали активными пропагандистами идей нашей партии и декретов Советского правительства, являлись повсеместно застрельщиками массовых субботников и воскресников. Среди них было немало толковых и смелых селькоров и рабкоров, организаторов бедноты, инициаторов борьбы с неграмотностью и многих других хороших дел. Я не говорю уж о том, какую огромную роль сыграли наши комсомольцы в деле вовлечения в общественную жизнь девушек-националок, что в наших условиях было тогда особенно трудно.

Словом, во всех делах комсомол и комсомольцы были нашими верными и надежными помощниками.

...Когда я получше узнал Мильчакова и убедился, что в его лице мы имеем настоящего комсомольского вожака и отличного коммуниста, то несколько сократил свою «комсомольскую прыть»; дел у нас было тогда очень много, а за комсомол я был уже спокоен, зная, что там Мильчаков.

Очень обрадован был я, когда узнал впоследствии, что Мильчакова в 1928 году избрали генеральным секретарем ЦК Ленинского комсомола. Он вполне это заслуживал.

ОБРАЗОВАНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Уже давно наше бюро беспокоило положение в Горской республике. Как несколько ранее и Дагестанская, она была провозглашена на съезде народов Терской области с участием наркома по делам национальностей Сталина в ноябре 1920 года. Декреты ВЦИК об образовании этих двух республик были опубликованы 20 января 1921 года.

Горская республика объединила большую группу северокавказских горских народов: чеченцев и ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, а также часть герских казачьих станиц. Народы эти очень разные, среди некоторых из них еще сохранялось проклятое наследие царизма — вражда одного народа к другому...

Постепенно из Горской республики стали выделяться самостоятельные автономные национальные области, могущие обеспечить лучшие условия для культурного и хозяйственного развития выделяющихся народов.

Еще до моего приезда из Горской республики выделились и получили автономию кабардинцы, которые в начале 1922 года объединились с балкарцами в Кабардино-Балкарскую автономную область, впоследствии, в 1936 году, ставшую автономной советской социалистической республикой в составе РСФСР. В том же 1922 году была образована и автономная Карачаево-Черкесская область.

Вспоминаю, какие споры шли, когда я уже приехал в Ростов, вокруг вопроса, какой город должен стать центром Кабардино-Балкарской области.

Тогда председателем исполкома Совета этой области был один из популярнейших деятелей Кабардино-Балкарии — Бетал Калмыков, личность настолько примечательная, что о нем я обязательно расскажу специально...

Уже при первом нашем знакомстве Бетал сообщил, что он поставил вопрос во ВЦИК о том, чтобы передать Пятигорск Кабардино-Балкарии, сделав его центром автономной области. В то время Нальчик, считавшийся центром Кабардино-Балкарии, был, по сути, не городом, а большим селом.

Я узнал от Бетала, что во ВЦИК Енукидзе обещал поддержать его предложение. Поскольку новым секретарем Югвостбюро стал я и вопрос этот не мог пройти без меня, Калмыков и обратился ко мне за поддержкой и помощью.

О том, что такое предложение существует, я уже знал. поэтому ответил ему сразу и прямо:

— Считаю это нецелесообразным. В Пятигорске живет в основном русское население — это всероссийский курорт со своими нуждами. Если руководство Кабардино-Балкарии будет находиться в Пятигорске, ему придется много хлопотать о курорте, а следовательно, нужды кабардино-балкарского народа могут отойти на второй план. Нальчик же географически расположен в центре автономной области, что само по себе очень важно.

Калмыков не соглашался, настаивал на своем предложении, приводя при этом такой довод: кабардинцы и балкарцы торгуют на базарах Пятигорска, а местные власти их обижают. Если мы будем в Пятигорске, то полностью удовлетворим интересы наших крестьян...

Довод этот, конечно, заслуживал внимания. Мы должны были заботиться об интересах крестьян, но для этого вовсе не следовало делать Пятигорск центром Кабардино-Балкарской области.

Я сказал Беталу, что мы пойдем на то, чтобы учредить должность специального представителя Кабардино-Балкарии в Пятигорске при местной советской власти, главной задачей которого и будет забота о крестьянах из их области, приезжающих в город.

Чувствовалось, что я сбил его со всех позиций, но так как он свыкся со своей идеей, то испытывал — я понял это — глубокое разочарование.

Потом в Москве Енукидзе согласился со мной, сказав, что вопрос о Пятигорске снят с повестки дня. Так Нальчик и остался центром Кабардино-Балкарии.

Близкое ознакомление с обстановкой привело меня к выводу, что решения о выделении этих двух областей из Горской республики были абсолютно правильными. Их нахождение там было, по существу, временным явлением.

У выделившихся народов ничего общего с оставшимися в Горской республике народами не было, кроме разве общей принадлежности к мусульманской религии и горного характера территории, на которой они жили. Языки у них разные. Географическое положение и экономические тяготения связывали их не с Владикавказом, центром Горской республики, а с Пятигорском и Кисловодском. На базарах именно этих двух городов сбывалась вся их сельскохозяйственная продукция; здесь же они покупали и все нужные им товары. Кабардинцы и балкарцы встречались и вообще общались между собой главным образом на базарах Пятигорска, а карачаевцы — в Кисловодске.

После образования Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской автономных областей в Горской республике остались только чеченцы, ингуши, осетины, сунженские казачьи станицы и город Грозный.

Не имели тяготения к Владикавказу и чеченцы. Экономически они тяготели к Грозному, к его базару, где они общались между собой и совершали все нужные им продажи-покупки.

Надо сказать, что чеченцы — самая большая по численности национальность среди горских народов Северного Кавказа. По уровню же своего развития Чечня в то время являлась, пожалуй, наиболее отсталой среди них. В аулах господствовал патриархально-родовой быт с непререкаемой властью духовенства и племенных вождей, между которыми шли бесконечные распри и раздоры.

Если не считать нескольких открытых при советской власти школ в плоскостной Чечне, остальные немногочисленные школы были религиозные, мусульманские, с преподаванием на малопонятном для чеченцев арабском языке.

Чеченский народ не имел своей письменности. В 1920 году среди них не насчитывалось и одного процента грамотных.

Судебные дела вершились духовными лицами в шарнатских судах с их унаследованными со времен средневековья нормами мусульманского церковного права шариата. Других народных или государственных судов в Чечне не существовало.

Несмотря на малоземелье и низкий жизненный уровень населения, чеченцы тогда еще не уезжали из аулов и не стремились устраиваться на работу в Грозном, расположенном в северной части Чечни — втором, после Баку, быстро растущем тогда нефтяном районе страны.

Ко времени событий, о которых идет речь, среди грозненских рабочих чеченцы встречались редко. Лишь через год после предоставления чеченцам автономии в результате принятых особых мер по привлечению чеченцев в нефтяную промышленность число нефтяников-чеченцев достигло нескольких сот человек.

Положение в Чечне было очень напряженное. Там орудовали остатки антисоветских элементов, которые провоцировали на выступление против советской власти, организовывали банды, нападавшие на предместья Грозного, на нефтепромыслы, железнодорожные станции и поезда. Имелись случаи убийств советских работников в чеченских селениях. Многие из банд продолжали действовать в Чечне и после того, как в нашем крае с бандитизмом в основном уже покончили.

На основании одних воспоминаний трудно, конечно, дать оценку тогдашней обстановки. Однако сохранилась запись выступления первого председателя Чеченского ревкома Таштемира Эльдерханова о положении в Чечне в те времена.

Он говорил, что ко времени образования автономной Чечни на всей ее территории «отсутствовала не только твердая власть, но и вообще какая бы то ни было советская власть. Бандитские шайки не только не давали покоя в самой Чечне, но свои действия перебрасывали на соседние государственные образования, на казачьи станицы и, в общем, создали полный террор. Были покушения на транспорт, на железную дорогу. Не было почти ни одной школы, которая являлась бы базой благополучия населения...».

Все в этом районе было напряжено, все бурлило. Жалобы на «самоуправство» и «бесчинства» чеченцев не прекращались. Их поток шел из Грозного, от железнодорожников, из казачьих станиц.

Дальше терпеть такое положение стало невозможно. Да и из самой Чечни, от ее наиболее активных партийных и беспартийных товарищей, в особенности от комсомольцев, все настоятельнее поступали просьбы об укреплении у них власти, о предоставлении им автономии.

Поэтому не случайно, один из первых вопросов, который я поставил в Юг-востбюро, это о выделении Чечни в автономную область. Мы послали тогда в Грозный комиссию, чтобы выяснить обстановку, посоветоваться с людьми, что делать, выяснить их отношение к выделению Чечни в автономную область, учитывая отрицательное отношение к этому руководства Горской АССР.

Собрав все материалы и обсудив этот вопрос, мы обратились в ЦК партии со своими предложениями.

Не раз мне пришлось по этим делам побывать у Дзержинского как председателя ВЧК. Феликс Эдмундович очень внимательно следил за ходом борьбы с контрреволюцией на Северном Кавказе, понимая, что хотя советский строй во многих районах нашего края и окреп, но в ряде других районов до этого еще далеко.

Осенью 1922 года я вновь побывал у Дзержинского. Его очень тревожила обстановка в Чечне. В беседе сказал ему, что одной из причин напряженного положения там является отсутствие настоящей советской работы. Горская республика с этим явно не справлялась. Надо создать чеченскую национальную автономию, поставив во главе ее самих чеченцев, заявил я Дзержинскому. Возможно, тогда обстановка в Чечне несколько разрядится.

Сказал, что вопрос этот мы уже поставили в ЦК, несмотря на то, что руководящие товарищи из Горской республики и возражают против выделения Чечни.

В октябре 1922 года ЦК партии создал специальную комиссию по чеченскому вопросу в составе Ворошилова, Кирова (работавшего тогда секретарем ЦК партии Азербайджана) и меня. Я, конечно, был согласен с образованием этой

комиссии. Радовался и включению в нее Кирова. Включение его в комиссию объяснялось тем, что Киров хорошо знал по прошлой работе горские народы Терской области и его опыт мог быть полезен в решении вопроса о Чечне. Создание комиссии ЦК по чеченскому вопросу объяснялось не только тем, что существовали противоположные точки зрения по этому вопросу между нами и обкомом партии Горской республики. Здесь играл роль и тот факт, что тогда Сталин сомневался, насколько это целесообразно. Ему было ясно, что выделение из Горской республики такого большого «куска» территории и населения, как Чечня с Грозным, приведет в дальнейшем к выделению из этой республики и других автономий и тем самым к ее упразднению. Следует вспомнить, что в ноябре 1920 года Сталин как народный комиссар по делам национальностей на съезде народов Терской области от имени Советского правительства сделал декларацию об образовании автономной советской Горской республики.

Комиссия работала во Владикавказе и выезжала на места, знакомилась с фактическим положением дел в Чечне, беседовала с видными чеченцами, с грозненцами, с руководством Горской республики. Словом, вопрос подготовлялся весьма обстоятельно.

Так как члены комиссии были единодушны в решении чеченского вопроса, то после приезда Кирова все довольно быстро пришли к решению.

Сохранились протоколы заседаний комиссии. В ее работе принимали активное участие руководящие работники Горской республики: секретарь обкома партии Гикало, председатель ЦИК Зязиков (ингуш), предсовнаркома Мансуров (осетин), Эльдерханов (чеченец) и другие.

После всестороннего обсуждения на основании внесенных предложений чеченских работников и в полном согласии с ними комиссия решила войти в ЦК партии с предложением о выделении Чечни из состава Горской АССР в автономную область, с пребыванием ее руководящих органов в Грозном.

Это решение было принято вопреки руководству Горской республики, которое хорошо понимало, что так же, как о Чечне, может стать вопрос и об автономии Осетии и Ингушетии, а это означало бы упразднение Горской республики.

С учетом этого комиссия решила «ввиду единодушного желания работников Осетии и Ингушетии не разъединять их, а оставить в составе Горской республики, так как в случае их выделения трудно было бы, помимо всего прочего, решить судьбу Владикавказа».

Однако Грозный решено было в состав автономной Чечни не включать, чтобы дать возможность чеченскому ревкому сосредоточить все свое внимание исключительно на Чечне ввиду особой сложности существующего там положения. Грозный же по-прежнему должен был остаться самостоятельной административной единицей, но с непосредственным подчинением не ЦИК Горреспублики, а ВЦИК и краевому центру.

Комиссия определила состав Чеченского ревкома под председательством Эльдерханова в 13 человек, в том числе 11 чеченцев (среди них четыре коммуниста) и 2 не чеченца, оба коммунисты, один из которых должен был постоянно находиться на работе в ревкоме, а другой — в Оргбюро комитета партии в качестве его секретаря.

Таким образом, в состав ревкома вошли семь беспартийных и шесть коммунистов. Большой процент беспартийных объяснялся тем, что среди чеченского актива не было тогда достаточного числа авторитетных в чеченском народе коммунистов, а беспартийные чеченцы, которые вошли в ревком, были как раз тесно связаны с разными районами Чечни и пользовались у их населения большим доверием. А это являлось главным для успеха работы ревкома Чечни.

Такой состав обеспечивал необходимое руководство жизнью вновь организуемой автономной национальной области. На ревком возложили всю ответственность за правопорядок в Чечне, а также за предотвращение каких бы то ни было нападений чеченцев на нефтепромыслы и железные дороги, на красноармейцев и жителей казачьих станиц.

Кроме того, комиссия приняла решение о выделении довольно значительных денежных ассигнований из государственного бюджета на расходы по образованию новой автономной области, о наделении ее необходимым автотранспортом и прочими материальными средствами.

Надо учесть, что деревенская Чечня не имела источников для пополнения местного бюджета: промышленные и торговые предприятия насчитывались там единицами и налоговые поступления от них были ничтожны. А предстояло строительство дорог, мостов, школ и больниц. Без этого чеченскому народу трудно было реально почувствовать, что несет ему советская власть.

Поэтому, в изъятие из правил, решили войти в правительство с предложением о регулярном попутном отчислении в бюджет Чеченской автономной области денежных средств с добычи нефти в Грозном.

Следует сказать, что Киров смог приехать только ко второму заседанию комиссии. За время этой встречи я узнал от него, что происходит в Баку и вообще в Закавказье: вопросами этими я тогда продолжал интересоваться.

От Кирова я узнал, с каким большим скрипом идет образование Закавказской Федерации, как остро проходит борьба с грузинскими уклонистами. В Азербайджане большинство членов ЦК и правительства твердо стояли тогда на позиции создания федерации — за исключением Ханбудагова и некоторых его сторонников, позиция которых совпадала с линией грузинских уклонистов. В Армении руководство было единодушно, без всяких исключений, за федерацию закавказских республик.

После окончания работы комиссии ЦК я просил Кирова остаться у нас для поездки по районам края, а заодно и продолжить наши интересные беседы с ним. Но он очень торопился и скоро уехал в Баку.

В первой половине ноября 1922 года состоялось заседание Секретариата ЦК партии, где все предложения нашей комиссии по Чечне были рассмотрены и в основном одобрены. А вскоре, 30 ноября 1922 года, ВЦИК принял декрет об образовании автономной Чеченской области.

ВНОВЬ О МОНОПОЛИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ. ОШИБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Надо сказать, что после августовского и до следующего Пленума ЦК никакого советского законопроекта о монополии внешней торговли принято не было. Чувствовалось упорное сопротивление Красина намечаемым мероприятиям по ослаблению монополии внешней торговли, а также опасения сторонников такого ослабления, как будет на все это реагировать Ленин. Разногласия продолжали углубляться.

Мне неизвестно, знал ли Ленин о рассмотрении августовским Пленумом вопроса о монополии внешней торговли, о спорах, которые в связи с этим возникли, а также и о существовании избранной на Пленуме комиссии для разработки советского законопроекта о внешней торговле.

Во всяком случае, никаких следов этого в известных нам ленинских документах обнаружить не удалось, а предположить, что Ленин, зная все эти материалы, обошел их молчанием в своих последующих беседах, письмах и записках, очень трудно.

Вопрос о монополии внешней торговли вновь был включен в повестку дня очередного, октябрьского Пленума ЦК партии.

Ленин после первого острого приступа тяжелой болезни в конце мая жил тогда в Горках, но уже в июле с разрешения врачей начал принимать людей и беседовать с ними, возобновил деловую переписку, постепенно входя в дела.

В Москву Ленин вернулся 2 октября и сразу приступил к работе, хотя рабочий день его по требованию врачей был уже значительно сокращен.

5 октября Ленин принял участие в первом заседании Пленума ЦК. Но на

следующий же день из-за сильной зубной боли (из-за «проклятого зуба», как он писал) вынужден был прервать дальнейшее участие в работе Пленума.

6 октября, уже в отсутствие Ленина, на Пленуме обсуждался вопрос «О режиме внешней торговли». Главным докладчиком, как ни странно, был не нарком внешней торговли Красин, а нарком финансов Сокольников. Он и поддержавший его заместитель наркома внешней торговли Фрумкин заняли ликвидаторскую позицию в вопросе о монополии внешней торговли.

Пленум принял решение: «...а) Не декларируя никаких перемен в отношении монополии внешней торговли, провести ряд отдельных постановлений СТО о временном разрешении ввоза и вывоза по отдельным категориям товаров или в применении к отдельным границам; б) Предложить СТО немедленно начать осуществление указанных мер, не откладывая их до выработки общего списка товаров, подлежащих вывозу или ввозу, а также портов и границ, через которые ввоз и вывоз должен производиться...»⁴.

Это решение по сравнению с августовским уходило еще дальше в сторону от монополии внешней торговли. В нем предусматривалось немедленное (хотя и с оговоркой «временно») предоставление свободы ввоза и вывоза отдельных категорий товаров и открытие некоторых портов для свободной торговли с внешним миром. Как известно из последующего письма Ленина (после его беседы со Сталиным), предполагалось открытие портов питерского и новороссийского, в связи с чем Ленин писал: «Мне кажется, оба примера показывают крайнюю опасность подобных экспериментов хотя бы для самого небольшого списка товаров»⁵.

Надо сказать, что на самом Пленуме ЦК большой дискуссии и особых разногласий не возникло. Большинство членов ЦК, глубоко не вникая в суть дела, предполагали, что проект решения по этому вопросу известен Ленину и, видимо, он против него не возражает.

Однако вскоре стало ясно, что проект был внесен на рассмотрение Пленума без ведома Ленина и даже о принятом решении Пленума он узнал не сразу. Удивительно, что Генсек не информировал Ленина своевременно о сути принятого решения (хотя бы до его выпуска), заведомо зная, что Ленин занимает по этому вопросу принципиальную другую позицию.

Только 11 октября, после получения письма Красина, адресованного в ЦК, Ленин узнал об этом решении. Письмо Красина обращало внимание не только на принципиальную ошибочность принятого Пленумом решения, но и отмечало недопустимый порядок подготовки и внесения этого вопроса на рассмотрение Пленума. Из письма явствовало, что даже наркома внешней торговли известили о Пленуме лишь за полчаса до заседания и он не присутствовал на нем. До Пленума вопрос этот с заинтересованными наркоматами не обсуждался. Более того, писал Красин, тезисы доклада Сокольников никому из Наркомвнешторга не были даны для прочтения. Даже ему, наркому внешней торговли, эти тезисы не были известны, хотя возглавляемый им Наркомат наиболее заинтересован в решении этого вопроса. В результате, с возмущением писал Красин, «в обстановке, приближавшейся к келейной, принимается решение об отмене государственного регулирования в области, одинаково затрагивающей как нашу внутреннюю, так и внешнюю политику»⁶.

Днем позже, 12 октября, письмо с возражениями против ошибочного решения Пленума поступило также от председателя Ценгросоюза Хинчука⁷.

Сразу по получении письма Красина Ленин вызвал его для беседы. На следующий день он беседовал по этому вопросу со Сталиным⁸.

В тот же день Политбюро ЦК, узнав от Сталина о мнении Ленина по этому вопросу и рассмотрев письмо Красина, приняло решение «поручить секретариату

⁴ См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 562.

⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 222.

⁶ Из письма Красина в ЦК РКП(б) от 11 октября 1922 года опубликованного в журнале «Вопросы истории КПСС». 1963. № 10, стр. 35

⁷ См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 562.

⁸ См. там же, стр. 562, 689, 690.

произвести опрос всех находящихся в Москве членов ЦК по вопросу об отложении на два месяца проведения решения пленума о режиме внешней торговли...»⁹. Этим же решением Красин обязывался в двухдневный срок представить в ЦК свои соображения по данному вопросу, которые Секретариат ЦК должен был разослать всем членам ЦК.

Ленин вновь встречается и беседует с Красиным о монополии внешней торговли, а затем пишет проект письма в ЦК и дает его для ознакомления Красину¹⁰.

13 октября Ленин дополняет свое письмо и направляет его «секретарю ЦК г. Сталину»¹¹. Это письмо в тот же день разослали членам ЦК вместе с «Тезисами Наркомвнешторга о режиме внешней торговли», представленными Красиным.

Ленин считал, что решение октябрьского Пленума ЦК с чисто внешней точки зрения носит характер как будто неважной, частичной реформы, «но на деле это есть срыв монополии внешней торговли». Ленин раскрывает политический смысл решения Пленума ЦК и всю глубину его ошибочности. Мы только начали вводить систему монополии внешней торговли, пишет он. Через год-два будут некоторые итоги. Уже теперь мы начинаем получать от монополии внешней торговли десятки миллионов рублей дохода. Начав создавать смешанные общества и получать половину их чудовищной прибыли, мы уже видим некоторую перспективу солиднейшего дохода государства от монополии. И вдруг теперь, в необоснованной надежде на доходы от пошлин, мы все это бросаем «и гонимся за призраком!».

Ленин резко критикует способ подготовки и решения этого вопроса на Пленуме: «Вопрос был внесен в пленум наспех. Ничего подобного серьезной дискуссии не было. Никаких причин торопиться нет. Только теперь начинают вникать хозяйственники. Решать важнейшие вопросы торговой политики со вчера на сегодня, не собрав материалов, не взвесив *за и против* с документами и цифрами, где же тут хоть тень правильного отношения к делу? Усталые люди голосуют в несколько минут и баста. Менее сложные политические вопросы мы взвешивали по многу раз и решали нередко по несколько месяцев»¹².

Этот справедливый упрек был направлен, естественно, в первую очередь в адрес Генсека ЦК, потому что подготовка вопросов для рассмотрения на Пленуме ЦК являлась его прямой служебной обязанностью¹³. Здесь Лениным не подчеркнута, что вообще такой серьезный политический вопрос, как монополия внешней торговли, даже если бы он был тщательно подготовлен — как этого требует большевистский стиль работы — не должен выноситься на Пленум ЦК без его предварительного рассмотрения в Политбюро.

В данном случае получилось, что вождь партии и глава Советского правительства Ленин фактически оказался «обойденным» при обсуждении и решении одного из очень важных вопросов государственной политики, хотя, как уже говорилось, в те дни он активно работал, принимал товарищей, о чем в Секретариате ЦК не могли не знать. Во всяком случае, возможность ознакомления Ленина с решением, принятым в его отсутствие, была вполне реальной, но этого не сделали.

Ленин из скромности не коснулся этой стороны вопроса. Зато в приведенных выдержках из его письма видна аргументированная критика сгня и методов подготовки и решения такого крупного государственного вопроса.

В письме от 13 октября, говоря о монополии внешней торговли, Ленин предложил «отсрочить решение этого вопроса на два месяца, т. е. до следующего пле-

⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 562.

¹⁰ См. там же, стр. 690.

¹¹ Там же, стр. 220.

¹² Там же, стр. 221.

¹³ Примечательна такая деталь. Свое письмо Ленин адресует «секретарю ЦК г. Сталину». Обычно все свои письма в ЦК Ленин направлял или вообще безлично («в ЦК»), или без указания поста адресата. В данном случае Ленин видимо, хотел особо подчеркнуть формальный, официальный характер своего письма. Обращает на себя внимание тот факт, что Ленин ни в одном документе не назвал Сталина Генеральным секретарем!

нума, а до тех пор собрать сведенные вместе и проверенные документы об опыте нашей торговой политики»¹⁴.

Разница между решением, принятым накануне по этому вопросу Политбюро, и тем, что предлагал Ленин, совершенно очевидна.

Ленин не связывает постановку этого вопроса с письмом Красина. Политбюро же, ссылаясь в своем решении не на мнение Ленина, а на письмо Красина, фактически ослабляло самую постановку и остроту вопроса. При такой формулировке позиция Ленина оставалась для членов ЦК неясной.

Далее в постановлении Политбюро речь идет об отсрочке на два месяца «проведения решения пленума...».

Таким образом, правильность принятого решения Пленума не подвергается сомнению: членам ЦК предлагается отложить лишь его исполнение. Ленин же требует отсрочить решение этого вопроса на два месяца.

Кроме того, Политбюро не связывает отсрочку с очередным Пленумом ЦК. Ленин же прямо указывает на необходимость переноса решения этого вопроса «до следующего пленума».

16 октября опросным голосованием члены ЦК, находившиеся тогда в Москве, поддержали предложение Ленина и приняли постановление «отложить решение вопроса до следующего пленума»¹⁵, хотя некоторые из них продолжали настаивать на своих ошибочных позициях.

Окончательно зарвался тогда Зиновьев. Заняв оппортунистическую позицию в отношении открытия портов, он защищал, видимо, при этом еще и чисто местные интересы: будучи председателем Петроградского Совета, он, очевидно, рассчитывал, что открытие петроградского порта для свободной внешней торговли приведет к оживлению экономической жизни города. Зиновьев оказался тогда единственным членом ЦК, который проголосовал против предложений Ленина. письменно заявив, что он «решительно против пересмотра решения, принятого пленумом по вопросу о режиме Внешторга, и по формальным соображениям и по существу», и поэтому голосует «против всякого пересмотра»¹⁶.

Насколько помнится, после своего штрейкбрехерства в октябре 1917 года Зиновьев впервые открыто позволил себе такой наглый выпад против Ленина, добываясь фактически лишения Ленина возможности вместе с другими членами ЦК участвовать в обсуждении одного из коренных вопросов государственного строительства.

Голосуя за настоятельное предложение Ленина об отсрочке решения до следующего Пленума, Сталин в письменной форме высказал тогда свое мнение по существу вопроса о монополии внешней торговли, расходящееся с ленинской линией: «Письмо тов. Ленина не разубедило меня в правильности решения пленума Цекга от 6/X о внешней торговле... Тем не менее, ввиду настоятельного предложения т. Ленина об отсрочке решения пленума Цекга исполнением, я голосую за отсрочку с тем, чтобы вопрос был вновь поставлен на обсуждение следующего пленума с участием т. Ленина»¹⁷. Казалось, было бы более нормальным, в особенности для Генсека, подождать очередного Пленума ЦК, выслушать мнение Ленина и других членов ЦК, а потом уже, с учетом всего этого, окончательно определить свою позицию. Но Сталин поторопился закрепить свое расхождение с Лениным, заявив, что письмо Ленина его «не разубедило».

Бухарин, не голосуя против отсрочки решения вопроса, написал 15 октября письмо в ЦК¹⁸, в котором попытался «теоретически» обосновать необходимость отмены монополии внешней торговли и переход к свободе внешней торговли и таможенной системе охраны интересов государства.

¹⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений т. 45 стр. 222.

¹⁵ Там же, стр. 563.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же, стр. 562—563.

¹⁸ Архив ИМЛ, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 36, л. 14.

В этом письме он критиковал основные положения тезисов Красина и письма Ленина.

По существу, Бухарин отвергал монополию внешней торговли, утверждая, что наша госторговля не в состоянии мобилизовать экспортные ресурсы деревни, а сделать это может только иностранный и наш частный капитал. Он не видел опасности в открытии части наших границ и портов для коммерческих сделок с иностранными купцами и компаниями, полагаясь целиком на «усовершенствованную таможенную» политику.

БОРЬБА РАЗГОРАЕТСЯ

Добившись отсрочки решения о монополии внешней торговли, Ленин сразу же взялся за подготовку к Пленуму ЦК.

Положение сложилось исключительно напряженное. Крайне редко, но бывало и раньше, что на какой-то момент Ленин оставался в ЦК в меньшинстве. Так было при обсуждении Брестского мира, в ходе дискуссии о профсоюзах, и вот теперь — при решении вопроса о монополии внешней торговли — он вновь оказался в аналогичном положении.

Правда, он не участвовал в обсуждении этого вопроса на Пленуме ЦК. Будь он там, вероятно, все сложилось бы по-иному. Но теперь он был поставлен перед фактом: один против остальных членов ЦК, принявших ошибочное решение.

Поэтому он готовился к острой и принципиальной борьбе на предстоящем Пленуме ЦК, не будучи вполне уверен в положительном ее исходе. В случае неудачи на Пленуме он готов был перенести обсуждение на съезд партии; сдавать свои принципиальные позиции Ленин не собирался. «Я буду воевать на пленуме за монополию»¹⁹, — писал он в те дни. «Это такой коренной вопрос, из-за которого безусловно можно и должно побороться на партийном съезде»²⁰.

Ленин беседует с Стомяковым, верным сторонником монополии внешней торговли, и поручает ему посоветоваться с другими сторонниками монополии, подобрать данные, доказывающие необходимость монополии внешней торговли и аргументы, опровергающие доводы ее противников.

В борьбе за монополию Ленин опирался и на Аванесова — старого, преданного партии коммуниста, работавшего тогда заместителем наркома Рабоче-Крестьянской инспекции. Аванесова направили за границу председателем комиссии Совнаркома по обследованию положения дел в наших торгпредствах, и вернулся он оттуда с материалами, подтверждающими необходимость сохранения монополии внешней торговли. Ленин беседует с ним и остается весьма доволен предоставленной им работой²¹.

Главный вывод комиссии Аванесова сводился к тому, что монополию внешней торговли нельзя отменять как по соображениям экономическим, так и политическим — «ни полностью, ни даже частично»²².

¹⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 323.

²⁰ Там же. т. 45, стр. 333.

²¹ Не могу удержаться, чтобы не рассказать об одном факте ставшем мне известным лишь в 1970 году, который характеризует очень бережное и заботливое отношение Ленина к своим товарищам по работе. Зная о плохом состоянии здоровья Аванесова, Ленин требовал и настаивал, чтобы он поехал за границу на лечение. Тот все никак не мог оторваться от дел. В апреле 1922 года Ленин пишет Аванесову: «Оказывается, что Вы еще не уехали. Говорят — со слов д-ра Рамонова, — что думаете о Крыме. Умоляю этого не делать. Знаю Крым со слов брата (и сестра была там летом). Не лечение, а мученье. Здоровый заболел. Это верх безумия. Перестаньте нервничать и колебаться. Немцы и только они вылечат верно, надежно и быстрее всех других. Надеюсь, ответите мне — и уже с окончательной точностью». Аванесов в ответ написал Ленину: «Приступаю к сдаче дел. Через недельку, наверное, выеду». На это последовало указание аппарату Совнаркома: «Проследить исполнение. Ленин». В книге записей исходящих документов Ленина в графе «Исполнение» по этому вопросу отмечено: «Исчерпано» (XXXVII Ленинский сборник. 1970. стр. 360).

²² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 671.

В борьбе за монополию Ленин опирался тогда и на полпреда РСФСР в Берлине Крестинского, который, ссылаясь на свой опыт работы за границей, писал в ЦК о недопустимости отказа от монополии внешней торговли с точки зрения экономических и политических интересов Советского государства.

Ленин беседует и с Фрумкиным, чтобы, с одной стороны, лучше ознакомиться с практикой работы Наркомвнешгорга, а с другой — повлиять на изменение ошибочного взгляда самого Фрумкина на монополию внешней торговли.

Ленин переговорил и с колеблющимися членами ЦК, убеждая их исправить на предстоящем Пленуме ЦК допущенную ошибку.

Словом, Ленин повел борьбу очень широким фронтом, охватив, казалось, все звенья, которые могли влиять на судьбу дела.

Он посетил невозможным оставить без должного отпора и весьма опасные выпады Бухарина, содержащиеся в его письме от 15 октября 1922 года. Письмо это было, по сути, развернутым документом противников монополии внешней торговли.

13 декабря 1922 года — за несколько дней до открытия Пленума ЦК — Ленин пишет для Пленума ЦК подробное, глубоко аргументированное письмо «О монополии внешней торговли», целиком направленное против установок Бухарина²³. Пункт за пунктом он разбирает и разбивает все доводы Бухарина. Со свойственной ему в таких случаях резкостью Ленин осуждает бухаринские установки и берет под защиту позицию, изложенную в письме Красина, приводя новые сильные аргументы в защиту монополии внешней торговли.

Анализируя высказывания Бухарина о «бесчисленных убытках, которые несет хозяйство страны от неработоспособности НКВТ», а также утверждение, будто «мы сами не в состоянии... мобилизовать крестьянский товарный фонд» для экспорта, Ленин заявляет, что «это утверждение прямо неверное».

Неработоспособность НКВТ, говорит Ленин, «не больше и не меньше, чем неработоспособность всех наших наркоматов, зависящая от их общей социальной структуры и требующая от нас длинных годов упорнейшей работы по поднятию просвещения и уровня вообще». Но это, заявляет Ленин, не аргумент против монополии внешней торговли.

Учитывая трудности работы, Красин правильно предлагал образовать смешанные общества, которые, по словам Ленина, «представляют из себя способ, во-первых, мобилизовать крестьянский товарный фонд и, во-вторых, заполучить прибыли от этой мобилизации не меньше, чем наполовину в нашу государственную казну».

Ленин указывал, что при свободной внешней торговле, как это правильно утверждалось и в тезисах Красина, «в деревне будет искусственно введен самый злостный эксплуататор, скупщик, спекулянт, агент заграничного капитала, орудующий долларом, фунтом, шведской кроной». Бухарин не мог не понимать, какая опасность подрыва советской валюты таится в этом его предложении: он ее просто «обошел».

У Бухарина, говорил Ленин, нет ничего за душой для борьбы против этой опасности, реально грозящей советскому строю, от него мы не слышим «на этот основной экономической и классовый довод ни одного звука...».

Бухарин, пишет далее Ленин, ничего не может возразить против совершенно правильного утверждения Красина, что «наша граница держится не столько таможенной или пограничной охраной, сколько существованием монополии внешней торговли».

Указывая на легкомыслие Бухарина, наивно рассчитывающего только на «усовершенствованную» таможенную систему, Ленин говорит: «Бухарин не видит, — это самая поразительная его ошибка, причем чисто теоретическая, — что

²³ См. там же, т. 45, стр. 333—337. (Впервые и не полностью опубликовано 26 января 1924 года; полностью в 1930 году.)

никакая таможенная политика не может быть действительной в эпоху империализма и чудовищной разницы между странами нищими и странами невероятно богатыми. Несколько раз Бухарин ссылается на таможенную охрану, не видя того, что в указанных условиях полностью сломить эту охрану может любая из богатых промышленных стран. Для этого ей достаточно ввести вывозную премию за ввоз в Россию тех товаров, которые обложены у нас таможенной премией. Денег для этого у любой промышленной страны более чем достаточно, а в результате такой меры любая промышленная страна сломит нашу туземную промышленность наверняка».

Предлагаемая Бухариным таможенная система означает, по мнению Ленина, «не что иное, как полнейшую беззащитность русской промышленности... ибо ни о какой серьезной таможенной политике сейчас, в эпоху империализма, не может быть и речи. кроме системы монополии внешней торговли». При этом, добавляет Ленин, даже «частичное открытие границ несет с собою серьезнейшие опасности в отношении валюты».

И как бы подводя итог, Ленин пишет: «На практике Бухарин становится на защиту спекулянта, мелкого буржуа и верхушек крестьянства против промышленного пролетариата, который абсолютно не в состоянии воссоздать своей промышленности, сделать Россию промышленной страной без охраны ее никоим образом не таможенной политикой, а только исключительно монополией внешней торговли. Всякий иной протекционизм в условиях современной России есть совершенно фиктивный, бумажный протекционизм, который ничего пролетариату не дает. Поэтому, с точки зрения пролетариата и его промышленности, данная борьба имеет самое коренное, принципиальное значение».

Этим письмом Ленин, как говорится, камня на камне не оставил от аргументов Бухарина.

Троцкий со свойственным ему интриганством и на этот раз ловко сманеврировал. Я уже писал о его позиции по вопросу о монополии внешней торговли на августовском Пленуме ЦК, где он под видом «улучшения» внешней торговли выступал, по существу, за ослабление монополии внешней торговли, не расходясь в этом вопросе со Сталиным, Каменевым и другими членами Политбюро, занимавшими тогда одинаковую позицию.

Судя по всему, как я писал, о такой его позиции, как и вообще о решении августовского Пленума ЦК по вопросу о монополии, Ленину известно не было. На октябрьском Пленуме ЦК, принявшем ошибочное решение о государственной монополии. Троцкий не присутствовал, поэтому его позиция не была выявлена.

Возможно, именно в силу этого Ленин и предположил, что Троцкий придерживается в этом вопросе другой — правильной — линии, и поэтому сделал попытку привлечь его на свою сторону.

Получив 11 октября письмо Красина с протестом против решения октябрьского Пленума ЦК, Ленин в тот же день вызвал Троцкого для беседы на эту тему²⁴. Тот, учув, видимо, возможность совершить выгодный для себя политический маневр, подал Ленину надежду на свою поддержку его линии. А поддержка еще одного члена Политбюро в сложившейся тогда обстановке была для Ленина весьма существенной.

12 декабря Ленин направляет Троцкому письмо Крестинского о необходимости сохранить монополию внешней торговли и спрашивает, согласен ли он с этим. «...я буду воевать на пленуме за монополию, — пишет Ленин. — А Вы?»²⁵.

На другой день Троцкий отвечает Ленину о своей согласии с ним по вопросу о монополии внешней торговли²⁶, и с этого момента Ленин рассматривает его как своего союзника в борьбе за монополию внешней торговли.

В тот же день Ленин пишет ему: «Мне думается, что у нас с Вами получает-

²⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 45. стр. 639.

²⁵ Там же. т. 54. стр. 323.

²⁶ См. там же. стр. 671.

ся максимальное согласие... я бы очень просил Вас взять на себя на предстоящем пленуме защиту нашей общей точки зрения о безусловной необходимости сохранения и укрепления монополии внешней торговли. Так как предыдущий пленум принял в этом отношении решение, идущее целиком вразрез с монополией внешней торговли, и так как в этом вопросе уступать нельзя, то я думаю, как и говорю в письме к Фрумкину и Стомонякову, что в случае нашего поражения по этому вопросу мы должны будем перенести вопрос на партийный съезд... Коллеbanie по данному вопросу причиняет нам неслыханный вред...»²⁷.

Как и всегда, так и в данном случае Ленин придает большое значение тактике борьбы. Он считает нужным провести сражение со своими противниками на Пленуме ЦК даже с риском возможного поражения, с тем, однако, чтобы, собравшись после этого с новыми силами, дать окончательный бой на съезде партии и одержать там победу. «...если нам грозит опасность провала,— пишет Ленин 15 декабря,— то гораздо выгоднее провалиться перед партсъездом и сейчас же обратиться к фракции съезда, чем провалиться после съезда»²⁸.

Говоря здесь о фракции съезда, Ленин имеет в виду фракцию предстоявшего через несколько дней X Всероссийского съезда Советов, где он хотел выступить за сохранение монополии внешней торговли. Это было бы подготовительным шагом к съезду партии.

Когда выяснилось, что по состоянию здоровья Ленин не сможет присутствовать на Пленуме ЦК и возникает опасность новой отсрочки решения вопроса, он выступает против такой отсрочки и даже вносит предложение в ЦК назначить вместо себя докладчиком Троцкого.

Члены ЦК были ошеломлены, узнав, в какое трудное положение поставлен Ленин, вынужденный в борьбе за правое дело искать союзника в Троцком²⁹. Это не могло не явиться «холодным душем» и для членов Политбюро, оказавшихся в разногласии с Лениным по одному из коренных вопросов политики партии.

ПОБЕДА ЛЕНИНСКОЙ ЛИНИИ

К этому времени «фронт» противников монополии внешней торговли под ударами неотразимой логики и убежденности Ленина начал давать трещины, а вскоре и вообще развалился...

Зиновьев прислал письменное заявление к ЦК, в котором отказывался от своих ошибочных позиций. Каменев последовал его примеру. Сталин обратился 15 декабря к членам ЦК с письмом, в котором писал: «Ввиду накопившихся за последние два месяца новых материалов... говорящих в пользу сохранения монополии внешней торговли, считаю своим долгом заявить, что снимаю свои возражения против монополии внешней торговли, письменно сообщенные мною членам Цека два месяца назад»³⁰.

Мы были рады, что Сталин теперь уже без оговорок снял свои возражения. Однако некоторый осадок оставлял тот факт, что он, ссылаясь на накопившиеся за последние два месяца новые материалы, обошел молчанием два важнейших «новых материала» — письма Ленина от 13 и 15 декабря 1922 года, которые не могли не оказать решающего влияния на изменение позиции Сталина, как и других членов Политбюро.

Собравшийся 18 декабря Пленум ЦК прошел весьма единодушно, хотя Ленин на нем и не присутствовал в связи с запретом врачей.

Никакого специального доклада о монополии даже не потребовалось.

Отметив большой вред дискуссии о монополии, которая уже начала вызывать «в капиталистическом мире представление о нашей неустойчивости по этому

²⁷ Там же, стр. 324.

²⁸ Там же, стр. 326.

²⁹ Истинная позиция Троцкого не могла быть прикрыта этим маневром. Она проявилась и позже, в 1926—1927 годах о чем я расскажу в дальнейшем.

³⁰ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 589. (Впервые напечатан в 1964 году.)

вопросу», Пленум отменил решение от 6 октября, подтвердил безусловную необходимость сохранения и организационного укрепления монополии внешней торговли и даже образовал специальную комиссию для разработки мероприятий по укреплению режима монополии.

Постановление декабрьского Пленума ЦК предусматривало издание специальной инструкции, строго запрещающей какие-либо выступления против монополии со стороны отдельных государственных и частных организаций. Наркомвнешторгу вменялось в обязанность привлекать к суду виновных в нарушении этого запрета и ежемесячно докладывать ЦК партии о всех случаях нарушения и принятых в связи с этим мерах.

Кроме того, Пленум принял решение о составлении особого списка всероссийских и областных хозяйственных органов, которым предоставлялось право выхода на внешний рынок. Но все внешнеторговые операции, совершаемые хозорганами, даже и входящими в этот особый список, должны были осуществляться под контролем Наркомвнешторга, которому предоставлялось право запрещения любой сделки, каким бы хозорганом она ни была заключена. Это были по-большевистски разумные решения, прямо признающие ошибку, допущенную ранее руководящим коллективом партии, и безоговорочно поддерживающие ленинскую линию в вопросе монополии внешней торговли.

Естественно, что Ленин был вполне удовлетворен такими решениями Пленума: они содержали максимум того, на что он мог рассчитывать: «Как будто удалось взять позицию без единого выстрела простым маневренным движением»³¹, — отмечает он в одной из своих декабрьских записок.

Однако, исходя из своего большого опыта политической борьбы, Ленин потребовал тогда закрепить постановление о государственной монополии на предстоящем очередном съезде партии.

На состоявшемся в конце декабря 1922 года X Всероссийском съезде Советов в отчетном докладе ВЦИК и СНК, с которым ввиду продолжавшейся болезни Ленина выступил Каменев, содержались уже — в соответствии с решениями декабрьского Пленума ЦК — недвусмысленные заявления в пользу сохранения и укрепления монополии внешней торговли.

Следует отметить также, что накануне XII партийного съезда Пленум ЦК 24 марта 1923 года утвердил специальное циркулярное письмо об укреплении монополии внешней торговли, в котором отмечалось, что «в течение всего минувшего года иностранные торговые и промышленные круги при энергичном содействии некоторых правительств вели усиленную кампанию против монополии внешней торговли в РСФСР... Одновременно и внутри России начался усиленный напор на высшие государственные органы с требованием «раскрепощения торговли»...»³².

Вновь подтверждая линию на соблюдение и всяческое укрепление монополии внешней торговли, ЦК указывал, что нашими основными торговыми органами за границей должны стать советские торгпредства. В этом письме определен список хозяйственных органов и отдельных крупных экспортных организаций имевших право выступать на международном рынке, а также подчеркивалась строгая подконтрольность деятельности всех этих организаций Наркомвнешторгу. ЦК РКП(б) вменял в обязанность всем партийным организациям строго следить за твердым и неуклонным проведением постановления Пленума ЦК о монополии внешней торговли.

И в политическом отчете ЦК на XII партийном съезде в таком же духе изложена позиция партии о монополии внешней торговли. Без споров и разногласий съезд принял решение о монополии внешней торговли, которое вошло в общую резолюцию съезда по отчету ЦК:

«Съезд категорически подтверждает незыблемость монополии внешней торговли и недопустимость какого-либо ее обхода или колебаний при ее проведении

³¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 327.

³² «Вопросы истории КПСС», 1963, № 10, стр. 39 (статья Д. М. Кукина «Борьба В. И. Ленина за незыблемость государственной монополии внешней торговли»).

и поручает новому ЦК принять систематические меры к укреплению и развитию режима монополии внешней торговли»³³.

Таким образом, партийный съезд подтвердил линию Ленина на монополию внешней торговли. Ленинская позиция в этом деле явилась еще одним наглядным подтверждением неколебимой принципиальности, настойчивости и последовательности Ленина при отстаивании решений, в правильности и политической значимости которых он был убежден.

В конце апреля 1923 года Совет Труда и Оборона утвердил ограниченный список крупных государственных промышленных организаций и кооперативных центров, имевших право выхода на иностранные рынки.

К экспорту леса допускались, например, лишь некоторые важнейшие лесоэкспортирующие тресты по списку, согласованному Наркомвнешторгом с ВСНХ, а для общей координации их действий в Лондоне было организовано бюро из представителей этих трестов во главе с работником Наркомвнешторга.

По экспорту нефти в список включили только Нефтеиндикат. Азнефть и Грознефть включили по импорту (для своих нужд); по экспорту льна, пеньки и другого аналогичного сырья — акционерное общество Льноторг, государственную импортно-экспортную контору при Наркомвнешторге, Госторг, Центросоюз, Льноцентр (кооперативный) и акционерное общество Хлебопродукт; по импорту чая и кофе — Главное управление чайной, кофейной и цикорной промышленности.

В этот же список вошли Текстильиндикат, Донецуголь, Кожсиндикат, Резинотрест, Государственная торговля медицинским имуществом Наркомздрава.

Для согласования действий всех этих организаций создали специальное бюро под руководством представителя Наркомвнешторга.

Этим решением, принятым после вмешательства Ленина в защиту монополии, не только не расширялся список хозяйственных органов, имеющих право производить внешнеторговые операции, но оно даже лишало такого права многие организации, которые им до того пользовались. Данное решение наводило порядок, допуская на внешний рынок лишь крупные промышленные, торговые и кооперативные центры, действующие под контролем Наркомвнешторга, что не могло представлять угрозы для монополии внешней торговли.

В мае 1923 года был сокращен список местных хозорганов, имевших право выхода на заграничный рынок. Это право оставили за крупными Экономическими совещаниями Украины, Закавказской Федерации, Урала, Сибири, Юго-Востока, Северо-Запада и Москвы для их нужд, причем все свои внешнеторговые операции они должны были осуществлять исключительно через аппарат уполномоченных Наркомвнешторга: их представители входили в состав торгпредств.

В ноябре 1923 года, когда Ленин из-за болезни уже не работал, третья сессия ЦИК СССР первого созыва утвердила положение о ряде вновь образованных союзных наркоматов. Было утверждено положение и о Наркомвнешторге СССР, в котором в точном соответствии с решением XII съезда партии указывалось, что Наркомвнешторг СССР образуется «для руководства всей внешней торговой деятельностью Союза на основе государственной монополии внешней торговли».

Исходя из принципа государственной монополии внешней торговли, положение подробно регламентировало задачи Наркомвнешторга, его структуру, обязанности и права. Оно определяло также и порядок назначения (образования), отзыва и компетенции уполномоченных Наркомвнешторга при СНК союзных республик, торговых представительств и торговых агентств Союза ССР за границей, таможенных округов и их начальников.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЗИЦИИ ТРОЦКОГО

Хитро сманеврировав перед декабрьским (1922) Пленумом ЦК и заверив Ленина о своем якобы согласии с его позицией в вопросе о монополии внешней торговли, Троцкий продолжал, однако, оставаться на своих старых, антиле-

³³ Двенадцатый съезд РКП(б) Стенографический отчет. М. 1968. стр. 671.

нинских позициях. Свидетельством тому являются его последующие выступления³⁴.

Забегая несколько вперед, следует сказать, что многие члены ЦК (в том числе и я) не раз в последующем спорили с Троцким по этому и другим вопросам, критикуя его неправильные взгляды. В частности, выступая на апрельском (1926) Пленуме ЦК, я указывал, что Троцкий наряду с другими своими ошибками «сделал еще две ошибки: во-первых, применил теорию кризисов в нашей экономике. Во-вторых, применил ту же теорию перепроизводства промышленности к сельскому хозяйству. Пример 1923 года показал, что кризисы перепроизводства у нас имеют совершенно другой характер, разрешаются иначе, чем в капиталистическом хозяйстве. Капиталистические тресты не могут продавать ниже определенных цен, не обанкротившись. Мы же как правительство в народнохозяйственных интересах можем снижать цены и продавать ниже восстановительных цен».

Я говорил, что Троцкий глубоко не прав, исключая возможность продажи нами промтоваров по ценам ниже так называемых «восстановительных» цен... ибо размер стоимости фактических расходов на производство данного предмета не всегда сходится, а зачастую отличается от расходов, нужных для их воспроизводства. Если, например, до сих пор мы расходовали топлива, сырья и прочего на столько-то больше плюс бюрократические излишества и убытки от неумения ставить дело для производства данного товара, то мы можем, сократив излишние расходы, поставив дело лучше, иметь меньший расход для его воспроизводства».

Далее я доказывал, что «сравнивать, применять старую теорию перепроизводства к нашей экономике, теорию перепроизводства при капитализме, для объяснения подобных явлений в нашей экономике неправильно. Конечно, кое-что есть общее, но много и коренных отличий. Еще более неправильно сравнивать теорию перепроизводства промышленного с большим урожаем сельского хозяйства, потому что при недопроизводстве промышленность находится в расцвете, выгадывает, имеет прибыль, а при неурожае, от которого будет недопроизводство хлеба, мужик стонет, ибо в сельском хозяйстве не всегда размер урожая зависит от количества вложенного труда, находясь в зависимости от стихийных сил природы. Иногда труд вложен большой, но результат малый из-за засухи, и, наоборот, можно получить большую продукцию при меньших затратах сил». Вообще «промышленное перепроизводство и хороший урожай — несравнимые вещи».

Конечно, сегодня все эти доводы можно было бы сформулировать и более удачно. Но приводя их здесь, я не счел нужным этого делать, желая сохранить историческую правдивость воспоминаний. Думается, что читателю будет интереснее познакомиться с тогдашними моими полемическими высказываниями в прениях, без заранее подготовленного текста, в присутствии оппонента, чем читать гладко изложенную сегодня аргументацию по этому вопросу.

Зная вероломство Троцкого, я помню, перед своим выступлением внимательно прочитал стенограмму его речи на Пленуме и на всякий случай взял ее с собой.

Полемизируя с Троцким, я сказал:

— Предположим, очень хороший урожай в этом году, больше промтоваров дать не можем, ввозить их из-за границы не можем, промышленность расширять не можем. Будет ли в этих условиях большой урожай бедой, и лучше ли, чтобы этого урожая не было? Из постановки Троцким этого вопроса выходит, что лучше, чтобы не было.

Как только я это сказал, Троцкий с места громко подал реплику:

— Вздор!

Тогда я раскрыл стенограмму его речи и, обращаясь к нему, сказал:

— Я прочту ваши поправки, и там вы найдете этот вздор, написанный вашими руками.

³⁴ Не спасет положение его выступление на XII съезде партии, где он не мог не сказать нескольких слов за монополию внешней торговли, учитывая категорическое решение декабрьского Пленума ЦК в пользу монополии.

Прочитал, но Троцкий вновь подал реплику:

— Вы не все читаете.

Я вновь прочитал. Тогда Троцкий выкрикнул:

— Вот прочтите то, что подчеркнуто мною красным!

Я прочитал, но ничего «нового» в этом подчеркнутом не было, и поэтому я сказал ему:

— Так что здесь у вас не клеится. Подсунута вами мне выдержка из ваших предположений не опровергает, а подтверждает мои слова.

После этого Троцкий, как говорится, прикусил язык и больше уже не прерывал меня своими репликами.

Я продолжал критиковать его неправильную позицию и по другим вопросам. В частности, говорил, что Троцкий не прав, заявляя, будто в резолюции Политбюро есть противоречие между поставленной тогда задачей усиления экспорта, с одной стороны, и освобождением от зависимости от заграницы — с другой.

Сказал, что перечитал еще раз эту резолюцию и такого противоречия не обнаружил. В резолюции совершенно ясно говорилось о том, чтобы «наряду с расширением наших связей с заграницей добиваться строить независимое хозяйство в нашей стране, обеспечить рост тех отраслей нашей промышленности, которые в настоящее время не могут жить без заграницы, добиться того, чтобы они могли бы жить самостоятельно, могли бы существовать в случае прекращения связи с мировым рынком... Это есть освобождение отдельных наших отраслей, прежде всецело зависимых от заграницы, это и есть в итоге освобождение нашего народного хозяйства от иностранного капитала».

В феврале 1927 года, будучи уже наркомом внешней и внутренней торговли и выступая на Пленуме ЦК с докладом «О снижении отпускных и розничных цен», я еще раз специально остановился на этом вопросе: «Троцкий говорит, что мы зависим от мирового рынка. Но такая ли эта зависимость, как у любой страны или у прежней России? Вот об этом надо говорить. Какова форма нашей зависимости от мирового рынка? Троцкий формулировал это так: «Уже в этом соотношении заложена возможность наших внутренних кризисов в известном соответствии с кризисами мировыми». Это совершенно неправильно, ибо мировые кризисы не будут захватывать нашу страну, потому что мировая торговля ограничена у нас не только таможенными рамками, но и монополией внешней торговли. Поэтому Троцкий не прав, что циклические мировые кризисы будут потрясать наше хозяйство. В этом и заключается недооценка им значения монополии внешней торговли, являющейся той стеной, о которую будут разбиваться волны мирового рынка и которая защищает наше хозяйство не только от интервенции дешевых цен, но и от стихии капиталистического мира».

В том же году на апрельском Пленуме ЦК я вновь выступил против Троцкого:

«Троцкий в каждом своем выступлении свою ошибочную мысль о зависимости нашего хозяйства от мирового капитализма все время поддерживает и расширяет. Этим он увеличивает и углубляет свою ошибку». И дальше: «Для партии этот вопрос совершенно ясен. Ошибка Троцкого также ясна. Он дает совершенно неправильную перспективу развития нашего народного хозяйства, он ставит под знак сомнения возможность социалистического строительства».

Все эти споры с Троцким происходили в его присутствии, когда он был еще в составе ЦК партии.

Прошло чуть больше года — и жизнь опрокинула все эти теоретические концепции Троцкого. В 1929—1930 годах сперва в США, а затем и в других капиталистических странах начался разрушительный экономический кризис, наложивший отпечаток экономической депрессии в этих странах еще на ряд лет. Советская же экономика, защищенная государственной монополией, как известно, этим кризисом потрясена не была, а, наоборот, годы кризиса совпали с нашей первой пятилеткой, ознаменовавшей быстрое развитие советской экономики, невиданные темпы строительства и общий рост промышленной продукции.

ВСЕ СИЛЫ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ! ПЕРВЫЕ ШАГИ

Подходил к концу 1922 год. В декабре мы провели очередной пленум Югвостбюро с участием представителей местных партийных организаций. На этом пленуме подводились основные итоги работы краевой партийной организации.

Было отмечено, что за прошедший год произошло несомненное оздоровление общего политического состояния края. Это выразилось прежде всего в заметном улучшении отношения рабочих и крестьян к советской власти, в росте их политической активности, в повышении роли краевой партийной организации и органов советской власти во всей жизни края.

Постепенно выбиралась из разрухи промышленность. Ее подъему способствовало то обстоятельство, что у нас в крае преобладала тогда не тяжелая, а легкая индустрия, которая, находясь вблизи от источников сырья и при хорошем урожае, стала подниматься довольно быстро; исключения составляли лишь отдельные промышленные предприятия: Кавцинк под Владикавказом, цементные заводы в Новороссийске и некоторые металлообрабатывающие предприятия.

Вместе с тем в общей организации промышленности уже тогда обозначались серьезные недостатки, о которых шла речь на нашем пленуме и о чем я сообщал и в ЦК партии в своем очередном отчетном письме.

Трестирование промышленности и децентрализация ее управления, писал я в ЦК, привели к тому, что на предприятиях государство как хозяин перестало чувствовать себя. Прибыль, которую сейчас получают такие предприятия, идет не на общие нужды всей промышленности, поступает не в «казну», а используется (нередко даже «разбазаривается») по усмотрению самих директоров этих предприятий.

Создавалось нелепое положение, когда трестированные промышленные предприятия фактически становились как бы сданными в аренду их директорам, к тому же без всякого арендного договора и платы. При несистематическом и малоквалифицированном руководстве и контроле сверху это грозило большими неприятностями.

Вот почему мы создали тогда особую комиссию Югвостбюро по изучению состояния промышленности и торговли в крае, результаты работы которой были несколько позднее, уже в 1923 году, обсуждены на нашей краевой партийной конференции.

Говоря о промышленности и о положении рабочего класса, хочу сослаться на свое письмо в ЦК, написанное 10 января 1923 года. Я писал, что «настроение рабочих на Юго-Востоке, как и по всей России, с каждым днем улучшается, поскольку их быт также ощущает большие улучшения. Забастовок, имеющих какое-либо значение, за эти месяцы не было. На двух-трех предприятиях были перемены в работе на несколько часов из-за некоторых недоразумений. Безработных в крае насчитывается около 23 тысяч, из них квалифицированных около 50 процентов, женщин 55 процентов, чернорабочих 16 и совработников 27 процентов...».

Однако цифры эти свидетельствовали не об ухудшении положения пролетариата, поскольку около половины безработных составляли не рабочие, а вновь пролетаризирующийся элемент из мелкой буржуазии города и деревни, а также служащие и мелкие спекулянты, которые добивались регистрации на бирже для получения в связи с этим ряда привилегий.

В подтверждение я приводил в письме конкретные факты.

В Ставрополе после проведенной перерегистрации из трех тысяч безработных оставлено на учете только 800 человек, потому что все остальные оказались фиктивными безработными. То же самое было установлено и на Кубани, где до 30 процентов зарегистрированных безработных оказались, по существу, деклассированными элементами, многие из которых занимались мелкой спекуляцией.

Некоторые квалифицированные рабочие не шли работать на транспорт из-за низкой зарплаты, хотя потребность в рабочей силе была там очень большой. Им было выгоднее временно, в ожидании более высокооплачиваемой работы, жить на

пособие по безработице. Но в таких случаях их снимали с учета и прекращали выплату пособия.

На Дону из 8 тысяч зарегистрированных безработных только 200 человек получали пособие, выдаваемое лишь тем из них, кто имел трехлетний трудовой стаж: такое крайнее ограничение пришлось ввести из-за большой нехватки средств в бюджете. Все остальные представляли собой недавно пролетаризировавшиеся элементы, которые не находили себе применения, «поскольку темп развития промышленности отставал от темпа пролетаризации городской мелкой буржуазии и крестьянства».

В последнее время, сообщал я в ЦК, на Кубани, в Ростове и ряде других мест мы приступили к организации общественных работ, а также к вовлечению безработных в специальные производственные артели. Естественное падение безработицы должно произойти ближе к весне, с началом полевых работ.

Что касается деревни, то там продолжался рост батраческих слоев. Однако запутанность переходных форм эксплуатации этого слоя крестьянства недостаточно изучалась и учитывалась местными партийными организациями и профсоюзами. Вот почему нам пришлось и на пленуме и в специальном письме бюро ЦК местным организациям обратить тогда их особое внимание на скорейшее вовлечение батраков в профсоюзы, а также на организацию охраны их труда.

Об изменениях в настроениях рабочих мы судили еще и по тому энтузиазму, с которым проходило в ту пору их вступление в профсоюзы, а также и по такому на первый взгляд малозначительному, но на самом-то деле весьма характерному факту, как повсеместный переход к взиманию членских профвзносов не механическим их удержанием администрацией при выплате зарплаты, а путем уплаты этих взносов добровольно и индивидуально каждым рабочим и служащим.

Недавно прошедшие перевыборы Советов, проведение ряда массовых революционных праздников также подтверждали рост активности рабочих и усилившееся среди них влияние нашей партии. Хотя меньшевики и пытались во время перевыборов Советов распротранять среди рабочих крупнейшего предприятия Ростова — Главных железнодорожных мастерских — свои прокламации, успеха они не имели. На собрании служащих местных органов юстиции один адвокат выступал за легализацию всех социалистических партий, однако никакой поддержки это выступление не встретило и сей незадачливый поборник «демократии» вынужден был заявить:

— Поскольку у меня еще мало сторонников, я пока снимаю свою резолюцию.

Заявление это рабочие встретили дружным смехом.

Одним словом, в связи с общим улучшением экономического положения среди рабочих края происходил процесс дальнейшего роста политической сознательности и общего оздоровления настроений.

Большое значение придавали мы и настроениям среди красноармейцев нашего округа.

В основном это были крепкие и здоровые коллективы, где наше партийное влияние было достаточно сильным и надежным. Но и здесь приходилось учитывать такие детали, от которых во многом зависело морально-политическое здоровье наших красноармейцев.

Взять хотя бы кавалерийские части, которые тогда у нас размещались по станицам, будучи расквартированы главным образом среди зажиточного населения. Не следовало забывать, что кулачество, несомненно, разлагающе влияло на своих «квартирантов»: мы имели немало тому примеров.

Кроме того, существовали нездоровые настроения и среди красноармейцев, демобилизуемых из армии. Вначале по порядку, установленному из центра, более или менее новое обмундирование у демобилизуемых отбиралось ввиду большой его нехватки в то время, и фактически многие красноармейцы отпускались домой в крайне изношенной одежде, нередко в чем попало. Естественно, это очень их озлобляло. Пришлось вмешаться: по нашей рекомендации командование округа пошло на нарушение установленного порядка и стало отпускать красноармейцев

обмундированными. Это сразу вызвало положительные изменения в настроениях красноармейцев. Кстати сказать, за наше самовольство нам тогда сверху не попало.

Плохо влияли на красноармейцев и те из них, которые не имели семей и своего хозяйства или являлись уроженцами губерний, отошедших от России. Демобилизуясь из армий, но не зная, куда им идти, они скапливались группами вблизи своих частей и деморализующе действовали на красноармейскую массу.

Приходилось ломать голову, что с ними делать, как и где их поскорее трудоустроить.

Крестьянство, опираясь на хороший урожай и государственную поддержку, более активно взялось за восстановление сельского хозяйства.

С политическим бандитизмом в основном покончили, хотя некоторые бандитские шайки продолжали еще грабить и совершать налеты на железнодорожные станции и поезда, а также на станицы и аулы Кабарды, Терской губернии и Дагестана.

Перевыборы Советов привели к укреплению советской власти в деревне и национальных районах. Даже в тех казачьих и горских районах, где стало возможным отказаться от существовавшей тогда временной системы ревкомов, выборы в Советы дали свои положительные результаты.

В ходе перевыборов и выборов Советов сильно упало влияние эсеров и значительно поднялось доверие крестьянских масс к коммунистам. Отдельные выступления эсеров, пытавшихся выдвинуть своих кандидатов в Советы, имели место лишь в некоторых районах Кубани и Осетии, но и там не получили поддержки.

Следует, пожалуй, рассказать об инциденте с муллами, который имел у нас место во время выборов в Советы.

Дело в том, что в годы борьбы с Деникиным в ряде национальных областей нашего края в этой борьбе приняли участие наряду с красными партизанами также и некоторые муллы. Однако, по Конституции РСФСР, муллы, как и вообще все служители культов, не имели избирательных прав, и это вызвало среди них серьезные волнения.

В Кабарде, например, группа мулл, активно участвовавших в партизанской борьбе, подала заявление, в котором задавала вопрос: почему они, борющиеся с оружием в руках за советскую власть, не могут выбирать и быть избранными в Совет? Лишая нас этого права, писали муллы, советская власть вместо поддержки нас как своих сторонников и борцов высмеивает и дискредитирует в глазах всех тех, кто всегда был против Советов и выступал за контрреволюцию...

Это было справедливое и разумное требование, отвечавшее интересам укрепления советской власти, хотя формально оно и расходилось с требованиями Конституции. Поэтому, не имея права и не желая нарушать основного закона, мы дали на места указание не препятствовать выдвижению и выборам в Советы тех мулл, которые активно проявили себя в борьбе с белогвардейщиной за советскую власть, если, конечно, в каждом отдельном случае об этом будут приняты соответствующие решения общих собраний избирателей.

В тех районах, где влияние нашей партии было еще слабым, а кулачество чувствовало себя достаточно экономически сильным, оно предпринимало попытки пролезть к власти путем нарушения советской конституции. В особенности такие факты наблюдались в Пятигорском уезде Терской губернии. На общих собраниях в некоторых казачьих станицах этого уезда не только принимались решения о предоставлении избирательных прав бывшим жандармам и царским чиновникам, но они и выбирались в Советы. Характерно, что в одной из станичных церквей Пятигорского уезда поп агитировал верующих выбирать в Совет не коммунистов, а зажиточных крестьян и казаков.

Однако все эти потуги были вовремя замечены и ликвидированы.

На уездных и губернских съездах Советов подавляющее большинство делегатов составляли коммунисты, хотя в сельских и станичных Советах их насчитывалось тогда очень еще мало.

На кубанском съезде Советов из 290 делегатов — беспартийных было около

40 человек. А на горском республиканском съезде Советов — всего 6 беспартийных! В данном случае имело место явное перебарщивание: съезды Советов превращались, по сути, в своеобразные партийные конференции. В целях установления более тесных связей с основными крестьянскими массами куда целесообразнее было бы избрание делегатами на съезды Советов хотя бы трети беспартийных!..

В дальнейшем мы придерживались именно этого принципа, внося соответствующие поправки в практику работы наших местных партийных, советских и общественных организаций.

Большое значение имел сбор денежных налогов. Лучше всего эту работу поставили тогда у нас в Донской области. Нарастающие от месяца к месяцу задания Наркомфина мы в целом выполняли, но после сильного увеличения их в конце года стали отставать.

Мы решили изучить этот вопрос и сразу же столкнулись с большими непорядками в организации работы местных финансовых органов.

Не говоря уж о фактах просто плохой, недобросовестной работы, мы установили, что в ряде мест допускаются непомерно большие расходы на содержание аппарата, производящего сбор налогов.

Если, например, на Дону эти расходы не превышали 9 процентов собираемых налогов, на Кубани — 10, в Ставрополе — 17, в Горреспублике — 25, в Дагестане — 30 процентов, то в Кабарде они возрастали до 100, а в Адыгейской и Карачаевской областях даже до 200 процентов. Финансовый аппарат в этих районах не только съедал весь собранный налог, но государству приходилось еще и доплачивать!

Это было, конечно, совершенно недопустимо, и мы всерьез занялись улучшением работы финорганов.

Кроме того, пришлось объявить самую беспощадную борьбу и с такими фактами, когда волисполкомы, собрав денежные налоги, не слишком торопились расставаться с ними, долго держали их у себя, используя в местном коммерческом обороте (что, конечно, для них являлось выгодным), и сдавали их в кассу финорганов нередко уже обесцененными.

Следует учесть, что до второй половины 1922 года, то есть до сбора нового хорошего урожая, несмотря на большое сокращение бюджетных расходов, у нас происходило сильное падение стоимости денег, но печатный станок бумажных денег продолжал работать с полной нагрузкой: деньги требовались для покрытия расходов на содержание армии, железнодорожного транспорта и государственного аппарата, хотя и сильно сокращенного.

В связи с продолжающимся падением стоимости денег, приведшим к их фактическому обесценению, в конце 1920 — начале 1921 года возник вопрос о целесообразности взимания денежных налогов, поскольку считалось, что расходы по сбору этих налогов себя не оправдывают. Немало способствовали этому также и левацкие высказывания о неизбежности якобы отмирания денег при социализме.

Началось с отмены в октябре 1920 года так называемого гербового сбора и всех прочих пошлинных сборов, а в феврале 1921 года Президиум ВЦИК, обсудив проект постановления об отмене всех денежных налогов, предложил Наркомфину немедленно приостановить взимание налогов до утверждения этого проекта сессией ВЦИК.

Сбор денежных налогов стал считаться делом чуть ли не зазорным. Кое-кто доходил в этом отношении до явного абсурда, беря под сомнение целесообразность существования самого Наркомфина и его местных органов на том основании, что учреждение это уже отжило-де свой век и подлежит ликвидации!

Положение изменилось после объявления нэпа. В наказе Совнаркома от 9 августа 1921 года «О проведении в жизнь начал новой экономической политики» указывалось, что «для поднятия и устойчивости нашего рубля необходимо проведение ряда мер к обратному приливу денег в кассы государства». Это послужило не только основанием для восстановления денежных налогов, но и вообще стало поворотным моментом в нашей финансовой политике, положив начало борьбе за укрепление рубля.

Однако сбор денежных налогов проходил, особенно вначале, по-прежнему очень плохо.

«Многие коммунисты, — говорил я в марте 1923 года, отчитываясь о работе Югвостбюро за предыдущий год на первой краевой партийной конференции, — привыкшие в военное время уничтожать налоги и привыкшие к пренебрежительному отношению к налогам, считают недостойным собирать налоги».

С таким отношением к денежным налогам нам удалось покончить лишь к концу 1922 года. В октябре 1922 года мы собрали 534 тысячи рублей денежных налогов, в ноябре — 700 тысяч, а в декабре уже 917 тысяч рублей. Это дало мне право на той же краевой партконференции (март 1923 года) заявить, что «в области денежных налогов мы идем вперед. Сейчас мы обходимся своими деньгами... денежная часть налогов с каждым днем увеличивается».

Что касается обесценивания денег, то вспоминается, что месячное жалованье рабочих и служащих стало тогда доходить до астрономических цифр в несколько миллионов рублей. Фабрично-заводской рабочий, например, получал в январе 1922 года в среднем около 3,5 миллиона рублей. Нетрудно представить себе, до какого крайнего предела был тогда обесценен наш рубль!

В связи с этим представляет интерес то место в интервью Ленина корреспонденту английской газеты «Манчестер гардиан» А. Рансому (ноябрь 1922 года), где Ленин, касаясь вопроса, не происходит ли особо усиленное обогащение нэпманов при падении стоимости рубля, сказал, что в этих условиях действительно «один мелкий торговец получает иногда миллионы и миллионы прибыли», что, в общем-то, и понятно, потому что «миллион стоит на вольном рынке меньше, чем прежде стоил рубль...».

Но, замечает при этом Ленин, «наше государство вычеркивает теперь — вот уже несколько месяцев — «лишние» нули на бумажных деньгах. Вчера был триллион, а нынче четыре нуля вычеркиваются и получается десять миллионов». Государство от этого не слабеет и не богатеет, продолжает Ленин, но «шаг вперед к улучшению денег тут ясный. Нэпман начинает видеть, как начинается стабилизация рубля»³⁵.

Выступая на IV конгрессе Коминтерна и говоря о нашей финансовой политике, Ленин сказал: «Прежде всего остановлюсь на нашей финансовой системе и знаменитом русском рубле. Я думаю, что можно русский рубль считать знаменитым хотя бы уже потому, что количество этих рублей превышает теперь квадриллион. (С м е х.) Это уже кое-что. Это — астрономическая цифра. Я уверен, что здесь не все знают даже, что эта цифра означает. (Об щ и й с м е х.) Но мы не считаем, и притом с точки зрения экономической науки, эти числа чересчур важными, ибо нули можно ведь зачеркнуть. (С м е х.) Мы уже в этом искусстве, которое с экономической точки зрения тоже совершенно неважно, кое-чего достигли, и я уверен, что в дальнейшем ходе вещей мы достигнем в этом искусстве еще гораздо большего»³⁶.

Конечно, это шутливо-ироническое ленинское высказывание мы встретили тогда дружным смехом: видимо, Ленин на это и рассчитывал. Но в то же время мы хорошо понимали, что за этой шуткой скрывалась горечь за происшедшее в стране невероятное падение стоимости советского рубля, хотя в значительной степени все это относилось уже, по сути, к прожитым месяцам, потому что в 1921—1922 годах мы имели уже первые успехи в замедлении и приостановке на ряд месяцев подряд падения стоимости рубля.

Развивая эту мысль, Ленин говорил тогда: «Что действительно важно, это — вопрос о стабилизации рубля. Над этим вопросом мы работаем, работают лучшие наши силы, и этой задаче мы придаем решающее значение. Удастся нам на продолжительный срок, а впоследствии навсегда стабилизировать рубль — значит, мы выиграли. Тогда все эти астрономические цифры — все эти триллионы и квадриллионы — ничто. Тогда мы сможем наше хозяйство поставить на твердую почву и на твердой почве дальше развивать. По этому вопросу я думаю, что

³⁵ В. И. Ленин Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 261.

³⁶ Там же, стр. 283.

смогу привести вам довольно важные и решающие факты. В 1921 году период устойчивости курса бумажного рубля продолжался менее трех месяцев. В текущем 1922 году, хотя он еще и не закончился, этот период продолжался свыше пяти месяцев»³⁷.

Говоря о первых успехах в области укрепления нашего рубля, Ленин считал стабилизацию рубля решающей задачей экономической деятельности советской власти, это так и легло в основу дальнейшей политики партии в этой области.

Следует отметить, что в октябре 1922 года Советское правительство приняло постановление о выпуске в обращение денежных знаков образца 1923 года.

Согласно этому постановлению, подписанному Лениным, один рубль образца 1923 года приравнялся к одному миллиону рублей (изъятых из обращения образцов) или ста рублям образца 1922 года.

Это был еще один шаг к реальному повышению стоимости советского рубля, к его дальнейшей стабилизации.

ПОЕЗДКА В ГРОЗНЫЙ

Помню, что именно на почве налогов возникли серьезные трения между Горской республикой и правлением Грознефти. Грознефть отказалась платить налог, ссылаясь на то, что Госплан не включил сумму этих налогов в себестоимость нефти. Дошло до того, что местный исполком и Горреспублика уже не раз пытались накладывать аресты на имущество Грознефти, что окончательно испортило взаимоотношения правления Грознефти с местными советскими и партийными работниками.

Дело приняло настолько серьезный оборот, что начальник Грознефти Иосиф Косиор и его заместитель Ганшин написали в ЦК заявление с просьбой о своей отставке.

Узнав об этом, Югвостбюро приняло решение о немедленном моем и Ворошилова выезде в Грозный для улаживания конфликта.

Прибыв на место, мы встретились с руководителями Грознефти, чтобы найти реальный и правильный выход из создавшегося положения. Все понимали, что налог платить надо. В этом отношении требование местных советских органов было вполне справедливым и законным. Но, с другой стороны, где же найти для этого необходимые деньги? Вот эту-то задачу нам и предстояло решить сообща.

Прежде всего мы постарались снять излишнюю нервозность, возникшую в связи с конфликтом, убедив руководителей Грознефти, что подача ими заявления об отставке не лучший и вообще не большевистский метод борьбы с трудностями и недостатками.

Точно так же потом в беседах с местными советскими руководителями мы указали и на их ошибки: правильно в принципе ставя вопрос о выплате налога и добиваясь этой выплаты, они в то же время не должны были допускать таких мер, как наложение арестов на имущество Грознефти. Можно было вполне обойтись и без этого, своевременно обратившись по всем этим вопросам вместе с руководителями Грознефти в наши краевые организации или в Москву.

В конце концов, после ряда совещаний и довольно не легких бесед нам удалось всех их примирить, сговорившись тут же немедленно обратиться в центр и добиться включения налоговых сумм в себестоимость нефти.

Так мы и сделали. Вопрос этот решили в Москве довольно быстро и положительно, и, таким образом, грозненский конфликт был ликвидирован.

Воспользовавшись пребыванием в Грозном, я решил поближе познакомиться с городом, с его нефтепромыслами, с руководителями и рабочими, с партийной организацией, тем более что в делах нефтепромыслов разобраться мне было нетрудно: я уже имел в этой области неплохой опыт еще по Баку.

Несколько слов о руководителях Грознефти.

³⁷ Там же, стр. 283—284.

И. Косиор — младший из трех братьев Косиоров³⁸. Я, конечно, знал, что в профсоюзной дискуссии перед X партийным съездом он голосовал за троцкистскую платформу, но после этого съезда он ничем себя политически тогда не скомпрометировал.

При личном знакомстве И. Косиор произвел на меня хорошее впечатление. Немногословный, но бесспорно знающий и опытный хозяйственный руководитель крупного масштаба, он пользовался среди рабочих и инженеров Грознефти авторитетом как хороший организатор с крепкой рукой, как человек деятельный и энергичный, как хозяин своего слова, что для руководителя является качеством немаловажным.

Под стать ему в делах организационных, особенно финансовых, был и его заместитель Ганшин — хороший специалист, крепкий хозяйственник, человек разумный, волевой и решительный.

Словом, Грознефть находилась в хороших руках, а это было для нас немало важно.

Приятное впечатление произвел на меня и партийный актив города, встреча с которым у меня состоялась в один из ближайших дней.

Сам же город мне не понравился. Может быть, и потому, что в те дни почти непрерывно шел дождь и на немощеных улицах было очень уж грязно. Зелени мало, выглядел город заброшенным и неблагоустроенным. Дома маленькие, одноэтажные, в большинстве случаев старые, без удобств. Вообще с жильем дела обстояли очень плохо: новых домов государство еще не строило, а частное строительство велось плохо и в мизерных масштабах.

Однако возвращаюсь к нашим «деревенским» делам и проблемам. В этом году у нас успешно закончилась кампания по сбору продналога, хотя проходила она не везде одинаково. Если в русских губерниях, в Донской области, на Кубани, Тереке и в Ставрополе продналог собрали даже с некоторым превышением и в срок, то значительно хуже обстояло дело в национальных республиках и областях, хотя, правда, общая их доля в объеме налога до края была весьма незначительна, составляя всего лишь три миллиона пудов.

В Горской республике фактически не существовало налаженного аппарата по сбору продналога в округах, не говоря уж об аулах, а подготовка кампании местными властями сопровождалась рядом ошибок в понимании методов обложения и техники сбора продналога.

Надо сказать, что в ту пору в наших губерниях и областях существовала еще такая практика: планировать продналог по крестьянским хозяйствам на 10—15 процентов выше размеров, установленных в централизованном порядке в целом по области или губернии. Делалось это для того, чтобы застраховать выполнение заданий центра и иметь резерв для возможного впоследствии сокращения или полного освобождения от налога отдельных маломощных хозяйств.

Как показала практика, в таком двойном планировании таились очень большие опасности.

Горский Совнарком, например, не проверив соответствие контрольной цифры пашни, установленной Наркомпродом, фактическим ее размером, произвольно сильно увеличил эту цифру, оказавшуюся для республики невыполнимой. Это вызвало серьезные осложнения и затруднения при сборе продналога в республике, породив среди горцев нездоровые настроения.

К сожалению, мы поздно узнали о таком решении горского правительства,

³⁸ Старший среди них Станислав Косиор (1889—1939). — видный руководящий деятель нашей партии, членом которой он являлся с 1907 года. В 20-х годах работал секретарем Сиббюро ЦК РКП(б) секретарем ЦК ВКП(б) и много лет секретарем ЦК КП(б)У, где проявил себя с самой лучшей стороны. В 1923 году он был избран кандидатом, а позднее членом ЦК ВКП(б). С 1927 года — кандидат, а с 1930 года — член Политбюро ЦК ВКП(б). Всеми уважаемый и любимый принципиальный большевик-ленинец С. Косиор был обаятельным человеком, по характеру своему мягким, доброжелательным и отзывчивым. Второй брат. Владимир Косиор, хотя и был старым членом партии, но значительной роли в политической жизни не играл. Большой путаник в политике он примыкал к платформе демократического централизма (группа Сапронова).

но, конечно, тут же добились его отмены, приняв, хотя и запоздало, нужные меры к устранению весьма неприятных последствий неправильного решения.

Такие же примерно затруднения имели место и в Дагестане, где они стали еще более острыми, поскольку в этой республике, как и в Горской, сбор продналога проводился вообще впервые. Однако к чести дагестанских товарищей надо сказать, что они более оперативно и энергично исправили свою ошибку.

Сравнительно лучше других национальных районов проходил сбор продналога в Кабарде.

После того как установленный для края план налога в 48 миллионов пудов хлеба был выполнен, мы развернули государственные закупки у крестьян на вполне добровольных началах излишков зерна через кооперацию, филиалы Госбанка и государственную закупочную организацию Хлебопродукт, входившую тогда в систему Наркомпрода.

Для таких закупок государство выделило специальные денежные средства и дополнительные фонды промышленных товаров.

Но и здесь не обошлось без недостатков. Между закупочными организациями возникла нездоровая конкуренция, вызвавшая искусственное завышение цен на хлеб, покупаемый у крестьян. Дело дошло до того, что пришлось возбудить вопрос перед центром о назначении специального краевого уполномоченного по регулированию хлебной торговли.

Имели место перебои с закупками хлеба и из-за несвоевременной переброски на места товаров и денежных средств. Буквально на каждом шагу чувствовались недостатки в работе нашего закупочного аппарата. Например, основной заготовитель — Хлебопродукт — проводил торговлю через посредников преимущественно в городах, нередко забывая о деревне.

И все же нам удалось закупить тогда у крестьян дополнительно сверх продналога более пяти миллионов пудов хлеба. Мы могли бы закупить и больше, но центр не смог нас вовремя обеспечить для этих закупок нужным количеством денег и товаров.

Для сегодняшнего дня эти цифры в 5 и 48 миллионов пудов могут показаться, конечно, очень маленькими, но по тем временам это был хороший вклад нашего края в государственную копилку.

1922 год вообще стал первым годом после революции, когда стало возможным не только удовлетворить внутренние потребности в хлебе страны, но и начать экспорт хлеба в значительных количествах за границу. Это явилось очень важным событием в жизни Советской страны, совпавшим с годом образования Союза ССР.

С голодом в стране было покончено. Речь шла о борьбе с его последствиями. Мы перестали расходовать золото на закупку хлеба за границей, а, наоборот, экспорт хлеба стал постепенно довольно крупным источником получения валюты, так необходимой нам тогда для восстановления промышленности.

В результате успешно проведенной хлебозаготовительной кампании наш край наряду с Украиной становился важной базой экспорта хлеба.

Югвостбюро внимательно изучало не только опыт положительной работы местных партийных организаций во время продкампании. Мы, как уже говорилось раньше, старались разобраться с фактами неправильного налогового обложения крестьянских хозяйств, устранить недочеты в самой организации сбора налога, его транспортировке и т. п.

Много внимания в последующем мы уделяем созданию технической базы для приема и хранения поступающего зерна. Именно в ту пору мы развернули широкое строительство небольших деревянных элеваторов стандартного типа, сыгравших тогда свою роль, не говоря уж о том, что легкие и красивые конструкции этих элеваторов, покрытых оцинкованным гофрированным железом, сразу придали нашим донским и кубанским станицам необычный, но радующий глаз «индустриальный» вид.

Понимая, что сельское хозяйство края находится все еще в тяжелом положении, и учитывая, что нам предстоит значительно лучше подготовиться к предсто-

ящему весеннему севу и в целом к сбору урожая будущего года, мы самым тщательным образом обсудили все эти вопросы на пленуме Югвостбюро. Хорошей подготовкой к нему послужили партийные конференции, проведенные до этого на местах, и в первую очередь, конечно, партийная конференция Дона, прошедшая в конце октября. На ней очень конкретно обсуждалась, помимо отчетных докладов Югвостбюро (Микоян) и Донского обкома (Колотилев), также работа партии в условиях нэпа в кооперации и в деревне.

Выступая на пленуме с отчетным докладом Югвостбюро, я постарался возможно конкретнее на примере важных политических и хозяйственных кампаний осветить недостатки в работе краевой партийной организации, отдельных губкомов и обкомов.

Говорил, в частности, о Терской организации, коммунисты которой все еще плохо налаживали работу в кооперации. Неправильно поняв наше указание об усилении партийного влияния в кооперации, они допустили в этом деле определенные перегибы, отстранив многих хороших беспартийных работников от руководства кооперативными союзами и заменив их, притом чуть ли не насильственно, коммунистами.

Много внимания в докладе я уделил работе с женщинами-крестьянками, особенно в национальных районах.

Одно из первых решений Югвостбюро (еще в июле) — создание в его составе отдела по работе с женщинами. Нам хотелось, чтобы этот отдел, во главе которого стояла энергичная коммунистка Цырлина, искал бы лучшие формы работы среди женщин. Для нашего края это было очень важно. Мы проводили специальные конференции женщин-крестьянок. В августе у нас прошел даже краевой съезд женщин-мусульманок, к организации которого привлекли всех русских женщин-коммунисток, которых, к сожалению, у нас было тогда еще очень мало.

Особое внимание участники пленума и вся организация обратили тогда на необходимость развития местной инициативы. В качестве примера на пленуме привели опыт Дагестана, где без затраты копейки государственных средств люди сумели выполнить сложнейшие и трудоемкие работы по рытью канала, организовав на это дело более 12 тысяч человек из местного населения. Там действительно проявили себя хорошими организаторами председатель Совнаркома республики Коркмасов — солидный, хотя и несколько медлительный, но настойчивый и авторитетный среди дагестанцев руководитель, — и работавший с ним в паре энергичный и оперативный секретарь обкома Самурский. Они отлично дополняли друг друга и к тому же умело опирались на окружавший их крепкий актив партийных и советских работников республики.

— Если вы будете ждать, пока Крайэкоп построит у вас мосты, больницы и школы, — говорил я на пленуме, обращаясь к руководителям других губкомов и обкомов, — вы упустите много ценного времени и народ вам этого никогда не простит!

Надо сказать, что 1922 год следует рассматривать как переломный в жизни краевой партийной организации. Краевое руководство получило на местах признание. Пополнившись за счет новых квалифицированных партийных работников, оно стало работать лучше.

Но предстояло еще многое сделать в плане главным образом дальнейшего повышения общего идейно-теоретического уровня организации, укрепления дисциплины, организованности, а также морального состояния коммунистов.

Мы уже не раз сталкивались с фактами, когда под влиянием нэпа происходило морально-бытовое разложение отдельных коммунистов, работающих в первую очередь в деревне.

Во время последней кампании сбора продналога можно было наблюдать, как отдельные коммунисты вносили в качестве продналога до 300 и более пудов зерна, что уже само по себе характеризовало истинные размеры их хозяйства. Среди таких коммунистов оказывалось немало ответственных деревенских работников, людей уважаемых и заслуженных по своим боевым делам в годы

гражданской войны. Однако непомерно большие по тем временам размеры вносимых ими налогов настораживали. Было ясно, что в погоне за расширением своих посевных площадей многие из них явно перестарались и стали постепенно окулачиваться. Не имея ни времени, ни физических сил, чтобы самим обработать такие большие хозяйства, достигавшие 30—40 гектаров, они стали привлекать наемную рабочую силу, мало чем принципиально в этом отношении отличаясь от обыкновенных кулаков.

Некоторые другие коммунисты из деревенской бедноты, работающие в сельсоветах, испытывая подчас действительные материальные затруднения, пошли по другому пути. Фактически они стали жить за счет кулаков, которые охотно на это соглашались, постепенно забирая таких «руководителей» в свои руки и используя их в своих корыстных целях.

На этой, в частности, почве в ряде мест и развилось пьянство, торговля самогонном и взяточничеством.

Партийные ячейки и комитеты на местах вели, конечно, борьбу со всеми этими отрицательными явлениями и нередко добивались определенных положительных результатов. Но иногда борьба, скажем с пьянством, принимала анекдотические формы: в Донецком округе приняли, например, однажды такое «сверхреволюционное» решение: «С 15 числа больше не пить!»

В станице Петровской партийная ячейка пошла еще дальше, постановив сажать коммунистов за пьянство на семь суток под арест. Но и это не помогло, не говоря уж о том, что такое решение ячейки прямо противоречило закону.

Были, конечно, среди коммунистов нездоровые явления и другого порядка, и они не могли нас не настораживать.

Много беспокойства, например, причиняли нам профсоюзы, среди руководящего состава которых все еще оставалось тогда немало выходцев из чуждых нам партий.

На фракции Кубанского совета профсоюзов высказывались, например, требования, за которыми явно виднелись меньшевистские и синдикалистские уши: «...необходимо, чтобы рабочий класс через профсоюзы влиял на рабочую политику партии», — или требование подчинить отделы местных исполкомов, непосредственно связанные с рабочими (Совнархоз, отделы труда, здравоохранения, социального обеспечения и др.), фракции совета профсоюзов, а не самих исполкомов, и т. д.

Надо сказать, что во многом мешал тогда очень низкий общеобразовательный и политический уровень многих коммунистов. Около 90 процентов коммунистов, работавших в национальных областях, были неграмотными и политически плохо подготовленными. Даже в русских областях имелось довольно много совсем неграмотных коммунистов: на Кубани более пяти процентов, в Ставрополе шесть процентов.

В этих условиях не мудрено, что одна из деревенских организаций Кабарды исключила из партии коммунистов «за бедность», а Кабардинский обком, желая поправить это неграмотное решение, сделал не менее «грамотное» разъяснение, что «партия не должна исключать бедных, а, наоборот, должна бедных обратить в богатых». Редактор же Ставропольской газеты выступил с большой и путаной статьей под названием «Жупел», в которой пытался подробно мотивировать свое предложение о необходимости организации частного купечества во всероссийском масштабе, потому что, видите ли, лишь в союзе с организованным купечеством государство только и сможет побороть анархию и спекуляцию. Что же касается опасности такого шага, то такая опасность, по мнению автора статьи, дело «надуманное», это всего лишь «жупел»...

Не мудрено, что в Баталпашинске (ныне г. Черкесск), центре Карачаево-Черкесской области, организовали широкую дискуссию на тему «Наше спасение», на которой основным докладчиком выступил один из генералов-сменовеховцев. В своем отчете местные руководители, вместо того чтобы вообще признать свою ошибку с организацией этой, с позволения сказать, дискуссии, с гордостью сообщали, что они «опровергли выдвинутые докладчиком положения и указали,

чтобы он изучил экономический материализм и впредь рассматривал общественную жизнь с этой точки зрения».

В Терской губернии с легкой руки губкома совсем уж было начался полный хаос в работе советских органов в связи с неправильным решением губкома перенести фактически руководство советской работой из советских в партийные органы. Правда, это решение мы тут же отменили, но оно уже принесло определенный вред.

Помню, как много сил и времени отнимали у нас всевозможные склоки и драчки, имевшие тогда место во многих губерниях. Нередко в этих склоках, помимо прочего, немалую роль играли национальные противоречия, что в условиях нашего многонационального края было особенно опасно.

В выступлениях участников пленума Югвостбюро приводились конкретные факты, когда, например, отдельные русские партийные работники из автономных республик и областей, не отдавая себе отчета в сложностях местной обстановки, несерьезно подходили к изжитию национальных противоречий, допускали при этом грубые ошибки или становились слепым орудием в руках различных местных национальных группировок.

Югвостбюро вело борьбу со всеми этими болезненными явлениями в нашей жизни. Она велась различными путями, но главным образом методами воспитания и убеждения людей, с учетом обстановки и конкретных лиц.

Мы, например, довольно часто «исправляли» отдельных коммунистов тем, что вовремя переводили их с одной работы на другую (с профсоюзной на хозяйственную и наоборот); благодаря такой «смене атмосферы» нам удавалось, не теряя людей, добиваться желаемых результатов. Довольно широко практиковали личные беседы с коммунистами, допускавшими те или иные ошибки, вызывали их для товарищеских беседований на заседания бюро ЦК или переносили обсуждение вопроса о них на собрания в первичные партийные организации. Применялись, конечно, и меры партийных взысканий, хотя исключение из партии допускалось лишь в редких случаях, когда все мы видели и понимали, что другого выхода нет.

Естественно, мы исправляли ошибки, обнаруживаемые в работе партийных организаций. Так было, в частности, со статьей «Жупел», о которой я уже упоминал. Мы тогда указали Ставропольскому губкому не только на недопустимость появления этой ошибочной статьи на страницах губернской партийной газеты, но и, самое главное, на отсутствие со стороны губкома необходимой реакции на эту ошибочную статью.

В конце ноября 1922 года на уездной партийной конференции в Армавире произошел чуть ли не раскол между городской и казачье-крестьянской частями организации и началась неразбериха, с которой Кубано-Черноморский обком так и не сумел справиться. Пришлось послать туда специальную комиссию Югвостбюро во главе с Колетилловым; только после этого удалось постепенно восстановить мир и лад в этой организации.

Несколько слов хотелось бы сказать о такой форме информации и связи, которая существовала в те годы между Югвостбюро, ЦК партии и губкомами, как обязательные информационно-отчетные письма секретаря Югвостбюро.

О характере наших писем в губкомы и обкомы я уже немного писал в своих воспоминаниях. Что же касается писем в ЦК, то они посылались туда обычно нами довольно регулярно — раз в два-три месяца.

В этих письмах освещалось общее политико-экономическое состояние края, наиболее важные события истекшего периода, давалась характеристика настроений различных групп населения, рассказывалось о ходе выполнения директив центра, но, конечно, основное внимание обращалось на освещение опыта нашей партийной работы, ее плюсов, а также недостатков и намечаемых мер по их устранению.

Кроме того, в таких письмах мы касались и тех недостатков, которые, по нашему мнению, имели место в работе аппарата ЦК по руководству местами.

Помню, что нас в то время стало беспокоить обилие получаемых из ЦК циркуляров и малоконкретный их характер.

В связи с этим в письме секретарю ЦК 10 января 1923 года я указывал на многочисленность циркуляров, иногда их агитационный характер и на то, что эти циркуляры фактически никем не читаются, кроме заведующих соответствующими отделами губкома, в лучшем случае секретарем, а редко составом бюро. Члены комитетов и партия в целом не в курсе всех этих указаний, если они не опубликованы в партийной прессе.

Кроме того, писал я, получается такая картина: «...в ответ на циркуляр ЦК губком разрабатывает новый циркуляр, немножко искажая, направляет в уезды, а уезды разрабатывают на ту же тему циркуляр и, еще больше искажая, направляют волкому, а волкомы пишут совсем искаженные циркуляры ячейкам. Получается лишь один бюрократизм и отсутствие непосредственности в руководстве высших партийных органов низшими».

Я предлагал сократить общее количество таких циркуляров, отказаться от длинных мотивировочных вступлений, ограничившись краткими, но конкретными указаниями. И те директивы ЦК, которые относятся к непосредственной деятельности низовых партийных органов, рассылать не только губкомам, но и самим этим низовым организациям, избавляя губкомы от необходимости во исполнение указаний ЦК вымучивать свои собственные циркуляры.

Кроме того, сообщил я секретарю ЦК, в последнее время ЦК по поводу всяких отзывов товарищей сообщает телеграфно и прибавляет: «Весьма срочно откомандируйте такого-то...» Так как это «весьма срочно» повторяется почти в каждом случае, и в случаях вовсе не срочных, то эта «срочность» теряет всякий смысл и на местах нам очень трудно разобраться, какое распоряжение ЦК действительно срочное. Например, ряд «срочных» распоряжений ЦК не исполнен местными организациями, но ни одному из губкомов не попало за неисполнение «срочных» распоряжений, «а это приучает организации к небрежному отношению к распоряжениям ЦК».

В том же письме я указал и еще на один недостаток. Недавно Донком получил из ЦК директивное письмо, в котором было указано на трения, якобы существующие на Дону, на отсутствие дисциплины в организации и плохую связь Донкома с уездами.

Эти выводы огорошили донских работников своей неожиданностью и необоснованностью.

В то время как за последнее полугодие после смены в ее верхушки Донской организации работа сильно поднялась, связь с местами наладилась, трения совершенно ликвидировались и Донская организация стала лучшей организацией края, в ответ на это вместо поддержки — незаслуженная нахлобучка!

«Все озадачены, чем вызвано это? ЦК не заслушивал доклада Донкома, директивы дал до возвращения с Дона своего инструктора в Москву, Югвостбюро ЦК также не давало оснований ЦК для таких директив».

Эти указания ЦК соответствуют состоянию Донской организации год тому назад, при ином составе руководителей, и, видимо, они и составлены информатором ЦК на основании старых материалов и секретарем ЦК подписаны механически».

Для устранения этого я предлагал заслушать на Секретариате ЦК доклад Донкома.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ТИМОФЕЕВ,
член-корреспондент Академии наук СССР

★

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС

I

Вопрос о художественном прогрессе, об эстетическом развитии человечества, о поступательном развитии искусства сам по себе отнюдь не нов¹.

Понятно, что и самая его постановка и характер его осмысления predetermined прежде всего теми историческими условиями, в которых он возникает, своеобразием развития искусства на том или ином историческом этапе, уровнем теоретической мысли, наконец общими чертами общественно-исторического процесса. В совокупности все это определяет многообразное содержание понятия прогресса в различные эпохи, индивидуально-исторический смысл, которым оно наполняется в то или иное время.

Понятно, что и наше время не может пройти мимо этой проблемы, не может не раскрыть ее в свете своего исторического опыта. Понятно и то, что наш исторический опыт уполномочивает нас, если можно так сказать, на принципиально новое понимание и прогресса вообще и художественного прогресса в частности в условиях современных темпов общественного развития.

Быстрота исторического процесса выражается и в научно-технической революции, осуществляющейся на наших глазах, и — в еще более определяющей степени — во всемирно-историческом размахе освободительного движения, в укреплении мировой со-

¹ Краткий, но содержательный обзор истории идей художественного прогресса дан в книге: Н. Я. Парсаданов. О поступательном характере развития искусства (Существует ли прогресс в искусстве?). М. 1964.

циалистической системы, явившемся, как известно, мощным ускорителем исторического прогресса.

В отличие от многих зарубежных теорий (Кроче и других) советская наука исходит, говоря словами академика Н. Конрада, из «факта поступательного хода истории, факта неуклонного развития человечества во всех аспектах его существования». Подобное поступательное развитие тем самым связано и с искусством и с литературой. «Протягиваемая через века связь и преемственность», — писал Н. Конрад, — образуют реальный субстрат всего литературно-исторического процесса. Эстетическое накопление и составляет суть прогресса, создаваемого средствами литературы»².

Обращаясь к содержанию этого процесса, Н. Конрад справедливо видел в его основе гуманистическое начало, ибо идея гуманизма всегда была высшим критерием настоящего человеческого прогресса. Для определения подлинно прогрессивного есть критерий, выработанный самой историей (понимая гуманизм в двояком аспекте: как обозначение специфических свойств человеческой природы и как оценку этих свойств начала человеческого поведения и всей общественной жизни).

Близок к этим положениям и академик М. Храпченко. «...Не подлежит сомнению его общая гуманистическая сущность... — говорит он о художественном прогрессе. — Объективный смысл крупнейших художественных завоеваний — защита человека, его прав, защита социальной справедливости.

² Н. И. Конрад. Запад и Восток. М. 1966. стр. 505, 459.

полного расцвета творческих сил человеческой личности»³.

«Существует ли прогресс в эстетической деятельности человека» — спрашивает академик Д. Лихачев и отвечает: «Прогресс в искусстве несомненен, если мы будем изучать возможности, открываемые перед искусством эпохой...» И эти возможности он опять-таки видит в гуманистическом начале. «В гуманизме средневековом есть элементы,— говорит он,— которые разовьются в великой русской литературе XIX века. Без них не могло бы быть преемственности в литературе»⁴.

По словам Д. Маркова, «художественный прогресс связан именно с гуманистической миссией искусства»⁵.

Перед нами, как видим, общая, методологическая единая концепция, определяющая принципиальную основу изучения литературного процесса и — шире — процесса развития искусства.

Очевидно вместе с тем, что эта общая и, безусловно, обоснованная схема осуществляется в историческом процессе чрезвычайно сложно и противоречиво и что самое понятие гуманизма далеко не однозначно даже в пределах одного периода. Несомненен гуманизм Державина («Ум и сердце человека были гением моим»), хотя он крайне ограничен сословными позициями: и в своем творчестве, и в своих воззрениях, и в своей деятельности он выступает как приверженец крепостного права, не видящий в рабе человека. Одновременно Карамзин уже понимает, что «и крестьянки чувствовать умеют», а Радищев поднимается в защите крестьянства на высоту, которая заставляет Екатерину Вторую сказать, что он «бунтовщик хуже Пугачева». Гуманизм в реальном историческом процессе не просто принимает самые разнообразные формы: мы видим, что развитие его протекает спорадически, периоды подъема сменяются периодами упадка, последовательность, поступательность движения осуществляются иногда скорее как тенденция, чем как реальность.

Несомненна изолированность, замкнутость, повторяемость его вспышек при всей

их конкретной значительности в те или иные исторические периоды. И это определялось не причинами, лежащими внутри гуманизма, а факторами более общего порядка: в досоциалистическую эпоху еще не появилась такая общественная сила, которая могла бы обеспечить целостность, поступательность его развития, еще не возникла мощь международных связей, которая была необходима для его распространения через годы и границы, для создания единства в его реальном историческом содержании при всем разнообразии его конкретных национально и социально обусловленных форм.

Положение в корне изменилось во второй половине XIX века, когда эта сила выступила на сцену.

Формула «Коммунистического манифеста» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!») возвестила о начале коренного перелома в историческом процессе, о том, что появилась общественная сила небывалого всемирно-исторического размаха, обладавшая неограниченной международной перспективой единого развития, что послышалась та «мерная поступь железных батальонов пролетариата» (Ленин), которая вела к Октябрю, к победе над фашизмом, к борьбе за мир во всем мире, к нарастающей социалистической интеграции.

Именно теперь, на этом новом уровне исторических возможностей человечества, прогресс во всей полноте его гуманистического содержания получил возможность стать той закономерностью, которая обрела в полном смысле этого слова всемирно-историческое значение. Ленин подчеркивал, что рабочие создают во всем мире свою интернациональную культуру. Понятие прогресса впервые приобрело теперь смысл единого и общезначимого критерия, в частности и для понимания развития как искусства, так и его теории.

Все более пристальное внимание к проблеме художественного прогресса в конечном счете отвечает тому историческому уровню, которого достигла наша эпоха в своих наиболее передовых социальных свершениях, в своем гуманистическом содержании.

Само по себе это гуманистическое содержание проявляется в самых различных областях и духовной и материальной культуры общества, но несомненно что оно особенно тесно связано именно с областью искусства, где получает наиболее полное и конкретное выражение как в той или иной

³ М. Б. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М. 1970, стр. 343.

⁴ Д. Лихачев. Будущее литературы как предмет изучения («Новый мир», 1969, № 9, стр. 180, 183—184).

⁵ Д. Ф. Марков. Генезис социалистического реализма. М. 1970, стр. 244.

системе эстетических идеалов, определяющих творчество писателя, так и во всем богатстве их художественного воплощения, в круге характеров и конфликтов, в системе авторской речи, в разнообразии жанровых форм и пр.

Понятие художественного прогресса с этой точки зрения является ключевым, вершинным понятием социалистической эстетики. Оно позволяет по мере его углубления и развития анализировать произведения искусства в плане их участия, их роли в художественном прогрессе, рассматривать их как явления единого в своей основе мирового движения искусства, подходить к ним с общим критерием при всем их разнообразии и своеобразии.

Вместе с тем не приходится забывать и о специфических трудностях, возникающих всякий раз перед нами именно в связи с вопросом о художественном прогрессе. Они идут прежде всего от неоднозначности самого понятия «гуманизм», а следовательно, и прогресса. Другая, основная трудность: в каких конкретных «показателях» проявляется прогресс в области искусства? Как соотносить между собой неповторимые по своей природе, неразрывно связанные именно с данным историческим мгновением художественные произведения и уловить в их смене следы прогресса, развития, движения вперед, то есть все более полное осуществление возможностей искусства? Очевидно, что такая прямолинейная постановка вопроса не может привести нас к успеху. Каждый художник дорог нам по-своему, каждое произведение искусства индивидуально и, следовательно, непосредственно сопоставимо с другими. иначе оно в принципе, так сказать, отменяло бы предшествующие ему создания искусства в их художественной значимости.

Очевидно, однако, и то, что огромность души, гениальность писателя не могут быть приняты в качестве ориентира художественного прогресса. поскольку закономерности, управляющие развитием литературного процесса, находят в творчестве гениального писателя лишь наиболее глубокое выражение, оставаясь в то же время общими для всего процесса в целом, и в этом смысле гений может появиться или не появиться, но литературное движение сохраняет свое направление. Развитие литературы необходимо предполагает наличие как гениев, так и негениев. Можно ли вообще найти такого рода единый общий критерий, применяя который

к ряду произведений искусства различных исторических периодов, мы сумеем проследить в них поступательное развитие? Или он скорее всего обнаруживается в достаточной мере многообразном взаимодействии условий, в которых развивается искусство, то есть комплексно?

Мысль Ленина, что в творчестве Л. Толстого эпоха сделала шаг вперед в художественном развитии всего человечества, с несомненностью говорит и об эстетическом прогрессе — художественном развитии, и о том, что основу его надо искать в его взаимодействии с эпохой, то есть с совокупностью исторических условий, определяющих самое направление художественного творчества.

М. Храпченко в названной работе возражает против попыток искать такого рода критерий в той или иной совокупности форм художественного прогресса. «Какими бы благими намерениями,— говорит он на странице 342,— ни руководствовались сторонники комплексного критерия художественного прогресса, критерий этот неизбежно предстает как совокупность нормативных требований к искусству, в том числе и прошлых эпох... Можно увеличивать или уменьшать число весьма желательных, умопостигаемо определяемых признаков поступательного движения искусства, но от этого существенно не изменится нормативность требований, выдвигаемых извне, «сверх» реальных закономерностей самой художественной культуры».

Вряд ли эти соображения правомерны. Прежде всего из них следует, что признаки художественного прогресса следует искать лишь так сказать, в непосредственной зоне самого искусства, внутри ряда присущих именно ему явлений. Между тем искусство включено в сложный поток жизненного процесса в целом, на него воздействуют факторы, не входящие прямо в сферу искусства, но имеющие существенное значение для его формирования и развития. Как лингвист во многих случаях не может осмыслить свой материал, не обращаясь к тем или иным экстралингвистическим факторам, обуславливающим развитие языка, так и искусствовед не может не учитывать соответствующих экстрафакторов, которые, конечно, во многих отношениях переменны, складываются в изменяющихся исторических условиях и должны быть каждый раз заново осмыслены. Поэтому вопрос о нормативности может возникнуть только при суженном подходе к пониманию художест-

венного прогресса и исторических условий, ему сопутствующих.

Развитие и действенность искусства неотделимы от состояния общественной культуры в целом.

Известны слова Ленина о том, что творчество Л. Толстого недоступно подавляющему большинству населения неграмотной России и что нужна революция для того, чтобы оно стало достоянием всего народа. Речь здесь идет, по сути дела, о силе общественного воздействия искусства как об одном из показателей его прогресса и о том, что оно обретает силу в своем взаимодействии с массой... И то, что до Октября грамотность в России не превышала 28 процентов, а на окраинах сводилась к нескольким процентам, а сейчас в СССР количество людей, имеющих высшее и среднее образование, превышает 60 процентов (то есть искусство располагает сейчас огромной аудиторией, способной к его восприятию), несомненно, входит как одно из слагаемых в понятие прогресса самого искусства. Количественная сторона культурного процесса необходимо должна быть учтена при осмыслении путей общественного развития, в том числе и эстетического. То, что у нас около 400 тысяч библиотек, что в СССР печатается более четверти книжных изданий всего мира, выходящих более чем на 80 языках (по сравнению с 24 языками дореволюционной российской печати!), еще далеко не полностью характеризует размах работы, совершающейся в области культуры.

Конечно, все эти общие цифры требуют дифференцированного подхода. Обилие тиражей еще не предполагает полностью соответствующего им количества и качества читателей. Об этом справедливо говорит, например, В. Канторович в книге «Глазами литератора», напоминая о тех людях, которые не включали еще в свой кругозор литературу и другие искусства. Понятно и то, что когда те или иные факторы прогресса оказываются достигнутыми, на смену им выдвигаются новые, более сложные, и мы не можем сейчас их предвидеть. Справедливо мнение, что будущее откроет несравненно больше источников, которые будут питать художественную деятельность (например, в книге Н. Гончаренко «О прогрессе искусства»). Самое понятие «грамотности» надлежит мыслить как процесс, начиная от его простейших форм до способности «в просвещении быть с веком наравне», а стало быть, и развиваться вместе с веком.

Но продолжим общую мысль. Понятно, что в широком смысле слова искусство в его обращенности к воспринимающему всегда несет в себе и элемент сотворчества (как бы мало оно в тех или иных случаях ни было). Воспринимая произведение, мы проецируем и его содержание и его форму в их слитности на наш собственный опыт, и именно в единстве с ним осуществляется общественное воздействие искусства. От слияния, совпадения опыта литератора с опытом читателя, говорил М. Горький, и получается художественная правда.

В статье «Миф о «черной магии» Достоевского» Ю. Карякин обобщивает мысль о «законе искусства, по которому секрет, открытый художником, сознательно скрывается для читателя, но ровно настолько, чтобы тот сам его заново бы открыл и, стало быть, пережил бы его как с в о е открытие»⁶.

Можно думать, что условия, характер, уровень восприятия искусства, включение в этот процесс народных масс (или, наоборот, отчуждение их от искусства как показатель регресса) представляют собой одну из существенных сторон проявления прогресса в искусстве, хотя непосредственно с ним, казалось бы, и не связаны. Конечно, в историческом процессе — в том или ином периоде развития искусства, в той или иной стране — формы общественного восприятия искусства, способствующие его прогрессу, будут иметь многообразный и внешне несходный характер, но, скажем, переход от устного творчества к письменности, или перевод Лютером Библии в начале эпохи Реформации на немецкий язык, или отказ от латыни как международного языка науки и обращение к национальным — все это были внутренне, функционально однородные факты в развитии языка, в частности, и как сферы восприятия искусства (причем речь, конечно, идет не только о литературе, этот процесс захватывал и театр, и вокальное искусство, и др.).

Наоборот, сейчас и в особенности в будущем процесс сближения национальных языков будет отвечать той же задаче расширения сферы восприятия искусства и, следовательно, участия в его прогрессе.

⁶ «Русская литература», 1972, № 1, стр. 120. В сущности, роль активного восприятия произведения имел в виду Лессинг, когда писал о Лаокооне, что если он «только стонет, воображению легко представить его кричащим, если бы он кричал, фантазия не могла бы подняться ни на одну ступень выше».

Очевидно также, что качество этого участия в прогрессе искусства зависит от реального состава общественной аудитории, к которой искусство обращено. Говоря о советской литературе, мы, естественно, не можем пройти мимо такого определяющего фактора, характеризующего общественный состав нашей страны, как наличие в нем более 42 миллионов членов КПСС и комсомольцев, более миллиона научных работников, около пяти миллионов студентов, более двух с половиной миллионов учителей, двух с половиной миллионов дипломированных инженеров, около тысячи высших учебных заведений и около двухсот тысяч школ.

В этой аудитории, в ее общественной практике наше искусство, естественно, не может не черпать своих идеалов, своих эстетических целей, свою живую материю образности, то есть многообразный круг характеров, конфликтов, бытовых жизненных ситуаций. Оказывая мощное обратное воздействие на искусство, аудитория становится одним из факторов его развития. Здесь перед нами, с одной стороны, то, что можно назвать пассивным творчеством, сотворчеством, с другой — активные творческие источники, питающие художника всем бесконечным разнообразием и богатством жизненного процесса.

Но есть и еще более активный фактор, о котором мечтали революционные демократы: наступил период непосредственной поэтической деятельности «простонародья»...

В советской литературе это в особенности ярко обнаруживается на примере ранее бесписьменных народов — за годы советской власти они внесли в литературу художественные ценности непреходящего значения, вызванные к жизни великой революцией. «Творческий потенциал нашей многонациональной литературы поистине безграничен», — справедливо писал Г. Марков; он находится при этом в процессе непрерывного движения и развития.

«Всемирная история еще никогда не видела во взаимоотношениях десятков наций и народностей столь нерушимого единства интересов и целей, воли и действий, такого духовного родства, доверия и взаимной заботы, какие постоянно проявляются в нашем братском союзе», — говорилось в постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик».

Перед нами еще один источник эстетического прогресса: включение в него неис-

числимого запаса творческих сил освобождающихся народов во всем мире. В современную эпоху народы Африки и Азии придают этому процессу все нарастающую стремительность, обогащая его новым жизненным опытом, расширяющим границы самого предмета художественного творчества, выдвигая народные силы, могущие его осознать и выразить.

В этом процессе участвует и научно-технический прогресс современности, обеспечивающий развитие еще небывалых по своей мощности средств преодоления времени и пространства и, стало быть, все усиливающихся возможностей связи и взаимодействия народов мира между собой. Вместе с тем он выступает опять-таки и как одна из граней расширяющегося предмета художественного изображения (одного из важнейших показателей прогресса в области искусства). Величие человеческого разума, освобождающего человека от власти природы, придающего его мысли и деятельности планетарный масштаб и мощь, позволяющее ему неустанно идти «вперед и выше», приобретает, можно сказать, эстетический характер, создает ощущение, пользуясь выражением Достоевского, «всемства», всеобщей связи людей, подчиняющей науку и технику доброй воле, идее человеческого блага. Мы уже не говорим о роли научно-технического прогресса в возникновении новых видов искусства — кино, радиовещания, художественного телевидения и пр.

Освободительный процесс, вовлекающий в художественное развитие все новые и новые народы, приводит к включению в это развитие их художественных миров, их мифологии, их фольклора создавая новые источники творческих традиций.

В годы развития советской литературы в ее творческий кругозор входят такие эпические массивы, как «Джангар», «Манас», «Кёр-оглы», «Давид Сасунский», «Нарты», «Алпамыш», «Гэсэриада» и другие, несущие в себе заряд огромной художественной силы, неразрывно связанный с общим эстетическим прогрессом советского искусства.

До сих пор мы по преимуществу говорили о прогрессе в искусстве с «количественной» точки зрения, имея в виду расширение его предмета и границ, включение в него новых сторон жизни, обращенность ко все более значительной аудитории, роль все более мощных средств распространения и пр. Однако все эти количественные опреде-

ления, по сути дела, имеют и качественное содержание.

Когда мы говорим о перспективе развития искусства, то понимаем, что перспектива в положительном ее содержании есть категория прогресса, неразрывно связанная с представлением о поступательном движении жизни. Процесс общественного развития, отмеченный знаком прогресса, вводит в область искусства и новые стороны жизни и новые возможности ее понимания, обогащая самый предмет искусства, расширяя и углубляя его жизненное воздействие, открывает путь к творчеству народным массам, несущим с собой в искусство свои традиции, свой новый общественный и художественный опыт, включает в эстетический кругозор своего времени все новые и новые области художественного познания.

II

Новизна предмета изображения в искусстве не может не быть связанной и с возникновением нового угла зрения на него. Эпоха ждет от искусства и нового шага в ее художественном осмыслении. Расширение сферы искусства несет в себе и количественные и качественные факторы, определяющие и характер и темп его прогресса.

Известные письма Ленина к Горькому в июле и сентябре 1919 года содержали в себе, в частности, упрек Горькому «как художнику» именно в том, что он утратил связь с этой сферой расширения искусства: «Вы поставили себя в положение, в котором непосредственно наблюдать нового в жизни рабочих и крестьян, т. е. $\frac{9}{10}$ населения России, Вы не можете... ни нового в армии, ни нового в деревне, ни нового на фабрике...»⁷.

Позднее сам Горький не раз обращался к этой мысли, говоря об «узости поля наблюдения» классической литературы, ограниченности социального ее кругозора.

Расширение сферы изображения искусства имеет, разумеется, не только объективное, но и субъективное творческое значение. Мечта Блока «все сущее — увековечить», слова Маяковского о поэте как о «должнике вселенной», тревога Н. Ушакова: «Вся ли нами страна замечена? Вся ли в строки вошла стихов?» — все это лишь немногие из примеров неустанныго стремления художника, искусства к расширению сферы сво-

его творческого внимания, поля художественного зрения. Именно во взаимодействии с многочисленными и исторически переменными факторами искусство и движется по пути открытия новых эстетических ценностей, определяющих его прогресс. Очень верна мысль В. Днепрова о том, что Октябрьская революция выразилась, в частности, в «расширении сферы нравственности».

И если глубина и сила выражения, так же как порой и приоритет открытия, определяются индивидуальностью писателя, степенью его таланта, то самый процесс поиска и нахождения художественных ценностей есть результат литературного движения в целом во всей сложности его взаимодействия с жизненным процессом.

Исследование эстетического прогресса, естественно, требует выхода за пределы сопоставления отдельных произведений, которые сами по себе несопоставимы, поскольку их значение в большой мере основано на неповторимости и полноте индивидуального отношения к тем или иным сторонам жизни именно данного исторического момента. Они сопоставимы лишь с точки зрения их участия в эстетическом прогрессе в пределах, так сказать, той меры художественной видимости, которая открыта им эпохой, в том числе и в пределах доступной им меры гуманизма.

Здесь мы подходим к вопросу об исторических возможностях того или иного периода развития искусства. М. Храпченко справедливо замечает, что сами по себе возможности еще не могут говорить о прогрессе искусства. «Неоправданным, — пишет он, — представляется и стремление свести поступательное развитие искусства к расширению возможностей художественного освоения действительности. Возможности эти также еще не представляют собой свойств, качеств самого искусства. Пока они не реализованы, трудно говорить о прогрессе»⁸. Однако говоря о мере реализации возможностей искусства, мы, по сути дела, уже вступаем в круг вопросов, связанных с понятием художественного метода.

Каждому методу присуща своя мера художественной «видимости», на которую, так сказать, уполномочивает его эпоха. Произведения искусства эмпирически несопоставимы, но на уровне художественного метода

⁸ М. Б. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы, стр. 300.

⁷ В. И. Ленин и А. М. Горький. Изд. 3-е. М. 1969, стр. 156.

мы уже в состоянии соотносить их между собой. Вопрос о возможностях искусства становится и вопросом об осуществлении в каждом индивидуальном стиле возможностей, присущих методу, а индивидуальный стиль как форма движения метода с этой точки зрения относится к методу, как существование к сущности, пользуясь словами Гегеля.

Известно, в сколь широком диапазоне проявились возможности критического реализма, свидетельствующие о многогранности и самого метода и путей его теоретического осмысления в постоянном взаимодействии объективно-исторического и субъективно-творческого начала в искусстве. Вот почему, в частности, оживившиеся сейчас поиски типологии реализма — при их несомненном значении — не должны все же затенять многообразия его форм, исторически обусловленного художественного диапазона этого метода в его стилиевых ответвлениях и в их исторических мотивировках⁹.

Сознавая или не сознавая это, но воспринимая произведения искусства прошлого (и, естественно, отказываясь от вульгаризирующего их сопоставления «лучше — хуже»), мы неизбежно включаемся для их понимания и оценки в тот исторический мир, в котором они были созданы, относимся к ним на уровне их эпохи, их меры художественной видимости. Мы ощущаем, скажем, все благородство, всю силу духа Татьяны Лариной, но нам понятно, что весь стиль ее жизни не накладывается на наш; трагедия Родиона Раскольникова потрясает нас, но вме-

⁹ Отграничивая один тип, скажем, реализма от другого, мы всегда стоим перед опасностью своеобразного вычитания особенностей одного типа из другого и вместо обогащения нашего представления об этих типах реализма рискуем прийти к обеднению обоих. Предложенное недавно Д. Ф. Марковым («Правда», 25 апреля с. г.) разграничение социалистического реализма на предметно-аналитический способ изображения жизни, на романтический и на условно-фантастический легко может привести к упрощенному истолкованию предметно-аналитического изображения как лишенного романтического начала, романтического — как отказа от предметно-аналитического изображения и обоих — как свободных от элементов условности и фантастики. Между тем социалистический реализм тем, в частности, и отличается, что все эти черты несет в себе в их художественной слитности и взаимопереходах в зависимости от национально-исторического момента и т. д. и т. д. Типологическое разграничение не всегда ведет к обогащению представления о методе.

сте с тем нам ясно, что это уже не трагедия нашего времени и нашего общества, мы смотрим на нее с точки зрения исторического опыта, накопленного человечеством и, в частности, искусством за сравнительно долгое время.

По сути дела, здесь перед нами непосредственное ощущение нового смысла, вложенного в понятие гуманизма эпохой перехода к коммунизму, и в свете этого смысла мы и оцениваем предшествующие исторические формы гуманизма, ни в какой, конечно, мере не отказываясь от великих традиций искусства прошлого, сохраняющих свою роль в развитии искусства современности.

Опыт советской литературы, возникающей в процессе борьбы за построение социалистического общества, основан на вовлечении в этот процесс широчайших народных масс, освобожденных от всех форм социального и национального гнета и овладевающих всем достоянием научно-технического творчества.

Общность эстетических идеалов, круга характеров, освещающих весь ход формирования нового облика советского человека, сила и драматичность исключительного по своей значительности исторического процесса развития Советской страны, насыщенного героическими событиями борьбы и труда, лежащими в основе сюжетики советской литературы, включение в процесс социалистического строительства широчайших народных масс во всем разнообразии и богатстве их речевой практики — все это не могло не создавать решающих предпосылок для нового и важнейшего шага в художественном развитии всего человечества, для обращения к новой системе художественного видения — методу социалистического реализма, уже с 20-х годов развивающемуся по всему фронту советских литератур в зависимости от национально-исторических возможностей каждой из них. И этот процесс имеет, несомненно, всемирно-историческое значение, он не мог не найти творческого отклика в международном масштабе, неся с собой исключительный по своему значению общественный опыт и являясь примером принципиально нового его художественного осмысления.

Ленин говорил в свое время: «...Мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создает почву для культуры, — конечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешен. На этой почве должно вырасти действительно новое,

великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию»¹⁰. Ленин здесь не только не отделяет прогресс искусства от общекультурного процесса, но рассматривает этот процесс как необходимую почву для эстетического прогресса, связывает общекультурный процесс и эстетический прогресс как системы неразрывных понятий.

Этот все нарастающий в своем темпе процесс и лежит в основе разоблачения всего, что в жизни ему противоречит, сила его проявлялась в суровейших испытаниях гражданской и Отечественной войн и в годы героического созидания в типе человека — борца и строителя, в драматизме борьбы нового и старого мира, в принципе демократизма и интернационализма, определившем демократизм художественной формы, и в частности языка, — все это характеризует те возможности, которыми располагает социалистический реализм.

III

«Подлинную свободу творчества, ширину тематики, не охватываемое одною жизнью богатство тем, я узнаю,—писал в свое время А. Н. Толстой,— только теперь, когда овладеваю марксистским познанием истории, когда великое учение, прошедшее через опыт Октябрьской революции, дает мне целеустремленность и метод при чтении книги жизни»¹¹. Эту центральную для движения советской многонациональной литературы мысль мог бы, каждый по-своему, повторить и казахский писатель М. Ауэзов, и аварский — Р. Гамзатов, и киргизский — Ч. Айтматов, и эстонский — Ю. Смуул, и чукотский — Ю. Рытхэу, и украинский — М. Стельмах, короче — все ее представители.

Мы вправе в литературе каждого исторического периода (и в ее внутренних группировках, разумеется) видеть известную картину мира, построенную в пределах той меры общественных закономерностей, которые доступны пониманию данной эпохи. Эта картина мира включает в себя и его социальные отношения, и те или иные грани духовного мира человека, и тот сюжетный, речевой, предметный и прочий кругозор, который входит в границы этого мира и определяет сферы его эстетической видимости. Движение жизненного процесса определяет

и характер эстетического процесса, то есть, другими словами, общественный прогресс как одну из своих своеобразных сторон несет в себе и прогресс эстетический и в процессе своего роста насыщает его новым содержанием и, соответственно, художественными формами.

В наши дни мы наблюдаем чрезвычайно значимый и поучительный пример обогащения такой существенной и характерной черты социалистического реализма, какой является его многонациональное своеобразие и разнообразие, приобретающие все более широкий и многосторонний характер.

«За полвека существования СССР у нас сложилась и расцвела единая по духу и по своему принципиальному содержанию советская социалистическая культура. Эта культура включает в себя наиболее ценные черты и традиции культуры и быта каждого из народов нашей Родины. В то же время любая из советских национальных культур питается не только из собственных родников, но и черпает из духовного богатства других братских народов и, со своей стороны, оказывает на них благотворное влияние, обогащает их...»

Сегодня мы уже с полным правом можем сказать: наша культура — социалистическая по содержанию, по главному направлению своего развития, многообразная по своим национальным формам и интернационалистская по своему духу и характеру. Она представляет собой, таким образом, органический сплав создаваемых всеми народами духовных ценностей» (Л. И. Брежнев).

Процесс развития советской культуры в целом по своей природе историчен, и входящие в него явления раскрывают все новые и новые стороны своего содержания.

Эти широчайшие возможности будущего, то есть в литературном плане возможности эстетические, необходимо определяют и новый характер понимания национального в нашем искусстве, намечающийся уже сейчас. Примечательно, что такой внимательный наблюдатель народной жизни, как Б. Полевой, характеризуя на страницах журнала «Дружба народов» своего героя, пришел к очень существенной формулировке. «Вот она, — пишет он, — истинно русская, я бы сказал, советская, да, именно советская, душа».

Здесь отчетливо видно, что традиционное понимание национального начала применительно к некоторым сторонам нашего жизненного процесса стремится к расширению.

¹⁰ К. Петкин. Воспоминания о Ленине. М. 1955, стр. 16—17.

¹¹ А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 323.

поскольку растущие социалистические отношения создают в нашей стране такие жизненные и культурные мощности, которые уже никак не могут быть интерпретированы только в плане индивидуального (то есть в пределах только данной нации или народности) национального опыта. Слова Ленина, сказанные еще в 1916 году: «Социализм... гигантски ускоряет сближение и слияние наций», по мере того как набирает темп и рост строительство коммунистического общества, приобретают все более наглядное, осязаемое и объемное значение.

Речь при этом идет, естественно, не о количественной стороне дела, а о самом качестве явлений нашей жизни, требующем именно общесоветского, да, именно общесоветского по своему характеру восприятия.

Конечно, эта черта отнюдь не родилась только в последние годы. Основы ее были заложены тогда, когда одновременно с «Коммунистическим манифестом» родилась идея интернационализма. И она становилась тем более мощной, чем в большей мере исторически овладевала сознанием масс, превращаясь в материальное и духовное содержание их движения. Достаточно вспомнить о том общенациональном и всенародном значении, которое с первых же лет революции получил в искусстве советской страны образ Ленина, о героических событиях Великой Отечественной войны, когда подвиг Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру вражеского дота, был повторен в ходе войны более чем двести раз бойцами различных национальностей, точнее — именно советскими бойцами.

Вспоминая такие произведения, как «Товарищу Нетте...», или «Стихи о советском паспорте» В. Маяковского, или «Коммунисты, вперед!» А. Межирова, или «Итальянец» М. Светлова, или «Чувство семьи единой» П. Тычины, мы отдаем себе отчет в том, что перед нами произведения советской поэзии в целом, значение которых не может быть определено вне их общесоветской значимости, не отменяющей, естественно, их национального своеобразия, но в то же время придающей им новое особое общесоветское качество. И тем значительнее общественный и художественный вес произведений, развивающихся в этом направлении, чем полнее разворачивается его основа в общекультурном процессе, дающем искусству ту полноту художественно-мыслительного материала, ту живую материю образности, вне которой оно не смо-

жет воплотить цели и задачи своего времени, именно в ней находя основу для эстетического прогресса. Ограничимся одним примером: в стране растет число смешанных браков, оно исчисляется миллионами. Этот факт чрезвычайно поучителен. «Общественные порядки,— писал Ф. Энгельс в предисловии к первому изданию (1884) «Происхождения семьи, частной собственности и государства»,— при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обуславливаются... ступенью развития, с одной стороны— труда, с другой — семьи». Здесь не приходится говорить о новом характере социалистической семьи вообще, но развитие семьи смешанной свидетельствует опять-таки о новом содержании, которое приобретает понятие национального своеобразия в наше время, в условиях нарастающего развития советской культуры. Достаточно сказать, что в Баку каждый четвертый брак — смешанный.

Смешанные браки как общественное явление, исчисляемые в миллионных цифрах, могут развиваться только в условиях деятельности огромных трудовых коллективов, подобных тем, которые сложились на строительствах такого масштаба, как в Тольяти или в Набережных Челнах, объединяющих людей различных национальностей в процессе общего труда и развития языка, в широком смысле — общего языка культуры, быта, труда, искусства. В среде сумгаитских химиков работает 50 национальностей, Нурекскую ГЭС строят представители 43 национальностей.

Очевидно, что смешанные семьи создают благоприятнейшую почву для переплетения и отбора различных национальных традиций в самых различных областях быта, культуры и искусства, сближающих людей между собой, что они влияют на развитие подрастающих поколений, в частности, на развитие новых форм языкового общения. Тут возникает поле для развития новых жизненных конфликтов и противоречий, формирования новых своеобразных особенностей человеческих характеров, складывающихся в обстановке многонациональной общности труда, культуры, быта, искусства, короче — здесь перед нами открываются уже непосредственно многообразные эстетические возможности, еще не входившие в кругозор нашей литературы и искусства в целом, но имеющие существенное значение для всестороннего изображе-

ния процесса развития и сближения социалистических наций. «Чем интенсивнее экономическое и социальное развитие каждой из национальных республик,— говорилось в докладе о пятидесятилетии СССР,— тем более явственно проявляется там процесс интернационализации всей нашей жизни. Возьмите, например, бурно растущий Советский Казахстан. Наряду с казахами сейчас там живут миллионы русских, сотни тысяч украинцев, узбеков, белорусов и т. д. Казахская культура развивается и обогащается, все более вбирая в себя все лучшее из культуры русской, украинской и других. Что это — плохо или хорошо? Мы, коммунисты, с уверенностью отвечаем: хорошо, очень хорошо!» И далее: «Мы можем с полным основанием говорить о более широком понятии, о большом патриотическом чувстве всего нашего народа — о б о щ е н а ц и о н а л ь н о й г о р д о с т и с о в е т с к о г о ч е л о в е к а».

Это относится непосредственно и к искусству социалистического реализма, вбирающего в себя весь опыт различных областей советской культуры и в нем находящего решающие стимулы для участия в общественном прогрессе в качестве особой его области — эстетического прогресса, во всем национально-историческом многообразии советской литературы, обогащенной чувством великой общности, связывающим народы нашей страны в единое целое.

Как явление мирового эстетического прогресса, расширяющее кругозор искусства, дающее ему новое качество художественного зрения, социалистический реализм имеет непреходящее историческое значение и представляет важнейший шаг к новому великому коммунистическому искусству.

Рассматривая черты советского литературного процесса, где нам отчетливо ви-

дится связь с эстетическим прогрессом современности в целом, мы ни в коем случае не отграничиваем их, пользуясь удачным выражением В. Р. Щербины, от «единой революционной динамики эпохи». Идеи Октября именно потому и приобретали всемирно-историческое значение, что они отвечали самой природе развития демократических и социалистических элементов культуры каждого из народов, получая в силу этого самобытное и национально-своеобразное содержание и выражение.

Говоря о том, что зарубежные писатели ищут свою надежду на пути, который им указал Горький, или подчеркивая всемирно-историческое значение поэзии Маяковского, такие писатели, как Р. Фокс и И. Бехер, по сути дела, находили в классиках советской литературы наиболее значительных выразителей общемировых социальных процессов, запечатленных искусством: появление на мировой арене социалистического человека, уверенность в том, что коммунизм позволит человеку подчинить себе жизнь на земле и дать ей истинный порядок.

Понятно вместе с тем, что опыт социалистического реализма в его прямом и косвенном выражении — имея в виду, в частности, и то его влияние, которое сказывалось и сказывается в нарастающем усилении гуманистического начала в творчестве многих современных зарубежных писателей — критических реалистов (Г. Манна, Т. Драйзера, Т. Манна, Э. Хемингуэя, Р. Мартен дю Гара, Р. Мерля, М. Фриша), — не исчерпывает при всей его значительности перспектив эстетического прогресса. Эстетическому прогрессу современного искусства способствуют все формы художественного творчества, так или иначе улавливающие гуманистическое содержание нашей эпохи.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Олег Смирнов. Верность жанру. — **Г. Койранская.** Молодой писатель, молодой герой. — **Л. Левицкий.** Поэт как критик.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. А. Кондратьев. Летопись героических дней. — **В. Кузнецов.** Партийные публицисты. — **В. Ружина.** Он русский в душе...

Литература и искусство

ВЕРНОСТЬ ЖАНРУ

Юрий Нагибин. Избранные произведения в двух томах. Том первый. Рассказы. 464 стр. Том второй. Маленькие повести. Рассказы. 448 стр. М. «Художественная литература», 1973.

Заголовок этой рецензии можно толковать двояко. И в том смысле, что писатель строго соблюдает жанровые законы рассказа. И в том смысле, что он, долгие годы поработав в области рассказа, не покинул ее до сих пор. И то и другое приложимо к творчеству Юрия Нагибина, чьи избранные произведения недавно выпущены двухтомником.

В последнее время критика тревожится: рассказ хиреет. Мало их пишут, рассказов, да и худо, по совести говоря. Тревога обоснованная. После 50—60-х годов, когда жанр этот достиг расцвета, нынешнее его состояние довольно-таки очевидно, гут с критикой не поспоришь.

Заметно и сопутствующее явление: изрядное число писателей, признанных мастеров рассказа, ушло в крупные формы — повесть, роман. Тому были разные причины. Скажем, явное сужение «производственных площадей»: журналы, особенно тонкие, типа «Огонька» или «Смены», которым по их природе положено заниматься рассказами, постепенно стали отдавать предпочтение крупным жанрам. Тот же «Огонек», та же «Смена», отгеснив рассказы, печатают из номера в номер пространные детективные и научно-фантастические повести и

романы. А издательства? Они весьма неохотно издают сборники рассказов. А неумение либо нежелание литературной критики поддержать писателей-рассказчиков, невниманье к их работе, порой унижение рассказа как жанра второстепенного? Были и некоторые другие причины.

Но все-таки главная из них чисто творческая: собственная практика подсказывала прозаику, что повесть, роман больше, нежели рассказ, соответствуют природе его дарования. Впрочем, бывал и оптический обман, и тогда писатель, поняв это, блудным сыном возвращался в лоно рассказа. Ну что ж, истина, в общем-то, простая: лучше хороший рассказ, чем плохой роман.

Юрию Нагибину не было нужды расставаться с рассказом, чтобы вернуться к нему. С завидным постоянством пишет он рассказы и маленькие повести (по существу, те же несколько растянутые рассказы). Самый ранний рассказ в двухтомнике «Ваганов», помечен 1946 годом, последнее произведение Юрия Нагибина, небольшая повесть (читай: большой рассказ) «Как был куплен лес», напечатано в «Знамени» в конце 1972 года. Сколько же было создано за это время талантливым и трудолюбивым писателем! Из огромного накопления Юрий Наги-

бин отобрал для двухтомника наиболее достойное с его точки зрения. Автору, конечно, виднее, но кое в чем, касающемся конкретных произведений, отбор его можно оспаривать. Ниже я позволю себе развить эту мысль.

Читаешь двухтомник рассказ за рассказом — и перед тобой проходит череда людских характеров и судеб. За их множественностью и разностью встает сама жизнь с ее взаимосвязями, с пересечениями прошлого, настоящего, будущего. В каждом рассказе, пускай и неудавшемся, ощущаешь стремление автора прорваться к сложному и неизведанному, причем прорывы эти делаются в самых неожиданных направлениях. И дело тут отнюдь не в широте представленных в рассказах профессий, хотя, несомненно, профессия накладывает свой отпечаток на человека. Дело тут в более, на мой взгляд, существенном, — в социальной и нравственной сути человека. Вот до этой-то сути и пыгается докопаться Юрий Нагибин — направленно, настойчиво, мужественно, помня, что любой человек — неповторимая личность.

И что примечательно: при таком изобилии героев они не повторяют друг друга, разве что за редким исключением. Пристальный, зоркий взгляд художника, его незаурядное мастерство позволяют воссоздавать характеры интересные, объемные, самобытные. Читая Нагибина, вспоминаешь Чехова. Не касаясь масштаба дарований, хочу сравнить их в другом — в искусстве из множества лиц создавать портрет общества. Здесь и учитель и ученик схожи.

Да, Юрий Нагибин учился у Чехова, это видно по всему. Но видно и другое: ученик не копирует учителя, а идет своим путем, подсказанным современной ему действительностью.

Этот путь не всегда приносит удачу, зато он свой, собственный! У Юрия Нагибина много хороших, а то и отличных рассказов. Назову хотя бы «Зимний дуб», «Комарова», «Ночного гостя», «Последнюю охоту», «Дело капитана Соловьева», «Трубку», «На тихом озере», «На кордоне» — всех не перечислить, они популярны и у советского и у зарубежного читателя. Успех их коренится в безбоязненности, раскованности писателя, в неприятии расхожих схем, всевозможных видов иллюстративности, в упорном желании сказать с в о е слово — и оно говорится!

Во вступительной статье к двухтомнику Н. Атаров приводит бунинское высказыва-

ние: «Жизнь писателя есть отречение от жизни. Надо оставить все, думать только о работе, каждый день, как на службе, садиться за письменный стол, быть терпеливым...» И далее Н. Атаров заключает: «Таков Юрий Нагибин. Вероятно, таким должен быть каждый писатель».

Ну до чего же любим мы в подтверждение своей мысли ссылаться на мысль чужую (желательно, чтоб она принадлежала лицу авторитетному)! Между тем, цитации великих или полувеликих значимости нашей мысли не прибавляют, ибо если она глубокая и свежая, то ей не нужны подпорки. А если она плоская, банальна или же, бывает, ошибочна, то никакой классик не выручит.

Итак, Юрий Нагибин трудолюбив, профессионален? Это ясно и без бунинской цитаты. Но вот с похвальным, по Атарову, отречением от жизни не так все просто. По-моему, писателя надо призывать как раз к обратному: к возможно тесным связям с многообразием жизни, к «растворению» в ней. Только глубинные пласты жизни, а не верхний слой ее, способны напитать животворными соками творчество. С годами тает запас неиспользованных жизненных впечатлений, меньше становится своего, кровного, выстраданного материала, могущего лечь в основу твоих произведений. Поэтому усидчивость за письменным столом — это похвально, но важнее, во сто крат важнее идти в ногу с действительностью. Не дай бог отстанешь внутренне опустошишься — и начнешь повторяться: появятся грехи поверхностности, облегченности, беллетристического сочинительства.

Встречаются подобные грехи и у Юрия Нагибина.

В двухтомнике (но, к счастью, не во всем творчестве писателя) явствен крен в сторону так называемых охотничьих рассказов с их неизменными атрибутами. В отдельных рассказах (например, «Четунов. сын Четунова», «Как скажешь, Аурелио...» или «Срочно гребутся седые человеческие волосы») чувствуешь привкус сентиментальности, красоты, причесанности. Это не то что гладкопись, но такой прозе не хватает острых углов, горячих и суровых красок реального бытия.

Или вот — чуть подробнее — о «Пике удачи», которую автор определил как «современную сказку». Скажем прямо: сказочного в этом произведении ничего нет. А присочиненного, беллетристического сколько угодно. Фаблюно произведение вполне

достоверное: ученый на гребне торжества, слава и богатство приходят к нему, но уходит жена, несчастье столь сильно, что герой не выносит, стреляется. Однако ж в какую странную, декоративную, «под заграницу» одежду облечена эта фабула! Условность, приблизительность обстановки, в которой живут герои, надуманность их мыслей, чувствований, поступков вступают в разлад с фабулой. Поучительный урок несоответствия формы и содержания.

Как видите, я не поклонник этой вещи Юрия Нагибина. Но я решительно против грубого, разносного, бранного тона, какими разговаривали о ней иные рецензенты. О серьезном писателе и писать надо серьезно, фельетонная лихость здесь по меньшей мере неуместна. Нельзя резвиться вокруг писателя, который даже в самом своем слабом произведении остается писателем. В отличие от других. Которые даже в лучших своих произведениях остаются дилетантами.

Как читатель я предпочел бы вместо «Пика удачи» и ему подобных увидеть в «Избранном» Юрия Нагибина взволнованную, искреннюю, лишенную литературных украшательств повесть «Павлик», посвященную минувшей войне, повесть «Страницы жизни Трубникова» (по которой был создан умный, правдивый фильм «Председатель»). Кстати, обе эти повести свидетельствуют о возможностях Нагибина в крупных формах. Отчего бы ему, не порывая с рассказом, не попробовать себя смелей в такого рода прозе? Быть может, не одни рассказы — стихи Юрия Нагибина?

Рассказы. Из месяца в месяц. Из года в год. Поток рассказов. Кроме трудолюбия, у Нагибина есть и темперамент, писательская, что ли, жадность, заставляющая буквально охотиться за сюжетами, которые можно превратить в рассказы. Отсюда у него многотемность, многопроблемность, движение мысли и чувства не только вглубь, но и частенько лишьвширь. Увы, это беда всех наших рассказчиков. Хотя, наверное, нужно принимать во внимание специфику рассказа, который не в состоянии столь глубоко и всесторонне проникнуть в жизненное явление, как роман. Но в идеале рассказ должен приближаться к роману. И такой идеал есть — Чехов. Пример: «Дама с собачкой». Правда, Чехов — гениальное исключение, однако равняться-то надо на высшие образцы.

Когда-то, по воспоминаниям Короленко,

двадцатипятилетний Антоша Чехонте, беседа с ним, оглянул стол, взял первую попавшуюся на глаза вещь (это оказалась пепельница) и сказал: «Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие: «Пепельница».

Про пепельницу написать? Мог бы, еще как. Но зачем, во имя чего? Зрелый Чехов, тот, что вошел в мировую литературу и вместе с Толстым и Достоевским по сю пору могуче влияет на нее, — этот Антон Чехов никогда не разменивался на пустяки, его рассказы и повести были, говоря по-нынешнему, глубокойдейными. Хотя, как истинный художник, Чехов не преподносил идею на блюдечке, а заставлял самого читателя доискиваться ее в произведении, заставлял думать, сопереживать.

Чехов обладал столь совершенным мастерством, что мы его как будто и не замечаем. Высочайшая простота, словно это не литература, а сама жизнь, — вот как написаны чеховские шедевры. Глубочайшее проникновение в суть явлений, в человеческие души, «открытие мира» и непревзойденное мастерство, так упрямое, что его и не разглядишь, — эти два начала и составляют подлинную, большую литературу.

А мы, современные прозаики? Мы выставляем напоказ свое умение, щеголяем мастерством: дескать, глядите, каков я, здорово, а могу и похлестче! В том же предисловии Н. Атаров утверждает: «Профессионализм Нагибина — отличный пример его товарищам по перу, особенно в наше время, к сожалению, заметно «растренированной» литературной формы...»

Да нет же, скорее, продолжая пользоваться спортивной терминологией, речь может идти о «перетренированности» нашей литературы. Сейчас и стар и млад до тонкостей овладел литературной технологией, великолепно пользуется деталью, подтекстом и прочим. Как изъясняются литературоведы, значительно выросла культура письма. А по-иному: наловчились, набили руку — ого! Печаль в том, что умение писать бьет в глаза, а подлинная жизнь подчас подменена книжной, вторичной — и сразу в произведении перекося. Нас же корят «растренированностью» формы. Другим корить нужно бы нас. И Юрия Нагибина в том числе...

Очень сожалею, что повесть «Как был куплен лес», о которой я уже упоминал, не успела попасть в двухтомник. Действие в ней как будто обыденно, житейски-приземленно: Жгутов, делец с волчьей хваткой, добивается того что Надежда Филаретовна

фон Мекк продает ему лес. Мекк довольна: совершила доброе дело. Жгутов тоже доволен: провернул выгодное дело. Но эти два «дела» логикой событий сталкиваются, и столкновением высекается вдруг слепящий читателя свет. Поглощенная любовью к Чайковскому, фон Мекк становится еще счастливей, а Жгутов начинает глухо томиться при виде ее счастья и нравственной красоты. Он бы, может, и хотел в чем-то измениться, да поздно, пути заказаны. Барыш, накопительство для него по-прежнему мерило всех ценностей на земле. Но не радость он испытывает от покупки, а злону, потому что осознает: не все, оказывается, можно приобрести за деньги. Повесть реалистична, психологически точна, автор следит за малейшими душевными движениями своих героев (имею в виду Жгутова и фон Мекк; Чайковский не в счет, он как

бы на заднем плане). Характеры в постоянном развитии, они, что называется, текучи. А уловить эту самую «текучесть» под силу лишь настоящему писателю.

Повесть «Как был куплен лес» — подтверждение непрекращающихся художественных поисков Юрия Нагибина, и это радует.

При известных издержках творчества Юрия Нагибина он тем не менее является едва ли не виднейшим нашим рассказчиком. Выпуск его избранных произведений не подведение итогов, а некий рубеж, перевал, с которого неплохо видно окрест; вдали — не так чтоб очень уж далеко, но и не близко — встают новые, еще не достигнутые пределы. И мне кажется: эти два тома — залог того, что писатель достигнет их, новых пределов.

Олег СМЕРНОВ.



МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬ, МОЛОДОЙ ГЕРОЙ

Анатолий Черноусов. Практикант. Повесть. «Сибирские огни», 1973, № 1.

Андрей Скворцов, герой повести А. Черноусова «Практикант», живет в ощущении безграничности, многомерности мира, который его окружает. В тесноватой комнате студенческого общежития, где уместились пятеро однокурсников, он с такой же жадностью хочет освоить философское представление о пространстве и времени, самостоятельно постичь учение Платона, с какой в огромных цехах крупного завода по производству автоматических линий и установок он стремится осмыслить работу предприятия как единого целого, где труд каждого связан с трудом всех и судьба человека во многом определяется организацией производства, в котором он занят. Производство же это требует высокой квалификации и особо гибкой, творческой мысли, поскольку завод осваивает машины мелкосерийные и часто уникальные. Инерция, привычка, шаблон допустимы здесь меньше, чем на каком-нибудь другом предприятии. Человеческая нравственность, экономика и техника оказываются связанными в один житейский и литературный сюжет.

Повесть написана о человеке, который хочет вжиться в производство, ощутить все его «вибрации» и состояния, внутренне освоить его с разных точек зрения: сегодня, проходя свою студенческую практику, он слесарь-сборщик, через два года явится сюда инженером, еще через несколько лет он

может оказаться крупным руководителем. И каждое из этих положений Андрей стремится постичь не из честолюбия, а чтобы увидеть происходящее объективно и объемно. В этих внутренних перевоплощениях — духовная сторона его производственной практики. Но и материальная, рабочая сторона этой практики показана в повести в разнообразной ее конкретности. Вживание героя в производство происходит на протяжении всей повести — и тогда, когда Андрею приходится вручную изготовить несколько десятков резиновых колец, и когда мастер доверяет новичку-студенту сборку целого редуктора. Однажды поздним вечером с высоты площадки, подготовленной для большого конвейера, перед Андреем развернулось все пространство сборочного цеха, и ему показалось, что цех — это громадный корабль, плывущий в неизведанную даль, а может быть, ракета перед космическим стартом. Творческое напряжение все время владеет героем А. Черноусова. Под напряжением находится и повесть — в ней как бы два полюса притяжения, выраженные, однако, художественно неравнозначно. Этой неравнозначностью отмечен и образ главного героя Андрея Скворцова.

Есть в произведении пассажи, которые удручают своей лекларативностью. Импровизирует ли Андрей свой трактат о «превращении Западно-Сибирской платформы в

центр мировой цивилизации», где «вырастут такие промышленные комплексы, такие города и космодромы, какие и не снились человечеству...»; состязается ли с американским студентом Бобом Гудменом; размышляет ли о будущей судьбе рабочего класса при социализме, когда рабочий, окончивший вуз, «останется в цехе, сядет за пульт управления линией или участком», — декларативностью, а иногда и просто декламацией здесь отдает едва ли не каждая фраза. И такие страницы не спасает ни азартность речи, ни горячность стиля. Вот образчик: «Ведь всем известно, что Западно-Сибирская равнина — это край несметных природных богатств. Но это еще и место, наиболее удаленное от капиталистического мира. Здесь воздух, господа, самый чистый... Трескучие морозы, согласитесь, не благоприятствуют размножению всякого рода гнили... Зато для дерзаний атмосфера здесь самая подходящая».

Но скажут: разве современная проза не допускает в свои владения и реальный исторический документ, и философское эссе, и прямую публицистику? Несомненно, допускает. Но при одном условии: если их присутствие оправдано идейно-художественной задачей, если эти вкрапления действительно несут в себе заряд исследования — пусть даже и не открытие, — то тем не менее новую мысль, свежее слово. Рассуждения же Скворцова справедливы, и только. Больше того, местами они досадно поверхностны.

Есть в повести декларативность и другого рода, она связана с изображением интимного мира молодого героя. На редкость невыразительно написаны отношения Андрея с юной табельщицей Наташей. Андрей чисто-сердечно привязан к Наташе, он защищает ее от хулиганов, посвящает в свои увлечения и мечты, молодые люди гуляют по утреннему городу, участвуют в субботнем массовом выезде за город, устроенном заводом... И опять-таки все это не больше как милые поступки, бытовые эпизоды, которые могут быть в произведении, а могут и не быть: они не воспринимаются как события внутренней жизни героев, в отношениях Андрея с Наташей нет психологической обязательности, они банальны. Положено, чтобы у героя была любовь, — и появляется бесплотная, «голубая» девушка, отношения с которой ничего не объясняют в Скворцове, не дают его душе никакого движения...

Но когда Скворцов приходит в цех, когда герой остается с многолюдным производством наедине, когда автор, как бы обучая своего героя плавать, бросает его в море производственных отношений — барахтайся, выплывай, — тогда повесть обретает настоящую драматическую энергию.

Андрей воспринимает производство как сложный, живой и целый организм, который дышит то ровно, ритмично, то затрудненно, с перебоями, то его лихорадит. Интересен в повести А. Черноусова образ производства, написанный динамично, переживающий в пределах маленькой повести свою судьбу. Склонность героя к размышлению, его желание постичь материальные, душевные, нравственные связи человека и машины (а в его воображении каждая деталь, машина и весь завод наделены душой) — все это делает такой образ производства подвижным, способным переживать и минуты подъема и усталость от перенапряжения.

Автор не побоялся дважды ввести один эпизод: тот, что как прологом открывает повесть и потом — уже на своем сюжетном месте, в расширенном варианте — повторяется в финале.

Кто же не закрепил плиту? Когда бригада впервые запустила собранную машину и Андрей восторженно наблюдал, как оживала машина, которая собиралась и его руками, смотрел на «разумную согласованность ее движений и гордился ее сложностью, ее назначением», в этот самый момент при полутора тысячах оборотов в минуту что-то грохнуло в машине, ударило в фермы моста, раскололось; сейчас порвутся резьбовые соединения, расползутся сварные швы, искорежатся стальные фермы... В этот самый момент Андрей в два прыжка подскочил к растерявшемуся электрику и вместе с ним выключил ток. Машина была спасена, осколок, пронесший мимо уха Андрея, не задев голову, разбрызгал стекло и ушел в окно... Но не поступок Андрея занимает автора и самого героя, не к этому устремлено повествование. Из-за пустяка, из-за плохо закрепленной плиты чуть было не погибли люди вместе с дорогостоящей машиной, в которую вложено было столько человеческого труда...

Институтский преподаватель, которому Андрей сдает экзамен, выяснив, что тот пытался понять Платона хоть и самостоятельно, но штурмом, как водится у студентов, за два предэкзаменационных дня, говорит себе: «Чертовски способный народ... Талан-

тов тьма... Но нет порядка внутри себя... Губим себя, губим».

Перегрузка, перенапряжение, когда в последние дни месяца завод выгоняет месячный план,— это привело к аварии, едва не ставшей катастрофой. «Нет порядка внутри себя...» В том, чтобы одолеть штурмовщину, видит Андрей точку приложения своих сил в будущем. Он нашел свою проблему, свою задачу. У отца Андрея, работавшего совхозным бухгалтером, истинное призвание было совсем не финансовое — он любил мастерить всякие хитроумные устройства и механизмы. В деревенском доме Скворцовых было механизировано все вплоть до бани, где во вращающееся колесо вставлялись березовые веники. Любовь к изобретательству, унаследованную от отца, Андрей хочет обратить не на чудачества, а найти ей истинное применение. От доморощенного изобретательства к научной организации производства — такова семейная хроника Скворцовых, такова дистанция, которую предстоит одолеть таланту Андрея в поисках своего предназначения, таков путь его личной зрелости. Это тоже сборка, тоже наладка, но в применении к иным масштабам, где требуется новый интеллектуальный и духовный кругозор.

Андрей обладает важной и очень современной способностью мыслить масштабно, связывая в одно разнородные и, казалось бы, далеко отстоящие друг от друга явления. Спелеология и Платон, старый сварщик Багратион и Гена-солдатик, живущий любовью к автоматике и любовью к польке Магде, с которой познакомился, когда проходил службу в Польше,— все находит необходимое место в мыслях Андрея Скворцова.

Самые интересные страницы и главы повести — последние, когда бригада приступила к сборке машины и каждый выкладывался полностью, отдавая ей всю силу, квалификацию, весь заряд мускульной и духовной энергии. Напряжение человеческой энергии, переливающейся в будущую машину, А. Черноусов передает с настоящим драматическим напором. Из этого общего напора он вырывает ненадолго то одну фигуру, то другую: мастера, отдавшего цеху всю жизнь и давно забывшего свою мечту о науке; Шуру Панкратова, человека в цехе случайного, которого сюда забросило безденежье; Гену-солдатика, оторванного в эти дни от любимых семинаров и конспектов по технологии; пожилого сварщика Багратиона, кадрового

рабочего, прошедшего фронт и вернувшегося в цех...

...«Сварщик Багратион, ведя потрескивающий электрод вдоль планки и приваривая эту планку красным остывающим швом, чувствовал, как ноют, мозжат кости искаленной ноги. Иногда боль становится настолько сильной, хоть кричи».

...«Но куда денешься?.. Надо. Мне надо. Другим надо. Машина-то как хлеб нужна. Формовщики, поди, ждут не дождутся... Им, может, потруднее, чем нам тут. Для них она, матушка, — спасение».

...«Подсчитать бы, которая эта машина у меня? Может, уже тысячная?.. Вот собрать бы в кучу все, что я переверочал за всю жизнь. Ого-го получилась бы гора. В цех бы этот не влезла, поди».

На нескольких страницах Черноусов создает выразительный портрет рабочей бригады, спаянной одним трудом, когда чувства каждого человека сосредоточились, кристаллизовались, хотя самим людям кажется, что в них не осталось ничего, кроме напряжения и пришедшей вслед за ним усталости. Герои увиденны в движении и ракурсе, в трудных раздумьях. («Почему мы должны надсаживаться, вместо того чтобы весь месяц работать равномерно и спокойно? Багратиона это не возмущает, он сжился, стерпелся со штурмовщиной, она стала как бы чертой его характера. Как, впрочем она стала чертой характера и главинжа. И винить их в этом нельзя»).

Постигая современную технику и организацию современного производства, практикант Андрей Скворцов осмысливает, естественно, и роль человека в современном производстве не только как поставщика мускульной энергии, а как творца, духовной и интеллектуальной энергией которого питается производство во всех своих звеньях. Какими бы несовместимыми, разноречивыми ни были личные чувства, стимулы и стремления каждого из членов бригады — рыжего электрика, Сени-школьника, Гены-солдатика самого Андрея Скворцова,— без понимания самоценности этих чувств, мотивов, судеб без уважения к личности современного производства не наладишь. В каждом человеке Андрей начинает угадывать суверенный духовный мир, который так или иначе требует, чтобы с этой суверенностью считались. В осознании этого важнейшего обстоятельства заключается, может быть, один из главных итогов заводской практики Андрея Скворцова.

То, что для Скворцова является задачей нравственной, то перед автором повести встает задачей творческой. Эффект, которого А. Черноусов достигает, когда создает портрет напряженно работающей бригады сборщиков,— свидетельство, что он умеет видеть человека, когда тот трудится, умеет различать, как индивидуален труд каждого не только по своему техническому содержанию, но и по своей психологической окраске.

Жаль, что это в повести пока только «островки», что порой весь-то образ человека только и сводится к «мотивам поведения». Читатель же ждет исследования целостного характера, пластичного и неповторимого в своем духовном богатстве; цен-

ность которого так остро ощутил Андрей Скворцов во время заводской практики.

И словно смыкаются профессиональные устремления автора-литератора и героя-инженера: то, что Скворцову в недалеком будущем предстоит решать в цехах, автору предстоит решать художественно. Журнал «Сибирские огни» проявил чувство времени, дав этой повести дорогу. В сегодняшней литературе о рабочем классе, о современном производстве важен каждый опыт, каждая честная попытка художественного осмысления происходящих процессов. Но «Практикант» — это лишь начало. Сам автор повести прежде всего должен отдавать себе в этом трезвый отчет.

Г. КОЙРАНСКАЯ.



ПОЭТ КАК КРИТИК

Лев Озеров. *Мастерство и волшебство. Книга статей. М. «Советский писатель». 1972. 392 стр.*

Немного найдется в современной литературе поэтов, которые так увлеченно занимались бы проблемами развития поэзии, как занимается ими Лев Озеров. Работа над стихами неотделима у него от работы о стихах. Статьи о поэзии для него не нечто побочное, чем он пробавляется в часы досуга, а дело такое же кровное, как и стихи, которые пишет.

Чуть меньше десяти лет назад вышла в свет книга Л. Озерова «Работа поэта». Ее составили статьи о заметных вехах русской поэзии XIX и XX веков — о Баратынском, Батюшкове, Ахматовой; отклики на стихотворные сборники поэтов широко известных — Александра Яшина и Бориса Слуцкого, и мало кому ведомых авторов — Клары Арсеновой и Якова Городского. Отношение к русским поэтам не как к памятникам ушедшей эпохи, а как к неотъемлемой части нашего сегодняшнего духовного существования; уверенность, что литература состоит не только из вершин, а сами вершины можно во всей глубине постичь только в сопоставлении со средой, какая их окружает; внимание ко всему живому, пусть и неброскому, что появляется в области современного стихотворчества; умение за деревьями видеть лес, а в лесу каждое растущее в нем дерево — таковы были примечательные особенности подхода автора к поэзии.

Новая книга Л. Озерова — «Мастерство и волшебство» — не только примыкает к той,

что вышла в 1963 году. Она ее естественно продолжает и дополняет. Мы находим в ней статьи о судьбе творческого наследия Пушкина, Тютчева, Фета, Блока, Пастернака. Л. Озеров пишет о старших своих современниках — Багрицком и Асееве, Сельвинском и Светлове, Антокольском и Ушакове. Но не только эти имена, знакомые всем и каждому, привлекают его внимание. Он обращается к поэтам, по тем или иным причинам выпавшим из поля зрения критики, — к Вере Звягинцевой и Петру Семьнину. Когда прочитываешь обе книги Л. Озерова, складывается впечатление, что их автор серьезно работает над тем, чтобы создать свою карту русской поэзии. Он отдает себе отчет, что ценность этой карты будет тем большей, чем меньше будет на ней белых пятен, и он спешит их заполнить.

Многие статьи задолго до того, как они вошли в «Мастерство и волшебство», появлялись в журналах и в газетах. Писались они в связи с какими-то конкретными обстоятельствами, и едва ли их автор помышлял о том, чтобы впоследствии, когда им суждено будет оказаться под одной крышей, они были созвучны друг другу. Тем отраднее, что книга отличается внутренней цельностью, будто заключенные в нее статьи с самого же начала задумывались как связанные меж собой части непрерывного критического повествования.

В чем кроется причина этого органического единства книги?

Пушкин писал: «Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы... Где нет любви к искусству, там нет и критики».

Я думаю, что истоки цельности книги Л. Озерова — в его выношенном отношении к поэтам, о которых он пишет. Ему дорога поэзия, и он ей по-настоящему предан.

Такое отношение человека искусства к делу, которому он всецело посвятил себя, кажется нам само собой разумеющимся. Однако реальные факты далеко не всегда подтверждают эти радужные представления. Случается — и куда чаще, чем хотелось бы, — что поэт, клянясь на каждом шагу искусством, любит не столько поэзию, сколько себя в поэзии. Он готов милостиво встретить современные стихи, напоминаящие ему собственную манеру, и он с затаенным раздражением взирает на все, что далеко от его вкусов и пристрастий. Не будем возводить на него напраслину. Он поэт, и ничто поэтическое ему не чуждо. Он способен и гармонией упиться, и облиться слезой над вымыслом, когда это гармония его стихов и его собственный вымысел. И с трудно скрываемым недоумением смотрит он на того, кто упивается гармонией чужих стихотворений и обливается слезами над чужим вымыслом. Когда такой самовлюбленный поэт выступает в роли критика, в его высказываниях о работе коллег неизменно сквозит высокомерная снисходительность. Все, что слетает с его божественных уст, исполнено нешуточной важности. Что же до товарищей по перу, то в них он видит не более как однообразный фон, извинительный лишь тем, что помогает оттенить его литературную значительность.

Л. Озеров приветлив и доброжелателен. Он обладает драгоценным свойством радоваться поэтическим успехам современников как своим собственным. Каждая удачная строка, каждая счастливая находка, каждая зоркая подробность и выразительная метафора вызывают у него неподдельное восхищение. Своими статьями он приглашает читателя к сопереживанию и сотворчеству.

В идеале в каждом пишущем о стихах должны уживаться как бы два человека: внимательный читатель, непосредственно воспринимающий то, что он читает, и аналитик, то есть исследователь, умеющий разобраться в «механизме» стихотворения и в бесчисленных его сцеплениях с обстоятельствами житейскими и литературными. Если пишущий утратил способность живого и не-

посредственного чувствования, он неизбежно будет воспринимать стихотворение чисто рационалистически — не как поэтическую ткань, а как некую сумму логической информации, обостренную не совсем привычной формой. Если же профессиональный опыт не помогает автору статьи извлечь из стихотворения все, что в нем заложено, он мало что прибавит к тому, что читатель и без него знает. Отсутствие непосредственности восприятия у поэтов, пишущих о стихах, встречается довольно редко. Куда чаще это является уделом критиков и литературоведов. Зато поэтам, занимающимся критикой, угрожает другая опасность. Непреодолимое отвращение к скрупулезному исследованию, кажущемуся им занятием крайне утомительным и скучным, простодушная вера в то, что врожденное чутье, или, лучше сказать, нюх, с лихвой заменяет всякие там ученые мудрствования, приводят к тому, что преобладающим свойством подобных выступлений становится велеречивая риторика, приправленная поверхностной эмоциональностью, которую их авторы в порыве самообольщения принимают за некую разновидность импрессионистической критики. Слово импрессионизм — это безбрежное своеволие, а взволнованность исключает глубину!

В своих статьях Л. Озеров избежал этой болезни. Когда стихи ему по душе, он не скупится на похвалы, но основывает их не на возгласах, а на аргументах. Он цитирует поэтов. Он анализирует ткань. Он, если для этого есть достаточный материал, сопоставляет разные редакции стихотворений. И не только сопоставляет. Он стремится разобраться в мотивах, продиктовавших поэту отказ от одного строя образов и поиски более точного и выразительного их художественного эквивалента.

Примером такого тщательного разбора может служить статья о Борисе Пастернаке. Многим, кто обращался к творчеству поэта, бросалась в глаза чуть ли не пропасть, которая пролегла между ранней и поздней его стихотворной манерой. Л. Озеров не проходит мимо перемены образной системы и стилистики Пастернака, но он показывает, что между метафорическим изобилием ранних стихов и почти классической строгостью последних существует внутренняя преемственность. В полном согласии с истиной он констатирует: «Без раннего Пастернака не было бы позднего».

Ставя в центр критического разбора поэти

ческий текст, автор охотно привлекает факты, проливающие дополнительный свет на обстоятельства, связанные с поэтами и стихами. Нет, наверно, книги и статьи о Михаиле Светлове, в которой не рассказывалось бы о том, с каким воодушевлением встретил Маяковский «Гренаду». И мало кому известно (я почерпнул это свидетельство в книге Л. Озерова), что восторженный ценительницей этого стихотворения была Марина Цветаева, писавшая в своем письме: «Передай Светлову («Молодая гвардия»), что его «Гренада» — мой любимый — чуть не сказала: мой лучший стих за все эти годы».

Но успех критической книги решают, понятно, не эти, пусть и выигрышные, частности, а способность автора проникнуть в мир поэта. В глазах Л. Озерова, справедливо считающего, что в работе художника не бывает заслуживающих пренебрежения мелочей, стихотворение несводимо к сумме более или менее удачных строк. Для него стихотворение — это живой организм, природа и сущность которого во всем объеме открывается тому, кто внимателен к совокупности сопутствующих ему обстоятельств. Ценность стихотворения в том, что в нем с покоряющей неотразимостью проявляется своеобразие личности его создателя. От стихотворения к биографии и характеру автора, от жизни и судьбы поэта к постижению сути стихотворения — такова основа двуединого подхода Л. Озерова к поэтическому творчеству. Каждый раз, когда он последовательно идет по этому пути и рассматривает работу поэта в единстве с его биографией и личностью, его суждения и выводы обретают убедительность. Это в равной мере относится к статьям и о поэтах прошлого и о наших современниках.

Написанное об Афанасии Фете намного превышает то, что написал сам Фет. Прибавить что-либо новое к уже сказанному совсем не просто. И если Л. Озерову удалось не повторить своих предшественников, а дать в некоторых случаях оригинальное толкование этого цельного в противоречивости и противоречивого в цельности поэта, то объясняется это тем, что он свежо прочитал не только его стихотворения, но и биографию.

Не надо обладать особой наблюдательностью, чтобы заметить, что стихотворения и поэмы Павла Антокольского густо пересыпаны фактами культуры и истории, именами реальных деятелей прошлого и вымышленных литературных героев. В этом неред-

ко готовы были видеть дань литературным условностям и своего рода парад необязательной эрудиции, подвергая их автора за это сатирическому обстрелу. И хотя ни для кого не было тайной, что поэт в юности увлекался сценическим искусством, пробуя свои силы в режиссуре, этому факту не придавали особого значения. Мало ли кто чем занимался до того, как нашел свою дорогу!.. Шел в комнату, попал в другую, понял, что последняя одна отвечает его склонностям, а о первой и думать забыл — так схематически представляли себе путь Антокольского. Для Л. Озерова театральная «роман» поэта — не случайный эпизод его биографии, а сквозная страсть всей его жизни. Да, Антокольский рано распрощался с театром, он давным-давно перестал практически в нем работать, но поглощенность театром не иссякла у него. Она лишь видоизменилась. Повернутость к событиям и людям прошлого и приверженность к литературным реминисценциям ничего общего не имели с тщеславным стремлением продемонстрировать эрудицию: они служили властной потребности к перевоплощению.

Л. Озеров так выражает свою мысль: Антокольский — «лирик и эпик, остающийся всюду и всегда драматургом. Драматургом в широком понимании слова. Не обращаясь непосредственно к театру, он остается артистом, умеющим мгновенно перевоплощаться. За движением человеческой души ему видится действие».

В каждом поэте, о котором он пишет, Л. Озеров старается отыскать характерные признаки, присущие ему одному и придающие его художническому облику печать единственности и неповторимости. Свои выводы он стремится облечь в сжатую, энергичную, а порой и афористическую формулу.

Вот как он говорит о Светлове: «Он не вешал на юности мемориальную доску. Он жил юностью и юношеством... Светлов не столько говорил о своем поколении, сколько продлевал его жизнь в стихе. Он духовно возвращал молодость людям, с которыми физически старился».

Как бы вы ни отнеслись к этой мысли, вы не забудете ее: выраженная лаконично и остро, она врезается в память.

А вот как он пишет о Николае Асееве: «Асеев превратился как бы в прилагательное к Маяковскому. Да и сам Николай Николаевич, так много сделавший для популяризации наследия Маяковского, закрепил за

собой место рядом с ним... Верно, у Маяковского и Асеева программа была общая. Но решали они ее по-разному. У Маяковского преобладал тон, у Асеева — полутон. Маяковский — на резком ораторском жесте, Асеев — на песенном движении слова. Маяковский — на размашистой поступи, Асеев — на ритмичном, размеренном шаге... Когда оба поэта были живы, все подчеркивали черты их общности. С годами мы будем все более и более подчеркивать черты их различия, более того — удивительной несхожести».

И те, кто безоговорочно подпишется под этими словами Л. Озерова, и те, у кого найдется что возразить на них, почувствуют признательность к их автору за то, что он дал толчок мысли.

Порой поставить проблему и верно очертить ее контуры бывает не менее плодотворно, чем найти ее исчерпывающее решение. Впрочем, до окончательного решения еще далеко, и потому отнюдь не лишне иметь под рукой во многом верную рабочую гипотезу. У меня нет сомнений, что после книги Л. Озерова читатель почувствует желание познакомиться с теми поэтами, о которых он впервые услышал от ее автора, и испытает потребность еще раз вернуться к хорошо известным стихотворениям, и эта встреча окажется для него плодотворнее, чем все предыдущие: поэт-критик помог ему увидеть то, что раньше ускользало от его внимания.

Стоящие несколько особняком от монографических статей «Письма о поэзии» служат той же цели: они вводят читателя в творческую лабораторию поэтов, помогают окинуть взглядом вдохновенный и мучительный путь, какой проходит мастер в процессе работы, — от едва брезжущего, порой смутного замысла до законченного и отлитого в совершенную форму стихотворения. Таковы письма «Дверь в мастерскую», «Поэтическая экономия», «Ода эпитету», в которых Л. Озеров проявил себя пытливым исследователем и строгим судьей. Восхищаясь художническим даром находить единственные слова и выражения, заключающие в себе духовные и психологические открытия, он с резкой прямоотой говорит о стихотворениях, в которых поэтическое постижение действительности подменено лучше или хуже зарифмованными банальностями. Поучительно, что в оценке поэтов и стихотворений Л. Озеров не признает табели о рангах. Если строки несостоятельны, автор демонстрирует

их уязвимость, нисколько не смущаясь тем, что они принадлежат поэтам широко известным (будь то Смеляков или Дудин, Ошанин или Долматовский). О художнике надо судить по его достижениям, а не по срывам. Но если срывы выдаются за достижения, это только сбивает художника с толку, прививая ему ложную уверенность в том, что он автоматически обречен на успех — даже когда он не может совладать с материалом.

Не из желания уравновесить достоинства и недостатки, а истины ради надо сказать, что куцым выглядит письмо о тексте и подтексте. В нем затронута множество вопросов. Автор говорит о «валентности» слова, о его способности менять значение и смысл в зависимости от контекста, о метафоре и символике. После этих мимолетных замечаний Л. Озеров приступает к теме, обозначенной в заголовке. Он пишет: «Некоторые современные поэты так озабочены подтекстом, что подчас забывают о тексте. Да, да, текст пишется кое-как, вихляющей рукой, облысевшей кистью, в которой осталось несколько волосков, вся надежда автора на доверие читателя, зрителя, слушателя. Не понял, не уразумел, не дошло — значит, ты безнадежно отстал. А кто хочет отставать? Значит, у тебя нет воображения... Но дело обстоит как раз наоборот. Только из текста рождается подтекст. Подтекст — это глубина текста... Забота о подтексте есть прежде всего забота о тексте, о глубине и многоплановости поэтического образа, выраженного в слове». Сказано это не без размашистости и походит скорее на заклинание, чем на попытку серьезно разобраться в одной из самых сложных и наименее исследованных литературных проблем.

Для эпиграфа к одной из статей своей книги Л. Озеров выбрал слова: «Во многом глаголении несть спасения» (трудно только понять, почему это меткое выражение, заимствованное из Евангелия, объявлено им пословицей). Золотые слова! Они имеют самое непосредственное отношение к поэтической экономии, за которую ратует автор. Но экономия — это не только малая словесная площадь, это еще и густота «населенности» площади наблюдениями, доводами, мыслями — всем тем, чего так мало в «письме» о тексте и подтексте. Л. Озерову есть смысл вернуться к этой теме. Она того заслуживает. Автору она по плечу. В этом убеждают лучшие статьи книги.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.



Политика и наука

ЛЕТОПИСЬ ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ

Летопись героических дней. Хроника важнейших историко-партийных и революционных событий в Москве и Московской губернии. «Московский рабочий». 1973. 592 стр.

История Великой Октябрьской социалистической революции богата событиями огромной важности, свершениями всемирного значения, под влиянием которых и ныне развивается все человечество. Выдающуюся роль в подготовке и проведении Великого Октября вслед за Петроградом сыграла Москва — крупнейший экономический и общественно-политический центр России.

Рецензируемое издание, подготовленное Институтом истории партии при МГК и МК КПСС, впервые в историографии¹ на конкретных фактах, день за днем, в строгой хронологической последовательности раскрывает перед читателем грандиозную картину бурного нарастания революционного движения в Москве в 1917 году, начиная с 27 февраля — исходного рубежа Февральской буржуазно-демократической революции — и кончая 3 ноября, когда силы врагов советской власти были наголову разбиты войсками Московского военно-революционного комитета и над Кремлем взвился победный красный флаг.

Хроника как особый вид научно-справочной литературы строится на основе широкого круга разного рода прежних публикаций, а также по материалам архивов, газет, листовок и т. п. Авторы использовали произведения В. И. Ленина, его характеристики и оценки московских событий, указания московским большевикам накануне и в дни Октября. В книге много кратких хроникальных заметок, свидетельствующих о крепких, постоянных связях большевиков Москвы и Московской губернии с Ленинским, о его высоком, непрерываемом авторитете в революционной среде.

Положительная сторона книги — полное использование партийных документов, в том числе протоколов ЦК РСДРП (б) за 1917 год, переписки ЦК с местными партийными организациями, изданной в 1957 году, хроники деятельности ЦК партии за 1917 год, увидевшей свет в 1969 году. С особой тщательностью авторы изучили та-

кие важные источники, как газета «Социал-демократ» (орган московских большевиков), издававшаяся с 7 марта 1917 года, «Известия Московского Совета рабочих депутатов», выходившие со 2 марта 1917 года, «Деревенская правда», первый номер которой вышел 4 октября 1917 года, «Известия Московского военно-революционного комитета», продолжившие выпуск «Известий» Моссовета с 3 ноября 1917 года.

Для пополнения хроники были обследованы некоторые фонды партийных архивов, давшие новые ценные исторические факты. Например, о создании уже 2 марта, вскоре после общегородского Света, некоторых районных Советов; о распоряжении Временного правительства посылать на народные митинги специальных ораторов для «противодействия» большевистской агитации; о заседании 14 апреля Богородской организации большевиков с участием 1476 членов партии; об избрании 22 июня в руководящий орган МК РСДРП (б) В. М. Лихачева, И. Ф. Арманда, О. А. Пятницкого, Р. С. Землячки, В. С. Сергеева, Г. А. Усиевича и И. В. Цивцивадзе, кандидатами — Б. М. Волина и В. Н. Подбельского; цифры роста заводских большевистских ячеек, о пере выборах депутатов в Совет Хамовнического района от завода Второва 22 сентября — за большевиков подано 3125 голосов, за эсеров 70 и меньшевиков 18; об ускорении формирования отрядов Красной гвардии среди железнодорожников и т. д.

Читая хронику (а в ней за каждый день дается по несколько сообщений, иногда по десяти и более, с соответствующими ссылками на источники), воочию убеждаешься в огромной творческой революционной энергии московских трудящихся, в необратимом процессе большевизации районных и центрального Советов.

Этап за этапом, выполняя исторические решения VI съезда РСДРП (б), шла трудовая Москва к вооруженному восстанию против ненавистного антинародного Временного правительства. 12 августа в Москве и Подмоскovie на всеобщую забастовку против московского совещания контррево-

¹ Если не считать краткой хроники «1917 год в Москве». М. «Московский рабочий». 1934.

люции поднялось 400 тысяч человек. Такого бурного и одновременного дружного политического выступления пролетариата в одном городе история еще не знала. «Стачка в Москве 12 августа доказала, — писал в те дни Ленин, — что активный пролетариат за большевиками...»².

5 сентября, через четыре дня после Петрограда, Московский Совет принял большевистскую резолюцию «О власти», что позволило Ленину сделать величайшей важности вывод: отныне «большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки»³. События сентября и первых недель октября были насыщены острой классовой борьбой, в ходе которой под влиянием многочисленных требований рабочих и профессиональных союзов московские большевики развернули так называемую «декретную кампанию» — издание Моссоветом декретов о признании фабрикантами и заводчиками прав фабрично-заводских комитетов и об обязательном удовлетворении под угрозой ареста всех справедливых требований рабочих. Вопреки отчаянному сопротивлению эсеров и меньшевиков на пленарном заседании Моссовета 24 октября был принят декрет № 1 и воззвание «Ко всему трудящемуся населению», призывавшее к решительной борьбе за власть Советов.

Готовя массы к выступлению, московские большевики через газету «Социал-демократ», выходившую в октябре сорокасмысленным тиражом, призывали: «Начинается решительная борьба. Мы уверены, что примеру Московских Советов последуют все Советы России... Решительный шаг сделан. Сплачивайтесь все рабочие, солдаты и крестьяне вокруг своих Советов и нашей революционной партии большевиков».

Утром 25 октября в Москве стали действовать Партийный центр — политический орган московских большевиков по руководству восстанием — и большевистский состав Московского военно-революционного комитета — боевого органа Моссовета по осуществлению захвата власти. Силами до 30 тысяч красногвардейцев и специальных отрядов революционных солдат 55-го, 56-го, 85-го, 193-го и других полков в течение нескольких часов, до второй половины 26 октября, в городе и Подмосковье были взяты под охрану банки, почта, телеграф, те-

лефон, радиостанции, типографии, мосты, железнодорожные вокзалы, все фабрики и заводы. Московский ВРК осуществлял свою власть через специально назначенных комиссаров, в числе которых были А. С. Ведерников, В. Н. Подбельский, Н. Н. Прямыков, И. В. Русаков, Н. А. Семашко, А. Г. Шлихтер и многие другие.

В хронике убедительно раскрывается, как готовился и с вечера 27 октября развивался контрреволюционный мятеж против победившей власти Советов, начатый в Москве почти одновременно с антисоветскими выступлениями в Петрограде и под Петроградом. Потребовалось шесть дней упорных вооруженных боев, прежде чем мятежники капитулировали.

Авторы заканчивают книгу знаменательными словами из манифеста Московского ВРК «Ко всем гражданам г. Москвы» от 3 ноября: «Впервые в человеческой истории трудящиеся классы взяли власть в свои руки, своей кровью завоевав свободу. Эту свободу они не выпустят из своих рук. Вооруженный народ стоит на страже революции. Слава павшим в великой борьбе! Да будет их дело — делом живущих».

Отмечая достоинства рецензируемого труда, богатство его фактического наполнения, вместе с тем необходимо сказать о недостатках работы. Авторам, как ни печально, менее всего удался раздел хроники за октябрь, особенно за 25 и 26 числа, когда в Москве происходило вооруженное восстание. Среди событий 25 октября не приведены факты о деятельности в этот день большевистской фракции Моссовета, которой МК партии утром поручил «сейчас же», «немедленно» создать ВРК. Что же, фракция игнорировала это ответственное задание? На самом деле большевистская фракция развернула энергичную работу, чтобы, как свидетельствуют современники, «у Советов рабочих и солдатских депутатов там и здесь была поставлена охрана». Кстати, захват в три часа дня революционными отрядами почты и телеграфа, о чем сообщается в книге, был произведен «под влиянием представителей фракции большевиков», как о том докладывал командир 56-го полка. Не приводится и такой чрезвычайной важности факт, как отдача днем 25 октября в районы распоряжения: «Собраться и избрать революционный центр в районе, определить, что занимать в районе (здания,

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 77—78.

³ Там же, стр. 239.

помещения и т. д.), немедленно вооружаться (занимать склады оружия), связаться с революционным центром в Совете и партии». Об этом указании говорится в хронике, но за 26 октября, с ссылкой на сборник «Московский Военно-революционный комитет», где, однако, документ датируется 25 октября, как и в предыдущих публикациях⁴.

Не учтены за 25 октября и некоторые документы Московского ВРК.

На сутки — с вечера 25 на вечер 26 октября — передвинуто назначение комиссаром по Кремлю Е. М. Ярославского. Авторы при этом ссылаются на воспоминания Е. М. Ярославского, но в них допущена очевидная ошибка.

Известный факт о захвате революционными отрядами в ночь на 26 октября типографий и закрытии 14 буржуазных контрреволюционных газет трактуется таким образом: «По поручению Партийного боевого центра В. И. Соловьев уведомил издателей буржуазных газет «Русское слово», «Утро России», «Русские ведомости» и «Раннее утро» о временном прекращении выпуска этих газет». Однако «уведомления» в тот острый момент классовой борьбы было бы мало, потребовалось несколько десятков вооруженных красногвардейцев и солдат, чтобы прекратить работу типографий, находившихся к тому же в разных местах города.

Непонятно, почему в событиях 10 октября отсутствуют сведения об историческом заседании ЦК РСДРП (б), на котором была принята ленинская резолюция о восстании. В этом заседании, как хорошо известно, участвовали представители московских большевиков Г. И. Оппоков-Ломов и В. Н. Яковлева, которые приехали из Москвы с поручением отстаивать «линию на восстание во что бы то ни стало»⁵. Последовательная политика московских большевиков сыграла существенную роль в принятии ЦК партии решения о восстании, как то подчеркивается в многотомной «Истории Коммунистической партии Советского Союза»⁶.

⁴ «Октябрьское восстание в Москве». М. Госиздат, 1922, стр. 104; «Очерки истории Октябрьской революции в Москве». М. 1927, стр. 271—272; И. И. Минц. Великий Октябрь в Москве. М. «Московский рабочий». 1947, стр. 16.

⁵ «Пролетарская революция». 1927. № 10, стр. 167.

⁶ Т. 3, кн. 1, стр. 357.

Нельзя согласиться с односторонней оценкой, которая дается в книге в связи с обсуждением в среде актива московских большевиков письма Ленина от 1 октября с предложением начать выступление, не дожидаясь Питера. Авторы, ссылаясь на воспоминания О. А. Пятницкого, утверждают, что участники обсуждения «согласились с мнением о невозможности для Москвы выступить в тот момент». Однако имеются и другие свидетельства: участники обсуждения, согласившись, «кроме Рыкова», с письмом В. И. Ленина, разошлись лишь «в лозунгах и средствах сдвинуть массы»⁷; по свидетельству кандидата в члены ЦК партии Г. И. Оппокова-Ломова, под влиянием ленинского письма было принято решение предложить Совету захватывать власть⁸, и это решение явилось практическим руководством для всей последующей деятельности Моссовета и всех московских большевиков.

В некоторых случаях нарушена систематизация сведений по степени важности внутри того или иного числа. Например, сообщение о пленарном заседании московских Советов 19 октября, имевшем большое значение для мобилизации революционных сил, приводится после сообщений о заседании завкома завода «Поставщик», собрании рабочих Золоторожского трамвайного парка и делегатского собрания городских рабочих.

Хроника иллюстрирована фотокопиями редких исторических документов, портретами активных участников Октябрьской революции в Москве. Текст хроники для облегчения пользования снабжен указателями: именованным, предметно-тематическим и географическим, а также перечнем улиц, площадей и районов Москвы (в старом и новом наименовании); имеется список использованных при составлении хроники источников и литературы.

Некоторые неточности, упомянутые мной, не помешают, разумеется, занять данному изданию достойное место в историографии темы; оно окажет серьезную помощь в пропаганде и более глубоком изучении славного революционного прошлого Москвы в незабываемом 1917 году.

В. А. КОНДРАТЬЕВ,
кандидат исторических наук.

⁷ «Октябрь в Москве». М. Госиздат, 1919, стр. 13—14.

⁸ «Пролетарская революция», 1927, № 10, стр. 167—168.

ПАРТИЙНЫЕ ПУБЛИЦИСТЫ

- А. К. Белков. В. В. Воровский. М. «Мысль». 1971. 86 стр.
 В. П. Веревкин. М. С. Ольминский. М. «Мысль». 1972. 127 стр.
 А. А. Круглов. А. В. Луначарский. М. «Мысль». 1972. 95 стр.
 В. В. Шаров. И. И. Скворцов-Степанов. М. «Мысль». 1972. 119 стр.
 А. И. Мельников. С. М. Киров. М. «Мысль». 1973. 110 стр.

«Работник сугубо ценный» — так отзывался В. И. Ленин о И. И. Скворцове-Степанове, профессиональном революционере и публицисте, одном из организаторов советской печати. Эти ленинские слова могли бы послужить эпиграфом к новой серии книг «Партийные публицисты», выходящей издательством «Мысль». Готовит ее кафедра журналистики и литературы Высшей партийной школы при ЦК КПСС¹.

Пока вышло пять книг — о В. В. Воровском, М. С. Ольминском, А. В. Луначарском, И. И. Скворцове-Степанове, С. М. Кирове. Это книги о ценных для народа и партии людях, чье слово, чье перо верно служили великому революционному делу, а сейчас являются неиссякаемым источником опыта и вдохновения для нынешнего поколения строителей коммунистического общества.

Задача серии — познакомить читателей с литературной и общественной деятельностью крупных публицистов партийной и советской прессы во главе с В. И. Лениным, дать анализ их творческого наследия и теоретических взглядов на печать и журналистику. Каждая брошюра состоит из трех разделов: очерк жизни и творчества публициста, его высказывания о печати и журналистском или ораторском мастерстве, образцы его произведений.

В чем же сила публицистов, агитаторов и пропагандистов, в чем секрет их высокого мастерства, почему к их опыту обращаются все новые и новые поколения? Книги дают обстоятельный ответ на эти вопросы.

Партийность, коммунистическая идейность и принципиальность, непримиримость к буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, к ревизионизму правого и «левого» толка — вот что прежде всего определяет облик публициста ленинской школы. Материализм, учит Ленин, включает в себя партийность, обязывает при всякой оценке событий прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной

группы. Разоблачая претензии иных публицистов на «беспартийность», на роль неких «литераторов-сверхчеловеков», стоящих над вся и всеми, Владимир Ильич с глубокой убежденностью говорил: «...литератор без партии ничего сделать не в состоянии». И наоборот, как сознательный выразитель ее идей, он может полностью проявить свой талант, творческую индивидуальность. Именно открытая принадлежность публициста к передовым силам и идеям современности наполняет его деятельность высоким общественным смыслом и содержанием. В то же время он идейный борец за чистоту марксистско-ленинского учения, непримиримый к любому виду расколичества, политического оппортунизма и теоретического ревизионизма. И вполне закономерно, что публицисты ленинской когорты были одновременно и выдающимися полемистами.

Известно, с какой суровостью осудил Ленин отход Луначарского от марксизма к махизму и «богостроительству». Но Ленин же и боролся за Луначарского, за то, чтобы вернуть его на большевистские позиции, в ряды партии, и, как мы знаем, добился этого. Как редактор большевистских газет Ленин требовал идейной выдержанности, политической определенности и четкости в статьях. Он нередко сам «дотягивал» эти выступления, оттачивал, заострял, шлифовал политические формулировки, оценки, выводы. Это относится и к статьям Воровского, Ольминского, Луначарского, Скворцова-Степанова и других партийных литераторов. «Ленинская правка была такая, — вспоминал об этом М. С. Ольминский, — что статьи неизменно выигрывали в смысле энергии, четкости и революционности».

Большевистская партийность как бы пропитывает всю ткань произведений названных литераторов, определяет их качества и особенности — коммунистическую боевитость и страстность, логичность и доказательность, непримиримость к любому фразерству.

Своеобразен облик каждого из выдающихся публицистов. Самобытна их творческая манера. Неповторим, многогранен талант. Но их объединяет и роднит то, что все

¹ Редакционная коллегия: А. З. Окорочов (главный редактор), В. П. Валуев, В. П. Веревкин, А. А. Круглов; редактор издательства «Мысль» Л. Г. Севастьянова.

они прошли ленинскую школу публицистики. Законченное марксистское мировоззрение, идейная стойкость и принципиальность, энциклопедические познания, умение ориентироваться в сложнейших событиях и вопросах, отточенное мастерство — вот слабые этой школы.

А. А. Круглов в своей книге о Луначарском приводит такой эпизод. Однажды после очередного импровизированного доклада Анатолия Васильевича спросили, как ему удастся выступать столь блестяще без подготовки. Он ответил: «Я готовился к этой жизни».

Готовиться всю жизнь.. Готовить себя, чтобы выполнить любое поручение партии, выполнить со знанием дела, с полной отдачей накопленного опыта, знаний, умения. И прав автор книги о Луначарском, когда пишет, что энциклопедическая образованность публициста была результатом упорного и организованного труда. «Его познания были не только обширны, но и в высшей степени современны, они всегда отвечали насущным и самым новым требованиям жизни. Отсюда его удивительная способность к импровизации. Луначарский немедленно превращал познанное в рабочий инструмент, в орудие борьбы. Поэтому никакая просьба написать статью и прочитать лекцию не заставляла его врасплох».

Всей своей жизнью был подготовлен и И. И. Скворцов-Степанов к тому, чтобы по заданию Ленина написать в кратчайший срок умную и нужную партии книгу «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства», которую Ильич рекомендовал всем коммунистам как «замечательно удачное изложение труднейших и важнейших вопросов». Или к тому, чтобы по командировке XIV съезда партии вступить на пост редактора «Ленинградской правды» в идейный бой с так называемой «новой оппозицией», захватившей в свои руки руководящие партийные органы и газеты Ленинграда.

Всей своей жизнью был подготовлен М. С. Ольминский, чтобы в сложнейший период 1912—1914 годов стать одним из редакторов «Правды», а позже одним из основателей ленинской школы историков-марксистов.

Публицисты В. В. Воровский и А. В. Луначарский стали одними из первых советских дипломатов. настолько подготовленных, настолько блистательных, что этому поражались на буржуазном Западе.

С. М. Киров чувствовал себя на партий-

ном и государственном поприще столь же уверенно, как и в закавказской газете «Терек», где он начинал свою журналистскую деятельность, или во время обороны Астрахани и Царицына.

«Большевик всегда останется большевиком, какие бы функции на него ни возлагали» — эти слова Воровского служат как бы лейтмотивом рецензируемых книг.

Компетентность, разносторонность, эрудиция — без этого нет публицистики, нет эффективной пропаганды и агитации. Эти же качества, эта постоянная вооруженность идеями и знаниями позволяли публицистам ленинской школы: выполнять любые, самые неожиданные, самые сложные поручения партии. И они всю жизнь сознательно готовили себя к этому, стремясь быть нужными, ценными для партии, народа.

В. В. Воровский глубоко знал историю, литературу, искусство, хорошо разбирался в различных областях естественных наук, в вопросах техники, в совершенстве владел шестью языками. Крупный государственный деятель, ученый, критик, писатель, драматург, оратор — таким был А. В. Луначарский. М. С. Ольминский известен как историк, литературный критик, литературовед-щедринист, составитель знаменитого «Щедринского словаря» И. И. Скворцов-Степанов участвовал в переводе «Капитала» Маркса (Ленин считал этот перевод лучшим), писал о книгах, театре, изобразительном искусстве.

Белинскому, Герцену, А. Толстому, А. Островскому, Шевченко, Горькому посвящал свои статьи С. М. Киров, выступал он и как театральный критик.

Именно широта политического, идеологического, культурного кругозора, универсальность, обилие знаний, свободная, детальная ориентировка в сложнейших проблемах, которыми занимается партия, позволяли публицистам действительно помогать ей в политическом просвещении и воспитании масс.

Умелым мастером агитации и пропаганды был И. И. Скворцов-Степанов. Характеризуя его творческую манеру, В. В. Шаров ссылается прежде всего на статьи 1925 года в «Ленинградской правде», где ее редактор страстно выступал за единство рядов ленинской партии, против раскольников-оппозиционеров, отвоевывая у них введенных в заблуждение людей. «Короткие, точные, энергичные, они просты по языку, стилю, своей структуре. Но эта простота — не упрощенность. За ней стоит большое мастер-

ство публициста... Конкретный факт — главное «действующее лицо» в его статьях... главное средство аргументации, доказательства. Мысль Скворцова-Степанова идет от частного факта к обобщению, выводу, призыву, лозунгу... Опираясь на факты, Скворцов-Степанов широко использовал приемы целевая направленность агитационных выступлений — донести до масс в наиболее действенной форме правду о конкретных фактах и событиях жизни.

Иные приемы разработки темы, иную аргументацию применял И. И. Скворцов-Степанов в статьях, пропагандирующих марксистско-ленинское учение, политику партии, важнейшие партийные и государственные документы. «Непременное качество пропагандистских выступлений Скворцова-Степанова — научность, высокий теоретический уровень... Для него характерны широта и перспектива постановки вопроса, охват всей цепи событий... Первостепенное внимание уделял он теоретическому осмыслению фактов и событий. Особенно мастерски Иван Иванович делал это, когда обращался к пропаганде мероприятий партии и правительства. Разъясняя декрет или постановление, он показывал, какие объективные обстоятельства стоят за ними, раскрывал суть научных методов руководства социалистическим строительством, осуществляемого Центральным Комитетом партии и Советским правительством».

Яркие образцы ведения большевистской агитации и пропаганды дал С. М. Киров — публицист и оратор, убежденный в том, что написанное нельзя противопоставлять сказанному. Выступления Кирова, пишет исследователь его творчества А. И. Мельников, «отличаются политической злободневностью и оперативностью, вниманием к главным проблемам борьбы, умением местную тему поднять до уровня общепартийных задач, наличием точных оценок и политических выводов, метких сравнений и запоминающихся образов. Каждое свое выступление Киров стремился наполнить пропагандистским пафосом, яркостью изложения, революционным оптимизмом».

Очевидцы выступлений Кирова с трибуны удивлялись, как легко и непринужденно лилась его речь. Казалось, этому прирожденному оратору не стоило большого труда выступать с докладом или лекцией. Однажды после доклада, когда зал сотрясся от рукоплесканий, Сергея Мироновича спро-

сили, учился ли он когда-нибудь делать доклады. «Да, я учился технике речи, — ответил Киров. — Раз мне по характеру работы приходится часто выступать, я обязан это делать как можно лучше. А для этого нужна настоящая учеба». Сподвижники Кирова свидетельствуют: он тщательно готовился к каждому печатному или устному выступлению, изучая массу материалов, источников, подбирая факты, примеры, образы и т. п.

Техника речи, техника письма — это никогда не было побочным делом для публицистов ленинской школы. И большое достоинство первых пяти книг серии «Партийные публицисты» состоит в том, что авторы как бы вводят нас в святая святых мастеров устной и печатной пропаганды — их творческую лабораторию, помогают нам проследить за ходом их мыслей и рассуждений в процессе создания своих произведений, увидеть, как развивали и оттачивали они свое мастерство, познакомиться с их наблюдениями и представлениями о труде партийного литератора.

Известно, сколь высоко ценил Ленин каждого одаренного партийного литератора, пропагандиста и агитатора, какое значение придавал не только содержанию, но и форме их выступлений. Непревзойденный мастер глубокого и точного, страстного и вдохновенного публицистического слова, он требовал того же и от других, не терпел пустословия, краснобайства, поверхностного описательства, серой канцелярщины. Ленин относился к публицистике, агитации и пропаганде как к высокому искусству, призывая к этому и других.

«Литературное оформление — это искусство, — писала Н. К. Крупская, излагая взгляды и творческие принципы Ленина. — Тут важен тон, стиль, умение сказать образно, привести необходимое сравнение...

Умение оформлять — искусство. И Владимир Ильич особенно ценил тех членов редакции и сотрудников, которые обладали талантом оформления. Это не только вопрос стиля и языка, но вся манера развития и освещения вопроса. С этой стороны Владимир Ильич особенно ценил Анатолия Васильевича Луначарского, не раз говорил об этом».

И в этой связи, разумеется, весьма поучительно заглянуть в творческую мастерскую Луначарского, познакомиться с его оценками литературного труда. Ведь как в своих суждениях, так и в практической деятель-

ности, отмечает А. А. Круглов, он постоянно сближал публицистику с искусством, наукой, политикой.

«Мысли о мастере» — так выразительно называется статья Луначарского, написанная незадолго до смерти. Это глубокие, основанные на богатейшем опыте раздумья о соотношении идейного содержания и литературной формы, о сущности и значении литературного мастерства, о том, какими качествами должен обладать подлинный мастер пера. Столь же содержательна и работа Луначарского «Писатель и политик», которая показывает, что «душа» публицистического произведения — это политическая мысль, мысль ищущая и пытливая, аналитичная и творческая, докапывающаяся до глубин вопроса, явления или события, способная к широким обобщениям. Здесь же автор убедительно опровергает тех буржуазных идеологов и публицистов, кто утверждал да и утверждает по сию пору, что литература и политика несовместимы, а писатель и политик — антиподы.

Очень много дают для понимания сущности публицистического творчества, мастерства агитатора и пропагандиста тонкие суждения Луначарского об особенностях творческого почерка своих товарищей по перу — В. И. Ленина, В. В. Воровского, М. С. Ольминского, а также М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. Г. Короленко, Г. И. Успенского.

Трудно, пожалуй, назвать другого исследователя, который так глубоко проник в «тайники» ленинского публицистического творчества, как это сделал Луначарский. По его словам, Ленин «кипел политически», «с жадностью искал на что опереться, на какой факт», «в его необыкновенном мозгу каждая мелочь представляется центром, вокруг которого собирается целый ряд всевозможных идей». Как верно схвачено и подчеркнуто здесь значение факта и мысли в творчестве публициста!

Принадлежащая Луначарскому характеристика сущности публицистического стиля Ленина — одна из самых проникновенных в нашей научной литературе о публицистике. «Стиль Ленина как публициста определяется двумя основаниями. Во-первых, Ленин — человек, который убеждает... Каждая его статья есть определенного рода лекция, доклад, реферат, аргументация, которая должна оставить после себя определенный след изменить определенным образом настроения, выводы, мнения той аудитории, к которой он обращался...

Кроме того, Ленин хочет быть понятным возможно большим массам...

Может быть, на этих коренных основаниях можно было бы построить нечто вроде учения о ленинском стиле, убеждающем стиле, полемически широком, популярном... в стиле Ленина есть вместе с тем публицистический стиль пролетариата в его лучшей форме».

Если опыт Луначарского наглядно раскрывает нам критерии публицистики, то практика М. С. Ольминского, которую анализирует в своей книге Б. П. Веревкин, показывает, с чего начинается публицист, как он может расти, накапливая знания и мастерство, развить в себе природный дар.

В статье «Как я стал литератором», звучащей словно исповедь, Ольминский рассказал поучительную историю о том, сколь велика роль самообразования в становлении публициста. К высокому званию партийного литератора Михаилу Степановичу пришлось готовить себя в тюремной одиночке. Там он приглядывался к почерку художников слова, впервые понял, что гений — это прежде всего труд. «Все-таки странно: ведь Лермонтов — признанный талант; зачем же он корпел столько лет над своим «Демоном»?» «Пушкин... наверху славы. Черт возьми! не написать двух строчек сразу, без поправок!» Щедрин — «...вся страница исчеркана поправками... И написано знаменитейшим писателем после сорока лет литературной работы!»

Пораженный такими «открытиями», всыскательностью признанных авторитетов к своему труду, Ольминский дотошно, кропотливо изучает приемы литературного творчества мастеров слова, вырабатывает в себе необходимые навыки журналистской работы, учится шлифовать каждую строчку. И не этим ли объясняется та особенность стиля Ольминского, которую впоследствии отметят исследователи: ясность и точность мысли, выраженные чрезвычайно емким словом, при максимальной простоте и экономии изобразительных и выразительных средств.

Вся творческая практика М. С. Ольминского, его строгость к себе, тщательная, выверенная, неумная работа над словом дали ему полное право написать такие строки, которые обращены к иным газетчикам и в наши дни: «Редакции жалуются, что тесно. По-моему, могли бы сказать втрое больше, если бы не наводняли ненужными словами. И эту массу ненужного наборщики должны

набирать, а сотни тысяч читателей должны тратить время на чтение пустопорожних слов и фраз.

Конечно, редакторам ежедневной газеты не справиться с этими потоками словесной воды. Это должны делать сами авторы. Они перед своей совестью и перед читателями обязаны переписывать сами каждую статью набело. Когда я вижу автора, особенно из молодых, неопытных в писании, сдающего рукопись без переписки своею рукою и без поправок, мне всегда неловко за него...»

Ольминский требовал от любого автора взыскательного отношения к слову, точности словоупотребления, емкого языка. Он не уставал порицать «пустословие, обилие лишних слов — паразитов». Именно по инициативе М. С. Ольминского «Комсомольская правда» и журнал «На литературном посту» провели в 1929 году обсуждение вопроса о языке газет и художественных произведений.

Статья М. С. Ольминского «Как я стал литератором», как и многие другие произведения выдающихся публицистов, и в наши дни не воспринимается как вещь «давно минувших дней», не потеряла своей актуальности. Назвав статью Ольминского «любопытным этюдом», Луначарский так рекомендовал ее: «Интересно для всякого молодого, вырабатывающегося писателя почерпнуть из небольшого этюда Ольминского убеждение в необходимости необыкновенно серьезной, суровой работы над собой, в необходимости уметь пользоваться образцами, данными великанами нашей литературы». Это, безусловно, интересно, поучительно не только для «вырабатывающихся» журналистов и публицистов.

Каждый выдающийся представитель ле-

нинской школы публицистики — это «университет» для всех, кто имеет дело с устным и печатным словом. Это незаменимый наставник для агитаторов и пропагандистов, студентов и слушателей партийных школ, ученых и дипломатов, педагогов и лекторов, писателей и литературных критиков, журналистов и публицистов. Чтобы удовлетворить глубокий интерес этой читательской аудитории к творчеству выдающихся мастеров партийной публицистики, надо, во-первых, углубленно, детально исследовать творческий почерк каждого из них, его специфику и, во-вторых, чутко откликаться на запросы сегодняшнего дня, анализировать достояние нашей публицистики с учетом тех ориентиров, которые партия ставит перед журналистикой в настоящее время. В некоторых из рецензируемых брошюр это подчас не учитывается в достаточной мере.

«Всемерно использовать жанр боевой партийной публицистики, оперативно разъяснять и комментировать мероприятия партии и правительства, важнейшие события внутренней и международной жизни страны, остро разоблачать чуждую советскому обществу идеологию». Так сказано в постановлении ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях». Сейчас, когда партия уделяет пристальное внимание совершенствованию агитационно-пропагандистской работы, выпускаемая издательством «Мысль» серия «Партийные публицисты» является как нельзя более своевременным и полезным подспорьем для всех, кто несет устное и печатное слово партии в массы.

В. КУЗНЕЦОВ,

кандидат филологических наук.



ОН РУССКИЙ В ДУШЕ...

М. Х а з и н. Инзов. Кишинев. «Кодры». 1972, № 5.

В небольшом и тихом городке Болграде на юге Бессарабии (нынешней Одесской области) хорошо сохранилась часовня с могилой генерала Ивана Никитича Инзова — замечательного русского полководца и государственного деятеля начала прошлого столетия, человека удивительной для своего времени судьбы.

Прах генерала, умершего в 1845 году в Одессе, был перенесен крестьянами — болгарскими поселенцами Бессарабии почти за

триста верст от шумной Одессы, в место, избранное некогда самим Инзовым для вечного покая.

Кто помнит сейчас генерала Инзова? разве что узкий круг пушкинистов, изучающих жизнь и творчество великого поэта периода южной ссылки. Даже небольшую, уютную улицу Инзова в старой части Кишинева без всякой нужды переименовали...

Между тем имя генерала, его славные дела заслуживают доброй памяти, уваже-

ния и почета. Подробно и живо, с любовью к этому интересному человеку рассказал о нем писатель М. Хазин в пятой книжке кишиневского журнала «Кодры» за 1972 год.

...В знаменитой Военной галерее Зимнего дворца, воспетой Пушкиным, среди портретов выдающихся полководцев Отечественной войны 1812 года находится и портрет генерала И. Н. Инзова. Он прославил знамена русской армии еще под началом Суворова, командуя полком, совершившим легендарный альпийский поход. Он был уже закаленным в боях полководцем, оказавшись с подвижником Кутузова, прошедшим победный путь от Москвы до Парижа. Высшие знаки воинской доблести, отваги и полководческого искусства украшали грудь генерала Инзова. Рядом с боевыми орденами Российской державы соседствовал и французский орден Почетного легиона, полученный от победленных в 1813 году за гуманное отношение к пленным. Редкое сочетание! Но в нем весь Инзов, в котором соединялись отвага и человечность, решительность полководца и гибкий, проницательный ум государственного деятеля.

Происхождение Инзова, его рождение окутано тайной легенды, не столь уж редкой для русской аристократии времен Екатерины II. Современники полагают, что он был внебрачным сыном знатного вельможи, пожелавшего дать сыну необычную для русских дворян фамилию — Инзов. Приемывшем рос мальчик в просвещенной и богатой семье князей Трубещких, затем воспитывался в одном из лучших учебных заведений России того времени — Московском благородном университетском пансионе, отличавшемся вольнодумством.

У И. Н. Инзова никогда не было крепостных, и это, несомненно, сказалось на его взглядах и поступках.

Уже с семнадцати лет Инзов на военной службе. Участвуя в сражении против польских повстанцев Тадеуша Костюшко в 1794 году, молодой офицер глубоко задумывается о справедливости «умиротворения» польских патриотов, восставших против самодержавия. Сложными раздумьями и глубокой душевной болью наполнены многие строки его писем той поры.

Под победными знаменами Суворова провел труднейший альпийский поход в качестве офицера, а затем командира Апшеронского полка тридцатилетний полководец Инзов. Не раз позже вспоминал он о том, как русский штык пронзил Альпы, как рва-

лась шрапнель у Сен-Готарда, как с честью несли апшеронцы все тяготы перехода и непрерывных боев в авангарде русской армии.

Отечественная война 1812 года застала генерал-майора Инзова на посту начальника штаба 3-й армии, расквартированной в Бессарабии. Но боевой генерал, получивший закалку в суворовских походах, рвется в бой. Отечество в опасности! И он уже командует 9-й пехотной дивизией, не знавшей ни одного поражения в боях с Наполеоном.

Уже одна лишь отвага, доблесть и полководческое искусство генерала Инзова в Отечественной войне 1812 года заслуживают доброй памяти и признательности потомства. Но Инзов вошел в историю России не только как боевой генерал. Он был видным государственным деятелем начала прошлого века, которого автор очерка очень точно именует «вельможа-бедняк». И здесь его дарования раскрылись, пожалуй, с наибольшей силой и полнотой.

С 1818 года до последнего дня жизни он занимает весьма ответственный для того времени и трудный пост попечителя болгарских поселенцев юга России; с 1820 года, несмотря на настойчивый «самоотвод», становится наместником Бессарабии. В том же году «по высочайшему повелению» в Кишинев был отправлен в ссылку Александр Сергеевич Пушкин. Александр I тешил себя надеждой, что в глуши бессарабских степей, за ничтожными занятиями мелкого чиновника, под постоянным полицейским надзором заглохнет свободолюбивая муза.

...Над речушкой Бык в Кишиневе, в стороне от узких и кривых улочек городской окраины, на вершине холма, позже названного Инзовой горой, помещался в те годы двухэтажный дом наместника. Здесь многое казалось странным, необычным для кишиневских чиновников и степенных бояр: на беленных известью стенах комнат — никаких украшений, кроме трофейной французской шпаги да охотничьего ружья, а по обширному двору бродят редкостные птицы. Все свое сравнительно скромное жалованье наместник тратит на разведение новых для Бессарабии растений, которые собственноручно высаживает тут же рядом с домом... Через несколько дней после приезда в Кишинев в этом доме поселился шумный и веселый молодой постоялец, небрежно одетый в халат и турецкие туфли. Он

то бродил по обширному саду, то писал, запершись в своей комнате. Генерал Инзов, понимавший, кто для России Пушкин, относился к нему по-отечески, уважая могучий талант поэта. Он фактически освобождает опального Пушкина от ненавистной лямки чиновничьей службы, ограждает от полицейских шпииков. Разрешает ему совершать то далекие путешествия по Кавказу и Крыму, то поездки с друзьями по Бессарабии, не раз отводит от Пушкина, рискуя своей карьерой, нависшую было серьезную угрозу со стороны «властей предрезающих» за созданные в Кишиневе вольнолюбивые и «богохульные» стихи, особенно поэму «Гавриилиада», постоянно заботится о материальных делах молодого поэта. Дом Инзова в Кишиневе для Пушкина — своеобразный «дом творчества», где были созданы замечательные стихи, писались южные поэмы, где набрасывались первые строки «Евгения Онегина»... Недаром Пушкин ласково, с сыновней любовью называл наместника, так отличавшегося от известных ему петербургских вельмож, «наш Инзушко».

Об отношении Инзова к великому поэту можно прочитать во многих работах биографов Пушкина. Но почти не освещена была до сих пор другая сторона его деятельности той же поры — неустанные заботы о процветании края, в те годы пустынного, где еще недавно бесчинствовали турецкие захватчики, разоренного непрерывными войнами. Удивительная энергия и организаторские способности, проявившиеся при налаживании хозяйства Бессарабии, сочетались у Инзова с добротой и человечностью, проявлявшимися прежде всего по отношению к простым крестьянам, населявшим эту многострадальную землю, — молдаванами, русским, цыганам, гагаузам. Особенно много сделал он для бежавших в Бессарабию от кровавых расправ турецких янычар многих тысяч болгар, расселив их на свободных землях, добываясь для этих обездоленных людей, нашедших в России

вторую родину, льгот и материальной поддержки. В многочисленных просьбах и донесениях, адресованных в Петербург, Инзов, находясь на посту попечителя болгар-колонистов, настойчиво подчеркивает их любовь и признательность России, их боевые заслуги в борьбе с общим врагом. Недаром память о генерале Инзове до сих пор хранится в болгарском фольклоре юга Бессарабии — в многочисленных легендах, народных песнях...

В великолепном наброске Пушкина «Воображаемый разговор с Александром I», относящемся к концу 1824 года, содержится лаконичная, но очень точная характеристика Инзова. Сравнивая его с надменным англоманом, «полумилордом» графом Воронцовым, который ненавидел и презирал все русское, Пушкин пронизательно видит достоинства Инзова прежде всего в широком и полном выражении русского национального характера: «...генерал Инзов добрый и почтенный человек, он русской в душе; он не предпочитает первого английского шалопапа всем известным и неизвестным своим соотечественникам... Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные, не боится насмешек, потому что выше их, никогда не подвергается заслуженной колкости, потому что со всеми вежлив, не опрометчив, не верит вражеским пасквилям»¹.

Большой очерк «Инзов» М. Хазина, где впервые вводится в научный обиход немало совершенно неизвестных и позабытых архивных материалов, свидетельств современников, написанный живо и увлекательно, несомненно, привлечет внимание не только молдавского но и всесоюзного читателя.

В. РУЖИНА,
доцент пединститута.

г. Бельцы. МССР.

¹ А. С. Пушкин. Сочинения в одном томе. М. Гослитиздат. 1948, стр. 832.



КОРОТКО О КНИГАХ



З. ФАЗИН. Последний рубеж. Повесть. М. «Детская литература». 1972. 351 стр.

Заглавие повести, время действия, знаменитые фамилии советских полководцев — все это, казалось бы, дает возможность быстро, еще даже не прочитав книгу, определить ее тему: штурм Перекопа, разгром белогвардейщины на последнем рубеже... Да, действительно, «Последний рубеж» — историческое повествование о том, как в неимоверно тяжелых условиях разрухи, голода, войны с белополяками молодая Советская республика разгромила отборную, отлично оснащенную, поддерживаемую всем капиталистическим миром армию Врангеля.

З. Фазин имеет немалый опыт в создании исторических книг для детей и юношества. И его новая книга свидетельствует, что писатель освоил огромное количество исторического материала, оперирует им свободно и интересно.

Автор перебрасывает читателя из украинской мазанки — место нахождения штаба советской дивизии — на константинопольский рейд, где на борту английского дредноута «Аякс» английский генерал инструктирует барона Врангеля, избранного Антантой в качестве преемника разгромленного Деникина... Опираясь на исторические документы, используя большую мемуарную литературу, создает З. Фазин портреты последних неудачливых вождей «белого движения», раскрывает неизбежность их политического и военного крушения. Запоминается в «Последнем рубеже» образ генерала Слащева. Особенности характера и биографии этого сподвижника Деникина и Врангеля способствовали его некоторой романтизации. В частности, это сказалось в кинофильме «Бег», где талантливый актер изображает муки совести белого генерала, прототипом которого, очевидно, является Слащев. З. Фазин воссоздает облик и характер реального Слащева: жестокого и ограниченного сатрапа, разнуданного истерика и самодура.

Главные герои «Последнего рубежа» — молодые люди, им только по шестнадцать лет. Они были подростками, когда грянула революция, теперь, спустя три года, они в том возрасте, когда уже сложилось юношеское, непримиримое ко всему чуждому мировоззрение. В романтической истории двух девушек сконцентрировано все то но-

вое и необычайное, что происходило в молодом советском обществе. Молоды не только героини повести — молодо все, в чем они живут, за что борются. Молода советская власть, молода Красная Армия, молоды ее прославленные полководцы. Командарму, латышскому поэту Роберту Эйдеману, двадцать пять лет, другому командарму, Иерониму Уборевичу, двадцать четыре... Повесть З. Фазины полна духом молодости и всего того, что молодости свойственно.

Конечно, совсем не случайно автор сделал свою героиню уроженкой Каховки; мотив строк Светлова о девушках в солдатских шинелях, идущих через горящую Каховку, проходит через всю повесть. Как и знаменитое стихотворение Михаила Светлова, повесть З. Фазины славит молодость мира. И в этом, на мой взгляд, состоит самая глубокая ее историчность.

Автор в «Последнем рубеже» выступает не только как повествователь, но и как комментатор, он ведет читателя через все происходящее, иногда останавливается, чтобы предупредить о важности того, что за этим последует.

«Внимание! Сейчас на ваших глазах произойдет событие, которое обойдется России в десятки тысяч жизней, в сотню тысяч беженцев, нищенствующих бродяг... Произойдет злосчастное событие, о котором мы говорим, на... английском дредноуте «Аякс». Не странно ли — при чем тут английский военный корабль? Бывает, бывает... В наши времена судьба многих людей подчас решается в самых неожиданных местах» — это авторское обращение к читателю вдруг возникает в эпизоде, где рассказывается о свидании английского генерала с бароном Врангелем...

«Последний рубеж» написан З. Фазиным для молодого читателя. Но нет сомнений, что эта книга вправе рассчитывать на внимание читателя самого широкого возрастного диапазона.

Лев Разгон.



ВИКТОР ПУЛЬКИН. Кижские рассказы. М. «Советский писатель». 1973. 262 стр.

«Народа добрее, честнее и более наделенного здравым смыслом, чем заонежане, я в моих странствиях не выдывал!» — писал зна-

менитый открыватель былинного эпоса в Заонежье П. Н. Рыбников. С этим народом, с миром его поэзии, преданий, легенд, былей мы и знакомимся в «Кижских рассказах» Виктора Пулькина.

В. Пулюкин превосходно знает северную деревню. Он не раз пересекал Заонежье на самолете, на машине — служебной и попутной, в санях и на телеге, на лодках и на лыжах, а более всего пешком. В деревню его приводил не только интерес к фольклору и крестьянскому быту, но и работа, служба. Ему — сначала как участнику плотницкой артели, потом как сотруднику прославленного музея деревянного русского зодчества в Кижях — постоянно приходилось иметь дело с местными плотниками-реставраторами. Эта вполне деловая связь сделала его общение с людьми естественным, непредвзятым, а хорошее владение северным русским говором, чувство юмора и внутренняя поэтичность помогли ему в передаче тех «быличек», легенд, народных рассказов, «побрежухек стариковских» и просто метких суждений и словечек, которыми обмениваются друг с другом мастера-умельцы и которые составили содержание первой книги молодого писателя.

Бесчисленные маленькие рассказы группируются в циклы. В одном («Досюльщина старобытная») воспроизводятся старые легенды про лембоев — нечистую силу, про Ивана Овчину, «русского жителя человека», что, «из Новгорода пришедши», начал на Кижях «нивать пахать», «лес ронить», а потом схватился с Белой Змеей — царицей острова и победил ее; про «Мару запечальную», что прядла кудель человеческой жизни: «Мара ниточку со своей кудели перервет — в лесу дерево мужика погубит, или волна в Онего захлестнет, или в лесу зверь изломает...» В другом цикле — «При нас было» — старые люди рассказывают разные бытовые истории: то про ленивую бабенку, что не хотела ни пряхть, ни ткать и как муж проучил ее, то про бубенчик, что раньше к ручке серпа привязывали («...нас, сестер, трое было, мать всех слышит, хоть и не взглянет — работает. Чуть остановишься — она, покоекна, глянет из-под повойника так, что косу закусишь, да опять пястка за пясткой, сноп за снопом и жнешь!»).

Цикл «Древодельцы» — пересказ записей подлинных бесед с древодельцами Заонежья о «старобытных» мастерах. Сегодняшний умелец, повествуя с своим коллеге из XVII века, вполне понимает его заботы и вкусы, ценит тонкости и секреты ремесла. «Плотницкое ремесло начинается с топора». Добрым мастерством считалось не перебивать бревно на постройку, а перерубать — «в такое бревно вода нейдет — оно от ударов топора с торца закупорено, а после пилы — как губка воду тянет. Зарок был положен строгий: топора в бревно не вбивать, не ранить дерево заря, чтоб крепко стояло. Это и мы знаем». «Матерьял — мастеру мера» — это как завет несколько раз повторяется в книге. Раньше всего настоящий мастер должен знать, ка-

кой лес для чего хорош, где его брать и когда. Для построек «рубил-то обязательно в феврале. Дерево спит, вся лишняя вода в землю ушла, чтоб не мерзла плоть; вот сонное дерево и везли санным путем».

Артельная жизнь — целая наука. Герои книги расскажут, как сбивалась артель, как отбирались туда люди («...еще строже, чем лес на дом»), как складывалась артельная, коллективная мораль.

Речь и нравы трудовой, мастеровой России раскрывают себя в книге В. Пулькина богато и свободно. Сюжет, сохраненный народной памятью чуть ли не с языческих времен, воспринимается как живая достоверная быльщина, потому что в нем выражает себя действующая сегодня, реальная нравственность. Мир поэтический и мир нравственный берегут друг друга. Читая книгу В. Пулькина, видишь, как сохраняется эпос духовной памятью народа, понимаешь, чем живет эта память сегодня, что она выбирает, что ей наиболее близко в предшествующих веках.

Правда, в картине, воспроизводимой В. Пулькиным, не всегда найдена точная собственно авторская интонация. Порой эта интонация кажется нарочитой. Куда естественней звучит авторский голос, когда он не стилизован. Тогда и уважение автора к своим героям выражено более глубоко.

Книга Виктора Пулькина вводит читателя еще в одну пока еще мало исследованную область народной жизни. «Плотницкие рассказы» Василия Белова, пожалуй, наиболее близки ей по жизненному материалу, хотя художественные задачи известного писателя иные.

Т. Смолянская.



ФАБЛИО. Старофранцузские новеллы. Перевод со старофранцузского С. Выше-славцевой и В. Дывик. М. «Художественная литература». 343 стр.

В настоящий момент, когда народы русский и французский стремятся к всестороннему знакомству друг с другом, свое временно напомнить читателю об этой книге, тем более что со времени ее появления единственным на нее откликом была заметка покойного А. Дейча в «Литературной России». К сожалению, ее автор, дав общую характеристику фаблио как жанра, ничего не сказал о русском тексте.

Книга вводит нас в самую гущу народной жизни Франции XII—XIII веков, обогащает свежим ощущением этой жизни в противовес существующим до сих пор вульгарным представлениям о средневековье как эпохе безраздельной церковности, рыцарских подвигов и поклонения даме.

Французские фаблио представляют собой оригинальный жанр народной поэзии, во многих отношениях родственный их младшей прозаической сестре — новелле. Никто не станет искать в этом жанре психологической глубины или литературной изысканности. Все двадцать пять фаблио, состав-

ляющие книгу (восемь переведено Валентиной Дынник, семнадцать — С. Вышеславцевой), претендуют лишь на то, чтобы развлечь, позабавить неприхотливых слушателей из широкой массы городских ремесленников, торговцев и вообще всякого дельного и бездельного люда. Фабулы их очень просты, хотя корни сюжетов могут быть прослежены иной раз до мотивов античной древности или Востока. Они ограничены довольно примитивной тематикой — адюльтерным треугольником, примерами народной хитрости и ловкости, посрамлением неудачливых нобилей, и, наконец, там немало камешков, бросаемых в представителей столь могущественной тогда католической церкви. Все это, соединяясь в занятные стихотворные рассказы, доставляло выход народной веселости, отвлекало от нелегких деловых будней городской люд.

Переводчикам книги предстояло передать русскому читателю этот специфический материал, сохранив его типическую окраску, его стиль, иначе говоря, пригласить читателя в средневековую харчевню, на постоялый двор, наконец, просто на рынок или городскую площадь.

Но как же быть в подобных случаях поэту-переводчику? Как быть, когда предстоит передать на своем языке произведение не только не первого разряда, а по существу своему не имеющее никаких особых поэтических достоинств, кроме одного, впрочем, весьма важного: умения легко занять и держать внимание слушателя или читателя? Это умение основывается на свободном пользовании разговорной речью, речью с большим интонационным разнообразием. Переводчики сумели сохранить и свободу выражения, и интонационное богатство подлинника. Старофранцузские силлабические стихи они предпочли передать привычными для русского уха ямбами, и это правильно, так как в противном случае чтение затруднялось бы и лишало фаблио их доступности.

Поэт-переводчик должен был показать Музу в той одежде, в какой она забежала в рыночный кабак. Возьмем, к примеру, хотя бы начальные строки фаблио «О бедном торговце»:

Клерк молодой, кому под стать
Стишки занятные слагать,
За сказку новую берется.
Коль вам послушать доведется,
Жалеть не станете о том.
Порой забудешь обо всем,
Внимая складному рассказу:
Спор шумный утихает сразу,
Спадают все заботы с плеч,
Лишь мерная польется речь.

Богатый землями сеньор
В расправах был суров и скор —
За воровство лихому люду
Здесь приходилось ой как худо:
Сеньор виновных не прощал,
На виселицу отправлял...

Сниженность языкового отбора, «мещанская» окраска выражений («под стать», «стишки», «доведется», «лихому люду», «ой как худо») — все это соответствует общему характеру фаблио. То, что ямб переводчика (С. Вышеславцевой) не напоминает классических моделей, — сознательная позиция, результат правильно найденного ключа.

Вообще «Фаблио» на русском языке — несомненная удача. Оба переводчика проявили в данной работе много такта и чувства меры. Они умело балансировали между литературным языком и просторечьем, не допуская вульгарности, избегая архаизации. Они уберегли свой перевод от слов и выражений, могущих русифицировать текст, и этим сохранили его национальный колорит.

Все, что современный читатель должен знать о фаблио, он найдет в предисловии Валентины Дынник, широко освещающем фаблио и их положение в старофранцузской литературе.

С. Шервинский.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Визит Леонида Ильича Брежнева в Соединенные Штаты Америки 18—25 июня 1973 г. Речи и документы. 142 стр. Цена 30 к.

М. А. Сулов. Второй съезд РСДРП и его всемирно-историческое значение. Доклад на торжественном заседании в г. Москве, посвященном 70-летию II съезда РСДРП, 13 июля 1973 г. 32 стр. Цена 3 к.

Приветствия Коммунистической партии Советского Союза в связи с 50-летием образования СССР. 457 стр. Цена 66 к.

Научный коммунизм. Издание 2-е, дополненное. 496 стр. Цена 97 к.

И. Пантин. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. 357 стр. Цена 1 р. 9 к.

В. Турченко. Научно-техническая революция и революция в образовании. 233 стр. Цена 85 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ю. Герасименко. Дорошев яр. Поэма. Перевод с украинского В. Федорова. 79 стр. Цена 37 к.

В. Домашкевич. Пробуждение. Повесть, рассказы, очерк. Перевод с белорусского Т. Горбачевой. 351 стр. Цена 67 к.

Ф. Кнорре. Каменный венок. Повести. 439 стр. Цена 77 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

П. Железнов. Поэмы — воспоминания. Максим Горький — Владимир Маяковский. 103 стр. Цена 54 к.

Э. Крустен. Избранное. Повести и рассказы. Перевод с эстонского. Предисловие А. Туркова. 333 стр. Цена 76 к.

С. Льюис. Вэббит. Эроусмит. Романы. Перевод с английского. Вступительная статья Т. Мотылевой. («Библиотека всемирной литературы») 799 стр. Цена 2 р. 56 к.

В. Маяковский. Сочинения. В 3-х томах. Рисунки В. В. Маяковского. Том 1. Я сам.— Стихотворения. Вступительная статья А. Суркова. 559 стр. Цена 1 р. 2 к. Том 2. Стихотворения.— Стихи детям.— Как делать стихи. 526 стр. Цена 1 р. 1 к.

А. Михайлов. Ритмы времени. Этюды о русской советской поэзии наших дней. 528 стр. Цена 1 р. 48 к.

А. Несин. Король футбола. Роман. Перевод с турецкого А. Свергевской и В. Феоньвой. Предисловие Л. Ленеа. 188 стр. Цена 66 к.

Песни зрагов. Из монгольской народной поэзии. Перевод Н. Гребнева. Составитель Г. Михайлов. 215 стр. Цена 1 р. 45 к.

Е. Тараута. С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель. 541 стр. Цена 2 р. 2 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Е. Богат. Вечный человек. Диалоги. Портреты. Размышления. Предисловие А. Чаковского. 287 стр. Цена 69 к.

В. Большаков. Бунт в тупике? Очерки с идеологического фронта. 388 стр. Цена 48 к.

Л. Константинов. Схватка с ненавистью. Приключенческая повесть. Последействие В. Беляева. 351 стр. Цена 72 к.

А. Коренев. Песня о первых. Стихи. 95 стр. Цена 26 к.

Молодые поэты Монголии. Сборник. Перевод с монгольского. Вступительная статья К. Ярковской. 143 стр. Цена 57 к.

Я. Свет. Колумб. («Жизнь замечательных людей»). 368 стр. Цена 92 к.

С. С. Смирнов. Собрание сочинений. В 3-х томах. Вступительная статья И. Андроникова. Том 1. Брестская крепость. — Крепость над Бугом. 528 стр. Цена 1 р. 49 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Овечкин. Заметки на полях. Предисловие М. Колосова. («Писатели о творчестве»). 136 стр. Цена 16 к.

В. Ситников. Большое новоселье. («Писатель и время Письма из деревни»). 71 стр. Цена 10 к.

Б. Соловьев. Поэт и его подвиг. Творческий путь Александра Блока. 751 стр. Цена 2 р. 60 к.

Л. Татьяничева. Звонкое дерево. Стихи. 63 стр. Цена 64 к.

Хозяйка травы. Саамские сказки. Пересказала А. Елагина. 79 стр. Цена 37 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Т. Александрова и В. Берестов. Катя в игрушечном городе. Повесть-сказка. 111 стр. Цена 82 к.

В. Амлинский. Среди людей. Рассказы и очерки. 159 стр. Цена 43 к.

Д. Байрон. Избранное. Составление, вступительная статья, общая редакция, перевод и комментарии Ю. Кондратьева. 334 стр. Цена 71 к.

В. Воскобойников. Солнце в пути. Повесть. 127 стр. Цена 38 к.

Е. Драбина. Кастаньский ключ. Эссе. 174 стр. Цена 43 к.

Б. Захoder. Стихи и сказки. 335 стр. Цена 96 к.

Ю. Либединский. Воспитание души. Воспоминания. Предисловие В. Инбер. 208 стр. Цена 45 к.

Д. Холендро. Старый чудак. Повесть и рассказы. 223 стр. Цена 54 к.

А. Шманкевич. Большая Медведица. Рассказы. Предисловие С. Варуздина. 175 стр. Цена 39 к.

Ф. Эрдинч. Рюстем. Рассказы. Перевод с турецкого. 96 стр. Цена 29 к.

ВОЕНИЗДАТ

В. Проценко. Мгновение решает все. («Военные мемуары») 240 стр. Цена 58 к.

П. Стефановский. Триста неизвестных. Издание 2-е, дополненное. («Военные мемуары») 319 стр. Цена 89 к.

«ИСКУССТВО»

М. Блейман. О кино — свидетельские показания. 590 стр. Цена 2 р. 51 к.

Т. Золотнищак. Фанни Снеткова «Шарика грез театрального Петербурга». 149 стр. Цена 46 к.

Идеи эстетического воспитания. Антология. В 2-х томах. Составитель В. Шестаков. Общая вступительная статья М. Лифшица. Том 1. Античность. Средние века. Возрождение. 407 стр. Цена 2 р. 43 к. Том 2. Идеи эстетического воспитания в философии и педагогике XVII—XIX вв. 267 стр. Цена 2 р. 17 к.

Ф. Кожиц. Дебюро. Перевод с чешского. («Жизнь в искусстве»). 292 стр. Цена 1 р. 64 к.

Б. Льюис. Диктор телевидения. Сокращенный перевод с английского. Последействие и примечания Л. Золотаревского. 199 стр. Цена 73 к.

«ПРОГРЕСС»

Г. Майснер. Теория конвергенции и реальность. Перевод с немецкого. 223 стр. Цена 88 к.

А. Нагар. Нектар и яд. Роман. Перевод с хинди С. Трубниковой. 411 стр. Цена 1 р. 35 к.

А. Перрюшо. Жизнь Ван Гога. Перевод с французского. Предисловие и подбор иллюстраций Н. Н. Смирнова. 343 стр. Цена 4 р. 86 к.

Писатель и современность. Художественная публицистика и документальная проза стран Азии, Африки и Латинской Америки. Переводы. 495 стр. Цена 2 р. 9 к.

Е. Теплиц. История киноискусства. Т. 3. 1934—1939. Перевод с польского. 271 стр. Цена 2 р. 39 к.

«НАУКА»

С. Аверинцев. Плутарх и античная биография. К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. 279 стр. Цена 90 к.

А. Гессен. Рифма, звучащая подруга... Этюды о Пушкине. 374 стр. Цена 1 р. 31 к.

Л. Ершов. Из истории советской сатиры. М. Зощенко и сатирическая проза 20—40-х гг. 155 стр. Цена 51 к.

Д. Лелюшенко. Москва — Сталинград — Берлин — Прага. Записки командарма. Издание 2-е, исправленное и дополненное. 408 стр. Цена 2 р. 8 к.

Пак Тянь и его друзья. Новеллы вьетнамских писателей. Перевод с вьетнамского. Составитель И. Быстров. 109 стр. Цена 32 к.

Польский романтизм и восточнославянские литературы. Сборник статей. 285 стр. Цена 1 р. 7 к.

В. Шестаков. Гармония как эстетическая категория. Учение о гармонии в истории эстетической мысли. 256 стр. Цена 80 к.

Е. Эттинг. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. 248 стр. Цена 1 р. 7 к.

«МЫСЛЬ»

Вопросы теории и методов идеологической работы. Выпуск 2. 325 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Горфункель. Джордано Бруно. («Мыслители прошлого») 175 стр. Цена 19 к.

Л. Динев и К. Мишев. Болгария. Перевод с болгарского. 368 стр. Цена 1 р. 70 к.

Естествоиспытатели и атеизм. Критика религии выдающимися естествоиспытателями XIX—XX вв. 277 стр. Цена 73 к.

Международные отношения на Дальнем Востоке. Книга 1. С конца XVI в. до 1917 г. 325 стр. Цена 1 р. 64 к.

Г. Скворода. Сочинения. В 2-х тт. («Философское наследие»). Т. 1. 511 стр. Цена 1 р. 99 к. Т. 2. 486 стр. Цена 1 р. 84 к.

Япония. («Экономика и политика стран современного капитализма»). В 7-ми книгах) 454 стр. Цена 1 р. 73 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

В. Гельбрас. Китай: кризис продолжается. 223 стр. Цена 76 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Образование и развитие Союза Советских Социалистических Республик. Сборник документов. Составитель К. Савенков. Предисловие А. Косицыка. 735 стр. Цена 2 р. 2 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Андрущенко, Ф. Зырянов и Г. Иванов. Подполье на передовой. Документальная повесть. Краснодар. Книжное издательство. 190 стр. Цена 42 к.

М. Ахундов. Комедии. Перевод и предисловие А. Шарифа. Баку. «Азернешр». 212 стр. Цена 1 р.

В. Двойнов. Знаете ли вы? Москва в вопросах и ответах. «Московский рабочий». 230 стр. Цена 32 к.

Ю. Линник. Нить. Книга лирики. Под редакцией и с предисловием Л. Озерова. Петрозаводск. «Карелия». 158 стр. Цена 42 к.

Ю. Лотман. Семiotика кино и проблемы киноэстетики. Таллин. «Ээсти раамат». 139 стр. Цена 26 к.

Е. Наумов. Сергей Есенин. Личность, творчество, эпоха. Лениздат. 455 стр. Цена 1 р. 28 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашк (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: Москва. К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 27/VIII 1973г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 25/X 1973г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
А 02207. Тираж 170.000 экз. (1-й завод 1—70.000 экз.) Зак. 2872.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636